

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1997

1

1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1(861)

Январь, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Проплывшим вдвоем, стихи | 3 |
| ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Прохождение тени, роман | 7 |
| ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Я купил двух горлиц, стихи | 72 |
| БУЛАТ ОКУДЖАВА — Автобиографические анекдоты | 78 |
| ТАТЬЯНА БЕК — До свидания, алфавит, стихи | 93 |
| ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО — В синем шаре, стихи | 96 |
| А. СОЛЖЕНИЦЫН — Крохотки | 99 |
| НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ | |
| ИНГМАР БЕРГМАН — Исповедальные беседы. Перевела со шведского А. Афиногенова | 101 |
| ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ | |
| БОРИС ЕКИМОВ — В снегах | 158 |
| ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА | |
| Ю. КАГРАМАНОВ — Демократия и культура | 168 |
| ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ | |
| А. СОЛЖЕНИЦЫН — «Голой год» Бориса Пильняка. Из «Литературной коллекции» | 195 |
| ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ | |
| ЕКАТЕРИНА КРАШЕНИННИКОВА — Крупницы о Пастернаке | 204 |
| ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ — Медленно исчезающее в зеленой траве. Публикация и перевод с немецкого Бориса Соколова | 214 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| О. НОВИКОВА, ВЛ. НОВИКОВ — Зависть. Перечитывая Валентина Катаева | 219 |
| <i>Борьба за стиль</i> | |
| ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ — Роман воспитания | 224 |
| РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ | |
| Лиля Пани. Новые сведения о Левлосеве | 227 |
| Александр Закуренко. «Киевская школа»: вступительный или выпускной экзамен? | 232 |
| Марина Новикова. Встреча | 237 |

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

| | |
|---|-----|
| Юрий Кублановский. — Инталия. Стихи и воспоминания бывших заключенных Минлага | 240 |
| Татьяна Касаткина. — Пегас ворвался в класс. Стихи, рассказы, сочинения, сказки, афоризмы и рисунки школьников Красноярского края | 241 |
| Евгений Ермолин. — Ирвинг Кристол. В конце II тысячелетия. Размышления о западной цивилизации. Статьи 1970-х — 1990-х годов | 242 |
| ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ | |
| А. КОМЕЧ — «Реконструкция» Москвы продолжается. Послесловие С. П. Залыгина | 244 |
| ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ | |
| С. Ларин. — Тадеуш Климович. Путеводитель по современной русской литературе и ее окрестностям | 248 |
| БИБЛИОГРАФИЯ | |
| Книжная полка (составитель Сергей Костырко) | 251 |
| Периодика (составитель Андрей Василевский) | 252 |
| SUMMARY | 256 |

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

ПРОПЛЫВШИМ ВДВОЕМ

* *

*

Памяти И. Бродского.

Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом.
Потому что и то и другое властью
Называется. И под его нажимом
Мы б и года не прожили — всех бы в строфы
Заклучил он железные, с анжамбманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить по давню
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.

А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише, тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, — и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!

* *

*

Так агностик говорит во мраке
С Богом, им одолженным у тех,
Кто уснул, — и ветерок с Итаки
Веет из невидимых прорех
В плотной ткани ночи; так чужую
Любящий любимую жену,
К ней в мечтах приблизившись вплотную,
Забредает в райскую страну,
А нелюбящий, но жаждой славы
Опаленный, роется в чужой
Биографии, венец кровавый
Примеряя с легкою душой;

И еще одно уподобленье:
 Так уставший в этом мире бед
 Занимает на ночь сновиденье
 В тех краях, где этой боли нет.

* *
 *

Знаешь, лучшая в мире дорога —
 Это, может быть, скользкая та,
 Что к чертогу ведет от чертога,
 Под которыми плещет вода
 И торчат деревянные сваи,
 И на привязи, черные, в ряд
 Катафалкоподобные стаи
 Так нарядно и праздно стоят.

Мы по ней, златокудрой, проплыли
 Мимо скалоподобных руин,
 В мавританском построенных стиле,
 Но с подсказкою Альп, Апеннин,
 И казалось, что эти ступени,
 Бархатистый зеленый подбой
 Наш мурановский сумрачный гений
 Афродитой назвал гробовой.

Разрушайся! Тони! Увяданье —
 Это правда. В веках холодей!
 Этот путь тем и дорог, что зданья
 Повторяют страданья людей,
 А иначе бы разве пылали
 Ипомеи с геранями так
 В каждой нише и в каждом портале,
 На балконах, приветствуя мрак?

И последнее. (Я сокращаю
 Восхищенье.) Проплывшим вдвоем
 Этот путь, как прошедшим по краю
 Жизни, жизнь предстает не огнем,
 Залетевшим во тьму, но водою,
 Ослепленной огнями, обид
 Нет, — волнением, счастливой бедою.
 Все течет. И при этом горит.

* *
 *

Когда бы град Петров стоял на Черном море,
 Когда бы царь в слезах прорвался на Босфор,
 Мы б жили без тоски и холода во взоре,
 По милости судьбы и к ней попав в фавор.

В каналах бы тогда плескались nereиды
 Не так, как эта тварь в снегу и синяках,
 Не снились бы нам сны, не мучили обиды,
 И был бы здравый смысл в героях и богах.

Когда бы град Петров с горы, как виноградник,
Шпалерами сбегал к уступчатым волнам,
Не идол бы взлетал над бездной, Медный Всадник
Не мчался б, приземлясь, по трупам, по телам.

Тогда б ни топора под мышкой, ни шинели,
Венеция б в веках подругой нам была,
Лазурные бы сны под веками пестрели,
Геракловы столпы, Икаровы крыла...

А только...

Не только звук, а мнится, каждый пальчик
Нам пианистка дарит и дает
Поцеловать, почувствовать, — и ларчик
Неисчерпаем праздничных щедрот,
Как будто я влюблен, — не знаю только,
В нее, в мазурку, в нотную тетрадь?
Мне все равно, еврейка или полька,
Ах, лишь бы жить и ручки целовать.

Карга, быть может, мощная старуха,
За сотни верст от комнаты моей...
О, наслажденье чистое для слуха!
Так и должно быть только меж людей:
Не цвет волос, не возраст, не манера
Кривить, склонясь над клавишами, рот,
А только сердце, пламя только, вера,
В загробных звездах только небосвод!

* *
*

Не заслужили мы теплого лета,
Как заслужил его Тютчев однажды,
Спрашивал: как и за что ему это,
Так, ни с того ни с сего? Персонаж ты
В хмуром каком-то холодном романе.
Ах, не читать бы, поставить на полку!
Жимолость в дымке, и тополь в тумане,
Дождь за окном моросит втихомолку.

Что ж, посмотреть, что же было в то лето,
В те времена, — как дается награда?
Боже мой! Тоже война без просвета,
Флот иностранный на фоне Кронштадта,
Траур в знакомой семье: потеряли
Мужа и брата в кошмаре кровавом,
Солнце в гостиной лежит на рояле,
Знойно и весело листьям и травам!

Эпиграмма

Сегодняшний Зоил бездарен так и жалок,
Такая это смесь вранья и глухоты,
Что греческий его прообраз и аналог
Из тьмы веков ему сочувствует: эх ты!
Как звать тебя, скажи еще раз, Топоровым?

Проси, чтобы поэт заметил твой зудеж¹ —
И, тленья убежав, прихлопнут точным словом,
Останешься в веках и вечно заживешь.

* *
*

Я старости боюсь: она стихов не хочет,
Стыдятся их, брюзжит, а коль сама их пишет,
То сна они бледней и выжимки короче,
И бедный их узор бесцветной ниткой вышит.

И жаждет простоты! Уж лучше б воровала!
Скупа она, скучна и так афористична,
Что все ее стихи как раз для пьедестала.
Смешно на нем стоять! Опомнись: неприлично!

Дождем тебя зальет, плечо изгадит птица.
Когда ослабит жизнь горячее объятие,
Не страшно умереть, а страшно превратиться
В хранилище добра и мудрости исчадь.

Поэтов надо в лес на санках, как звенки,
Свозить, когда им лет под семьдесят, чтоб фальши
Не слышать, пусть сидят, уткнув лицо в колени,
Под семьдесят, в глухом лесу, а то и раньше!

* *
*

Я теперь, как барометр, предсказывать бурю берусь.
Начинает болеть голова или сердце томиться за сутки
До того, как придвинутся ливень и тьма. Что за грусть,
Что за мрак! Запинается речь, спотыкаются шутки.

Как симбирский ямщик, я теперь среди ясного дня,
Обратясь к седоку, мог бы молвить, отъехав с три мили:
«Не вернуться ли, барин?» А тот, не послушав меня,
Приказал бы скакать — и в метель бы мы с ним угодили.

То есть я постепенно смыкаюсь с природой, во мне
Все чувствительней нервы, все тоньше и уже сосуды:
Так на севере стланик, весны приближенье во сне
Ощущая, встает, сбросив снежные комья и груды.

Подожди, я и будущим скоро займусь, — буду знать
Все, что кроется в нем, — мне для этого надо лишь тенью
Стать, деревьям ночным и кустарнику в поле под стать.
И Кассандра не к девушкам ближе всего, а к растению.

¹ В рукописи у меня другое слово. (Примеч. автора.)

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

*

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕНИ

Роман

1

МЫ СТОЯЛИ ПЕРЕД НИМ ДВОЙНЫМ ПОЛУКРУГОМ — СВОДНЫЙ хор музыкальной школы, разноголосый, разнохарактерный, который он, застенчиво построив и выявив голосовые возможности, учил дружить голосами, любить голосами, то есть петь хором. Пока длилась распевка и голоса наши блуждали по арпеджио последовательных тональностей, небесное тело Луны, совершая свой космический полет вокруг Земли, вышло на финишную прямую и оказалось между нами и Солнцем. По радио сообщили, что полное солнечное затмение будет наблюдаться в полосе шириной от пятидесяти семи до ста восьми километров. Круглая тень бегущей Луны коснется Земли в районе Сухуми, продвигаясь через Гали, Зугдиди, Очамчире, пересечет Кавказский хребет, перелетит через Терек, выйдет к Азовскому морю. Солнечное затмение будет также наблюдаться на протяжении полутора минут в нашем городке. Нам повезло: быть может, никогда в жизни мы больше не увидим этой минутной ночи посреди ясного белого дня.

Он стоял перед нами в куцем бархатном пиджачке и потертых брюках. Глаза его казались незрячими, как будто вся их стекловидная лазурь перетекала в слух. В его воздетых к небу руках чувствовалась сила, точно он собирался дирижировать весенним паводком, извержением Везувия или солнечным затмением, наступление которого возвестили наши слабые голоса. Да, голоса наши были слабы, но именно на нас, учениках музыкальной школы провинциального городка, он опробывал свои первые сочинения. Мы тянули в терцию первую синкопированную музыкальную фразу «Ухо-о-одит день», пристально всматриваясь через мутное оконное стекло в огненный диск солнца. Кто-то бросал нетерпеливые взгляды на ручные часы. Звучание септаккорда, венчающего эту реплику, улетело в бесконечность, исчисляемую миллионами лет, как период полураспада урана-235; звук за звуком, секунда за секундой, событие за событием — все это происходило одновременно. Мой голос соскользнул в черную дыру модуляции, из которой, казалось, не было выхода в тонуку, впрочем, в гармонии всегда имеется какой-то запасной выход, а за окном пронесся тревожный ветер, взвихривший с пылью разом все не востребуемые вести.

Наш дирижер выбросил из сжатых кулаков указательные пальцы, и солисты от альтов и сопрано затаили: «Мы сами вам больше ничего не скажем, мы листья, трава, прозрачная тень...» В этих словах господствовала странная, таинственная гармония, создающая чувство отрешенности, которое мы вдруг ощутили, когда неведомое тело выползло из голубой пустоты и коснулось края солнечного диска, увлекая за собой занавес ночи... Небо стремительно наращивало синеву, хор птиц за окном приумолк, и круглая тень, как сверхзвуковой самолет, понеслась по земной поверхности...

Мы высыпали во двор. Облепившие заборы и деревья мальчишки наставили на солнце закопченные осколки стекол, неотрывно следя за тем, как тень луны напознала на него, будто пыльный серый чехол на лезвие ножа, закрывая от нас его огненный лик. Космический холодок шевельнул наши волосы. Ясный день вокруг нас вдруг померк. В эти секунды Модибо Кейти в Судане принял решение стать главой государства, в Сайде, в двухстах метрах от алжирско-марокканской границы, упало несколько мин. Две американские водолазные команды привязывали к своим ногам свинцовые грузы, чтобы опуститься в перенасыщенные солями воды Мертвого моря и отыскать на дне его остатки Содомы и Гоморры. В Париже Евгений Стравинский вышел на сцену Гранд-опера, чтобы дирижировать «Русланом и Людмилой»...

Вот тело луны оторвалось от солнца, освобождая все большую и большую часть неба для ясного дня, сползая с его диска, словно блин с днышка торчащего на колу печного горшка, а тень ее понеслась дальше — через зеленые Карпаты, Венгрию, Австрию, скользнула над увитой дикими розами церковной стеной в Фонетаме, где покоился прах поэта Райнера Мария Рильке, прошла над Нормандией, Уэльсом — и дальше, дальше, глотая секстами и септимами параллели и меридианы. И когда наши голоса вернулись в концертный зал, в тонику, солнце опять сияло в зените небесного поля, в расцвете своей славы.

2

БОЛЬШОЙ ЯБЛОНЕВЫЙ САД ОКРУЖАЛ ОБЩЕЖИТИЕ. НОЧЬЮ яблоки в саду падали особенно гулко и часто, как будто в темноте кто-то невидимый ходил по нему и слегка обтрясал ветви деревьев. Мерный стук, сонная перекличка созревших плодов, не давал мне уснуть, цепляя сознание какой-нибудь дальней веткой, отпускающей яблоко. К утру они переставали падать, точно с наплывом зоревой прохлады уменьшался их физический вес или ослабевала сила ньютонова притяжения. Или плоды, как живые существа, сами боялись нарушить предрассветную тишину.

В первые свои дни в этом городе я подымалась рано, когда соседка Неля еще спала, и спускалась в сад, чтобы дать глазам привыкнуть к окружающей красоте, пока не встало солнце. Был конец августа. Слоистые пепельно-розовые сумерки бродили в складках гор и ущелий. Солнце медленно выплывало из-за Столовой горы. Я встречала первый взгляд его лучей, в ту же секунду из-под деревьев выползали сизые, дымчатые тени, и опять начинали постукивать в разных концах сада яблоки. За яблонями великолепно стояли горы. Где-то за ними возвышался Эльбрус, Бештау, Машук, там, за горами, вечно длилась дуэль Печорина с Грушницким, который падал в пропасть и снова возникал, как заколдованный, на узкой площадке, стоило только перевернуть страницу обратно. Что-то во мне оживало, раскрывалось навстречу солнцу и зарождающемуся дню.

Однажды утром, возвращаясь с прогулки, я увидела в саду три туманные фигуры, на четвереньках ползающие в траве. Я осторожно подкралась поближе, недоумевая: что бы это значило? Странная мистерия, разыгрываемая какими-то солнцепоклонниками, укрытыми туманом? Или же это вышли на охоту фитологи, занятые изучением редкого растения, раскрывающегося на заре?.. Теряясь в догадках, я неслышно перебежала от дерева к дереву. Фигуры осторожно ползали по траве, ощупывая перед собою землю какими-то мелкими, судорожными движениями, точно крестили шепотью земную твердь. Мне привиделось, будто они ищут в траве брошенную вещицу, которую нельзя обнаружить глазом. Так я думала, пока не увидела четвертого — слившегося со стволом дерева. Он держался руками за яблоню — и вдруг бешено затряс ее, как Самсон, его красивое лицо не выражало никакого чувства. Яблоки западали чаще; трое остальных — это были молодые ребята моего примерно возраста, теперь я видела их отчетливо, — осторожно нащупывали плоды в траве и подкатывали

к себе. Их товарищ опять принимался трясти дерево. Одно яблоко подкапилось к моим ногам. Я нагнулась за ним, поднесла ко рту, с хрустом надкусила... И тут, как по команде, все они вдруг замерли, обратив ко мне настороженные лица, странность которых я еще не разгадала. Кто-то из них крикнул:

— Ведь сказано было — немывтыми не есть! Их опрыскивали...

И тотчас, как бы сами к себе прислушиваясь, они все заговорили вразнобой:

— Это не я...

— Не я...

— И не я...

— Кто здесь? — спросил тот, который тряс дерево, глядя на меня закатившимися под веки глазами, и тут я поняла все.

Это были слепцы, такие же, как и я, абитуриенты музучилища, — я уже слышала о них от вахтерши.

Один из слепых вдруг вынул из травы металлическую трость, поднялся на ноги и пошел прямо на меня. В замешательстве, как на живое существо, способное меня увидеть, я смотрела на его палочку, которой он фехтовал с невидимым и враждебным пространством, медленно приближаясь ко мне. Вот трость нацелилась на дерево, за которым укрылась я... Я слышала дыхание слепого, видела перед собою его одутловатое, плохо вы бритое лицо с почти закатившимися под веки зрачками, как будто он силится что-то разглядеть под своими надбровными дугами. В ту минуту его лицо показалось мне огромным и безобразным, оно испугало меня, хотя было беззащитно: слепому некуда укрыться от стихии чужого взора, и он не мог защититься ответным взглядом в упор. Неловко было вот так пристально смотреть на него — он стоял передо мною, вооруженной зрением, безоружный. И только я отвела глаза, как он убрал свою трость, будто поверил наконец в то, что за деревом никого нет.

Спустя несколько часов я увидела слепых в столовой.

Они вошли гуськом, один за другим, положив руку впереди идущему товарищу на плечо, и только первый из них, носивший толстые очки, шел помогая себе палочкой. Они взяли со стола жирные подносы и встали в очередь за невидимой, неведомой им пищей. Повариха на раздаче что-то спросила, перегнувшись к ним через стойку, поставила каждому на поднос тарелки с кашей, вареные яички и стаканы с кефиром. Тот, что тряс утром дерево, с красивым тонким лицом, отправился на поиски свободного столика. Он нащупал спинку ближайшего стула, второго, третьего, а с четвертого, прихватив недопитый чай, уже тихонько соскользнула девушка, пересаживаясь за другой стол. Слепой тут же уселся на освободившееся место, мерно постукивая по столу костяшками пальцев, как радист, подающий условный сигнал, на который потянулись с подносами остальные. Последний, тот, кто утром чуть было не обнаружил меня своею тростью, рассчитывался с кассиршей. Кассирша боязливо похозяйничала в чужом портмоне — портмоне слепого, вытянула из него купюру и бережно вложила обратно сдачу. Очевидно, отношения слепых с миром и не могли строиться иначе как на огромном к нему доверии.

Слепые расселись, пристроив свои палочки за спинками стульев, одинаковым движением постукали яичками о стол, быстро-быстро очистили их. Из-за каждого столика на них смотрели любопытные глаза, и слепые барахтались в сетях чужого зрения, как большие рыбины, даже не догадываясь о том, что происходит вокруг них. У одного скобкой, как нарисованная улыбка клоуна, уже белел вокруг рта кефир, у другого на подбородке остался след желтка, но они, как запачкавшиеся дети, не замечали этого. Трое из них были чем-то похожи друг на друга, хотя у них был совершенно разный тип лица. Впечатление этого сходства, скорее всего, рождалось из-за недоразвитости лицевых мышц слепых — мышц, которые тренирует зрение, произвольно стягивающее за собой в действительность все наши чувства, мысли, все движения души. Такие лица не способны удерживать

на себе маску, на них почти всегда готовое, недоумевающе-настороженное выражение. Четвертый слепой, классический горский красавец, не был похож на остальных, но и его лицо в эту минуту было лишено мимики, как застывший лик статуи. Поев, они одинаковым движением стряхнули со стола в тарелки скорлупу и, взявшись за свои палочки, гуськом покинули столовую.

С Нелей мы познакомились на вахте в первый же день нашего вселения в общежитие. Вахтерша баба Катя с самого порога просекла нас обеих, еще не зная содержимого наших чемоданов и не открыв новеньких паспортов. В глазах ее светилось острое ласковое любопытство, точно эти две новенькие уже одним своим обликом и скованными манерами обещали ей в будущем какое-то редкостное зрелище.

— Вы обе русские, вот и живите вместе, — сказала она.

Я приняла из рук вахтерши ключ, тем самым сразу претендуя на первенство в нашем будущем тандеме. Мы поднялись на третий этаж, отперли пустую комнату с тут и там ободранными нашими предшественниками обоями и стали распаковываться. Наши чемоданы выпустили на свет божий ворох одежды, белья, стопки нот, залепетали жалобным детским лепетом, с головой выдавая нас обеих. Посматривая друг на друга, мы одновременно выкладывали: чугунную статуэтку Музы с лирой в руке каслинского литья, плюшевого мишку, плюшевого зайку, отлакированный корень в виде змеи, кедровую шишку, стеклянную вазу для цветов и хрустальный рог для вина, потрепанного «Героя нашего времени» с карандашными плюсами и минусами на полях, томик поэта Ф. Петрова, крохотный глобус и карту Индийского океана. Отложив весь этот вздор в сторону, мы наскоро осмотрели наши ноты: у нее были прелюдии и фуги Баха, у меня сонаты Бетховена, у нее ноктюрны, а у меня полонезы Шопена, у нее Черни, у меня Геллер, у нее «Картинки с выставки» Мусоргского, у меня «Времена года» Чайковского, — и этого нам на первое время должно было хватить, учитывая то обстоятельство, что при училище имелась нотная библиотека.

Мы сбегали через мост в магазин за вином и всю бутылку выпили из ее рога, сидя на панцирных сетках кроватей. У нас не оказалось ни миски, ни вилки, не было даже гвоздя, чтобы повесить ее портрет Шопена и моего Петра Ильича, зато до глубокой ночи мы читали друг другу стихи, забыв вовремя сходить за бельем и матрасами, поэтому первую ночь провели не раздеваясь, постелив на панцирные сетки свои плащи, а поутру, проснувшись, обнаружили, что ни у нее, ни у меня нет с собой даже расчески. Надо было решать многие практические вопросы, но мы опять побежали за бутылкой вина и плавленными сырками «Новость» на завтрак, положившись на свой легкомысленный задор, молодость и внезапную свободу, распахнувшую перед нами свои горизонты.

Перед вступительным экзаменом по специальности я увидела одного из слепых. Он стоял у окна в стороне от абитуриентов, сгрудившихся перед дверью аудитории, обратив к нам свое красивое лицо. Я не могла оторвать от него глаз, он стоял так близко, что я на какое-то время забыла обо всем.

Создав его таким прекрасным, природа словно возразила самой себе, опустившись вдруг на уровень человеческой мысли, то и дело опровергаемой в своем полете другой мыслью — мыслью-двойником, плутающей вокруг да около, перемалывающей в поисках своего «я» все величавые числа мира, обращающая их в водяную пыль дробей, каждая из которых несла в себе микроскопические отражения части целого замысла, увы, уже неподвластные нашему глазу. Но, может, природа ничего такого и не имела в виду — просто, на минуту забывшись, причислила отдельное человеческое существо к отряду цветов или воинству деревьев, неспособных удостовериться в собственной прелести. В том, что кто-то или что-то не смотрится в зерка-

ло, не пытается выманить у мира немедленный отклик, не рассчитывает на отражение, не тупит взгляд о чужую поверхность, будь то человек или камень, всегда есть известное благородство. Такацкий станок моей судьбы только-только пришел в движение, и я не сознавала, что девять десятых своего времени трачу именно на поиски собственного *отражения* — будь то в стекле витрин, глазах окружающих или своих собственных мыслях, еще не понимая до конца, что среди зарослей этих множасьихся зеркал теряется из виду та главная дорога, которую единственно и следует иметь перед собой. И потому в конечном счете мне этот слепец был тогда неинтересен. Его красота была способна ослепить глаза и выжечь сердце, если б он мог увидеть себя со стороны, если бы смог включиться в зеркальную игру отражений, отравленную волнующей опасностью живых и сложных человеческих отношений. Люди должны смотреть друг на друга, вот какая беда, даже если от их взглядов между ними вырастают дремучие леса или кто-то падает замертво. Уже давно все в мире выстроено на видении, которое, впрочем, не ведает, что творит. Он был как невидимка, этот парень, хотя внешность и сила характера, все же прочитывающаяся в чертах лица, обрекали его на то, чтоб быть героем, человеком, о котором говорят, о котором думают и перед которым открывают настежь двери, чтобы позвать его в дом, поймать на кончик языка, удержать на краешке мечты.

Дверь аудитории, за которой сидела комиссия, открылась, и высокая сухопарая женщина с коротким ежиком волос позвала его:

— Коста!

Слепой разулыбался и пошел навстречу ее голосу; перед ним, как перед важной персоной, все расступались.

Как только он скрылся за обитой дерматином дверью, мы все прильнули к ней. Всем было интересно, что может исполнить на фортепиано слепой. Мы даже немного приоткрыли дверь, чтоб лучше слышать его игру.

Игра его нам показалась напряженной и слишком правильной, в ней не было полета свободного чувства, но это была честная, хорошая игра. Вместо Баха этот Коста начал почему-то со «Смерти Изольды» Вагнера в переложении Листа. Затем он заиграл сложную сонатину Равелли, и мы получили возможность убедиться, что техника у него превосходная. Потом — «Тарантеллу» Даргомыжского, звучание которой поразило меня настолько, что я не сразу поняла, в чем, собственно, дело, и только после того, как отлетело несколько музыкальных фраз, сообразила, что «Тарантелла» исполняется на двух фортепиано. Второй инструмент звучал гораздо сильнее и богаче, чем первый. Я и не думала встретить в провинциальном музыкальном училище такого сильного исполнителя: обычно наши преподаватели быстро старились после своих консерваторий и скорее могли что-то объяснить словами, чем показать игрой на инструменте. Я струхнула. И перед таким учителем мне предстояло играть!

Коста вышел из аудитории. Мы все, попятившись от двери, быстро рассыпались по коридору — почему-то никто не хотел играть после него. В дверь концертного зала дерзко проскользнула Неля. Мне хотелось прежде узнать, кто тот педагог, с кем Коста так здорово играл в четыре руки. И я подошла к слепому:

— Вы не скажете, кто это с вами играл Даргомыжского?

Слепой любезно улыбнулся и протянул мне руку, я вынужденно подхватила ее и пожала.

— Коста, — не отпуская моей руки, представился он. — Это играла моя учительница Регина Альбертовна. Мы с нею полгода готовили эту программу. Рекомендую вам ее, очень сильный педагог.

— Это-то мне и не нравится, — пробормотала я и, чтобы преодолеть смущение, спросила: — А в чьей обработке эта «Тарантелла»?

— Тоже Листа. Он пахал не только на своего зятя Рихарда, а еще на добрый десяток композиторов.

Коста смотрел сквозь меня, и на невидящем лице его играла тень насмешливой улыбки. Он продолжал держать меня за руку и, похоже, от души забавлялся моим замешательством. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы из зала не вышла та стриженная женщина и не подошла к нам.

— Коста, отпусти руку девушки...

Коста освободил мою руку и, обернувшись на голос преподавательницы, заговорил с ней о своем выступлении, тотчас забыв обо мне. Тут вышла Неля, отыгравшая свою программу. Я вошла в зал.

За сыгранного мною Баха, Черни, Скарлатти и Чайковского я получила четверку с минусом. На большее я и не рассчитывала, потому что Регина Альбертовна быстро вернулась в зал и я, заробев, сразу стала сбиваться. Зато экзамен по сольфеджио в полном объеме мне держать не пришлось. Едва преподавательница, которую звали Ольга Ивановна, доиграла до конца заданную нам мелодию, мой диктант был готов. Ольга Ивановна взяла со стола мой нотный листок и просияла так, будто я ее лично чем-то ошастливила. (Потом-то я поняла, что означала эта радость.)

— Так у вас абсолютный слух?.. С вами все ясно, — сказала она. — Вы свободны.

Спустя три дня я отбарабанила историю, что-то про народников и террориста Каляева, про всех этих людей, которым медведь на ухо наступил, вследствие чего они хором запели свою «Варшавянку», да и нам тоже завещали петь хором, чтобы не слышать своих собственных голосов, потом я быстро переписала с фотошпаргалки сочинение о «лишних» людях, а уж после этого состоялось собеседование, на котором именно лишние, те, кто набрал свои баллы со скрипом, как я, например, должны были отсеяться.

Комиссию возглавлял директор училища, благодушный семидесятилетний старец, у которого было какое-то заболевание, мешавшее ему поворачивать голову; ноги он передвигал как статуя Командора, что, правда, общало его фигуре некоторую величавость, свойственную вообще нашей склеротической эпохе. В комиссию входили восторженная Ольга Ивановна, меня уже полюбившая, преподаватель литературы, бесцветный мужчина, похоже, совсем недавно догадавшийся о своей бесцветности и потому охваченный зудом мстительной подозрительности, и, наконец, Регина Альбертовна. Грозная комиссия провинциальных педагогов, чем-то трогательная, в чем-то напыщенная и пугающая, одна из бесчисленных комиссий, заседавших в эти календарные дни (подумать только!) во всех больших и малых городах страны, от моря и до моря. Эта комиссия собралась за кулачовым столом с графином посредине, в казенных гранях которого медленно угасал предзакатный луч моей надежды, чтобы в очередной, в бесчисленный раз взвесить меня на весах общественной пользы, преподавать урок и указать мне место, выдавая всем себя за первый сорт, а меня за последний, будто ни у одного из членов ее не было всего того, что лишало почвы под ногами нас, трепещущих абитуриентов: ни неврозов, ни запоров, ни безденежья, ни больных родственников и завистливых друзей, — все это было у нас, а у них не было, и вот они собирались судить нас на предмет неврозов и потенющих подмышек... Я редко вызывала у карьерных людей симпатию, в моих глазах, должно быть, от рождения стояло это снисходительное знание — про больных родственников, про неврозы и подмышки. Преподаватель литературы уже смотрел на меня волком.

Я поняла, что вся надежда в Ольге Ивановне, которая уже полюбила меня за абсолютный слух. Литератор с некой брезгливостью, относящейся, очевидно, к моей мини-юбке, осведомился, почему я приехала поступать в их училище. Взглянув на Ольгу Ивановну, я запела про Грибоедова и Пушкина, соловьем залилась про Лермонтова и Марлинского. Ольга Ивановна радостно кивала. Преподаватель литературы поинтересовался, кого из классиков я люблю. Классики. Все они, кроме Достоевского, слава Богу, были в чести. Достоевский не совсем. Поэтому Достоевского я опустила, хотя прочитала его всего, а «Идиота» эпизодами знала наизусть. Он

спросил, кого из современных писателей я знаю. Современных! Тут надо было ухо держать востро! Я назвала одно имя — лицо его стало непроницаемым, с него даже слетело выражение праведника, терпящего напраслину. Другое — он удрученно махнул рукой и отвернулся. Буквально рискуя жизнью, я припомнила названия двух последних повестей Солоухина. И сразу увидела, что попала в яблочко: литератор засиял, засветился радостью. Мы заговорили о поэзии. Конечно, о Лермонтове. Директор благосклонно кивал — оказывается, шея его сохранила способность хоть к какому-то движению. Ольга Ивановна всячески выказывала свое удовлетворение: очевидно, этот тип, преподаватель литературы, имел здесь решающий голос. Зато Регина Альбертовна слушала меня с недоверчивой усмешкой, неслышно отбивая такт пальцами по краю стола, и это меня беспокоило. Мне следовало бы, наверное, и ее включить в круг лиц, лишенных неврозоз и подмышек. Маяковский, Рождественский, Евтушенко. Еще бы, Фатьянов. Регина Альбертовна продолжала усмехаться. Перешли на музыку. Чайковский, Равель, Стравинский, Перголези, Россини, Люлли, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев. «Что вы любите у Прокофьева?» — вдруг спросила Регина Альбертовна. «Кантату „Иван Грозный”», — дерзко произнесла я с таким видом, будто истина побуждает меня стать выше общепринятых мнений, и тогда Регина Альбертовна, обнаружив себя главной в этой четверке, безрадостно произнесла:

— Вы зачислены на первый курс. Поздравляю вас. Вы свободны.

Свободна!

Я вышла из концертного зала, испытывая легкое головокружение, чем-то близкое чувству обманутости. Мне не давала покоя гримаска, с которой меня прочли и, похоже, отвергли, — Регина Альбертовна слушала мои ответы со все возрастающей скукой, а я так старалась понравиться именно ей. У меня все не шла из памяти ее стремительная, яркая игра на фортепиано. Никогда мне так не сыграть, никогда. И, похоже, она это уже почему-то знает. Тогда зачем я остаюсь здесь? Зачем стремлюсь занять чужое место? Нерастворимый горький осадок этого знания о себе уже медленно отравлял мне кровь...

Тут я увидела сидящих на скамейке с аккордеонами в руках двух слепцов. Один из них, очевидно слабовидящий, был в больших очках-окулярах. Я прошла мимо них к доске объявлений. Они как по команде вдруг вытянули шеи в мою сторону, беспокойно зашевелились и сначала шепотом, а потом в голос яростно зашпорили:

— Это она!

— Ты-то почему знаешь?

— Духи. Это ее духи.

— Мало ли кто душитя такими духами!

— Точно она!

— Ладно, давай проверим... Девушка, э, девушка!

Девушки, вместе со мной стоявшие перед расписанием, обернулись. И каждая стеснялась подать голос, чтобы спросить, к кому, собственно, они обращаются.

Слабовидящий, вытаращив огромные глаза, увеличенные его очками-биноклями, нажал на клавишу аккордеона:

— Это какая нота?

Девушки рассмеялись, а я ответила:

— Соль.

Тут они всюю принялись нажимать на клавиши своих аккордеонов. Я едва успевала отвечать. Наверное, ответы мои были правильны, потому что слабовидящий широко улыбнулся и попросил:

— Подойдите к нам!

Я сделала один шаг и оглянулась на остальных.

Глаза девушек за моей спиной, казалось, удерживали меня от второго прометчивого шага на краю открытого космоса, который отверз передо

мною взгляд слепца, и слабовидящий усилиями своих стекол приостановил начавшийся было со мною процесс аннигиляции. Его видение, скорее всего, отражало истинное положение вещей. Я и сама не слишком была уверена в своем существовании и тоже нуждалась в окулярах, чтобы хоть с их помощью приблизиться к действительной жизни. До меня сейчас можно было дотронуться, можно было убить, но являлось ли это доказательством подлинности моего бытия? Если я уже родилась, то почему еще не живу? Заданность маршрута, вектор сопутствующих ему чувств, предвзятость существования были налицо — разве здесь могло быть место жизни? Попытка начать все с чистой страницы была обречена на провал: на ней уже проступали симпатическими чернилами написанные правила — ни клочка для чистого экстаза, патетического безумия! И если мы еще несли в себе частицу подлинности, то этим были обязаны природе, движущейся сразу во всех направлениях и выводящей слово «вперед!» полетом шмеля или опаданием листьев.

— Меня зовут Теймураз, — представился слабовидящий.

— А меня — Женя, — назвалась слепой.

Я назвала свое имя.

— Я вас сразу узнал, хотя вы сегодня в другом платье, — желая блеснуть своим зрением, сказал Теймураз.

— Это я узнал! По духам! — возмутился Женя. — А ты со мною спорил!

Я хотела возразить, что на мне вовсе не платье, а блузка и мини-юбка и что в этом наряде я приходила на все экзамены, но вовремя прикусила язык.

— Вы теперь с нами в одной группе, нам это сказала Ольга Ивановна, — продолжал Теймураз. — Всех, у кого абсолютный слух, она выделила в специальную группу, — гордясь, сказал он.

— Нас четверо. Еще Коста с фортепианного отделения и Заур с хордирижерского, — обьявил Женя. — А вот и Заур идет... — добавил он, повернувшись на стук палочки.

Теперь мне все стало ясно. Ясен принцип создания этой группы и ясна собственная роль внутри ее.

Заур — худенький, со старческим, скопческим лицом слепой — подошел к нам, и Теймураз с Женей представили ему меня. Заур нехотя кивнул и сел рядом с Женей, демонстративно отвернувшись от нас. Я подумала, что ему тоже была понятна моя роль в их четверке.

— Вы из какого города? Вам сколько лет? — спрашивали Женя и Теймураз. — На чем вы играете? У вас родственники здесь есть?..

Они нажимали и нажимали клавиши, а я автоматически отвечала: изпод Куйбышева, восемнадцать, на фортепиано, нет.

— А мы с Теймуразом будем учиться на народном отделении, — похвалился Женя, хлопнув по своему аккордеону.

Я чуть было не сказала: вижу, что на народном.

— Я живу в Таганроге, — добавил он.

— А я из Беслана, — сказал Теймураз. — Коста из Цхинвали, а Заур из Армавира, да, Заур? Как хорошо, что у вас тоже абсолютный слух! Девушка в группе — это всегда радостно и приятно.

(Он так и сказал, клянусь Богом, — радостно и приятно.)

3

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ, КОГДА СКВОЗЬ ДЕБРИ НЕПРОБУДНО спящего в памяти времени блеснул первый луч музыки: летом или зимой, ясным днем или поздним вечером? Различные мелодии давно уже, как молнии, слетали с черного диска на семьдесят восемь оборотов, вырывая из мягких сумерек комнаты детали и образы, спешившие неузнанными уйти² опять в темноту: белый грязный щенок, топчущийся в коридоре, лужица пролитого в зеркальных пластах памяти чая, приподняв свое матрос-

ское брюшко, из нее жадно пьет оса, желтая роза с конфетной коробки, я настойчиво предлагаю ее понюхать отцу, потому что она и впрямь пахнет розой, накануне я натерла ее розовыми лепестками... Звуки музыки обступили меня, я слышала их и видела, но что-то во мне оставалось нетронутым. Я *видела* различные пассажи и аккорды отчетливо, как видят вещь: вот чистая кварта, как вскрик, — это падает голова казненного Эгмонта, а это рассыпавшаяся по полу веером стопка любовных писем, вот это закатились под край серванта разноцветные бусинки, а этот головомный аккорд подпирают шахматные кони. Я представляла состав этих звуков: в одном случае они были сделаны из капель сосновой смолы, в другом — из кругляков литого полуденного света, из слюды инея, зрочка стрекозы. Одно вещество переплавлялось в другое, прихватывая развединенные в видимом пространстве образы, чтобы слить их в реку павлиньих хвостов, дикорастущую радугу бешеного фейерверка, на который хрусталик проматывает такие огромные средства, что, когда гаснет последний звук, все вокруг становится седым, как пепел, разом постаревшим, и уже не на что приобрести впечатление от наступившей вдруг тишины.

...Это был хор девушек из «Аскольдовой могилы» Верстовского. Что было в этой заунывной мелодии такого, что разом выжгло из музыки и уничтожило романтические тени, отбрасываемые в мир зримых образов?.. С тех пор я не видела ни рассыпавшихся писем, ни гремучего жемчуга, ни павлиньих хвостов. Как будто простыню, на которую был нацелен проектор, снесло порывом ветра, но изображение высокого леса осталось, я оказалась посреди него. Это было не зрение, не слух, не игра воображения, а чувство. Я зарыдала. Моя детская память попыталась вынестись на орбиту чьей-то забытой жизни, которую эта мелодия запечатлела и оплела, как зодиакальная река, но не могла пробиться сквозь шум времени. Я попыталась объяснить испуганным родителям, что слышала, уже слышала эту музыку. Но они не могли понять, что я хотела сказать словом *слышала*. «Конечно, — утешали меня они, — ты слышала: этот хор часто звучит по радио по заявкам слушателей». — «Тогда не было радио!» — захлебывалась я. «Когда?» — почти с возмущением спросили родители, и я осеклась, боясь проговориться. Мне казалось, я легко смогу объяснить им — *когда*, но этого нельзя было делать... Я почувствовала, что есть на свете невыговариваемые тайны. Если попытаться раскрыть их, произойдет что-то непоправимое, что-то во мне разорвется, как нитка бус, и я закачусь всеми своими распавшимися существами под такую тьму, из которой меня обратно не выудить никому.

Постепенно я заново переслушала наши пластинки: арию Царицы ночи, состоящую из сплошных мелодических восклицаний, дуэт Любаши и Грязного с восходящей и нисходящей, почти речевой мелодией, романс Полины, начинающийся с дивного арпеджио клавикордов, хор из «Набукко» — «Лети же, мысль, на крыльях золотых», — похожий на молитву, исполненную голосами в унисон, изумительную по красоте стретту Манрико «Об этом костре...» из «Трубадура». Мне хотелось двигаться, нырять, летать, сопрановые голоса навевали мечту о невесомости, а тенора, как зов из далекого прошлого, гнали меня из дому: положив под щеку весь летний простор, начинавшийся за калиткой нашего дома, я почти засыпала на скамейке, обессиленная наплывом музыки.

Отец звал меня на прогулку, но я и без того уже находилась в путешествии. Меня укладывали спать, но тьма под веками, испещренная падающими кометами, приходила в движение. Ее мощное течение тащило меня за собою, как утопленницу, в непрекращающийся инструментальный гул, из которого мучительно высвобождалась мелодия. *Слух разверзся как бездна*, в ней исчезли многие прошлые радости: цветные карандаши, куклы, книги, пляж, марки, грядки с клубникой и долгие разговоры с родителями по вечерам. Теперь мне не хотелось разговаривать, не хотелось слышать их голоса. Речь казалась уловкой звуков, стремящихся вытеснить из себя опасную музыку. Слова ни на что не годились, если не сопровожда-

лись мелодией. Слова, как слепые, лишь называли, спорили да означали ненужные вести, не знали, куда податься, к кому примкнуть, на чей последовать голос, чтобы хоть когда-нибудь добраться до музыки. И только чудесные облака несли в себе такую же подлинную, как она, событийность, проплывая над всем, чего не следует касаться душой, и такую же глубокую идею преображения.

Ящик с проигрывателем стоит на узорной салфетке, вырезанной мною с помощью ножниц из вчетверо сложенного квадрата цветной папиросной бумаги. В теплом кольце света, отбрасываемого лампой с апельсиновым абажуром, вертится диск черного шеллака. Отец и мать ходят по комнате, как по сцене (он — по-петушии подбоченясь, она — обхватив себя руками), и с болью, с сокрушением сердца выговаривают друг другу каждый свое, не замечая, что живут они в одном музыкальном пространстве, волна звучаний заливая территорию слов, на которой они бестолково топчутся, как лунатики на краю карниза, беспомощные и ожесточенные. Нет, все должно разрешаться лишь средствами гармонии. Мелодия блуждает по различным инструментам и регистрам, истончаясь в смычке и угасая на кончике флейты, как человеческая жизнь, и с новой силой вдруг вспыхивает в оркестре — и, пока ею не перегорит каждый инструмент в отдельности, пока не избудет ее своим голосом, как грешник свои грехи, покоя не будет.

Стены нашего дома все время в движении, они перегруппировываются, образуя множество комнат для Вивальди, Глинки, Рахманинова, или, вернее, наша гостиная всякий раз принимает форму той музыки, что колоссальными витками сходит с крутящейся на проигрывателе пластинки. Слой за слоем игла снимает пламенное звучание смычковых, эхо валторны, обуреваемой духом струнных, всплеск теноров, оплетающих доминирующую тему, рыдание кантилены, движение хоров, проносящееся над клавишными как ветер, воспевающий весну, после чего эта взметнувшаяся из-под иглы буря, прогремев напоследок хроматизмами и полутоновыми секвенциями, улетучивается в тонический аккорд...

Каждый инструмент проносит мелодию в своем сосуде, каждая тональность влияет на воздух комнаты, словно в нее вносят только что срезанную сирень, ведро полевых цветов или охапку левкоев. И все наши прежние споры кажутся пустыми. *Дом охвачен заревом музыки*, но мы переживаем ее по-разному, точно каждый из нас находится под только ему одному предназначенным столпом хрустального света, внутри которого всякий звук взрывается видениями. Между нами передвижной занавес. Из-под тяжелых складок нашей застарелой семейной драмы, о которой я еще поведаю, пробиваются лучи музыки, освещающей происходящее на трех разных сценах светом глубокого смысла, но друг друга из-за кулис нам разглядеть не дано, не понять, что за тихий спектакль клубится внутри «Серенады для струнного оркестра» или «Веймарской кантаты». Мы слышим музыку, угадываем по манере исполнения имена пианистов и дирижеров, различаем голоса инструментов, чувствуем, как преобразается интонация в мелодическом эпизоде, как резко акцентируется ритм, но не слышим друг друга. Но как бы ни рознились наши взгляды и наши впечатления, мы едины хотя бы потому, что даже вещи в нашем доме пропитаны музыкой. Они носятся, как остатки кораблекрушения, по морям Баха, Бетховена, Моцарта, и только ночью, когда музыка умолкает, эти живописные обломки, вытесненные ее волнами в тишину, наскоро соединяются друг с другом, попадая петлями в привычные пазы, ввинчиваясь гайками в болты и занимая свои природные места. Но даже в ночной тишине, прильнувшей к раскрытым форточкам, музыка не может выветриться из теней, покачивающихся на лунной стене. Бахрома скатерти, на которой выткан золотисто-зеленый гарем с персиянками, повторяет ритмический рисунок интродукции к «Шехерезаде». Хрустальная люстра в граненых раскатах проносит прощальное ариозо Лознгрена. Да из каких только углов не вы-

пархивает музыка ночью, как птица, когда вся стая давно уже улеглась на верхушках деревьев...

Именно музыка сгладила во мне память о наших прошлых жилищах в различных городах и всяях, да и память о самом времени. Мне все кажется, что мы никуда не выезжали из комнат-дней, мебелированных знакомыми голосами и оркестрами, проживаем на одном и том же месте, а где-то высоко над нами проносятся, как ветра, пейзажи, исторические события, климатические пояса...

Нас вдруг надолго сводит, как во времена наступивших холодов, в одной комнате Шумана или Римского-Корсакова. Одно время года успеваешь смениться другим, а в доме прочно поселяется Чайковский, хотя никто из нас не ожидал этого, — все началось с «Сентиментального вальса», разучиваемого мною для зимних экзаменов в музыкальной школе. Скромные ученические звуки струнули с места целую лавину, и отец, не особенный поклонник Петра Ильича, понимает: для того чтобы не образовались заторы, грозящие всем нам бедой, следует разрешить этой лавине пройти над его головою.

Он не покладая рук пишет реферат слегка изменившимся под влиянием Чайковского почерком, а затем принимается печатать на машинке список своих статей для предстоящей защиты диссертации на соискание степени доктора наук. Отец был плодовит, как Гайдн или Россини. И возможно, в этом списке кораблей, как и у Гомера, была своя фосфоресцирующая сквозь научные термины поэзия. Он был талантливым химиком-органиком, но, как ни странно, мысль его любила общие, насиженные места, как горделиво шагающий на завод рабочий любит шарканье ног идущей в первую смену толпы. Зная эту слабость отца к общим местам и к так называемому веянию времени, я норовила этим воспользоваться... Мне здорово тогда помогла песенная лирика, совсем недавно узаконившая целый ряд штампов: *большие дороги, город на заре, таежный десант, туман и запах тайги* — целые колонны образов, заполняющие белые лакуны дозволенной романтики, внутри которой набирал силу мутный зародыш официоза. К этой теме, к мелодии, петляющей между высокой романтикой и мелким социальным цинизмом, я и прибегла, вооруженная популярными куплетами о поисках смысла, дальних путей и трудовых дорогах, так что отец, решивший было всунуть меня в политехнический, где он что-то значил, растерялся перед неподкупным блеском моих глаз. Но все-таки задал мне риторический вопрос: *о чем ты думаешь?* Я возразила, что глагол *думать* не несет в себе никакого практического смысла. Это почему же? — заинтересовался он, обожавший всякие споры в традициях митрополита Введенского с Анатолием Луначарским, в которых якобы рождается истина, как Афродита из пены морской. Он любил достойного собеседника. Когда он ввязывался в спор, его можно было брать голыми руками. Как и все люди этого дурацкого, полуинтеллигентного плана, заплатившие страшную цену за возможность выговориться на общие темы труда и долга, он легко впадал в рабскую зависимость от своей и чужой эрудиции. Он ждал от меня подтверждения, что о чем-то я все-таки думаю, эрго существую, что я способна развить свои таланты, чтобы заработать себе на кусок хлеба, о чем они все, родители, так пеклись.

— А ты можешь поймать себя на хоть сколько-нибудь значительной мысли? — спросила я его. — Сильной и свежей, как ветер, бьющий в паруса Колумба?

— Я все время думаю, — с готовностью отозвался отец. — Я погружен в это занятие и днем и ночью. Это моя работа — думать.

— Вот именно, работа, — изображая азарт спорщицы, возразила я, — труд, который превратил обезьяну в еще большую обезьяну... В чем плод твоей думы? В том, что ты создал какую-то там невиданную кислоту? Лучше бы ты создал в непроходимом лесу тропинку, она по крайней мере общедоступна и не кичится именем своего создателя... — разглагольствовала я.

Улыбаясь, отец одобрительно кивнул. Помолчав, припомнил вехи своего трудного пути. В шесть лет он пел на клиросе, в восемь — бегал по улицам, продавая «Известия», в десять — служил рассыльным в железнодорожной конторе, с двенадцати работал уборщиком в различных учреждениях, по ночам просиживая за книгами, к шестнадцати вполне прилично знал три европейских языка... Мало же ему надо было, мало, как нищему, стоящему перед нашей булочной с протянутой рукой, — что в нее ни сунут, за то и спасибо: революцию, террор, социальную справедливость, скорбь мирового пролетариата яростным январем двадцать четвертого года, Шахтинское дело, ежовую рукавицу, бериевскую амнистию, пакт Молотова — Риббентропа, вшивый окоп под Москвой, немецкий концлагерь под Витебском, советский на Колыме — все он принимал как неизбежность, имеющую некую высшую цель, пошитую для будущего человечества навыворот, и только однажды здравый смысл проговорился в нем: в один мартовский вечер начала пятидесятых он примчался в крохотную амбулаторию шарашки, где он вместе с другими учеными работал над созданием бомбы, влетел в палату и, даже не поняв, что жена находится почти при смерти (острое пищевое отравление!), что состояние ее с каждой минутой ухудшается, заорал:

— Родная, его больше нет! Его нет!..

Отец всегда мне казался бетховенско-вагнеровским героем, то есть героем симфонического Бетховена, слившегося с хрестоматийным Вагнером, заряжавшим в своем оркестре каждый инструмент, включая целомудренную флейту, демонической силой звучания. Чтобы изгнать бесов из этой музыки, понадобилась целая армия мирно пасшихся на обрыве XVIII — XIX веков романтиков, ринувшихся с головокружительной высоты, где пировали валькирии, в прохладное море камерной музыки. Страшное предчувствие, должно быть, терзало Шопена, когда он один встал и встретил грудью «Летучего голландца» Вагнера: ведь если Фредерик что-то и позволил себе в Революционном этюде, то это по молодости лет, наивности и неизжитому наполеонизму, который Вагнер между тем поставил во главу угла. Тема маленького человека (камерного) была принципиально чужда отцу, он надеялся, что его неукротимая энергия и мощь творца сквозь меня полетят во глубь будущего, но он забыл, что после бурного аллегро неизбежно идет адажио, чтобы не только клавишные, смычковые, ударные, медь и прочая оркестровая провинция ощутили передышку, но и вся природа выдержала некую паузу, — и в роли захватчика этой паузы выступила я. Дело в том, что когда отец обеспечивал химическую оркестровку А-бомбы, во время одного из испытаний он получил изрядное количество бэр, способное легко свалить с ног любого из вышеупомянутых романтиков, ему же оно не принесло большого вреда. Я была, есть и умру романтиком, вот почему вследствие этого события в моей крови недостает лейкоцитов. Малое число лейкоцитов — охранная грамота моего детства, безусловно состоявшегося, и это лучшее, что только может случиться с человеком. Дай Бог здоровья врачам! Они прописали мне свежий воздух, воздух свободы и вольной воли, воздух праздности и легкомыслия, чистейший озон подворотен и кислородную подушку заброшенной стройки. Таким образом, отцу на мою работоспособность уже рассчитывать не приходилось, и он ударился в мечтания, что я возьму свое (на самом деле — его) так называемой искрой Божией, каким-то даром, и все приглядывался ко мне, принимавался, соображая, в чем может заключаться этот дар.

На мой письменный стол, поросший сорняком дикой акварели и первых стихотворений, периодически ложились аккуратно вырезанные отцом из газет дурацкие заметки о юных талантах, которые в семь лет писали поэмы, а в десять дирижировали оркестром. Мне ставили в пример сына знакомых — одного тринадцатилетнего клинического идиота, который целое лето (страшно сказать!) разучивал «Годы странствий» Листа. Целое лето — то есть июнь, июль, август месяцы, которыми Бог благословил всех

детей! Мало того, в блистающем из-под золотых крон сентябре этот крестин собрался разучить первую часть Третьего рахманиновского концерта, труднейшего для исполнителя... Родителям этого мальчика я как-то посоветовала надеть на него смиительную рубашку, пока не поздно, и на дедке поставить его в угол, из этого бы он извлек гораздо больше пользы, чем из рахманиновской партитуры, по крайней мере мог бы беспрепятственно понаблюдать за перемещением солнечного квадрата по паркету или поразмышлять над красотой узора паутины, растянутой крестовиком. Этот пацан даже не читал «Незнайки», этой дивной летней книги, где Синеглазка наряжена в платье цвета колокольчика. Нет, этот зубрила не любил музыку, как любила ее я, иначе бы он сломя голову ринулся на улицу, где она вся дико росла и процветала... Как позже выяснилось, он не знал элементарных вещей, например очередности цветения растений, не подозревал, что за незабудкой и ландышем бешено зацветает сирень, за сиренью осторожно раскрывается жасмин, затем, как едва слышный инструмент, вступает колокольчик и — кукушкины слезки, он не ведал, что потом эту лазурную мелодию почти одновременно подхватывает цикорий и василек, о котором мне пришлось поведать ему отдельно...

Дело в том, что за нашими дачными участками, замыкающими город с западной стороны, до самой границы леса простиралось квадратное овсяное поле. Клянюсь нерадивым сеятелям, которых поругивали в местной газете за то, что они вечно запаздывали с севом, благодаря чему овес пускался в рост на равных правах с васильком. Это происходило в двадцатых числах июня. Синие волны бродили по золотому полю именно так, как это выразил Калинин в своей бессмертной симфонии; тему васильков чуть позже подхватывали ромашка, свежая, как декабрьская вьюга, цветной горошек, вьюнок. Конечно, лошади голодали, но мой глаз это овсяное поле, поросшее сорняком, прокормило на сто лет вперед.

Кончалось десятилетие, которое мы провели за партией. От музыкального сопровождения нашей эпохи закладывало уши, но мы уже были не в силах попадать в такт маршеобразному хору, железную поступь натасканных на завоевание звуков размывал стихийный лирический поток, которым вдруг оказались, как пламенем, охвачены все города и веси, старый хлам отжившей свое гармонии закружило в бешеном водовороте песенной лирики. В воздухе что-то менялось, набухало, цвело, звало нас на авантюры, сумасбродства, я уже ощущала в пятках щекотку грядущего побега из отчего дома. Оставалось положить на пространство, овсяное расписание поездов и самолетов, только через *пространство*, думала я, доступное, как клавиатура под пальцами, *время* может вновь обрести когда-то утраченное право полета, как парочка стрижей, которых одна чудная женщина иногда покупала у пьянчужек на лодочном причале, чтобы тут же выпустить их в небо, — при этом грубые пьянчуги радовались пташьею свободе не меньше ее.

Мне предстояло решить чисто пространственную задачу — вычислить точку пересечения молодой струи моего личного времени с потоком музыки, внутри которой я тогда собиралась жить; эта точка должна была находиться за пределами видимости той моей судьбы, что грезилась родителям, вне поля зрения очевидности, в ее историческом названии должен был слышаться отзвук романтической ссылки. Я сразу решила, что это будет окраина, где энергия соперничества существует в разреженном виде, но в то же время какой-нибудь центр, куда стекаются культурные силы. Оставалось определиться в рельефе местности, вообразить пейзаж.

Чтобы решить эту задачу, я невольно, сама того не думая, взяла за образец сонатную форму, вернее, те из бетховенских трехчастных сонат, разучиваемых мною одну за другой, в которых адажио сменялось аллегро, а не наоборот, поскольку мне казалось, что медленная, сомнамбулическая часть моей жизни близится к своему заключительному аккорду, и я уже жила предощущением безудержного ритма граве. Ритмический рисунок

местности представлялся мне нервным, неровным, полным синкоп, триолей и фермат, ведущая тема будет брать взаем все имеющиеся на клавиатуре тональности, на предполагаемой партитуре аллегро будет значиться фортиссимо; если перевести эти музыкальные и психологические соображения на язык пейзажа, то на горизонте неотвратимо вырисовывались лермонтовские горы.

Родителей смущало то, что я поступила на заочное отделение, но они не решались настаивать на переводе, боясь, что тогда я окончательно оторвусь от них. Я тоже помалкивала. Меня устраивало мое заочное, заоблачное отделение. Я полюбила свои предрассветные перелеты из курумывчевского аэропорта в симферопольский и ночные — из Симферополя в Курумывч. Иногда в последнюю минуту я меняла средство передвижения и плыла теплоходом до Ростова, где жила моя бабушка. Погостив у нее с неделку, дальше добиралась поездом. Мне нравилось расцветивать свой маршрут автобусом и «кукурузником», метеором и просто автостопом. Каждый населенный пункт, высмотренный мною на карте, я любила заочной любовью, и все же заочное отделение при всей своей заоблачности все время требовало от меня чего-то определенного: регулярных занятий на фортепиано, зарабатывания тех небольших средств, которые позволяли покорять пространство, проб поступления в другие, более весомые с родительской точки зрения, учебные заведения.

Я знала: наступит время — и я сниму с моих путешествий рельсы и колеса, как строительные леса, и тогда мои странствия обретут свободу музыкальной импровизации.

4

ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ ВЫВЕСИЛИ РАСПИСАНИЕ. КАКОВ же был мой ужас, когда я обнаружила свою фамилию в списке учеников Даугмалис Регины Альбертовны! Я стояла у доски объявлений и потерянно смотрела на список, когда кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидела перед собой саму Регину Альбертовну. Она желала со мной поговорить. Еще одно собеседование! Послушно я поплелась за нею в концертный зал.

— Я хочу откровенно объясниться с вами, — сухо проговорила Регина Альбертовна, облокотившись о старенький, но прекрасно настроенный блютнеровский рояль, свидетель моей слабости и ученического позора. — Исполнителя из вас не получится, это для меня ясно, а о том, чтобы стать преподавателем, вы, как мне кажется, и сами не помышляете... Мне положено иметь семерых учеников. Обычно я набираю в свой класс самых сильных и выкладываюсь для них целиком и полностью. Но в этом году я почувствовала некоторую усталость и решила взять кого-нибудь, с кем могла бы, так сказать, перевести дух. С вами мне не придется гробиться. Конечно, мы будем работать, но чудес я от вас не жду... Теперь, когда я честно все вам объяснила, удовлетворите и вы мое любопытство. Зачем вам все-таки понадобилось наше училище?..

Она смотрела на меня, но я увидела глаза в сторону. Угол преломления наших взглядов был невелик, но достаточен для того, чтобы мы не слишком доверяли друг другу. И лично меня это даже устраивало. В игре, которую мы все вели друг с другом — учителя с учениками, профессионалы с любителями, государство с гражданами, одна страна с другой страной, — конечно, существовали какие-то правила, но настолько устаревшие, что их никто и не думал брать в расчет. Все действовали с позиции силы, прячась за слова о долге, все хотели быть победителями, как мой отец, и поэтому чуть что — прибегали к пафосу, а прежде всех те, кто чаще других привык давить на педаль, брать свое горлом, работая на всеподавляющую иерархию. А между тем мы не обречены, нет, — мы просто обязаны быть побежденными. Видимо, в этом наше предназначение. Мне представлялось, что мы обязаны все терпеть, терпеть, посылно помогая

друг другу, слизывая кровь, сочающуюся из ран, мы должны были жить стиснув зубы, чтобы стать хорошими побежденными, достойными своего поражения, и не приведи Бог кому-то до срока выбиться наружу — он затеряется навеки в гнойной ране своей личной победы.

— Мне нужна была передышка... — ответила я, так же прямо глядя ей в глаза.

Она поблагодарила меня и сказала, что программу я могу выбрать по своему желанию.

Мы с Нелей безмятежно подкрашивали глаза, разложив на подоконнике свою косметику, как вдруг дверь с шумом отворилась и к нам в комнату с нотной папкой под мышкой вошел Коста.

Одинаковым движением мы сорвали со спинки кровати халаты и, уже накинув их на себя, переглянулись: собственно, мы могли не торопиться, наши голоса не требовали никакого облачения, а для него мы были всего лишь голосами. Коста нащупал стул и без приглашения уселся, непринужденно закинув ногу на ногу.

— Так это мы с вами беседовали о Листе? — обратился он на звук моего голоса после того, как мы ответили на его приветствие. — Я узнал, что мы будем учиться в одной группе. Очень хорошо. Присядьте, девушки, будем знакомиться.

Я возразила, что мы спешим на занятия.

— Да? И что там вас ждет? — поинтересовался Коста. — Ах, хор? Да, я не люблю петь хором, — доложил он, сразу обозначив свою жизненную позицию.

— У вас, наверное, нет голоса, — предположила я.

— Нет, все именно так, как я сказал: не люблю петь хором, — отмел мое предположение Коста. — А вы, наверное, любите?

— Хочу попробовать, — сказала я.

— Лучше не пробовать, — махнул рукой он, — коллективизм — опасная болезнь, можно и голос потерять.

— С голосом ничего не произойдет, если не слишком громко настаивать на своем существовании. Извините нас, но мы уже опаздываем...

Я не могла скрыть своего раздражения. Меня возмутило, что он, хоть и слепой, вошел к нам без стука. И, судя по всему, сделал это намеренно.

Коста поднялся со стула:

— Что ж, желаю вам приятной спевки.

У меня был абсолютный слух, вот почему, поступив в музучилище, я попала в эту отдельную группу, состоявшую из трех слепых и одного слабослышащего. Мы учились на разных отделениях, но ежедневно встречались на теоретических занятиях. Сольфеджио проводила Ольга Ивановна, бывшая солистка оперного театра, энергичная пожилая женщина с круглым приятным лицом, покрытым сетью мелких морщинок, — такие лица в старости, по моим наблюдениям, бывают у людей с чистой совестью. Она любила слепых, всячески их привлекала и разговаривала с ними приподнятым тоном, свидетельствующим о том, что человек она хороший, что она постоянно находится в высоком градусе некой гражданской озабоченности, подразумевающей приобщение всех нас, молодых, к какой-то особо насыщенной общественной жизни — если и мы усвоим этот тон. Слепые при всем своем абсолютном слухе ей верили, а я подозревала, что эта былинная жизнь, на которую намекал ее энтузиазм, давно исчерпала себя в своей наивности. Ольга Ивановна приучила себя как бы не замечать их слепоты, относиться к ней требовательно и нетерпеливо, как к какой-то шалости: упрекала их в небрежном ведении тетрадей, в опоздании на урок, хотя они действительно не успевали за короткую перемену перейти из основного корпуса в общежитие, где мы учили теорию, но, к моему удивлению, они не оправдывались перед нею, им нравились эти упреки, которые как бы ставили их в общий ряд и причисляли ко всем прочим неради-

вым ученикам. Им нравилось, когда она, прервав диктовку, говорила чуть капризным голосом бывшей примадонны: «Женя, в следующий раз пришей пуговицу, она у тебя висит на одной живой нитке...» — точно Жене, высокому слепому увальню в вельветовой курточке, ничего не стоило это сделать.

Я догадывалась, какую роль Ольга Ивановна припасла для меня, взяв в эту группу, — роль помощника и поводыря, в которую я, надо сказать, со временем вжилась до такой степени, что в какой-то момент даже потеряла себя, но это случилось позже, а тогда, на первых занятиях, я наслаждалась своей избранностью, своим абсолютным слухом, который в координатах прежней моей жизни ничего не значил. Ольга Ивановна открыто льстила мне; кивая в сторону слепых, говорила:

— Им-то сам Бог велел иметь такую барабанную перепонку, а для тебя это — дар...

Я сидела на первой парте, честно отвернувшись от клавиатуры. Преподаватели во время музыкального диктанта стараются прикрывать ее книгой, чтобы ученики не подглядели первую ноту. Важна именно первая — дальше, по интервалам, уже легче сориентироваться. В школе я всегда демонстративно отворачивалась от клавиатуры, в то время как другие ученицы вытягивали шеи, пытаясь вычислить эту первую. Оглянувшись на слепых, я увидела, как они приникли к партам, застыли и насупились: они готовились принять первый, для них всегда неожиданный, удар звуковой волны, вот чем объяснялись их напряженные позы, выражающие крайнюю степень сосредоточенности... Коста смежил веки, длинные ресницы его слегка подрагивали. Заур побледнел от волнения, стали отчетливо заметны веснушки на его худом лице молодого старичка. Слабовидящий Теймураз таращил линзы на Ольгу Ивановну, будто надеялся увидеть вылетевшую ноту остатком своего зрения. Женя сложил губы трубочкой, напряженно ожидая, когда грянет мелодия и покатаются ноты, как клубок ниток, которые надо ухватить за хвостик...

Первой была фа-диез. Определив тональность и размер, мы приступили к записи. Я быстро принялась набрасывать ноты, расставив по ходу знаки тональности: ре мажор. Ольга Ивановна закончила игру, а я уже ритмически оформляла диктант, дирижируя себе одним пальцем. Осторожно оглянулась на слепых: они тоже дирижировали на шесть восьмых — довольно сложный счет, его легко спутать со счетом вальса на три четверти.

Я положила карандаш. Я написала диктант быстрее слепых, но не потому, что лучше слышала музыку, а по чисто техническим причинам. В распоряжении слепых была металлическая рельефно-точечная решетка со шрифтом Брайля, в основе его лежала комбинация из шести точек. В этих точках поместилась не только письменность для слепых, но и музыкальная грамота. Решетку они называли «прибор». Через нее при помощи предмета, похожего на маленькую отвертку или шильце для забора крови из пальца, они вступали с миром в переписку. Позже я увидела ноты слепых — большие фолианты с толстыми страницами, испещренными выдавленными на них точками, как будто по бумаге прошелся жучок-короед. Где здесь паузы? Где обозначение размера, тональность? Знак форте, крещендо, стакатто? Тихие, ничего не говорящие мне листы бумаги, книжка для насекомых.

Ольга Ивановна повторно играла контрольную мелодию лишь в том случае, когда она была сложна ритмически или длинна. «Другим, — говорила она, имея в виду зрячих учеников, — приходится раз пять-шесть повторять игру». Я всегда заканчивала запись диктанта первой. Поставив последний нотный знак, закрывала тетрадь и как замороженная следила за тем, как они роют бумагу, испещряя ее наколками. Странно было осознавать, что это углубление — нота. Нота — отсутствие ноты, пустота вместо нее, точно саму ноту склевала птица. «Ты не бездельничай, — насакива-

ла на меня Ольга Ивановна, — пока они пишут, сделай транспонацию через квинту вниз...»

Слепые доклевывали последний такт.

— Ну, умнички, заслужили сегодня розеточку алычового варенья...

В первые дни основная моя забота состояла в том, чтобы привести свою хаотическую, необязательную речь в порядок, отладить для общения со слепыми лексические связи и проложить мосты через фигуры умолчания. Запреты, которые я на себя налагала, казалось, были чисто лексического свойства: следовало исключить из своего словаря ряд бестактных глаголов, подразумевающих какие-то невозможные для слепых действия, группу существительных, которые тянут за собой эти глаголы, и прилагательных, обозначающих свойства предмета, относящиеся к зримому миру, — то есть моя мысль все время была занята двойным переводом со зрячего языка на незрячий и обратно (для себя). Даже когда слепых не было рядом, я продолжала машинально натаскивать себя на мир запахов и касаний, адаптируя свои впечатления или события для слепых, как для каких-нибудь первоклашек. Удельный вес усилий, необходимых для этого мысленного отсева слов, казался намного тяжелее обычного, странно было чувствовать себя дистиллированным голосом, чистым словом, которому не принарядиться в самый невинный жест.

Я стала разборчивой в словах. Мой вываренный в молодежном сленге язык сделался взвешательней к себе, но вместе с тем дыхание фразы — затрудненным: я как будто боялась выпасть из новой языковой стихии, чтобы не потерять с такими усилиями приобретенные навыки, и с этого сопротивления легкой, необязательной речи началось мое постепенное удаление от мира себе подобных и постепенный переход... нет, не в мир слепых, а в свой собственный, который давно требовал серьезности и одиночества. И мне становилось все легче, словно я выбрасывала по одному мешку с песком из корзины, подымаясь на воздушном шаре, оберегая себя от общения с людьми случайными, под чье косноязычие мне так долго приходилось подстраиваться, чтобы не быть белой вороной, и я удивлялась самой себе: зачем так долго копировала чужие манеры и словечки, которые мне никогда и не были близки? Слепые словно открывали мне глаза на саму себя.

— Как ты с ними общаешься? — спрашивали меня.

Я отвечала фразой, от которой у меня самой уже ныли зубы:

— Они такие же люди, как все.

Мне казалось, что таким образом я могу защитить их достоинство.

Но напрасно я пропускала свою речь через фильтр, на котором оседала пыльца зримого мира. Им не надо было давать фору — ни ладью, ни коня: в основе этой иллюзии равноправия таилось приспособление к чужому ладу, хоть и не такое унижительное, как в случае со зрячими. Слепые сами дали мне это понять. Приноравливая свою речь для них, я совала им под нос огромные крючья общих мест, на которые невозможно было не навесить банальность. То есть сначала наше общение было настолько простым, что исключало малейшие знаки препинания. На точный вопрос: «Что вам купить из продуктов?» — следовал не менее конкретный перечень, и я не позволяла ни себе, ни им выпасть из русла вопроса-ответа. Но позже я заметила, что они сами выбрасывают мне крючок за крючком, на которые я начинаю потихоньку ловиться.

— Ты вчера вечером где была? — спрашивали они.

— На танцах, в мединституте...

— Там оркестр играл или магнитофон? — обнаруживая неожиданную для меня светскость, интересовались они.

— Ансамбль... Сакс, фоно, труба.

— И как они *лабают*? — вдруг спрашивал кто-то из них, со вкусом произнеся модное молодежное словечко.

— Так себе, фоно совсем чахленькое, репертуар жиденский.

- А ты возьми нас как-нибудь с собой...
- Да ведь... далеко идти.
- Ну и что?! — напористо восклицали они.
- А вы... танцевать умеете?

Оказалось, что они умеют двигаться в паре.

— Научи нас летке-еньке... — вдруг набрасывали они на меня четыре петли.

Мы впятером отодвигали в сторону стол. Все равно, думала я, это мы понарошку... Какие там танцы. Я прыгала впереди, они гуськом топтались за мною. Войдя в азарт, я стучала их по ногам, сгибала им колени, не переставая напевать мелодию.

— Не шаркайте как слоны!

Они старались не шаркать. Каждым своим прыжком они словно старались меня в чем-то убедить, и, только когда, выстроившись гуськом и положив друг другу руки на плечи, они впервые прошлись без меня, я догадалась, в чем именно: не надо с нами этих китайских церемоний, говорили их усталые, довольные лица.

Ольга Ивановна жила неподалеку от училища, в одном из частных домов. Двери его выходили во внутренний дворик, когда-то на скорую руку заасфальтированный, с водопроводной колонкой посредине. У самых ступеней асфальт бугрился, рассыпался, из него неукротимо лезли все новые плети дикого винограда, постоянно затягивающего окна. Слепые любили бывать у нее, они старались использовать малейшую возможность по освоению незнакомого пространства, чтобы раздвинуть свои невидимые горизонты. Оказывается, в них тоже жила эта естественная человеческая потребность. Должно быть, чашка чаю, выпитая в чужом доме, представляла в их воображении символом завоевания неведомой территории, которую их предки покоряли с оружием в руках. Они всегда тщательно собирались в гости к Ольге Ивановне, будто готовились к рискованной вылазке: брились, наглаживали рубашки, причесывались, поливали себя одеколоном, чтобы их не сбивала с толку атмосфера чужого жилища и долгий подробный путь к нему. Когда я впервые пришла в этот дом, я еще не знала, что слепые здесь уже частые гости, но тотчас догадалась об этом по той легкости, с какой они быстро и точно попадали петельками своих курток в крючья вешалки. Надо было видеть, с каким неторопливым достоинством они это проделывали, точно оставляли в прихожей нечто большее, чем верхняя одежда, как будто она, пока они пьют чай, пускала корни в стены этого дома, укрепляя их положение долгожданных гостей. Я догадалась, что все уже здесь ими размечено, на каждом шагу расставлены опознавательные знаки и замешаны запахи, что для них посещение дома Ольги Ивановны стало ритуалом, в который они решили вовлечь и меня.

— Мой дом *тоже* начинается с вешалки, — ребячливо, но с дикцией хорошей актрисы обратилась ко мне Ольга Ивановна, давая понять, что после долгого раздевания в прихожей всех нас в ее гостиной ожидает что-то вроде спектакля. Слепые услужливо хихикнули. — Мальчики, помогите раздеться нашей девушке.

Слепые засуетились вокруг меня, с разных сторон дергая рукава моей куртки. Я поспешила избавиться от нее, и тут на мои плечи опустилась тяжелая вязаная шаль с бахромой, окутавшая меня незнакомым тяжеловесным уютом. В другую такую же шаль с вывязанными на ней бордовыми и лиловыми цветами завернулась Ольга Ивановна, после чего мы с ней, как парочка зябнувших в провинции чеховских сестер, вступили в большую гостиную с таким обилием кресел вдоль стен, будто здесь изо дня в день разыгрывался один и тот же акт пьесы, в котором герои никак не могут вылупиться из своего плюшевого реквизита и завершить затяжное чаепитие по Станиславскому.

— Ты мне поможешь заварить чай? — с той же настойчивой дикцией Аллы Тарасовой спросила меня Ольга Ивановна. — Или предпочитаешь

посмотреть мои книги? У меня, как видишь, большая библиотека... Или, может, попросишь Коста сыграть нам что-нибудь для начала?..

Все это можно было проделать в порядке очередности, и я ответила Ольге Ивановне, переняв ее мхатовский распев, что, пожалуй, чай не повредит путешественникам, проделавшим долгий путь по горам, а уже потом можно употребить книги и музыку.

— А вы, ребята, рассаживайтесь в *свои* кресла. Будьте как у себя дома... — проплывая мимо уже усевшихся в креслах слепых, пропела она.

Мы с ними по-разному *видели* этот дом. Им нравилось, что здесь все мягко и уступчиво, неколебимо стоит на своих местах: круглый стол со сбежавшимися к нему легкими венскими стульями, продавленный диван, покрытый плюшевым ковром, вкрадчивая бахрома торшера, эти глубокие кресла и немудреное угощение. Я, напротив, на каждом шагу отмечала угловатость этого жилища, где все предметы разноязыки, точно добыты со дна в разное время погребенных в пучине кораблей. Прихрамывая, они явились в этот дом с разных исторических свалок, из многих разоренных жилищ, и несли на себе следы разбитых судеб, даже этот плюшевый ковер на диване, на котором время дожевывало следы буколической охоты: по нему мчались трофейные гончие с проплешинами, с подпаленной в берлинских пожарищах шерстью. Или этот громоздкий буфет с двумя позеленевшими медными амурами на боках, в котором пыль времени почти съела резьбу, буфет, вытщенный Бог весть когда из помещицьеи усадьбы. На окнах висели тяжелые бархатные шторы пурпурной ткани, какой прежде обивали революционные гробы в спектаклях сталинских лауреатов. На одной стене висел портрет в тускло-золоченой раме, закрытый ситцевыми шторками. Это был портрет отца Ольги Ивановны, бывшего когда-то крупным партийным работником. Портрет был выполнен кистью известного на Кавказе художника, сгнувшего в лагерях в том же предвоенном году, что и его модель. Об этом поведала сама Ольга Ивановна и, раздвинув школьной указкой ситцевые шторки, показала мне смуглое аскетическое лицо с неистовыми глазами. Сидя на венском стуле напротив портрета, я ощущала на себе двойной взгляд, устремленный на меня сквозь шторки: как будто сквозь глазницы отца Ольги Ивановны смотрели еще и глаза неизвестного мне художника. Мне хотелось задать ей вопрос относительно этих шторок: зачем они нужны? Но Ольга Ивановна поторопилась закрыть лицо отца и перевести разговор на другое — мы заговорили о книгах, которых у нее было множество.

Это была типичная библиотека, уходящая корнями еще в собирательскую страсть ее отца. Основу ее составляли второстепенные собрания сочинений, растянутые на манер мехов гармонии, которые, если ужать их до одного тома, издают бледный звук лопнувшей струны. И этим печальным звуком они лепились к художественной литературе. Стоило взять один томик в руки, как из него сыпались на пол скелетики пижмы, мать-и-мачехи, с щемящим шорохом сгнувших в пережное лета, обрывки газет, в которых, как в стоячих болотцах, клубились испарения какой-то фантастической реальности, уже вступившей в химическую реакцию с текстом самой книги. Стоило одних томов коснуться пальцем, и они легко поддавались, как расшатанный зуб в десне, другие, напротив, было не сдвинуть с места, словно они были связаны между собою мощными силовыми полями.

Я боюсь больших библиотек. Жизнь в постоянном окружении книг представляется мне исполненной тревоги, как обитание по соседству с некрополем. О людях, имеющих большую библиотеку, обычно с почтением говорят: у них столько книг! Эти люди, как и мой отец, относятся с уважением к количеству, им доставляет удовольствие пробегать взглядом по этим клавишам: А. Толстой, Фадеев, Павленко, Серебрякова, Вера Панова... Серо-зеленое глассандо Золя, бордовое Маяковского, малиновое Романа Роллана, бирюзовое Бальзака. Собрание сочинений. Звучит внуши-

тельно. Я и сама, помнится, авоськами таскала из библиотеки тома Бальзака и Вальтера Скотта, полные авоськи, сквозь ячейки которых, словно руки-ноги поломанных кукол, торчали герцогиня Ланже, генерал Монриво, де Марсе, Камилла де Буа-Траси, Обмани-Смерть, Лилия Долины, — все эти герои, которые, будучи фантамами, уложили меня, как немощную калеку, на диван, чтобы нашептывать мне свои фантастические истории. Огромное усилие понадобилось, чтобы вырваться из их объятий. Не я читала книгу, а книга, как могущественный старец одалиску, подкладывала меня под себя. Я ночевала у нее в изголовье, и я кормила этих так называемых героев своей плотью и кровью, пока не впала в полное умственное и физическое расслабление... Все эти книги, судя по их затасканным корешкам, отнимали сон и у доброй Ольги Ивановны. В разговоре выяснилось, что Ольга Ивановна почти непрестанно читала и перечитывала свои книги, плыла в какие-то дали на продавленном диване с приросшим к руке томиком, развеивая непроглядную ночную тьму светом торшера. Снег ли летел сквозь январскую мглу, томился ли между небом и землею мелкий осетинский дождик, сползали ли с гор лавины, погребаяющие селения, она читала, роняя на пол сухие, как пепел, закладки.

— Тэсс из рода д'Эрбервиллей... — доверчиво стала перечислять мне Ольга Ивановна своих любимых героев, — Аннета и Сильвия, барон Нусинген, Жан Вальжан, Дерюшетта, кавалер де Грие, граф Лестер, Йорки и Ланкастеры, Бурбоны, Валуа, Гизы...

Я думала о ее глазах — что они видят и видят ли они вообще, мне захотелось подсмотреть, что это за сны она смотрит с прилежностью первой ученицы, что там ей еще показывают, кроме авантурных приключений, свадеб, смертей... Может, сила ее взгляда такова, что под ним, как под микроскопом, с бешенством инфузорий размножается какая-то недоступная моим глазам реальность? Может, сила ее взгляда такова, что настоящие герои подымаются из книг и живут у нее за стеною, в сумерках неслышно перебегая в другие тома, переложенные июлем, августом, октябрём?..

Когда мы допили чай с плюшками, Ольга Ивановна выложила на стол большую папку с тисненой надписью «Music» и осторожно вытрясла из нее горку засушенных растений.

— Мы с сестрой иногда играем в одну музыкальную игру, которой в детстве научил нас покойный папа, — объяснила она, разбирая свой травяной сор. — И я хочу, чтобы мы с вами сейчас сыграли в нее... Я кладу перед вами растение, а вы называете мне музыкальное произведение, которое оно вам навеивает. Ну, для начала что-нибудь полегче. Вот, например, лесной колокольчик... — Она подвинула пальцами к середине стола высохший хрупкий цветок.

— Романсы можно? — спросила я.

— Что угодно.

Мы с Коста почти одновременно произнесли:

— «Колокольчики мои, цветики степные...»

— «Однозвучно звенит колокольчик...»

— А если включить ассоциативное мышление? — не удовлетворилась Ольга Ивановна.

— «Колокола» Рахманинова... — подумав, сказал Заур.

— Ария Марфы из «Царской невесты»... — внесла свою лепту я.

— Молодцы. — Ольга Ивановна подвинула к нам березовую сережку.

— «То было раннею весной...» — сказал Теймураз, поднеся ее к большим и страшным линзам своих очков.

— Четвертая симфония Чайковского... — добавила я.

— И «Снегурочка», — заключил Коста.

Следующее растение было мне неизвестно, и я спросила, что это.

— Мирт, — объяснила Ольга Ивановна, — растет у нас на Кавказе.

— Вокальный цикл Шуберта, — немедленно сказал Коста.

— «Жизель»... — вспомнила я.

— Приятно с вами беседовать, — прокомментировала Ольга Ивановна и выложила на середину длинный листок ивы.

— «Песенка Дездемоны», Россини... — сказала я.

— «Ни слова, о друг мой, ни вздоха...» — подхватил Коста, услышав, что за растение перед ним.

— Наконец, выход розы, — объявила Ольга Ивановна. — Вот ее лепесток...

— «Фонтан любви, фонтан живой...» — быстро произнес Коста.

— «Иоланта»... — добавила я.

— А это? — Ольга Ивановна выложила еловую шишку.

— «Елка» Ребикова... — выпалил Коста.

— «Щелкунчик»... — сказала я.

— Никто еще не приписывал так много Чайковского простому гербарию. Любимый композитор? — иронично осведомился Коста, повернув голову в мою сторону.

— Вас это чем-то не устраивает? — произнесла я.

— В той же степени, в какой самого Петра Ильича не устраивала величественная старуха фон Мекк, — улыбаясь, туманно объяснил Коста, — она желала бы засветиться не только на Четвертой симфонии, но и на всей его музыке. Что поделаешь, узурпаторша! А Петр Ильич в свою очередь узурпировал музыкальные вкусы слушателей. По моим наблюдениям, любители Петра Ильича, кроме него, никакой музыки не признают... Если их спросишь о современных композиторах, то они обычно называют пьяницу Скрябина...

— Очевидно, это ваша багажная ария, — предположила я.

— Багажная? Что это значит?

— Второразрядные итальянские певцы брали с собою на гастроли арии, перегруженные фиоритурами, чтобы блеснуть перед слушателями, — ядовито ответила я.

Ольга Ивановна сделала мне страшные глаза и даже взяла за руку, чтобы я не спорила со слепым. Я вырвала руку.

— Все вы врете, — продолжала я, — потому и не желаете петь хором. Хор может заглушить ваши заносчивые фантазии...

Коста расхохотался, и моя злость тут же улетучилась. Я тоже рассмеялась. Наш разговор имел такое же отношение к музыке, как прилипший к подошве лист — к ходьбе пешехода. Мы говорили о чем-то другом, и достаточно хорошо поняли друг друга.

— Что ж, друзья, теперь будем слушать музыку... — Ольга Ивановна принялась убирать свой гербарий в папку. — А вы умничка, — милостиво сообщила она мне.

Я оглянуться не успела, как они окружили меня и взяли в плен, превратив в полномочного представителя и посла своей маленькой державы, опутали густой сетью подробностей быта, которыми, не будь их, можно было бы пренебречь: не заводить никакого хозяйства, жить налегке и на тощак... Слепые незаметно для моего зрячего глаза заманили меня на свою территорию, вытряхнули мою косметичку и, превратив ее в общий кошелек, ловко, как карманники, всучили ее мне обратно уже в качестве казны некоего теневого государства, призвав к порядку мою обычную расточительность и сделав из меня ревностного эконома, который обязан накормить ораву захребетников. Они не просто познакомили меня со своими спартанскими порядками, но потихоньку распространили их на мое существование. Прожив всю жизнь или большую часть своей жизни в тесных, назубок затверженных границах в пространстве, ползая по нему, как мухи вниз головой, подушечками пальцев, они сузили его и для меня и урезали меня во времени: стоило опоздать на их ужин, как они наперебой совали мне в руку свой будильник без стекла с голыми стрелками — этим временем слепых, мчавшимся, словно автомобиль без ветрового стекла, сквозь бушевавшую вокруг жизнь, и я настолько уже была заморочена

ими, что мне в голову не приходило щелкнуть выключателем в этих сумерках, где они передвигались бодро, будто обретшие зрение, вдвое бодрей оттого, что лишили его меня. Я научилась на ощупь определять на часах минуты опоздания и степень своей вины. Как опытные сатрапы, они знали: чтобы добиться от раба послушания, надо вызвать в нем чувство вины.

Случалось, я предупреждала их, что сегодня вечером приглашена в гости и пусть они ужинают без меня. Коварное молчание следовало в ответ. Я начинала дергаться, как стрелка на их часах

— Вы что, без меня бутербродов себе сделать не можете? Чайник не сумеете поставить?

Из потемок тянулись один за другим лицемерные голоса:

— Ножи острые, ты их отдала наточить, и теперь они как бритва, — канючил Женя, самый открытый и общительный из них.

— Я позавчера поскользнулся на кухне на картофельных очистках, чуть не упал, — несчастным голосом сообщал Теймураз, поправляя свои бесполезные очки, помогающие ему только днем.

— А какво было б упасть с горячим чайником? — ехидно сочувствовал ему зануда Заур.

— Но ты иди, иди, мы как-нибудь обойдемся... — плачущим голосом заключал Коста, зная наперед, что этой картины не снести моей совести: слепые, да еще и голодные.

Я отправлялась в гости. Но как только начинало темнеть, я всякую минуту, как Золушка, поглядывала на стрелку нормальных человеческих часов. Единственное темное окно их комнаты посреди нашего пятиэтажного, ярко освещенного по вечерам общежития притягивало меня. Глубокая, двойная ночь за их окном, и они, ютящиеся по ее углам на своих кроватях, как на утлых суденышках посреди бушующей тьмы, — голодные. Я вдруг вскакивала и без объяснения причин бежала в общежитие, мчалась через мост, заполненный гуляющей молодежью, увертываясь от протянутых рук заигрывающих парней, уже отыскивая взглядом это темное, ущербное посреди общего праздника света и молодости окно, за которым притаились, поджидая меня, мои слепые товарищи, чутко прислушиваясь к шагам в коридоре, и не успевала я войти, как они язвительно совали мне под нос будильник и с хорошо разыгранной обидой в голосе заявляли, что масло у них давно кончилось...

— Не давно, а сегодня утром, — огрызалась я, — а вот деньги у меня действительно кончились.

— Да-а? — деланно удивлялись слепые. — А вроде как два дня назад скидывались...

Потихоньку накаляясь, я начинала отчитываться в каждой истраченной копейке. Казалось, они с удовольствием слушали, как напитокывается обидой мой голос. Они ясно слышали в нем трещинку сомнения: может, я и вправду не слишком рачительно использовала доверенную мне сумму? Этого они и добивались — сомнения, легкой утраты почвы у меня под ногами, зябкого смущения. С наслаждением впитав это своими чуткими ушами, они свешивали ноги с кроватей и доставали из тумбочек и сумок свои кошельки...

Странное чувство охватывало меня, отвлеченное от происходившего вокруг: мне начинало казаться, словно сейчас слепые вместо бумажных купюр с портретом вождя положат мне в ладонь ракушки, как имеющую хождение в их теневом государстве валюту, и я отправлюсь с ними в магазин, твердо уверовав в ее конвертируемость, и там, при свете дня, мне сообщат, что *зимбе* и *каури* уже несколько веков как не в ходу, тем более на нашем континенте, и я стану извиняться, просить, чтобы мне отпустили хотя бы пачку маргарина, объяснять, что ошибка произошла из-за того, что в той комнате, где мне их всучили, никогда не восходит солнце, словно там живет вконец обнищавшая семья с наглухо заколоченными для

тепла окнами. Я там давно живу на ощупь, но передвигаюсь не так уверенно, как они, — все время боюсь, что меня ненароком опрокинут вместе со стулом или попадут пальцем в глаз, они ни в чем не хотят пойти мне навстречу, делают вид, что свет никому не нужен, хотя он нужен мне, командуют мною как хотят и сводят со мною счеты за то, что при свете дня я ими командую...

Чем больше они навьючивали на меня обязанностей, тем меньше я ощущала свою зависимость, такой вот почему-то возникал эффект. Может быть, в этом воплотилась моя давняя мечта о бесплотности своего существования среди других физических тел, без остатка втягивающих в свои отточенные и напластования смыслов. Нетрудно быть голосом, еще не проявленной в мире душой, залетающей в избранное пространство, но стоило пересечь сумеречную полосу невесомости и оказаться в компании зрячих, как я начинала чувствовать тяжесть собственного тела, все время идущего ко дну. Тело по одежке встречают. А по уму провожают подалее. Должно быть, книги, прочитанные мною, запутали меня. Я перепутала реальное, медленно, но верно текущее время с *концертированным*, сжатым в партитуру, почти взрывоопасным музыкальным временем, которое стремительно, как кометы, пересекает судьбы оперных героев. Я озиралась вокруг себя: где они, герои, где романтические встречи, роковые несоответствия, бури страстей, ускоряющие вращение человеческой планеты. Я пыталась догнать эти доблестные тени, уносившиеся в высокие слои атмосферы, как Паоло и Франческа, не щадя себя завязывала знакомства с людьми, судьбы которых, как мне казалось, чреватые огромными потрясениями, взрывом новых, чистых сюжетов, бескомпромиссных эмоций, но проходило время, и люди, и созданные ими легенды покрывались толстой пылью повседневности, на которой удобно было пальцем выводить приговор: не то, не то... К их чувствам все время что-то примешивалось: то нужда в жилплощади, то какая-нибудь больная родственница, то еще что-нибудь, оттягивающее чистый состав страсти и пополняющее окружающий мир суррогатом, — ржавчина сегодняшних проблем до корня разъедала саму вечность. Придя однажды на день рождения к другу, я подарила ему бутылку коньяка, который мы решили распить ровно через десять лет; и меня больно поразило, что друг на следующий же день опустошил бутылку, сократив время нашей дружбы. Я сочувствовала одной влюбленной паре, которая соединилась против воли родителей, отказавших им в благословении и лишивших своей поддержки. Античный хор наших общих знакомых предрекал, что они поиграют в высокое чувство и независимость и разбегутся по родным гнездам уже от одной непривычки к сухомытке, — так и вышло. Таких случаев было много, и я поняла, что все это давно носится в воздухе — предательство и скука, что они вошли в состав воздуха и души, что легкие не могут дышать ничем иным, кроме как скукой и предательством, что жизнь давно исчерпала себя в сюжетах и перекочевала в глубоко материальный мир. И я была рада хоть на время вычесть себя из него.

5

МНЕ ШЕСТЬ ЛЕТ. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ — ЗИМА, И ТОЛЬКО зима, будто все нити моей детской памяти затянуло в ткацкий станок вьюги, сплетающей на стекле морозные лилии, птичьи перья, султаны древних шлемов, все вместе похожие на заглохший сад с дико блуждающими в нем деревьями, уходящими своими корнями в далекую от солнца ледяную планету. Место действия — «объект», так называется эта планета, объект особого назначения, который, как спутник Земли, имеет особого назначения орбиту. Я мало что знаю о нем. То, что написано в моем свидетельстве о рождении, — неправда, я родилась не в городе Касли Челябинской области, это написали нарочно, чтобы никто никогда

не узнал, где я родилась. Родилась я в амбулатории, что в нескольких десятках метров от нашего деревянного коттеджа. Там Ангелина Пименовна работает всяческим врачом и ветеринаром — ее привезли сюда из тех же мест, что и моего отца, и дали ей в помощь вольнонаемную медсестру. Ангелина Пименовна обещала мне, что, если мы когда-нибудь окажемся на «материке», она обязательно подарит мне глобус, который и есть наша Земля, и на нем обозначит жирной точкой место моего рождения.

А пока, если подышать на стекло, я увижу огромную, выше человеческого роста, зиму, протяжную, как колыбельная из симфонии Чайковского «Зимние грезы», протяженную на тыщи верст, где снег покрыл все и залег как тать.

Дядя Сережа, начальник караульной вышки, зависшей высоко над землей, обещал показать наш объект с высоты своей избушки. Прежде чем стать дядей Сережей, он был гражданином лейтенантом, и с ним нельзя было вступать в разговоры, но потом, как сказал мой папа, в нем образовалась крохотная дырочка, как в воздушном шаре, и из нее со свистом вышел сначала «гражданин лейтенант», потом «товарищ Терехов», потом «Сергей Трофимович», и остался дядя Сережа, которого теперь все реже можно увидеть в караульной избушке, зависшей в воздухе, и все чаще на земле: он обходит дозором поселок, заглядывает в дома, где бузят ребятишки, пока их родители трудятся в лабораториях, подтапливает детям печи. Дядя Сережа смастерил мне санки, в которые разрешает запргать своего караульного овчара Смелого, и добрый пес катает меня взад-вперед по дорожке от КП к хозблоку.

Наш объект-поселок — еще не вся зона, это только первая зона. Вторую нам не видно из-за деревьев, но я знаю, что там проживает начальник объекта генерал У., который имеет телефон, соединяющий нас с «материком», но телефон очень секретный. Он зарыт в снегу, никто не знает, в каком месте; когда звенит зуммер, это означает, что говорит Москва, и он посылает своего верного адъютанта откопать телефон под такой-то сосной. Телефон откапывают, и из-под земли раздается ледяной голос, которому У. отвечает: «Есть. Есть. Есть». Но в последнее время и в телефоне образовалась дырочка, из него тоже вышел воздух, и теперь У. сам твердым пальцем в белой перчатке набирает номер, а Москва отвечает оттаявшим голосом: «Да. Да. Да». Совсем недавно моему отцу разрешили совершать лыжные прогулки во второй зоне. Вторая зона опоясала кольцом наш поселок с лабораторией. Папа бегает по кольцу второй зоны, он пролетает на лыжах мимо более свободных деревьев, на него падает более свободный снег, он кружит вокруг лаборатории, своего детища, он пронесится вдоль проволоки, как электрон вокруг своего ядра, по накатанной до синего блеска орбите. В лаборатории пытаются что-то такое *расщепить*. Когда это произойдет, мы все получим свободу, так обещал телефон. Все-все — и люди, и деревья, и снег, а колючая проволока, как старая змея, свернется ржавыми кольцами и уползет подышать под землю... Но это будет грандиозный обман, возражает мама. Колючая змея просто поменяет кожу, а потом снова обовьется вокруг нас... Но папа не желает ее слушать. Разве здесь, где он увлечен любимым делом, а семья и лыжи верны ему, он недостаточно свободен?.. Снег блестит всеми своими гранями и неуловимыми плоскостями по обе стороны его лыжни, когда отец летит с пригорка, играет с ним в неуловимую для глаза игру, обманывает зрение, одаривая его ледяным пристальным блеском, от которого холодеет сердце, но светлеет душа.

В третью зону из всех жителей нашего поселка вхожа только моя мама. Там бараки, в них живут люди, строящие новые лабораторные корпуса. Там много караульных вышек. Мама работает в деревенской школе, находящейся за крайней проволокой, — от КП третьей зоны маму вместе с детьми офицерского состава по утрам увозит в школу машина. Таким образом, маму можно было считать самой свободной из всех нас — до той поры, пока однажды дядя Сережа не выполнил своего обещания и не поднял меня на вышку.

Это было самое замечательное путешествие моего детства, и я хочу рассказать о нем отдельно; оно связано с появлением в моей жизни музыки.

Кое-какое представление о ней я имела. Во-первых, музыка по большим праздникам иногда звучала по радио, во-вторых, работники объекта часто собирались в коттедже физика Лебедева для спевок. Лебедев мечтал организовать хор, хотя по-настоящему голоса были только у него, у немецкого химика Штомма, у моей мамы и у Ангелины Пименовны. Опираясь на эти голоса и на имеющуюся у него гитару, Лебедев организовал что-то вроде самодеятельности. На спевках исполнялись романсы русских композиторов и народные песни, в том числе и «Цвели цветики», вологодский распев, положенный в основу финала первой симфонии Чайковского «Зимние грезы». Мама рассказывала мне о Чайковском и его музыке, об отдельных инструментах и их звучаниях, о сюжетах тех или иных музыкальных произведений, подкрепляя свой рассказ мелодиями основных тем — у нее был негромкий, но очень чистый голос. Таким образом, когда я наконец услышала «Зимние грезы», сразу узнала эту музыку, но это случилось много позже, а тогда, в один прекрасный январский день, уже клонившийся к вечеру, ко мне вошел дядя Сережа с таинственной миной на лице и инеем на усах и сказал: «Ну, девчурка, одевайся, пойдем с тобою охранять покой наших ученых...» И я мгновенно надела кроличью шубу и пуховый платок и пошла за ним, ступая валенками в следы его огромных сапог.

Поднявшись по скрипучей от мороза лестнице на высоту своего роста, я вдруг обмерла и застыла, боясь двинуться дальше, так страшно визжали ее ступеньки под моими ногами. «Что, боязно? — со смешком произнес дядя Сережа. — Ну, ступай за мною». И он, взяв меня за руку, стал первым карабкаться наверх. Стало еще страшнее, но я боялась вырвать свою ладонь из руки дяди Сережи, чтобы не рассердить его. Огромная подошва его гулливерского сапога нависла над моей головой: если он оступится, раздавит ее, как яйцо. Дядя Сережа тянул меня все выше и выше, и вскоре я увидела под подошвой его сапога наш коттедж, такой крохотный, что дядя Сережа мог бы с легкостью раздавить и его своим сапогом. Я видела уменьшившуюся амбулаторию, хозблок, магазин, лаборатории моего отца и других ученых, коттеджи, далеко разбросанные друг от друга. Тут дядя Сережа, пригнувшись, вошел в дверь избушки на длинных курьих ножках, а вслед за ним и я. И только здесь, в уютном пространстве караульной будки, где были и скамейки, и стол с телефоном, словно путешествующая на воздушном шаре, я смогла сбросить тяжелый груз своих страхов и взлетела в деревянной корзине высоко в хвойные небеса, где Борей играл в четыре руки с Иоганном Себастьяном...

Домик завис меж вершин сосен, с них струилась голубая высь, как мелодия флейты на ступешанном фоне скрипичного тремоло жемчужно-серого, скорбного неба. Вот альты переняли у флейты эту мелодию, сделал обзор с высоты вышки необыкновенно отчетливым. В группе деревянных — гобоя, кларнета и фагота — промелькнул тревожный мотив метели, завивающейся вокруг игрушечных домиков внизу, — и сменился мерным, убаюкивающим ритмом в струнных, в высоких корабельных соснах, которые стояли, как огромные якоря, и не давали пурге унести наш поселок. Деревья, мирно покачивая заснеженными ветвями, шагали в сторону густого леса, обнимавшего со всех сторон наш плененный проволокой объект. Небо и лес как будто плотнее сложили свои ладони, и в щели между ними засияло вырвавшееся из-под туч заходящее солнце... И вот снег поглотил голубые тени, отбрасываемые деревьями; все мотивы вдруг поменяли окраску, поселок окутали валторны сумерек, и по домикам внизу, как длинное дыхание арфы, пробежали зажегшиеся в окнах огоньки. Колыбельная смолкла на чуть слышном пиано-пианиссимо, и тут, точь-в-точь как в «Зимних грезях», последовало причудливое скерцо. Из лабораторий выходили люди, рабочий день окончился, переговариваясь, они шагали

группами и поодиночке к своим домикам, все как будто ожило в сгущающихся сумерках, и через несколько минут я действительно услышала «Цвели цветики», грянувшее из лебедевского коттеджа...

Это было первое в моей жизни настоящее путешествие, и из него я вернулась другой, как и подобает путешественнику. Я увидела наш дом, наше жилище другими глазами, словно за эти минуты, проведенные между небом и землей, почувствовала всю хрупкость нашего существования, как бы висящего на единственном гвозде, прибитом наспех к бревенчатой морозной стене караульного помещения.

Когда раздавали казенную мебель, нам достались уродливый диван, стол, две солдатские кровати. Отец ползал по комнате с сантиметром в руках, принохивался, зажмурив от удовольствия глаза, и расставлял ее с такой детской радостью, будто эти вещи могли удержать его в золотом сечении вечной свободы. Человек, разжившийся мебелью, уже был гол не как сокол, его не могли в одно утро запросто перебросить из одного места в другое, раз он расписался в инвентарной книге за такое количество ценных вещей. И когда отец прибывал книжные полки, он вгонял гвозди навсегда — с такой молодой удалью, что, казалось, они немедленно пустят корни в стену. Тяжелый кожаный диван с валиками получил название «ложе Пенелопы» — как известно, Одиссей сделал его из огромного пня срубленной маслины. Дубовый письменный стол отец немедленно загрузил своими бумагами, книгами, справочниками. Потом он, оторвавшись от своих дел, для новогодней елки под руководством мамы охотно разрисовывал яичную скорлупу, вырезал из бумаги балерин, красил серебрянкой шишки, пробирки, колбы, из куска колючей проволоки, выдержанной в солевом растворе, соорудил морозную звезду и прикрепил ее к верхушке деревца. Новый год прошел, но елка долго стояла наряженной, как примета вечного праздника. Там и тут на стенах жилища отец развесил простенькие мамины акварельки и прибил гвоздями ковер, сшитый ею же: по серому полотну один за другим идут сатиновые звери к ситцевой избушке с серым шелковым дымом из трубы. Под ковром в деревянной кровати с высокими дубовыми спинками спал его ребенок и видел сладкие сны, навеваемые мирным сюжетом ковра. Раз у человека есть своя собственность, значит, он уже не чужой самому себе человек. Каждую свободную минуту отец норовил украсить наш дом — то сосновые стружки развешивал по стенам, как гирлянды, то ремонтировал пол в сенях, то дерматином обивал входную дверь.

...Топот на крыльце: в сени входит вернувшийся с лыжной прогулки отец, прислоняет лыжи к стене и появляется в байковом лыжном костюме, в полосатой вязаной шапочке, с торжествующим лицом крутит над головой красивый конверт...

— Встретил доктора Штомма... Тебе послание от Хильды.

Отец хочет, чтобы я обрадовалась и скорей подпрыгнула за нарядным конвертом. Он обожает эти маленькие спектакли, утверждающие прочность его существования на земле, всамделишность окружающего его быта, семьи, в которой — он знает, *какой* судьбе вопреки! — родилась дочь; вот она, теплая, резвящаяся, подпрыгивающая за восточкой от Хильды, как за новой игрушкой. Я охотно проделываю этот трюк. На плотном конверте обведенные золотой краской ставенки, они волшебным образом раскрываются, стоит лишь перегнуть конверт, и тогда из бумажного окошка выглядывает нарисованная розовошекая немецкая девочка, мало похожая на Хильду: подперев рукой красивое личико, девочка Губки-сердечком смотрит на меня. А отец торопит — он тоже заинтригован, он тоже хочет скорее узнать, что там внутри.

— Ну-ка посмотри, что там?

Там твердый квадратик, зеркальце, вот что. Оно выхватывает у меня прямо из рук добрый кус пространства с такой неуследимой быстротой, что рана, нанесенная этому пространству, мгновенно закрывается. Хильда коллекционирует зеркальца. Она больна, у нее что-то с позвоночником;

сейчас Ангелина Пименовна держит ее в гипсовом корсете, и Хильда компенсирует свою вынужденную неподвижность игрой в зеркала. Она раскладывает их у себя на одеяле, как бесконечный пасьянс. Кровать ее стоит у окна, и через хитроумно устроенную систему зеркал Хильда расширяла вокруг себя пространство, продлевая его хоть до детской площадки, до помойки за хозблоком. Это была ее связка глаз. Неподвижно лежа в своих подушках, она день за днем плела зеркальную паутину, словно передвигалась с помощью этих многочисленных глаз. Когда наступал конец рабочего дня, Хильда выстраивала на своем подоконнике целый лабиринт зеркал, в который улавливала идущих по тропинке мать Луизу и отца Йорна и размножала их фигурки, торопящиеся к ней со всех сторон, теряла их только в сенях, но уже вновь находила взглядом, едва родители переступали порог. Таким образом, девочка выгадывала и во времени, приплюсовывая секунды своей коротенькой жизни к встрече с родителями, с утра до вечера занятыми, как и все трофейные немецкие физики, работой в лаборатории.

Отец мой жалел бедную Хильду, часто посылал меня к ней играть, а когда я возвращалась затемно, говорил: «Доброе сердечко». Но он, как всегда, заблуждался. Мне было интересно играть с этой девочкой. Мы играли с ней в зеркальные прятки. Это такие прятки, когда одна зажимает уши и замуривается, а другая в это время тихонько прячется в этой же комнате; потом та, кто водит, берет в руки зеркальца и с их помощью начинает обследовать комнату. Жуть и азарт этой игры заключаются в том, что та, кто ищет, не двигается, а та, кто прячется, — перестает дышать и унимает стук своего сердечка, чтобы не выдать себя. Под усиленный звук репродуктора я забивалась в нишу ножной швейной машинки, а Хильда брала зеркальца в растопыренные пятерни, как игральные карты, и, заглядывая в них, метр за метром прочесывала комнату преломленным лучом своего взгляда. Я гадала, засекли меня уже ее зеркала или нет, я слышала, как они стеклянно позванивают у нее в руках, будто кастаньеты, перестраиваясь, обследуют угол комода или тьму под кроватью, подбираясь ко мне все ближе; я физически ощущала, как комната кружится в ее цепких зеркалах, скачет по поверхности амальгамы, перебрасываясь из одного в другое неподъемными предметами, словно легкими шахматными фигурками, преломляя страшный человеческий взгляд под разными углами... Эти зеркальные углы впиваются мне в ребра, подталкивают меня, выжимают из безопасного места, затягивают в свои воронки, превращая меня в бесправное отражение. Нависая надо мной, Хильда направляла прожектор своего взгляда то туда, то сюда, и вот комбинация зеркал сводилась в один прицел, неизбежно поражающий цель по дыханию, по шелесту юбки, проявляющий меня из тьмы, как бы создавая заново и облекая в мою же собственную плоть... Страшная и опасная игра, из которой я выходила до того опустошенной, что, встретившись дома взглядом со своим отражением в прихожей, невольно вздрагивала. Через несколько лет Хильда умерла. Возможно, безутешные родители похоронили дочь вместе с коллекцией ее зеркал, которые, размножая, умножают теперь узкое пространство тесного детского гроба, сколоченного зеками из третьей рабочей зоны. Возможно, амальгаму под землей все больше разъедает могильная плесень, образуя острова, а затем и материки проплешин в зеркальном пространстве: скоро наши зеркальца ослепнут и пространство погаснет в них навеки.

А пока, наигравшись в зеркальные прятки, мы обе раскрываем свои совершенно одинаковые книги. У нее она на немецком языке, а у меня — на русском, с одними и теми же иллюстрациями-гравюрами старинного прекрасного художника. Я не говорю по-немецки, Хильда — по-русски, но мы как бы беседуем с помощью этой книги. Один и тот же отрывок я читаю ей по-русски, а она мне — по-немецки, а потом мы обе смотрим на картинку, помещенную на следующей странице: огромный Гулливер держит на раскрытой ладони крохотного человечка. Стоит перелистать не-

сколько страниц — и всё страшно меняется: теперь огромный человек держит Гулливера, стоящего на его бугристой руке. И хотя я уже хорошо знаю содержание этой книги, это превращение всякий раз вызывает во мне непонятную грусть и тоску. Неужели даже самое неизменное, наш собственный рост, когда мы уже выросли, может зависеть от географической широты и долготы? Отец уверяет, что может. Он говорит, что за несколько лет до моего рождения был таким же крохотным и слабым человечком, как этот Гулливер, причем ладонь, держащая его, в любую минуту могла сжаться в кулак, сдавить его ребра, выжать всю его кровь... Но, продолжал он, к этой гигантской ладони вовремя подлетел вертолет и унес его прочь. А когда папа вышел из вертолета — оказался нормального человеческого роста, как Гулливер до начала своих путешествий, и с той поры мой папа управляет собственным ростом по своему усмотрению. Пока мы рассматриваем картинки, идет снег, но он не может помешать нашей дружбе, даже если нас завалит по самые окна. Мы не боимся. В сенях каждого коттеджа стоит большая деревянная лопата на случай большого снегопада, если что, нас откопают, как это уже случилось и, может быть, случится еще не раз. Уже вечер. Снег идет по следу следов между домами и хозблоком, между домами и соснами. Снег не даёт залежаться тропинке, но поутру она вновь вырвется из-под него, как распрямившееся дерево, которое пригнули к земле и потом отпустили. Мы с Хильдой читаем книгу. Она держит нас на своей огромной ладони... Пройдет много лет, а я все так же буду балансировать на краю ее смысла в пределах своего роста, невзирая на все мои путешествия. Эту повесть мне так же больно читать, как смотреть на солнце. Мы с Хильдой читаем, как огромная обезьяна утащила крохотного человечка и мохнатой лапой пытается сунуть ему в рот разжеванную пищу, которую она извлекает из-за щеки. «Я почти задохнулся от дряни, которой обезьяна набивала мой рот...» Да, все так! Огромная обезьяна забивает глотку маленького человека пережеванной дрянью, и для того, чтобы не умереть от отвращения, надо, во-первых, постараться не видеть обезьяны, во-вторых, не думать о пище, измельченной ее челюстями и отравленной ее слюной. По мере сил именно так мы и стараемся поступать, вот только быстро стареем, и смерть всегда опережает нас...

...Все происходит в воздухе, кишашем готовыми образами, вот почему мы так быстро стареем. Готовая истина, как земляной червь, пропускает сквозь себя человека, не успевающего очнуться от первозданного сна детства. Готовая истина накладывает свои скобы на расплзающуюся по швам ткань бытия. Все шито белыми нитками — война и мир, любовь и вражда, причина и следствие.

Думаю, учителя не лгали, когда сообщали нам, что давление, производимое на жидкость, передается ею по всем направлениям без изменений и факт казни Камилла Демулена в таком-то году и впрямь соответствует действительности, но если вдуматься, чему они могли по-настоящему нас научить? Закон Паскаля, например, настолько метафоричен, что трудно себе представить, чтобы физики под старость лет не ушли, как в схику, в лирики. Теория относительности чересчур относительна к действительному человеческому благу. Периодическая система явилась из сна первооткрывателя ее и в сновидение норовит уйти вместе с улетающими сквозь закопченные заводские трубы элементами... Но коли нет прибежища в точных науках, что говорить о приблизительных, например об *истории*, громоздящей миру, как кучевые облака, прядущей золотые зигзаги легенды, трепещущей на ветру подобно лохмотьям старых боевых знамен сражающихся под землей армий? В приблизительных исторических учебниках, как ни приближай к глазам отдельные страницы, ни умножай зрение лупой, я не могу разглядеть имени *моего* отца, набранного, должно быть, невидимым шрифтом, тогда как для него больше подходит обычный петит, каким в апокрифических текстах иногда набирается слово *жертва*. Он был жертвой в хлюпающих по вечной, растопленной кратким летом мерзлоте

чунях, жертвой, брошенной на немецкие танки под Москвой с музейной винтовкой в руках и одним патроном в стволе, жертвой, гложущей мороженую конину в немецком концлагере, едущей по этапу в тесном соседстве с мертвецами в раскаленном от солнца столыпине, валившей лес и толкающей тачку в колымском забое, а потом спалившей радиоактивными отходами чистейшее озеро на Урале, но он выжил и во льдах, и в трехметровом карцере, и под землю в одной из страшных своих А-лабораторий. Характер его закалился, как стальной клинок, который государство, когда это понадобилось, умело перековало на орало. Когда его с выпавшими от цинги зубами, с подгнивающими пальцами ног привезли в эту шарашку и он несколько месяцев считался среди коллег верховным *жрецом* — так называли свежеприбывших лагерников, которые никак не могли *отожраться*, — когда он окреп, нарастил кое-какие мышцы, вставил зубы, вылечил глаза, лишь тогда что-то стронулось в его сознании.

Он ушел в труд, как уходил лопатками в стену уже приговоренный к расстрелу, и запер свои воспоминания на ключ, повесив его на гвозде истории, распявшей *жертву*. И как ни просила я его научить меня этому предмету, истории, он не желал ничем делиться и совал мне под нос учебник. Он выбросился из собственной памяти, словно Кроткая из окна, прижимая к груди, как икону, *труд*. Он требовал, чтобы я вызубривала учебник. Учебник, как рентгеновские лучи, разлагал мою память, но сознание оставалось ясным, а зрение незамутненным. Я видела на его страницах белые пятна, черные дыры, слышала приглушенный шепот страшной тайны из-под затворенной двери отцова кабинета, откуда за полночь пробивалась полоска света: о чем, покончив с дневными трудами, горько шептались родители? какие таили от меня секреты? Нестерпимый голод истории терзал мои внутренности, заставлял подслушивать и подсматривать за другими, хоть одним глазком коситься в чужие письма и дневники, — голод мучительный, инстинктивный, сосущий человека изнутри и властно требующий утоления.

Я любила рассматривать фотографии из семейных альбомов. Меня трогала повторяемость сюжетов, прозрачное однообразие волны, накатывающей на жизнь людей, почти дословное сходство пейзажей, поз и положений, размноженных в различных семьях, и глаза, потусторонним знанием пронзающие слепой воздух снимка.

Я вглядывалась в обглоданные вечерними тенями старческие лица, в щекастые мордочки младенцев, за спинами которых разгоралось солнце судьбы, видела, как ветер наматывает на прозрачные колеса пряди волос загорелых девушек и уносит их от застывшей волны Черного моря с такой необоримой силой, что можно узнать его направление, посплюнув палец. Вот волейбольный мяч входит в зодиакальный знак неведомого лета... Выпускников какого-то класса минувшее время наделило таким меланхолическим сходством, словно все они вышли из одной семьи...

И почти в каждом таком альбоме я видела то же, что было в нашем, — вырезанные фигуры, оторванные по сгибу целые группы, замазанные тушью лица. Кого призывали забыть эти ножницы, тушь, чернила, что это были за люди, что за слепые отростки организма истории, которые понадобилось удалить? Почти во всех домашних архивах, которые мне довелось видеть, поработали эти вездесущие ножницы, они резали нашу и без того улетающуюся, как эфир, бедную память, и оставалось непонятным, на каких дрожжах взошла эта пустота, на кого устремлен взгляд младенца-отца в матросской шапочке, чья отрезанная по локоть рука в форменном сюртуке инспектора народных училищ застыла над девочкой-мамой, прижимающей к себе лейку в забытом саду... Что осталось за этим усеченным на треть кадром? Чем восполнить эти белые пятна? Глядя на некоторые фотографии, ощущаешь бешеную тягу симметрии, требующей целостной композиции, потерянность увечного, мечтающего о протезе.

Я прожила на свете лет десять, пока не спохватилась, что у меня никаких родственников, кроме отца и матери, нет. У моих подружек имелись

дедушки-бабушки, дяди-тети, а у меня — нет. Куда они подевались? Я пришла с допросом к отцу. «Папа, а где твой папа, мой дедушка?» — «Его убили красные», — немного помедлив, сообщил отец. Красные и белые — это я уже знала из детского кино: красные — веселые, добрые, смелые; белые — хмурые, коварные, они запирают детей в подвал за то, что эти дети помогли красным убежать из тюрьмы. «А мы какие?» — с интересом спросила я. «Мы скорее красные», — подумав, отвечал отец. «Значит, это мы убили твоего папу?» — «Нет, не мы». — «Тогда кто?» — «Другие красные». — «А где твоя мама, моя бабушка?» — «Бабушка умерла», — с грустью сказал отец. «А мамин папа тоже умер?» — «Умер», — согласился отец. «А мамина мама?» — «Спроси у мамы», — с некоторой досадой произнес отец. Я и спросила. Мама переменялась в лице. «Кто тебе сказал, что моя мама умерла! — возмутилась она. — Моя мама жива!» Слава Богу, хоть кто-то жив оказался! Я вцепилась в маму, требуя предъявить мне мою бабушку. «Нет, не могу, — печально возразила мама. — Она не хочет нас знать». — «И меня?» — удивилась я. «Уж сколько я писала, писала, — не слыша меня, продолжала мама, — ни на одно письмо не ответила. Она не хочет нас знать». В голосе у мамы было что-то такое, от чего и мне сделалось грустно. «А кто виноват, что бабушка не хочет нас знать, — спросила я, — мы или сама бабушка?» Тут мама с надрывом произнесла: «Я, только я одна во всем виновата!» — и я поняла, что надо прекратить расспросы. Но напоследок я все-таки поинтересовалась, как зовут мою бабушку. «Тамара, — ответила мама. — Ее зовут Тамара».

Вскоре я простудилась и тяжело заболела. В больнице отцу и маме сказали, что им следует готовиться к худшему. Я отчетливо видела перед собою белое, убитое лицо отца, белые суставы его сухих, музыкальных рук, текущие по рукам слезы, видела, как кто-то в белом пытается оторвать маму от моей кровати, но в то же время видела другое... Мой взгляд погружался в большую стену глубже, чем в небо, дальше, чем в далекие березовые роши за Волгой на горизонте, в него вливались стремительные составы знакомых и незнакомых образов-молекул, то и дело разрывающихся, как ткань. Что это было? Потрясающее вероломство материи, косвенная месть моему отцу, всю жизнь положившему на разоружение именно материи, вторгавшемуся в ее сладкий, вековечный сон? В какие миры я получила пропуск? Я слышала, как пульсирует кровь, пытаюсь выбраться на волю, просочиться сквозь какое-то незнакомое вещество, в разрывах которого проглядывала иногда вся земля, земля, земля, со всех сторон обьятая небом. Взгляд мой проматывал целокупность этого мира на отдельные, завораживающие душу фрагменты вроде кружев на платье моей новой куклы или голой лампочки, змейкой ползущей ко мне с потолка. Потом я снова видела небо, слышала роение какой-то калейдоскопической музыки, из которой никак не могла вылепить определенную тему. Я бредила: «Тамара, Тамара...» Дело в том, что перед самой болезнью мы с мамой бесконечно слушали оперу «Демон». Мама, к счастью, неверно истолковала мой бред: она решила, что я призываю свою еще незнакомую бабушку, — и тут же дала отчаянную, длинную, как вечерняя молитва, телеграмму. Бабушка прилетела и стала меня выхаживать. То, что не в силах были делать родители, которым становилось плохо, когда медсестра не могла попасть мне иглой в вену, стала делать бабушка. Сама мыла палату, сама на больничной кухне готовила мне бульон, каждый день перестилала белье. Когда я начинала задыхаться, брала меня на колени и покачивала до тех пор, пока мне не делалось легче. Я укладывала себе под щеку ее теплый пуховый платок, он пах не строгой, чопорной родственницей, а доброй няней. Так на протяжении многих лет до своей болезни я уносила в постель мамины кофточки и засыпала, уткнувшись в них носом. Они были разными людьми, мама и бабушка, нервными, суровыми или взбалмошными, часто несправедливыми, но вещи, которые они носили, поневоле переняли глубокую нежность их сути, они проговаривались о своих хозяйках уютным запахом, выбалтывали мне все самое сокровенное об

этих двух женщинах, жизнь положивших на то, чтобы притворяться людьми. Вещь — не человек, она никогда не солжет, не оговорит саму себя. Когда я окончательно пришла в себя и увидела перед собою склоненное небритое лицо отца, я подняла пуховый платок бабушки, намотала на лысеющую его голову и крепко стянула узел за спиной — так снаряжают на прогулку детей. Но они все равно остались в душе друг к другу непримиримы: бабушка не могла простить отцу «разбитой» жизни своей дочери, отец не мог забыть ей того, как она 17 января 1946 года разорвала свидетельство о мамином рождении, стремясь помешать их чувствам. Он был любитель драматических жестов, но другим их не прощал.

Как только я немного пришла в себя и поняла, что старуха, сидящая у постели, — моя бабушка, я вцепилась в нее всеми чувствами, какими располагает десятилетний ребенок. Находясь во время болезни между жизнью и смертью, я словно балансировала на самом краешке своего рода, как на краю поворотного круга, где едва удерживались и мои взбалмошные родители, плохо понимающие то, что только полновесные гири прошлого могут уравновесить предстоящую мне тяжесть грядущего; бабушкино появление раздвинуло границы родовой памяти, и жизнь наша обрела некоторую устойчивость.

6

ВНАЧАЛЕ Я РЕШИЛА, ЧТО СЛОВО, КОТОРЫМ ОНИ МЕНЯ ВЕЛИЧАЮТ, — *сестра* — несет в себе госпитальный оттенок, ведь круг моих обязанностей среди этих инвалидов вскоре определился как сестринско-маркитантский: я водила их в город, делала закупки в магазине, помогала чем могла. Но, выйдя за порог их комнаты, а затем и общежития, я услышала то же обращение к себе, я будто вступала в мимолетные родственные связи со всем городом. «Сестра, помощь не нужна?» — спрашивали меня на улице, заметив, что я мешкаю перед вывесками, написанными на чужом языке. «Сестра, угощайся», — протягивали мне кепку с черным виноградом. «Сестра, который час?» Это слово — как крыша над головой, оно обеспечивало безопасность и вместе с тем рождало чувство неслышанной свободы, укрытости «за хребтом Кавказа», куда еще не перевалило «гражданочка» или более нейтральное «девушка». Каждый встречный нес за меня ответственность как за сестру, вот почему я без опаски гуляла по городу.

Общежитие музучилища стояло на берегу реки, окутанной слышимым издали ровным шумом, как равнинная река бывает окутана туманом. Из окон виднелась снежная вершина Столовой горы. Воздух к пяти часам утра переливался, как прозрачная ткань, пока солнце торжественно поднималось из-за горы, и вдруг зажигался таким светом, что сердце переполнялось восторгом. Сияние снега на вершинах гор, безудержное цветение садов, которым был охвачен весь город, древние смуглые лица с классическими чертами и истомой в выражении глаз и губ, колдовские запахи... В интенсивности красок чувствовался нахрап, чужая воля, в шуме Терек — преувеличенность, как в буре, да и слишком он был воспет поэтами, чересчур обременен легендами, чтобы можно было его по-настоящему воспринимать как *реку*. К этому следует добавить почти нереальные по вдумчивой красоте вечера с огромной мусульманской оранжевой луной, обращенной другой, серебряной стороной к моей родине.

В таких городах, почти иностранных, хорошо жить в ранней юности. Его архитектором мог быть романтический художник, и если б он потрудились до конца и завалил глыбами с гор все ходы и выходы из города, люди бы в нем никогда не старились и жизнь пролетала в сплошном кружении нарядной толпы, мирного, улыбчивого праздника. Легко, как на карнавале, завязывался разговор, легко возникала дружба, легко, естественно дарились подарки — но в самой этой легкости было что-то слишком непривычное, чуждое, наводящее на мысль о том, что эта открытость и мгновенность отклика несут в себе также легкое, почти безобидное

шарлатанство, чуть что, способное обернуться своей противоположностью: высокомерием, грубостью. За горделивыми лицами мужчин в надвинутых на брови горских папахх тлеет неугасимый, готовый в любую минуту взорваться варварский мир кавказской вольницы. Мне не раз случалось сидеть в компании своих новых друзей где-нибудь в кемпинге или на берегу ледяного горного озера, и бывали минуты, когда я чувствовала, что дружба пьянит, как вино, что доверие наше друг к другу безбрежно, — но тут кто-то из них произносил грозную фразу на своем гортанном языке, и вот уже я, как одурманенная, верчу головой, пытаюсь уловить смысл слов, которыми они яростно перебрасывались, легко и мгновенно вычитая меня из своего тесного круга. Что они обсуждают? Какие строят козни? Почему их голоса звучат совсем иначе? Может, язык служит им ширмой, за которой бурлит совершенно другая жизнь?.. Я, как кавказская пленница, заглядывала в их лица, в их чужие карие глаза. Они знали мой язык, а я не знала их языка, и они обходили меня своею речью, как лежащий на дороге камень. Я настораживалась. Я уже знала, что роговица у кареглазых в два раза менее чувствительна, чем у голубоглазых, глаза их надежнее защищены природными светофильтрами от солнечных лучей. Мои друзья были связаны между собой, как круговой порукой, коричневой радужкой своих глаз, в ткани которой было гораздо больше мелантина — красящего пигмента, отвечающего за их цвет, и не только за него. И я думала, что не смогла бы прожить здесь свою жизнь...

Иногда мы выбирались на прогулку и гуляли вдоль Терека, шли по набережной к суннитской мечети; похожей на вырезанную из слоновой кости шахматную фигуру, инкрустированную лазурью. По вечерам тени деревьев впадали в полную неподвижность, воздух в сумерках начинал как бы слиться, и к шуму Терека от этого добавлялась какая-то *умиротворяющая* нота, так по крайней мере утверждали слепые, держась шума реки, как перил, обратив к ней свои лица. Палочки их мерно цокали по асфальту. Случалось, они вышучивали меня, говорили, что когда-нибудь при моей общительности меня засунут в бурку, увезут в горы и там я останусь навсегда в сакле мужа, буду жить покрыв платком голову до бровей, не смея долго разговаривать со свекром, выказывая всем молчаливую покорность. Но я отвечала, что никогда не выйду замуж за местного. Им нравилось, когда я так говорила, — может, потому, что слово «местный» для них означало «зрячий». Да и как можно сунуть под бурку «сестру», спрашивала я, сестру и гостью, ведь закон гостеприимства в этих краях приравнен по своей важности к святому закону почитания старших. Здесь гость еще дороже сестры. Да, так было, соглашались слепые. Нет, я вижу, так есть, возражала я. Так, да не так, вздыхали слепые, вовсе не так, как водилось у наших предков.

— Русские гости, — осторожно начал объяснять Коста, — выражаясь по-русски, уж очень уверенно положили ноги на стол, пользуясь нашим гостеприимством, а мы, хозяйева, сами им указывали свои месторождения — серебро, золото, свинец, у нас всего было много...

— У кого это — «у нас»? — перебил его Заур. — Это уж, извините, у нас, а не у вас, грузин.

— Юг испокон веков был наш, — насмешливо ответил Коста.

Чувствовалось, что они продолжают какой-то спор, начатый еще до меня, до моего появления в этих краях и, должно быть, на свете, до — их собственного рождения.

— Какой юг? — спросила я.

— Не понимаешь, да? — нервничая, говорил Заур. — Они до сих пор считают Цхинвал своим.

— Цхинвали — осетинский город, — подавал голос Женя.

— А ты вообще молчи, — обрывал его Коста. — Если бы не ваш казак Толмачев, Цхинвал еще в двадцать втором году присоединили бы к Грузии...

— А я тут при чем? Говорят, осетины сами захотели присоединиться к нам, русским...

— Ты не русский, Женя, ты тоже осетин! — объявил ему Заур.

— Я — осетин? Ты что, я прирожденный донской казак, у меня даже фамилия казацкая — Донов.

— Нет, осетин. Наши предки, аланы, жили на берегах Дона. Дон по-осетински означает «вода».

— Ну? А я и не знал. Неужели я и вправду осетин?..

— У них все осетины, — вдруг зло сказал Теймураз, — они и нас хотят считать осетинами...

— А ты не осетин? — спросила я.

— Они радовались, когда нас выселяли из Ингушетии. Их-то не тронули. Грузин стреляли, черкесов выселяли, армян сажали, а их, осетин, почти не тронули.

Реплика Теймураза почему-то оставила Заура равнодушным. Они с Коста шли тесно прижавшись друг к другу, как братья, больно стуча один другого палочками по ногам.

— Ты ведь из Эристовых, правда?

— Да, и горжусь этим.

— Вы, Эристовы, да еще Мачиабели, почему-то всегда считали Цхинвал своей вотчиной...

— Если вы не прекратите, я сейчас вас брошу и уйду, — сказала я.

Они помолчали.

— Русские всегда так, — мирным голосом заметил Коста, — сами кашу заварят...

— Русские вам кашу заварили? — вскинулась я.

— Кто же еще? — проворчал Теймураз. — Кто ссылал нас в сорок четвертом?

— Сталин и Берия приказали вас сослать. Оба грузины! — резко вмешался Заур.

— Сталин был осетин.

— А Берия — мингрел. Не сван и не кахетинец. Он не мог быть никем иным, как мингрелом, я знаю мингрелов, мой брат год прожил в Зугдиди, пока ему не пришлось оттуда бежать...

— Русские учат вас музыке, печатают книги, строят дома, спасают вас от вашей же дикости — ведь ваши женщины и сегодня не смеют сесть с мужчиной за один стол... Без русских не было бы мира на этой земле — вы же сами мне это говорили.

— Говорили. Но Ленин провозгласил, что дорога к мировой революции лежит через Восток... — сказал Теймураз и осекся, вспомнив, видимо, о моей угрозе уйти.

Дальше мы шли в молчании. Я смотрела на Терек, уносящий мою безмятежность. Много в этом разговоре мне было не до конца понятным, более того, я чувствовала, что никогда его не пойму. Они нарочно притупляют мою бдительность словом «сестра». Их река не *течет*, а *бежит* по камням. Большой рыбе здесь не проплыть. Вода — и та своевольна. Дон. Ари ма дон — по-осетински «дай напиток». Я-то думала, что они прежде всего — слепые. Что — братья.

Я часто видела ее из окна общежития, спешившую через мост на занятия. Впрочем, спешить, торопиться — это было не в ее правилах, Регина Альбертовна всегда ходила очень быстро, точно ее подгоняло в спину течение Терека, бурлившего под городским мостом и задававшего ей ритм, но не потому, что она боялась опоздать, а потому, что она сама была *сообщением*, не терпящим отлагательства. Она врывалась в горный пейзаж, которым я любовалась поутру, как срочная телеграмма, и переключала на себя все мои мысли. Она летела как стрела, попадающая в яблоко, но в то же время была сконцентрирована на себе, как зерно внутри этого самого яблока. Я отрывала от нее свой зачарованный взгляд и шла на сближение,

отправляясь на ее урок и с каждым шагом, с каждой ступенькой, с новым поворотом лестницы ощущая, как вскипает во мне чувство избранности, похожее на дар. Что-то у нас с ней сейчас произойдет — я не знала что: будем ли мы читать с листа, или просто беседовать о музыке, или я неожиданно для себя войду в какой-нибудь музыкальный фрагмент, в котором до этого не слышала ничего особенного, и сыграю его так, как еще не представляла себе... Что-то со мною всегда происходило во время наших уроков, из-за чего я долго потом не могла прийти в себя, как будто там, в классе, за обитой черным дерматином дверью с табличкой, на которой значилась фамилия Регины Альбертовны, побывала не я, а мой предприимчивый дух, эфирная оболочка, освобожденная от плоти.

Я нередко наблюдала такую картину: проходившие мимо нашего класса студенты и преподаватели невольно замедляли шаги, приостанавливаясь, а иногда надолго застревали под дверью, за которой Регина Альбертовна что-нибудь показывала на фортепиано своему ученику, например, как тот или иной пианист, Лев Оборин или Константин Игумнов, сыграли в концерте фрагмент «Вечерних грез» Чайковского... Поразительным было, как по-разному они грезили, будто перед их внутренним взором стояли различные ноты — или они одну и ту же вещь играли в разных тональностях. Что бы ни говорила Регина Альбертовна и ни делала, касалось только музыки, как будто для нее не существовало остальной жизни. «Вчера слушала по телевизору «Хованщину» с партитурой в руках, — безотрадным тоном делилась она со мною, — вы не представляете, как много грязи, смазанных фраз, фальшивых нот...»

Как-то я спросила ее, играет ли она упражнения для поддержания техники и какие именно. Регина Альбертовна села к фортепиано и разразилась блестящей импровизацией на тему популярной тогда песни Бабаджаняна. Она сыграла этот мотив поочередно в полифоническом стиле Баха, в героическом — Бетховена, в мелодическом — Шопена, в экспансивном — Вагнера, в импрессионистском — Сен-Санса и завершила этот дивертисмент сомнамбулическими вариациями, в которых угадывался Скрябин. Она вообще любила показывать, как надо играть, иногда нетерпеливо отбивая у меня инструмент, как лукавая девушка жениха у своей простушки подруги. Возможно, в этом заключалось своеобразие ее преподавательского метода. Она проигрывала фрагменты или пьесы всякий раз по-разному даже с технической точки зрения — то в классическом, то в романтическом, то в экспрессионистском духе. Одни и те же фрагменты, пьесы. И в конце концов я поняла, почему Регина Альбертовна не стала исполнителем. Способность к имитации, в которую входил и ее импровизаторский дар, заглушила в ней то музыкальное своеобразие, которое есть у всех нас, начиная с Гилельса и заканчивая нашей вахтершей бабой Катей. Зато своих учеников она заставляла делать то, на что не решилась сама, — искать себя в лабиринте звучаний. И если б она меня спросила, что, собственно, означает эта последняя фраза, я бы, ничтоже сумняшеся, сослалась на слова одного прекрасного пианиста. «Самое главное, — сказал он, — чувствовать цвет звука. Я играю и вижу, как все вокруг становится золотым...»

— Вам не следует играть Бетховена, — однажды объявила мне Регина Альбертовна. — Именно вам. Не следует. Хотите знать, почему? Сейчас я сыграю вам начало третьей части «Лунной», только медленно... Слышите? Бетховен строит свои пассажи на основе гармонической фигурации. Это обыкновенное арпеджио, музыкально существующее только благодаря темпу как ритмической и динамической окраске одной из тональностей. Сухое, невыразительное арпеджио, упражнение для рук. Я бы посоветовала вам решать свои внутренние проблемы через Моцарта, через кантилену, через подробный мелодический рисунок, но и к кантилене, чтобы она прозвучала, следует относиться достаточно жестко. Как говорил Станиславский, всякая роль должна строиться на мужестве. Возьмите Рахманинова — ведь это самый «минорный» композитор, все пять его фортепиан-

ных концертов и три симфонии написаны в миноре — но в каком сильном, мускулистом миноре! Впрочем, Рахманинова вам также не следует играть... — уже жадно заиграв ре-минорный прелюд Рахманинова, заключила Регина Альбертовна тоном скупердяйки процентщицы.

В другой раз она сказала, подняв с клавиатуры мою растопыренную руку и держа ее на весу:

— Какая жалость! Такая хорошая рука, октаву с терцией может взять! Такая хорошая — и такая бесполезная! Никакой беглости пальцев... Вас что там, в музыкальной школе, учительница не хлопала линейкой по рукам?

— А вас? — засмеялась я.

— Существуют две категории музыкантов, — с важностью отвечала Регина Альбертовна, — одних в детстве силой заставляют заниматься, а других силой отрывают от инструмента... У вас была слишком снисходительная учительница. А теперь поздно заставлять вас играть Черни или Бузони.

К концу почти каждого нашего занятия с нею, перед появлением Коста, учебные часы которого нередко приходились после моих, Регина Альбертовна неуловимо менялась. Еще минуту назад — на Генделе, на Бахе — мы были вместе, но уже на «Баркароле» Чайковского она отстранялась от меня, как будто «Июнь» переносил ее в иной климатический пояс. Она прохаживалась по классу, закинув согнутые в локтях руки за голову, шевеля пальцами, поглядывая в окно на дорожку, ведущую в общежитие. Играя, я ощущала скачок ее настроения, когда она замечала появление Коста, к кончикам моих пальцев начинала приливать кровь, согревая клавиши, которые становились настолько податливыми, что казалось, если я оторву от них руки, музыка будет литься сама. Если на первой переключке голосов правой и левой руки Регина Альбертовна была со мной, удерживая мою кисть от излишней ласки, на которую напрашивалась гибкая, как кошка, музыкальная фраза, то уже следующая часть пьесы продолжалась без нее — в другой, потерянной акустике. Между тем, как позже выяснилось, она очень внимательно слушала, как уносит меня соль-минорное арпеджио в мой детский «Июнь», на просторы овсяного поля, и как с последними звучаниями «Баркаролы» я уже всю собираю на этом поле васьильки...

Однажды где-то в середине моего «Июня» вошел Коста. Он присел на стул за мою спиной и терпеливо дождался последнего арпеджированного аккорда.

— Что скажешь, Коста?.. — спросила его Регина Альбертовна, своей интонацией как бы кивнув в мою сторону.

— Эту «Баркаролу» надо как следует выжать и просушить на солнышке, — видимо ободренный ее присутствием, язвительно отозвался Коста.

— Разгул чувств?.. — засмеялась Регина Альбертовна.

— Не чувств, а чувственности, — с пуританским видом изрек Коста.

— Нет, ты не прав — я считаю, интересная интерпретация... — вдруг не согласилась она.

Так они переговаривались через мою голову, точно меня уже не было в классе.

— Возможно, в этом что-то есть, — нехотя отозвался Коста. — Личный, карманный, так сказать, Чайковский... Много себя, немного солнца в холодной воде и чуть-чуть Петра Ильича.

Я кротко собирала ноты, уже привыкнув к подобным обсуждениям.

— Тема сыграна хорошо, пальцами будто без костей... — продолжал Коста. — Но все же не следует впадать в музыкальную пьесу как в транс.

Я просталась с Региной Альбертовной (она отвечала мне невыразительным кивком), уходила и не знала, как долго еще продолжался этот разговор обо мне, при котором я явно оказывалась лишней. Я чувствовала,

что Регина Альбертовна ревнует. Она напряженно вслушивалась в голос Коста, стараясь определить, не сдвинулось ли что-то в наших с ним отношениях, что-то, что могло свести на нет *их* отношения — свободные и прекрасные, свободные и талантливые. Возможно, то, что происходило между ними — талантливым учеником и учителем, двумя музыкантами, — она ставила на несколько порядков выше моей странной дружбы с Коста и любой другой дружбы. Музыка реет как дух, а в любви всегда проговаривается плоть. Пока Коста открыто не выказал предпочтения плоти, это она наверное слышала в его голосе, его игре, но если такое все же возьмет место, она сочтет это предательством. И это была чисто женская ревность, разрази меня гром! Все-таки у меня был *абсолютный* слух, я слышала не только клавиши, но видела сквозь произносимые людьми слова то чувство, которое они пытались спрятать за словами, и даже тень, которую это чувство отбрасывает... Меня не проведешь. Но и Регину Альбертовну, вооруженную музыкой, не проведешь. Она верит в свои силы, хотя знает, что слепого ничего не стоит взять за руку, завести в темный лес и бросить там на съедение волкам. Впрочем, всякий человек слепнет, стоит его увести в этот дремучий лес чувств, в котором оркестр деревьев гремит, как оргия сумасшедших, срывающих с заблудившегося, растерянного странника и музыку, и кожу, и зрение как одежду, как жизнь.

С окраин и из горских селений на городской рынок рекой текли фрукты, овощи, орехи, ягоды, они были тут фантастически дешевы, точно росли на всех без исключения деревьях и лесных делянках. Приветливость, привораживающая ласковость торговцев взошли как дрожжи на этом изобилии. За улыбку, за слово «уарджен», произнесенное по-осетински, просто за то, что я «сестра», меня так часто одаривали яблоками, чурчхелами, тыквенными семечками, что, случалось, я уходила с рынка так и не открыв кошелек.

Обычно меня сопровождали на рынок Женя или Теймураз. Последний умел отлично готовить. Что-то неуловимо музыкальное было в беглости его пальцев, когда он крутил долму, точно исполнял Ганона или этюды Черни, добываясь уму непостижимой техники, я не успевала разворачивать и разглаживать виноградные листья, когда он, начинив их фаршем, скручивал крохотные голубцы. Теймураз был подлинным интернационалистом в кулинарии, и объяснял это тем, что родители его долгое время прожили в казахстанских степях в ссылке, в окружении представителей разных республик и автономий, у каждой нации его отец, бывший повар ресторана, взял по одному блюду — так запоминают наиболее обиходные фразы. Теймураз иногда разыгрывал перед нами миниатюрные пиры Грузии, Калмыкии, Узбекистана, а однажды посрамил меня как представительницу России гурьевской кашей.

Из ближайшего магазина я приносила замороженных цыплят — слипшиеся, схваченные льдом жалобные тушки, погруженные в еще более чем смертельный холод, застывшие в трагическом объятии в невероятных скульптурных позах, вывернув мертвые головы с младенческими грешками, сурово стиснутыми клювами, закатившимися слюдяными глазами. Лед постепенно отпуская скрюченную плоть, начинавшую блуждать в поисках удобной, расслабленной позы, отходившую от жуткой неподвижности и просыпающуюся для дальнейших работ над нею. Поблескивая линзами очков, Теймураз улыбался гостеприимной улыбкой архангела, переносящего вверенные ему души в рай, тогда как пальцы его были деловиты и отчужденны. Они как будто наигрывали рассеянно какую-то музыкальную фразу, одну за другой, но только это были не клавишные, не духовые, не струнные, это была неподвижная плоть, в которую он старался вдохнуть вторую жизнь... Точным, полным профессионального достоинства движением отсекал головы, распахнувшие под ножом зевы в последнем глотке небытия, сухие, покрытые слюдяной перепонкой ноги и все это сгребал в миску для холодца, затем делал на тушках продольные надрезы и запуская

в них свою блаженную руку, неуследимым, мгновенным рывком выгребал из цыпленка все его внутренности: сизо-перламутровую трахею, крохотный мешочек сердца, бурый, точно покрытый осклизлым мхом камень, желудок, дымчато-алую печень, ядовито-зеленый комочек желчного пузыря, пенящиеся кровью пористые легкие. Теймураз владел искусством потрошения с таким совершенством, что со стороны казалось, будто ему, как Богу, ничего не стоит собрать из мисок все эти комочки внутренностей, затолкать обратно в тушку и вдохнуть в птицу отнятую у нее жизнь. Он, быть может, и совершил бы это из любви к искусству, но мы ему мешали, по нашим внутренностям уже струился древний зов жизни, они были пусты, как потрошенные тушки, и настроены на запахи приготавливаемой пищи. Я чистила сковороды, Женя повязывал фартук вокруг брюшка, Заур возился с зеленью. Обратного пути не было. Впрочем, кулинарные страсти владели Теймуразом только в начале сессии — проходили дни, по мере утраты им интереса к поварскому делу стол наш беднел, и дни экзаменов связаны у меня с настойчивым ароматом картошки.

Когда мы с Теймуразом шли по рынку, менялся даже стук его палочки. Она, как живое существо, заряжалась раздражением, искрила недоверием к торговцу и его товару. И хлопала меня по икрам, напоминая: на стрелку, на стрелку смотри... Ему не нравилась моя сговорчивость. Он был уверен, что меня пытаются обмануть. В каждом яблоке он прозревал червя. Он запускал руки в грудь неправдоподобно крупных груш, окруженных медовым ароматом, ощупывал их, подносил к своим очкам-окулярам, как Полифем, пытающийся обнаружить Улисса, и с торжеством откладывал одну-две с отметинами на янтарных боках. Между Теймуразом и торговцем завязывалась яростная перепалка на осетинском языке.

- И за это ты хочешь рубль? — угадывала я.
- А что, по-твоему, такие груши не стоят рубля?..
- На этих грушах твой вол переночевал...

Мне было неловко перед торговцем, а между тем было заметно, что он вполне доволен Теймуразом. Что они вдвоем как бы выполняют освященный веками обряд. Что если б я взяла груши не торгуясь, торговец почувствовал бы себя обескураженным. Теймураз с подозрением прислушивался к звону меди в моих руках.

- Сколько он дал сдачи?
- Сколько надо, — отрезала я.
- Русская мотовка, — говорил он, обиженно пыхтя.

И все же с Теймуразом на рынок ходить было лучше, чем с Женей. Сначала я долго не могла понять, почему Женя в воротах крепко хватает меня за руку, как маленький мальчик, который боится потерять, а стоит мне подойти к прилавку, останавливается с растерянным видом сироты, к тому же сироты слабоумной, тычащей пальцем в сторону прилавка и мычащей: «Купи, купи...» Потом поняла, что Женя таким манером пытается сэкономить наши деньги, вызывая у торговцев сострадание. И когда сердобольные осетинские или ингушские бабушки спрашивали меня: «Это твой брат?» — Женя, очнувшись от своего слабоумия, жалобно подхватывал, цепляясь за мою руку: «Брат, брат...»

С Женей, живущим в Таганроге, у нас, как у двух земляков-чужестранцев в далеком краю, возникла дружба. Зрачки его глаз были всегда закачены. Я смотрела в синеватые белки и не могла отвести взгляд, потому что он это сразу чувствовал, точно мои зрачки согревали роговицу его глаз: стоило немного отвернуться, как он тут же повышал голос, чтобы не дать мне ускользнуть. Женя узнавал меня в толпе — говорил, что по духам, но и когда духи кончились, все равно узнавал, настораживался, поворачивал голову в мою сторону и окликал по имени. Он любил со мною разговаривать, часто спрашивал про девушек: что им нравится в ребятах? Я отвечала: доброта. А еще что? — настаивал Женя, и я говорила: культура. А еще? — снова спрашивал он, и однажды Коста, оказавшийся рядом, желчно ответил ему: «Пол».

— Как я выгляжу со стороны? — допытывался Женя, и я отвечала:

— Нормально.

Я разговаривала с ним, и у меня чуть кружилась голова, как у героя Уэллса в момент его рокового опыта над самим собою, когда от всего грозного человеческого существа оставался один голос, обнаруживающий себя, как змея, неразличимая среди зелени, пока она неподвижна.

— Но я не кажусь со стороны странным? — настаивал Женя, обращая ко мне доверчиво распахнутое лицо.

Бесполезно пожав плечами, я говорила:

— Что в тебе странного?

Слепой, а от него не спрячешься, такая парадоксальная ситуация, зря чему можно на каждом шагу поставить силки, обманки, заморозить движением, как замораживает змея, изобразить на лице то или иное чувство. Мир с заживо содранной кожей зрелищности должен был бы истечь кровью, если бы Женя в нем, собственно, родился, но он родился в своем личном, вылепленном пальцами пространстве, где мир и свет разговаривают на языке температуры, запаха или голоса.

— Меня очень интересуют девушки, — сказал однажды Женя. — Знаешь, ведь я знаком дома с очень многими девушками...

— Вот как?

— Да, — с гордостью сказал он. — Иногда я набираю наугад номер телефона, и если трубку берет девушка, мы начинаем беседовать. Верить ли, ни одна не бросила трубку. Из этого я сделал вывод, что все девушки очень одиноки.

— Думаю, ты просто интересный собеседник.

— Да, я тоже так считаю, — засмеялся он, — ведь с той или иной девушкой, случается, говоришь чуть ли не до утра, и ей не скучно. Моя телефонная книжка распухла от девушек. Но ни одной я не дал свой номер телефона...

Каждый свободный вечер Женя, как тать ночной, свершал набег на светящиеся одиночеством жилища таганрогских девушек. Накидывал сплетенную сеть цифр и похищал девушку не выходя из дома. Телом она была как бы во сне (то есть невидима), но душа ее, захваченная исповедью незнакомому человеку, бодрствовала... Женя настолько выкладывался в разговоре с очередной ночной девушкой, что на следующую ночь звонил другой, чтобы дать взойти невесомым семенам предыдущего разговора. Каждая девушка была ему дорога, как возлюбленная, но всех их доносила к нему мощная струя одной и той же мелодии — мелодии романтизма. Практического склада девушки отсеивались с нескольких фраз. Самой умной из его девушек была Зинаида. Сколько лет можно дать голосу? Женя считал, что Зинаиде было за тридцать, и он тоже притворялся тридцатилетним. Судя по номеру, она жила где-то рядом, во время разговора она просила его посмотреть из окна на Большую Медведицу. Как-то он попытался выяснить ее адрес, но Зинаида попросила его дать клятву, что он никогда не будет ее искать: ему было легко сдержать слово. Женя давал своим девушкам все, что только может дать бескорыстный голос: искренность, теплоту и доверие.

От Теймураза я услышала удивительную историю. Как в запутанной гармонической задаче, в ней слился дикарский мотив, оживающий на языке какого-то древнего горского инструмента, с балалаечным треньканьем российской неразберихи и кондовым цоканьем советского бюрократического церемониала...

Когда-то прадед Теймураза, ингушский барон, сопровождал на охоте одного из великих князей и был прозван им за меткость на индейский манер Соколиным Глазом. Это прозвище так пришлось по душе барону, что он прибавил его к своей фамилии и стал зваться — Цховребов Соколиный Глаз. С тех пор все Цховребовы стали Соколиными Глазами. Семнадцати лет Теймураз вместе с отцом попал в автомобильную катастрофу, в резуль-

тате которой отец погиб, а Тейм частично лишился зрения. Несмотря на то что милиция разобралась в этом печальном происшествии и выяснила, что виноват в случившемся был именно Соколиный Глаз, превысивший скорость на повороте и не сумевший избежать столкновения, Теймураз остался при мнении, что катастрофа была подстроена их давними врагами Бедоевыми. В другой машине путешествовали по Кавказу молодые русские с палаткой в багажнике, но ни эта палатка, ни гитара с бантом на грифе не смогли рассеять подозрения Тейма в том, что за спиной русских наймитов стоял богатый клан Бедоевых. «Так ведь милиция же разобралась», — сказала я ему, на что обычно тихий Теймураз взвился, точно ошпаренный кипятком: «В местной милиции работает половина Дзакоевых, они родственники Бедоевых, ты что, не понимаешь? Коза это понимает, а ты не понимаешь! Рука руку моет, не знаешь, да?!»

Через год мать повезла Теймураза в Москву, где в Четвертом управлении подвизалась их дальняя родственница, указавшая им на еще более дальнего родственника, офтальмолога, который мог бы помочь Теймуразу, удалив осколки стекла из его глаз. Этот доктор немедленно согласился прооперировать Теймураза. Но в ходе подготовки к операции сомнения начали одолевать пациента. Ему объяснили, что решающим моментом при подобной операции является быстрота пальцев оператора, то есть техника, которой офтальмолог, его родственник, действительно обладал лет двадцать назад, но сейчас у него руки уже не те. В создавшейся ситуации, чтоб не обидеть человека, оставалось сослаться только на собственную трусость и нерешительность, что скрепя сердце и сделал Теймураз, чтобы увильнуть от неповоротливых пальцев старого врача. Он уехал домой и оттуда с помощью матери снова стал забрасывать сети на Москву. Отыскали другого офтальмолога, который согласился прооперировать Теймураза, но теперь надо было решить проблему, как не обидеть при этом ни родственницу из Четвертого управления, ни родича-офтальмолога. Эту странную, на мой взгляд, ситуацию разрешила смерть старого глазника. Но когда все препятствия на пути к операции, казалось, были устранены, возникли новые обстоятельства: выяснилось, что несколько лет назад молодой офтальмолог оперировал одну из Бедоевых по поводу глаукомы. Теймураз категорически отказался от его услуг. Мать Тейма, также ненавидящая Бедоевых, умоляла сына забыть вражду и лечь на операцию, но он был уверен, что молодой хирург, будучи подкуплен Бедоевыми, окончательно лишит его зрения. Старая мать Теймураза до сих пор ищет врача для своего сына, хотя поиски эти осложнились испортившимися отношениями с родственницей из Четвертого управления, почувствовавшей себя оскорбленной.

Вот такая была ерунда, такая оскорбительная для здравого смысла дикость. Слушая эту историю, я тарасила на Теймураза глаза, точно сама была слабовидящей, пытаюсь сфокусировать в своем зрачке эти исторические чувства и мотивы, в которых, с моей точки зрения, было не больше смысла, чем в лепете сумасшедшего, в то время как Теймураз, в пылу объяснений смахнув с лица свои лупы-очки и глядя на меня совершенно зрячим глазом, пытался выстроить на моей сетчатке свою нерушимую логику, проникающую до самого глазного дна, и кто из нас был в эту минуту слепым, я уже не могла понять. Микроскопические осколки стекла с течением времени уходили в его глазное яблоко все глубже, подбирались, быть может, к периферийному зрению в мозгу, а он в это время сосредоточил всю силу своих больных глаз на образе Бедоевых, которые, скорей всего, и думать о нем забыли. Его зрение уходило своими корнями в какой-то искаженный образ, в галлюцинацию, и все это было так нелепо, что оставалось только руками развести.

Теймураз говорил о своих глазах, как о покинувшей его девушке, на возвращение которой он не утратил надежды. Это от него я узнала, что мои голубые глаза видят иначе, чем глаза местных жителей, вот почему посреди яркого солнечного дня меня настигали приступы головокружения. Глаз — это сложное объемное *тело-эксцентрик*, непрерывно находящееся

в колебательном режиме относительно своих осей симметрии. Глаз отражает световой «зайчик», улавливаемый врачами через особо чувствительные приборы. Глазной бокал — как одна половина песочных часов, вторая их половина наложена на переводную картинку сознания. Узкое место — зрачок, или фокус, сквозь него не пробиться прошлому, обремененному печатью своего времени, в нем застряли кочевники со своими певучими стрелами, средневековые замки с подъемными мостами, аутодафе, ристалища, хотя кое-что просочилось — отдельные мелодии, рифмы, клетки с канарейками, пепел Клааса. Сквозь частый гребень времени прорастают вещи сегодняшнего дня. Действительность состоит из вещей. С каждым веком и годом вещей становится все больше. Вещь усыновила человека, все чаще он живет в ее тени, избегая появляться под солнцем истины. Хотя каждый из нас печален и одинок, как буква, выпавшая из слова, унесшая с собою частицу смысла целой фразы, страницы, книги. Вещь не страшна только в руках маленьких детей, умеющих построить страну из бутылочного осколка и еловой шишки, но страна эта с течением дней, с движением солнца испаряется, как утренняя роса, ведь жизнь человеческая готовится на слишком быстром огне, под нею, как гигантский костер, разложено солнце, и мы, повзрослев, не можем не дышать испарениями его горячего бреда, в котором картина мира заранее искажена: надо бы, чтоб светофильтры зрачка были устроены с поправкой на вечное безумие жизни. Это глаза размножают в мире то, что сердце хотело бы свести на нет.

7

МОЕЙ ДРУЖБЕ С БАБУШКОЙ СОПУТСТВОВАЛА ОДНА СТРАННОСТЬ в моем характере: я никак не могла научиться обращению к взрослым на «вы». Мне и до сих пор представляется это «вы» попранием прав личности, отбрасываемой в душный мир толпы, мир множественности, где не может быть места доверию. Одна буква взамен другой не может заставить людей уважать друг друга, если речь не идет о буквалистском, формальном уважении. А формальности, начиная с обязательной новогодней открытки, которой ждал от меня отец, даже если я находилась рядом, и заканчивая включением в музыкальную программу Баха, всегда вызывали во мне чувство протеста и легкое головокружение: будто эта ненужная открытка могла искривить параметры реальности, вызвать сползание души в какую-то мертвую, безвоздушную сторону. «Ты» на вкус и на слух теплое, как дыхание, и простое, как дом, а «вы» — это завывает ноябрьский ветер за окнами.

Бабушка хотела быть строгой, но у меня уже имелся опыт общения со строгими людьми, в частности с моим отцом. Для того чтобы сбить спесь со взрослого, надо все его усилия по напусканию строгости перевести в плоскость игры, веселой шутки. Строгость бабушки была чисто формальной, и я быстро обозначила степень своей свободы, сразу начав говорить ей «ты», что больше всего поразило ее, привыкшую к иному обращению. Бабушке ничего другого не оставалось, как сделать вид, что на время моей болезни она принимает правила игры, но я радостно предчувствовала, что болезнь пройдет, а «игра» останется. Если человеку сразу и бескомпромиссно предложить собственные правила общения, он никуда не денется, примет их. Но только сразу, бескомпромиссно и свои собственные, чтобы он со своими опоздал, а когда спохватится, будет уже поздно — он уже едет по другому, чем замышлял, маршруту.

— Не знаю, как вас благодарить, мама, вы выходили мою дочку.

— Да уж, у кого-кого, а у меня есть опыт ухода за больными... — ответила бабушка, и по мгновенно изменившемуся лицу мамы я поняла, что за этой фразой кроется какая-то история, которая в дальнейшем еще получит свое развитие...

Дело было не только в характерах действующих лиц, не умеющих приспособиться друг к другу, а именно в какой-то истории, старинной, истре-

панной партитуре отношений, которая всегда под рукой, в ней уже составлены тональность, паузы, темп, педали, намечено развитие тем и модуляций, уже имеется заключительный аккорд, и как я ни старалась, мне не удалось стереть ноты, спрямить ходы чувств исполнителей этой пьесы. Играли они на заведомо расстроенных инструментах, и воспринимать их игру можно было только с поправкой на безнадежно плывущее, фальшивое звучание эпохи. Между тем мне казалось: весь этот шум и грохот, вызывающий колебания почвы под ногами, можно простучать одним пальцем, как «чижик-пыжик», но родители и бабушка настаивали на особой сложности партитуры. Им следовало бы, наверное, выяснить свои отношения, осторожно подбирая слова, методом бормотания, тихого полусшепота, избегая встречаться взглядами, не настаивая слишком на своем существовании и праве говорить в полный голос. Такую осторожность мои бескомпромиссные родные посчитали бы притворством. А притворство было им не свойственно, за исключением той его опасной разновидности, когда человек обманывает самого себя. Внутренний мир бабушки сложился давно, он был настолько отчетлив и очерчен специальными словами, хмыканьем, пожатием плеч, фигурами умолчания и безмолвного выказывания своего отношения, что я почти физически ощущала его границы, как грудную клетку, вздымающуюся от дыхания. В поведении же моего отца было много такого, что стороннему взгляду могло показаться театральным, но это не было притворством... Например, прежде чем подать милостыню одному опрятному нищему, всегда стоявшему у дверей нашей булочной, отец сначала за руку здоровался с ним: «Доброе утро, Тимофей Игнатьевич!» — и вся очередь поворачивала головы на этот маленький спектакль, удивляясь отцу. В его жесте не было фальши, но люди, глядя на них с нищим, не могли не ощутить в его поступке некоего демонстративного попраiania издревле установленного порядка, согласно которому тот, кто протягивает руку за подаванием, как и тот, кто подает, не должны иметь ни лиц, ни имен. Мама же не умела притворяться до такой степени, что на школьных родительских собраниях, когда речь заходила обо мне, ее дочери, как ни в чем не бывало продолжала читать книгу, прячась за спинами других родителей, и в этом якобы непринужденном отсутствии интереса к тому, что обо мне говорят, было тоже что-то нарочитое — если тебе неинтересно, как успевают твой ребенок, стой на этом до конца и не ходи ни на какие собрания. Словом, людям, уже расписавшим свою манеру поведения на сто лет вперед, трудно найти друг с другом общий язык, не говоря уж о том, что отношения между моими родными уже сложились.

Перемирие, которое они были вынуждены заключить у моего больничного одра, нарушилось, как только дело пошло на поправку. Когда отец приходил навестить меня, бабушка под любым предлогом удалялась из палаты, а когда приходила мама, бабушка, напротив, крепко держалась за меня, точно боялась остаться с дочерью наедине. Наконец меня выписали, и они окончательно разошлись по своим комнатам: мы с бабушкой поселились в моей, мама — в своей, а отец — в кабинете. Атмосфера в доме постепенно накалилась настолько, что бабушка взяла обратный билет на поезд и только после этого властным тоном объявила родителям о своем отъезде.

В последний вечер бабушка сидела у моей кровати и дочитывала мне «Всадника без головы». В комнату вошла мама, поинтересовалась, как прошел день, и, не дослушав рассказ бабушки, вышла. Бабушка тут же захлопнула книгу и потушила свет. Она была уверена, что на этом дело кончится — утром за нею должно было прийти такси, чтоб отвезти ее к поезду.

Я не могла заснуть. Я почти физически ощущала: что-то должно произойти.

Из-под двери маминой комнаты пробивался свет. Осторожно вышел в ванную отец, я слышала, как он долго полощет горло, побаливающее в зимнюю пору. Затем он вошел в кабинет, закрыл за собою дверь, под тяжестью его тела заскрипела алюминиевая кровать, и спустя несколько ми-

нут послышался его храп — храп усталого работника, человека с чистой совестью. Полоска света под маминой дверью тут же погасла, и вдруг она возникла в проеме двери, как тень, и я услышала ее голос:

— Мама, вы не спите?

Бабушка не ответила.

Мама прикрыла дверь нашей комнаты, включила настольную лампу, поставила стул к бабушкиной кровати и беспощадным голосом повторила, уже как утверждение:

— Вы не спите.

Сквозь неплотно сомкнутые ресницы я увидела ее в том же наряде, в каком она пришла с работы, только на ногах у нее вместо шпилек были шлепанцы. В двубортном костюме стального цвета из тонкой шерсти, сшитом по ее фигуре, в светло-серой блузке со стоячим воротничком, с большой брошью на груди, прямая как струна и неподвижная. Красивым женщинам не идет на пользу сознание их красоты, оно кладет на лица какой-то неистребимо пошлый гляцевитый отпечаток самолюбия. Но мама о своей красоте никогда не помышляла и, должно быть, поэтому до сих пор казалась совсем молодой.

— Не спите, — в третий раз произнесла мама, и бабушка наконец откликнулась слабым голосом:

— Ты разбудишь свою дочь.

— Все же расскажите мне об Андрее, — властно произнесла мама.

— Что тебе рассказать? — через паузу спросила бабушка.

— Как он живет, расскажите, — потребовала мама.

Бабушка приподнялась.

— Как он живет? — испуганно переспросила она. — Но он умер, умер, ты ведь знаешь!

— Значит, и вы приняли участие в этой подлой комедии? — усмехнулась мама. — Это с вашей санкции Вера сочинила для меня историю о самоубийстве Андрея? С вашего одобрения? Зачем? Как вы могли, мама? Я два года прожила как в аду, оплакивая его. Значит, не только Вера, но и вы решили таким образом свести со мною счеты? Страшный вы человек, мама.

— Но он действительно умер, дочка, — дрогнувшим голосом произнесла бабушка.

Мама рассмеялась сухим и злобным смехом, и храп отца за стеной на какие-то секунды пресекся.

— Я теперь знаю, что это басня, которую вы сочинили вместе с его матерью, чтобы уничтожить меня, — продолжала мама. — Нет, он не умер, не покончил с собой, как написала Вера. Андрей жив.

— Жив? — испуганно переспросила бабушка, спустив ноги с кровати.

— Да, полгода назад Андрей прислал мне письмо...

Тут я поняла, о чем идет речь: я вспомнила страшную сцену, произошедшую полгода назад, еще до моей болезни.

...Мы с мамой мыли окна в гостиной, как вдруг услышали бешеный стук в дверь и скрежет ключа, точно отец не мог справиться с замком. Наконец он открыл дверь и ворвался с искаженным от ярости лицом, с побелевшими зрачками, потрясая какими-то листками в руке, закричал:

— «Арлезианка» Бизе! Романс Неморино!.. Пятый концерт Баха! Симфонное скерцо Шопена! Ты помнишь эту музыку?..

Я не могла понять, почему отец таким диким голосом задает маме этот вопрос, но по лицу мамы увидела, что она сразу все поняла. К моему изумлению, лицо мамы как будто обдало пламенем чистой радости, оно буквально исказилось от счастья, как лицо отца — от ярости.

— Твой любовник! — кричал отец. — Вот кто познакомил тебя с музыкой, а мне ты ее поднесла как обеды с чужого стола!.. Я-то считал, что музыка — это то, что происходит только между нами двоими, но был здесь, как выяснилось, третьим! Я гнил в окопах и околевал в плену, а ты в это время безмятежно посещала симфонические концерты и оперные театры со своим любовником Андреем Астафьевым!

Мама нащупала стул и опустилась на него с выражением блаженного счастья на лице, будто она не слышала крика отца.

— Андрей жив, — сказала она самой себе, — он прислал мне письмо!

— Ты еще смеешь открыто выражать свою радость! — закричал отец. — «В сиянии ночи лунной...» — трясущимися руками он поднес листки к глазам. — «Корабль, разбивающийся о скалы...» Будь ты проклята!..

Он занес кулак над головой мамы, но тут я закричала, и они заговорили на таких высоких частотах, что мой слух уже не воспринимал отдельных слов. Я видела, как у отца прыгают губы, как улыбается безумной улыбкой мама... Отец скомкал листки, схватил со стола спички и бросился в свой кабинет. Мы — следом. Я видела, как он швырнул горящие листки на пол, топча их ногами и одновременно отталкивая маму, пытающуюся выхватить письмо. Листки запылали. Мама билась в руках отца. Когда письмо почти догорело, отец швырнул маму на пол и бросился из дома. Я смотрела, как мама разминает пальцами пепел, подносит его к лицу и целует, улыбаясь, и звуки, один за другим, стали возвращаться в мой потресканный слух... Она вдруг вскочила с пола, схватила с отцовского стола лист бумаги и карандаш, подлетела ко мне и затрясла меня за плечи.

— Ты запомнила названия... названия тех произведений? Той музыки?.. «Арлезианка», Неморино, Пятый концерт Баха... Что еще?

— Си-минорное скерцо Шопена, «В сиянии ночи лунной», — машинально пролепетала я. — «Корабль, разбивающийся о скалы...»

Рука ее летала по бумаге.

— Спасибо, хорошая моя... ну, не пугайся, ничего страшного не случилось... Главное, он, оказывается, жив! А мне написали, что его больше нет. Понимаешь?

Нет, я ее не понимала.

Я видела, что в нашей общей жизни — отца, мамы и моей — произошел обвал, катастрофа, непоправимая беда... А она смеется как безумная, окуная лицо в пепел! Произошло крушение — а она счастлива! Уж не сошла ли она в самом деле с ума? Кто жив? Кого больше нет?..

Я ничего не понимала тогда в происходящем, а сейчас, подслушав их разговор с бабушкой, догадалась, что речь идет о том человеке, чье письмо окончательно разрушило нашу жизнь.

— Доченька, — в голосе бабушки слышались мольба и страх, — это не Андрей послал то письмо. Я о нем знаю. Вера нашла неотправленное письмо в какой-то книге после его смерти и решила послать тебе. Она мне об этом говорила. Андрей погиб, доченька. Его больше нет.

Мамино лицо окаменело. Стало тихо, только из кабинета доносился храп отца.

— Больше нет? — как бы изумленно переспросила мама.

— Он умер, доча, умер. А я ни в чем не участвовала. Вера узнала твой адрес случайно. Она все написала тебе в том письме.

— Да, — как эхо, отозвалась мама.

— А Андрея больше нет.

— Да, — далеким голосом согласилась мама.

Снова сделалось тихо. Мама, такая же прямая и неподвижная, сидела на краю стула, уперевшись сосредоточенным взглядом в темноту за балконной дверью.

— Я думала, вы все это сочинили, — монотонно заговорила она. — А вы, значит, ничего не сочинили. Он умер. Как он умер? Он действительно покончил с собой?

— Это неправда, неправда, — заторопилась бабушка, — я сама разговаривала с человеком, который был с ним в тот вечер. Они сильно выпили. Андрей пил последнее время... Тот человек отошел к билетной кассе, а Андрей стоял на самом краю платформы...

— И тут поезд, — без всякого выражения сказала мама. — Значит, поезд. Поезд его переехал. Как и ту женщину, любовницу моего мужа. Я вам, мама, о ней писала...

— Писала, — опасно подтвердила бабушка.

— Спокойной ночи, мама. — Она поднялась и нажала рукой на кнопку настольной лампы... — Спокойной ночи.

Мама ушла, а бабушка тихо заплакала. Я лежала сжавшись в комок. Что же все-таки произошло в нашей жизни? Я боялась подать голос. Что?..

Хорошо ехать на трамвае по улице Старопочтовой, катить в ее берегах меж причудливых невысоких домов с ветхими опереточными балконами, облупившимися арками, столбами и полуовальными окнами, претендовавшими когда-то на модерн. Трамвай визжит на поворотах сабельным железом, на ходу толкает лбом сентябрьские листья, важно планирующие в избыточном воздухе ранней осени. В начале нашего века на Старопочтовой проживали врачи, учителя, владельцы небольших магазинов, адвокаты, маклеры, актеры, газетчики, казацкие офицеры Войска Донского. В те времена улица держалась передовых взглядов, процветавших под светом державных английских люстр, которые продавались на вес в принадлежавшем моему прадеду магазине: чем тяжелее, тем дороже. В окнах мелькали тени людей, обедавших за большими столами, ласкавших детей, читавших газеты, обменивавшихся своими передовыми взглядами и не обращавших внимания на волны сырой тьмы, наползающие на них с нижних кварталов, от реки, из хибар и полуподвалов, где проживал простой люд. Сейчас это улица абажуров, на всю Старопочтовую не наберется и десятка люстр. Хорошо ехать по ней вечером на трамвае, плыть меж огромных, вниз головой висящих тюльпанов света — оранжевых, салатových, бордовых. Жизнь под ними кажется уютной, тихой.

Как некоторые музыкальные пьесы легко *входят в пальцы*, так Старопочтовая в первый же мой приезд к бабушке вошла в мою память, как будто я родилась и выросла на ней. Я бы сравнила эту улицу с музыкальным произведением, сочетающим принцип сюиты и темы с вариациями в едином потоке впечатлений, с пьесой, написанной «на четыре ноты», — «Карнавалом» Шумана. «Си-ми-до-ля» — в этом мелодическом эмбрионе Роберт хитроумно зашифровал название города, где жила его возлюбленная, он проходит через все сцены произведения, как наш трамвай сквозь многочисленные дома и деревья Старопочтовой, протекающей параллельно медлительному Дону; в том месте, где стоит наш дом, она повторяет изгиб реки. Один дом здесь ходил буквой «г», как шахматный конь, другой рождал вдруг комнатушку, буквально висящую в воздухе, не учтенную ЖЭКом и выпавшую из его амбарной книги, как «ять» из алфавита. Клетушки, голубятни, боковушки с скрипучими переходами. Дома находились в вечном росте, ремонте, перестройке. По вечерам дома перекликались ученическими звуками фортепиано, баянами, скрипками — наш квартал отличала ничем не объяснимая музыкальность. Конец улицы смахивал на конец века: и там и там процветают падежи причуд.

Веранда, на которой мы с бабушкой иногда пьем чай или вяжем, нависает над тротуаром. Наш дом опоясан верандой и похож на старый пароход, приплывший с реки посуху на турусах с колесами. Он двухэтажный, просторный, стоит в тени огромного, в три обхвата, тополя.

Бесчисленное множество раз моя судьба решалась в этом доме.

Тяжелая резная дверь парадного с потемневшей от времени бронзовой ручкой с легкостью поддалась под моей хозяйской рукой, рука безошибочно во тьме коридора взялась за перила лестницы и стала выбирать невод, полный знакомых звуков, вздохов, запахов, красок, теней. Я вошла в дом с тем же чувством, с каким дети впервые входят в море, и его древнее вещество тут же обняло меня со всех сторон. Бабушкина квартира на втором этаже. В прихожей электроплитка и печь, топившаяся углем. Ящик в прихожей все время пополнялся углем, хранившимся в сарае, в комнатах всегда было тепло. «Где тепло, там и добро», — услышала я от бабушки. В коридоре сундук, оклеенный изнутри старыми губернскими газетами, на нем

летом долго не гасла керосинка — здесь бабушка варила варенье и закатывала компоты, отправляемые в чулан под лестницей. В другом чулане совсем недавно провели водопровод, и он превратился в небольшую ванную с туалетом. Первый этаж занимает ветвистое шумное семейство Ткачевых, состоящее из бабушки Аньки, матери Ткачихи и двух ее дочерей. Парадная дверь на ночь запиралась.

В спальне две железные кровати, покрытые старинными тяжелыми покрывалами — «розовым» и «голубым». Они выцвели, сделались кремовыми, так что я иногда их путала, но бабушка поправляла мою ошибку и требовала, чтобы я свою постель, бывшую дедушкину, застилала «голубым», а ее — «розовым». Гобелены на стенах тоже проиграли в цвете, но движения охотников по-прежнему были молоды и стремительны, и гончие псы резво летели, не касаясь лапами земли.

В большой комнате, многие годы служившей Багаевым столовой, в окружении старых, как он сам, вещей и людей на фотографиях, которых давно не было в живых, сидел дед Ефим. Он сидел в плетеном садовом кресле, подперев голову кулаком, и с пристальной усмешкой смотрел в объектив. Свет привычно скользил по его усатому выгоревшему лицу, по декоративному заднику провинциального фотосалона — гипсовая балюстрада, серые клубы трудноразличимых деревьев, уходящих в пугающее ничто, в некое алгебраическое туманное измерение. Здесь когда-то собирались они все, было шумно, тесно, невероятно далеко от тех потрясающих событий, в которых ему суждено было участвовать, были Багаевы — и нет Багаевых, и сам он уже не Багаев, а *лишенец* — Бог знает что, исчезающее из мира, хотя странным казалось ему в те дни умереть по такой житейской причине, как старость, и часы, большие как шкаф, отвечали важным звоном: странно... Здесь когда-то раздвигали стол, звучали голоса, детвора бузила на полу, и от нее переставляли подальше керосиновую лампу. Мать Ефима возилась на кухне, разливала по формам желе, Ефим отнесил формочки на холод и пальцем пробовал прозрачную застывающую жидкость. Щека дочери, моей будущей мамы, обращенная к печке, тепло розовела. На стол ставили наливку, взрослую и детскую — сироп. Всегда был соблазн — потянуть за крахмальный край скатерти и посмотреть, как будет. Нарядный обед со зданием рыбного пирога, супницей, салатницей потрясут подземные толчки. Наливки сольют свои русла, и в них рыбинами блеснут спинки ложек, стронутся с места кузнецовские тарелки и завалятся набор рюмки, колоннады нарезанного хлеба потянутся к краю, и эту гибель Помпеи в грохоте, огненной лаве и отчаянии завершат падающие яблоки из вазы, до последнего балансирующей на краю стола... Так однажды Ефим потянул край скатерти, но тут вошла бабушка Тамара, подседа к мужу, взяла его за руку и отступила к двери, пристально и с ужасом глядя на мертвого.

Она осталась одна и прожила еще долгую отдельную жизнь.

Часть столовой занимал буфет, сооруженный мастерами-краснодеревщиками на заказ в прошлом веке, — со множеством ящичков (некоторые — с секретными замками), с озерцами зеркал, причудливо вкрапленных в дверцы верхних этажей буфета, где стояла посуда, с медными шпешечками вместо ручек; в средних этажах дверцы напоминали ставни с кружевом резьбы понизу и лепниной дубовых листьев посередине; раздвижная крышка буфета, выложенная из различных пород дерева, представляла собою шахматную доску — ящичек для фигур находился под крышкой с отделениями для белых и черных; в дверцы нижних отделов буфета, где стояло варенье, был вдавлен медный вензель — бабушка частенько, согнувшись в три погибели, начищала до блеска инициалы своего пропавшего без вести в революцию деда — «Г» и «Б», его звали Георгием. По этому буфету можно было бродить как по городу. Больше всех от времени пострадал диван — это был старец с одышкой, расплывшийся, буг-

ристый, с облезшим до дыр плюшем на валиках, но застланный китайским ковром с фазаном посредине и с орнаментом из иероглифов, которые мой любознательный отец, едва появившись в этом доме, к восторгу мечтавшего прочитать это древнекитайское послание дедушки Ефима, вооружась словарем, однажды прочел; вот примерный перевод фразы, вытканной в прошлом веке давно умершими шанхайскими ткачами, успевшими выпустить в мир конечный вывод мудрости китайской, бабушка его запомнила: «Действия шумного и горячего человека на самом деле глухи, как падение листа в отдаленном лесу». С трудом прочитав это, отец отказался от первоначальной идеи выучить тяжелый китайский язык — он уже хорошо знал немецкий и французский, самостоятельно занимался английским и мечтал о языковой практике, не подозревая, что она, эта практика, находится у него под боком: бабушка ни разу не обнаружила себя, хотя не забыла язык своего детства. В углу на льняной скатерти с кружевами по краям — знаменитая швейная машинка, этот верный Боливар, вынесший целое семейство.

Бабушка жила тихо и незаметно. Из всего огромного ее фамильного имущества волной на сушу вынесло лишь эту швейную машинку, с которой она на долгие годы слилась в одно существо. Машинка ее стучала целый день, норовя застрочить также и память соседей о том, что эта женщина — одна из Багаевых... Существование бабушки было таким же ровным, как стежка бесконечного шитья, чередование эпох и катушек — не в счет, из-под иглы струилась бесконечная ее мысль о том, как бы незаметнее соединить одно с другим: воротничок с кокеткой, планку с оборкой, черное с белым, прошлое с настоящим. Ее стежка не дала сбоя ни в те времена, когда она осталась сиротой, похоронив в начале двадцатых отца и мать, не вынесших послереволюционных потрясений, ни во время Гражданской войны, когда она прятала в чулане дезертировавшего из отряда генерала Покровского дедушку, чуть не тронувшегося умом во время страшных майкопских казней и лишь чудом избежавшего расстрела вместе с сотнями других социально чуждых, ни когда у них родились дети и дедушку потихоньку удалось легализовать в качестве служащего торгсина, ни в тридцатых годах, когда Старопочтовая лишилась почти всех своих коренных обитателей, один за другим исчезавших в глухую ночную пору под монотонный бой напольных часов, которые теперь бабушка часто останавливала, открывая застекленные дверцы и рукой удерживая маятник, пульсирующий в ее горсти, когда к нам приходил соседский мальчик Лео, отчего-то боящийся их звона... Плетеная этажерка предназначалась не столько для книг, сколько для различных статуэток: орла из горного хрусталя, китайских болванчиков, чугунного Дон Кихота с вынимающимся из ножен чугунным мечом, чугунным сапожком для карандашей, шкатулок с позолоченными застежками, в которых бабушка хранила разноцветные катушки с нитками. Чистота, перекличка трамваев, теплая скрипучая половица под босой стопой, чуть состарившийся воздух с отдаленным ароматом корицы, за окном тихое, неутомимое, вечное движение дикого винограда по стене к козырьку крыши — часть веранды нависает над нашим маленьким двором и завершается витой лестницей...

...Вечером мы пили чай с плюшками и смотрели старое кино про Баталова, умиравшего от ОЛБ в окружении своих верных друзей-физиков.

Как вдруг во всем квартале погас свет.

— Возьми свечу, — сердито молвила бабушка, — запири на ночь парадное.

Она чиркнула спичкой. Свеча изнутри осветила трюмо, как отражение луны реку. Я взяла в руки громоздкую, полновесную связку ключей, которыми запирают настоящие дома, капающую стеарином свечу и вышла в коридор.

Часть лестницы осветилась, но большую ее половину тьма продолжала уносить во тьму, в обратную перспективу доисторических времен, где еще не было Огня, роялей, оружия, бумажных слов и цифр, и оттуда на меня

потянуло пещерной сыростью. Запах шел от чулана, комнаты-эмбриона под чердачной лестницей, угол которой всегда был затянут многоугольным паутиным, похожий на астрономический прибор, служащий для определения звездных координат. Она казалась древней, вечной, эта паутина. По ее веерным лестницам взад-вперед скользила Арахна, день за днем незаметно плетущая интригу времен, — так растет растение... А темнота все подступала к моей свече, жадно дыша жабрами, ворочаясь, заваливая набок робкий огонек, лижущий мои рубиновые пальцы, и лестнице все так же не было скрипучего конца, зато тень, появившаяся на стене и бывшая мне впору, походила на вещь, которую можно повесить на гвоздик, как плащ или тальму, которые набрасывали на себя девушки из нашего рода, жившие при восковых свечах, отпиравшие двери возлюбленным вот этим выпуклым, хладным, позабывшим тепло их ладоней ключом. Закрыв парадную дверь, они поднимались на второй этаж и начинали запирать за собою комнату за комнатой, на два оборота по часовой, на засов, на щеколду, пока их жизненное пространство не сужалось до размеров спальни, постели, а потом и человеческой могилы — места нашего последнего упокоения.

Тяжело бухает дверь в парадном. Лестница закрипела, будто по ней подымается грузный, тяжелый человек. Между тем я знаю: это топает ребенок. Дворовый дурачок Лео. Наша удивительная лестница за долгие годы своего существования накопила некую сверхчувствительность к человеческим стопам. Она похожа на прочное живое дерево, к которому привили росток совершенно иной, тонкой, культуры, и он, слабый и нежный, принялся, и мало того — поразил невероятной чувствительностью весь древесный состав дома; лестница наша вечерами звучит по-иному, чем утром, по ее пению можно определить, идет ли на улице дождь, или установилось вёдро.

Ребенок худ и легок, но лицо его покрыто тонкой сетью морщин, потому что ум отстал, совсем отстал от Лео, заблудился в лабиринтах комнат, в которые наша соседка Ткачиха, заслонив своим телом мою молодую маму во время оккупации, заманила пьяный немецкий патруль, в результате чего перед концом войны у Ткачихи родилась тихая, навечно испуганная белобрысая девочка Лиза. Казалось, Лиза жила тушуясь и вздрагивая, точно с минуты на минуту ожидала возвращения этого патруля — троих насильников в форме полевой жандармерии, один из которых пришелся ей отцом. Лиза выросла, работала в магазине уборщицей и еще ходила убираться в различные дома, а от кого она родила убогого Лео — неизвестно, этого она не сказала даже матери... Лео тяжело шагает по ступеням, и они страшно скрипят, будто по ним подымается увязавшийся за девушкой пьяный патруль, который Ткачиха, прибежав на крик мамы и заголив свои груди, увлекла за собою по тому темному страшному лабиринту, где и поныне блуждает затерявшийся, отставший ум Лео. Мальчик боится лестницы, но любит приходиться к нам в гости. Он пересказывает, как умеет, уличные новости моей бабушке, которая лишь делает вид, что не интересуется ими и вообще не любит сплетен. Но все-таки расспрашивает Лео: у кого сегодня прибиралась мать, что ей дали за это, кому грузовик привез новый холодильник и так далее. Лео долго идет по лестнице, ему не нравится, что лестница скрипит. Он не понимает, почему ему так трудно идти по ступенькам, ведь цель Лео проста — абрикосовый компот, которым угощает его бабушка, а между тем лестница скрипит так, будто он идет убивать.

Я люблю разговаривать с Лео. Наш разговор — это пьеска, сыгранная на четыре ноты.

— Борщ хочешь, Лео?

— А! Борщ! Хочу!..

Лео притопал в комнату, уселся и застыл, выжидательно глядя на меня. Ему хочется поговорить.

— Как тебя зовут? — в который раз спрашиваю я.

— А! Лео! Лео!

— Лев, — неодобрительно поправляет бабушка.

Ей не нравится, что ребенку позволяют коверкать собственное имя. За столько лет могли бы и научить дитя выговаривать его как следует. Бабушка не испытывает благодарности к Ткачихе за то, что та спасла ее дочь. Может, в первые дни после произошедшего и испытывала, но теперь, когда я захожу об этом речь, отвечает, что Ткачиха была женщина бойкая и никому не отказывала, фашисты ей давали столько продуктов, что на весь дом хватало. Я думаю о том, что бремя пожизненной, страшной благодарности просто надорвало ей душу и в какой-то момент бабушка не выдержала, взяла сердце в скрепы и, поджав губы, отгородилась от суматошной Ткачихи.

— Сколько тебе лет, Лео?

— Пять! — радостно отвечает Лео.

— Тебе уже пять лет как пять лет, — раздраженно замечает бабушка.

— Пять, — подтверждает Лео.

Он не верит в раздраженные голоса. Он, наверное, считает, что люди нарочно что-то надевают на свой голос и лестница нарочно скрипит. Бабушка снова нарочно спрашивает:

— Так сколько тебе лет?..

Получив ответ, всплескивает руками:

— Тебе, наверное, известен секрет вечной молодости, Лео!

Существование Лео — это удар пальцем по одной и той же клавише, монотонный, как китайская пытка. Что бы ни предприняли врачи, им не удастся починить застрявшую клавишу, пробудить эти серые, дремотные глаза. Лео мог бы быть моим братом. Старшим братом, если бы не отчаянный поступок Ткачихи. Я понимаю это, я все время думаю об этом, снова обмирая от страха за маму, мучаясь чувством неясной вины перед Лео. Странно, что Лиза всегда выпадает из поля моих чувств, словно и нет ее вовсе. Это в маленьком Лео для меня воплотилась вся тяжесть, вся скудость и ветхость военных лет: голод, отчаяние, разбомбленные дома, зябкие ночные очереди у булочных и вокзалов, бухающие на площадях зенитки, люди, обитающие в земляных норах среди кирпичных руин, живущие воздухом, лебедой, крапивой, очистками и объедками с немецких полевых кухонь. Рядом с Лео мне хочется умалиться и тоже стать птицей, высвистывающей одну и ту же ноту, ведь ум таит в себе большую опасность, настолько большую, что даже не подозревает о ней. Лео пройдет по жизни, овевая нас всех странной тоской по первобытному братству человеческих существ, изъяснявшихся гуканьем, жестами. Память его ничего не прихватит с собою на небо, ему будет легко подыматься прочь от земли. Чувства Лео как воздушные шары, которые он иногда приносит с собою, чтобы отпустить их в небо с нашей веранды: это сосуды с его дыханием, ничего больше.

Лео любит путешествовать в пределах нашего квартала, он вхож во многие дома. Правда, не всегда его принимают, иногда увидев в окно, кричат: «Иди, иди себе, Лео», а иногда — напротив, зазывают. Я знаю это от бабушки, негодующей оттого, что всякий норовит использовать ребенка: в одном доме он убивает мух сложной газетой — он очень ловкий охотник, я видела его в деле, во втором беседует с парализованной бабушкой, потому что другим разговаривать с ней недосуг, в третьем сидит возле младенца и подает ему то и дело падающую соску, предварительно обмакнув ее в блюдо с кипяченой водой.

— Ты был сегодня в магазине? — спрашивает бабушка.

— А! Был! — коротко отвечает Лео.

— А что же ты покупал?

— Роны (макаронны), — докладывает Лео.

— И больше ничего? — интересуется бабушка.

— Банку, — отвечает Лео.

— Какую банку, большую или маленькую?

Лео показывает — маленькую.

— Консервы?

— Да! — подтверждает Лео.

— А что на них было нарисовано, рыба или корова?

— Ова, — отвечает Лео.

— Им лень варить борщ из настоящего мяса, — поясняет мне бабушка, — столько в доме женщин, а все норовят сготовить бурду из тушенки. Ты ешь, ешь, Лео, у нас-то борщ настоящий, наваристый!.. А еще где ты был?

— У Веры, — бухает Лео.

Видно, что бабушка чем-то недовольна.

— И чем тебя там угощали? Георгинами небось?

— Ченьем (печеньем), — рапортует Лео.

— С чаем, наверное? — включаюсь в расспросы я, ибо тема Веры меня всерьез занимает. Вера — мать Андрея Астафьева, бывшего жениха моей мамы. Она живет неподалеку от нас, но я у нее еще не была. Мы не знакомы.

Бабушка резко переводит разговор на другое:

— Не вздумай угощать Лео своими огурцами... Ты снова все не так сделала! Какие же это малосольные огурцы — огурцы должны отпрыгивать от зубов. Это малосольные пиявки, а не огурцы. Отбирать для засола надо вот такусенькие, а не такушие... Ты во всем повторяешь свою чокнутую мать, та тоже ничему не хотела учиться...

Пауза. Я беру с книжной полки детектив «Щупальца спрута» и начинаю читать рецепт какого-то пирожного, написанный на полях мелким бабушкиным почерком: «Имбирь, корица, мед, орехи, изюм, чернослив... он выхватил из кармана револьвер и приставил его к виску девушки...»

— Хорошая книга, — говорит бабушка. — Рецепт огурчиков не здесь, а в книжке Евгения Долматовского...

Лео доел борщ, и мы идем на веранду.

Солнце стоит над диким виноградом, окрестные дома с таинственной жизнью, чужим и чуждым тебе счастьем, как по ступеням, спускаются вниз к реке. А вон и она сама сияет, радуется, плещет. За нею марево Зеленого острова, на котором много турбаз. Мы с Лео сидим на той половине веранды, что выходит во двор. Дно этого двора, погруженного в воспоминания о веселых багаевских мужчинах и их величавых женщинах, устлано мелкими камешками, как морское дно. Двор окружен тремя домами и сам кажется комнатой, продолжением дома, только без крыши, лишь отголоски ветра залетали в него, причем такие слабые, что не могли и страницу книжки перевернуть. Дождь едва дотягивался из-за тучи густой тополиной зелени. Под верандой в начале июня обмирал от собственной красоты куст белых мелких роз. По ночам цветущий куст сиял, как созвездие, углубляя черноту неба и двора, казавшуюся бездонной, как начало и конец жизни, но ни того, ни другого не было: жизнь порхала с отцветшей звезды на распутившуюся, только и всего... Жизнь во дворе сворачивалась, пряталась, подбирала когти, глубоко вздыхали деревья, в прорези листьев темного винограда смотрели звезды, устанавливалась глубокая ночная тишина, хоральные прелюдии и фуги были разлиты в воздухе наравне с последним уходящим треньканьем трамвая... Ночью таинственный двор оживал, шелестел, качался на качелях из дикого винограда, высоко подвешенных, скрипел своими старыми суставами, молился; в третьем часу утра туманного пронзительный, чистый, бессонный голос пробовал себя: «ктрли-трли...» — и на двор обрушивался хор, какой невозможно уложить в пятистенок нотного стана; девушки Багаевы раскрывали от счастья свои серые, как бы увеличенные слезами радости блестящие глаза, мужчины накрывали ухо подушкой, старики бессонно томились от прелести жизни, идущей под гору, багаевские дети спали с резвым румянцем на щеке, юноши кралась по увитой виноградом веранде в дом, сдерживая рукой свое молодое колотящееся сердце. Струи нового воздуха омывали все вокруг, наконец в тополе сверкало солнце, тренькала калитка на воротах, яркий, горячий являлся день...

— Размечталась... — ворчит за моей спиной в двери веранды бабка Анька и в разбитых туфлях с дочкиной ноги, с седыми космами под вдовьим платком и в мешковатом сером затрапезе входит в нашу повесть.

Неумная Анька — прабабушка Лео. Набегавшись по делам с раннего утра, к обеду Анька обычно слабела, передвигалась как маятник, с трудом приводя в движение ржавеющие суставы. Присев в плетеное кресло у себя на веранде с чашкой чая, вдруг мимикрировала, теряла очертания, вся превращаясь в кресло, и кресло вылетало вместе с нею на шабаш, а на веранде, в тени винограда, было тихо, сонно, вы начисто забывали об Аньке, пока ее глубокий сон не давал течь, пока жизнь не проникала снова через все поры в это деятельное тело, пока ворчливый голос не произносил:

— Размечталась...

Постепенно просыпалась в ее руках чашка остывшего чая, Анька все больше обозначалась в кресле в разбитых туфлях, из-под рукава мешковины выныривала тощая рука с роскошными швейцарскими часами. Час времени отрезвлял Аньку, и она, окончательно выпутавшись из паутины полуденного сна, вскакивала на ноги и выкатывалась из дома.

Анька — мать Ткачихи и бабка двух ее взрослых дочерей. Это старое, юркое, полное сгущенной жизни существо было окутано коконом прокисшего бытия полуподвальных помещений, заискивающих чаепитий в обществе разведенков, их тайн, их невозможных секретов, коммунальных битв, кляуз и поисков справедливости. Аньку призывали во всех случаях жизни: посоветоваться, как отбить освободившуюся комнату в коммуналке, уладить полюбовно начавшуюся было свару между соседями; Анька снаряжала машину и грузила наиболее ценную мебель брошенных жен, чьи мужья претендовали на имущество, и мебель скрывалась в угловой комнатке Ткачевых — за некоторые гроши, разумеется, пока претенденты не отступались; из скучных холодных норок извлекала Анька застенчивых холостяков и тащила их на знакомство с одинокими матронами, она же, случалось, сопровождала договорившуюся парочку в загс с чувством исполненного долга; она покупала продукты больным старушкам, стояла разом в нескольких очередях, перла на себе невероятные тяжести и дорого за услуги со старушек не брала. Она в курсе всех пенсионных дел и сберегательных книжек, а также у кого какое золотишко в серванте, кто придуривается бедным, а кто и правда гол как сокол.

Но больше всего Анька любит похороны. С этой печальной стороны она знает почти каждую семью, и о тех, кого она помогала проводить в последний путь, говорит с удовольствием, вдохновенно, как о живом и даже родном ей человеке. Невероятно, но Анька помнит, кто где лежит, и у кого какой памятник, и чьи родные поскупились, и какое платье было на вдове, и что было на поминках, и чей племянник приперся аж из самого Петрозаводска, не постеснялся, жмот, за сломанной зингеровской машинкой. Особенно охотно Анька рассказывает о том, сколько она лично сжулила на похоронах: шоферу дала не десятку, как объявила о том родственникам покойного, а пятерку, на поминальное вино попросила двадцать пять, а уложились в двадцать, двенадцать рубликов, выданных ей на покупку простыней для покойника, прикарманила, простыни же нашла в сундуке усопшего, специально приготовленные, но об этом, конечно, умолчала, куриц купила на рынке не за пять рублей, как объявила, а меньше, на могильщиках сэкономила, а уж продуктов сколько в ведерке с поминка унесла, про это никто и не знает.

После оккупации она работала в милиции. В Анькины функции входило обыскивать отловленных милиционерами воровок, спекулянтов, перекупщиц. Анька это проделывала так виртуозно, что самая изощренная спекулянтка выходила из ее рук очищенная под липку и честила Аньку на чем свет стоит, ибо после того, как Анькин настырный палец выковыривал у нее из-за щеки сапфировую брошь, выменянную на горстку сахара,

спекулянтка вновь обрела голос. Анька усмехалась себе, ощупывая спекулянткино пальцецо, косясь на спекулянткин золотой зуб, который, конечно же, пока не имела права конфисковать.

В милиции ее ценили и не раз награждали рыбными консервами и двадцатью килограммами кукурузы, не ведая того, что на Аньку эту нужна еще одна такая же Анька. Ибо Анна Ткачева утаивала от государства то брошечку какую, то колечко, которые втихаря продавала. К чести ее надо заметить, Анькиными колечками и брошечками кормился не только весь наш двор, но и соседские дворы тоже. Это благодаря ее хитрости не умер от голода сын сумасшедшего старика Онучина Яшенька. Он вырос побираясь по домам, окончил школу, а потом уехал в Москву, где поступил в университет, и скоро сделался крупным геологом, специалистом по алмазам и драгметаллам. Таким образом, до государства все-таки дошло уворованное Анькой золото.

Иногда мы с Анькой ходим на базар. У нее есть чему поучиться, хоть она и трещит как сорока. Анька малограмотна, но счет в уме ведет молниеносно. Те соседские старушки, которым она покупает снедь на рынке, просто диву даются: петрушка десять копеек, да лук репчатый сорок, да зеленый лучок отменный за шейсят взяла, можно дешевле, но этот больно хорош, да кочанок капусты, как барчонок, крепенький сорок пять копеек, итого два с полтиною, — и смотрит прямо в глаза. Старушки тоже не такие бедные, как прикидываются, эта вчера перевод от дочки получила, говорит, двадцать рублей, а почтальонша сказала, пятьдесят, та вообще миллионерша, ложки золотенькие, брошка брильяновая, а сама-то медная, приbedняется, а вот эта правда сирота, точно, и Анька ей говорит: два рубля ровно, а под настроение еще и сдачи какую-то копейку может дать. Аньке семьдесят лет, но неделю назад соседи, переезжая в новый дом, отдали ей свой холодильник, так Анька, взволновавшись, что унесут его, пока она будет ходить за подмогой, взвалила «Саратов» на горб да и принесла к себе, даром что дома свой стоит — такой же «Саратов».

Подымается Анька ни свет ни заря, только моя бабушка, ранняя пташка, трясет половики во дворе, остальные почивают еще, она и идет к бабушке. Анька крепко уважает бабушку, ее просто не обдуришь. Так уважает, что уголь из сарая таскает ей бесплатно. Веру Астафьеву, наоборот, совсем не уважает, не понимает, как это можно тратиться на цветочки, чай, не девочка, несколько раз она пыталась всучить Вере покойницкие цветы, хоть за гривенник, на них же не написано, что для покойника куплены, но Вера не берет. Об этом с обидой поведала мне сама Анька.

Вероятно, это Анькин промысел позволяет Ткачихе, матери большого семейства, жить на широкую ногу, покупать в магазине тушенку и фруктовые компоты, которые так любит Лео, ящиками. У Ткачихи красное бордчатое лицо, грубый голос, медвежья походка при большом плотном теле, но ее легко разжалобить, уговорить мягким словом. Она бы хотела, чтоб обе ее дочки выросли барышнями, да откуда взяться. Очень любит Ткачиха Муслима Магомаева, это знает во дворе каждый, и как только знакомый голос зазвучит у соседа по радио, тот обязательно прибавит громкость, и тогда у Ткачихи на кухне сразу взрвет радиоприемник, а сама она, умиляясь, начинает думать о хорошем, душевном человеке, поющем песню, и удивляться себе, хорошей, душевной.

Вон соседка Людка Фомина, товаровед галантереи, с грозно накрашенным ртом и ошалевшими от неведомых чувств глазами, понесла в нарядном платье свое громкое тело, стуча каблучками: я женщина самостоятельная! Я себя прокормить сумею! Муж Фомин, капитан портового буксира, с болью и завистью вышел во двор проводить ее взглядом — может, и завела кого, но уследишь ведь, а мужа не любит, терпит только.

Светка, младшая дочь Ткачихи, сидит на скамейке с торчащим пузом, тоже дура, неизвестно в кого такая, отец ее переживает, пьет валерьянку и, как начальник 16-го отделения милиции и любящий отец, тайно раскидывает сети над машиностроительным техникумом, где учится его будущий зятяк: учебой дорожит, а мы ему устроим, лучше женись, сынок, честь по

честь, так-то, сынок, мерзавец этакий. Сам он давно живет с другой семьей, а с Ткачихой гулял по молодости. И вот теперь — поди ж ты — хочет, чтоб у дочки все было как у людей, честь по чести.

Ткачиха недавно устроилась работать в баню на Кировской улице, в женское отделение, и те из соседней, кто водит с ней дружбу, пользуются баней бесплатно.

— Проходите, — всегда говорит нам с бабушкой Ткачиха, распахивая дверь в предбанник, — парьтесь, сколь вам угодно...

Мне приятно иметь блат в бане. В том, что каждый человек, имеющий даже самую крохотную должность, может оказывать покровительство друзьям, есть что-то глубоко справедливое. Как бы мы все жили, если б не имели знакомых в кулинарии, в парикмахерской, в бане, наконец?

— Венчик выбирайте поубористей, — советует Ткачиха. — Тамара, эвкалипту прихватила? А то я тебе свой дам.

Бабушка первое время церемонилась и не желала «обманывать государство», покупала нам за двадцать копеек билеты, пока Ткачиха не выдала ей в глаза правду-матку:

— Ты боишься у меня одалживаться, Тома. Ну так ты мне ничего не должна: у вас наш Лео часами ошивается.

И правда часами. Лео, белобрый бестия, прямой потомок полевой жандармерии. По желобкам в цементированном полу грязная пена стекает в Дон-батюшку. Женщины трут друг другу спины мочалками или поролоновой рукавицей, хлещут венниками, делятся кремом, мятой... Женщины должны помогать друг другу. Женщины в бане — это совсем не то, что женщины в кабинетах. В бане они все солидарны друг с другом. Полуголая Ткачиха в фартуке с мокрым подолом ходит между скамеек, подкручивает вентили труб с холодной и горячей и следит за тем, чтобы женщинам было тепло и приятно. И чтобы какая из них не вздумала с помощью парной избавиться от ребеночка — и за этим, бывает, приходят. Ей нравится эта нагота, в которой процветает душевность, ей приятно, что она заведует государственным теплом, которое поступает по трубам, греет всех нас и вымывает из наших пор вьвшуюся грязь. В бане я всегда смотрю на ее большое бугристое тело, как земля разряд молнии, принявшее на себя удар судьбы, предназначенный моей маме, мне, всем нам. Слепой удар пришелся в Лео, увяз, как в земле, в его затуманенных глазах, в умудренной понимающей улыбке полоумного дурачка. Бабушка успокаивается. Она наконец понимает, что Ткачиха *не помнит* о том, что когда-то выручила ее дочь из беды. Возможно, она даже *забыла*, при каких обстоятельствах зачала свою дочь Лизу. Она вообще широкий человек, понимает, что любую грязь можно смыть, любое дело уладить. Пока мы с бабушкой моемся, она по несколько раз подходит к нам то с советом не лезть сегодня на верхний полоч, то с бальзамом-ополаскивателем, который, полфлакона, оставила одна голая посетительница, обозначив тем самым, даром что голая, свой материальный достаток и щедрость. Словом, Ткачиха довольна. Ей бы еще пристроить замуж беременную Светку, студентку швейного техникума, раз уж старшую не удалось, и чтобы муж любил Светланочку, как Муслимчик Магомаев ту, про которую поет, что она — его мелодия...

Муслимчик поет, поет, поет, Ткачиха опять сидит в окне в обрамлении музыки, клубящейся вокруг нее горячим паром и смешивающейся с частым дыханием жизни...

— Доча... — перевешивается через наши перила Анька. — Сделай радио, чтоб потише орало. А то тут одна барышня размечталась, уши развесила.

И, ехидно улыбаясь, Анька щиплет своей скрюченной лиловой лапкой за бок. Больно щиплет. Я ойкаю. Почему-то ей нравится меня вот так щипать, трогать, поглаживать, она может вдруг поправить мне бретельку сарафана или выбившуюся прядь волос, а то еще отберет у меня косынку и уносит в свою нору, как добычу. Я не делаю попыток вырваться или уклонить-

ся от ее руки — есть в этой Анькиной игре что-то необидное, свойское, так любящая мать ревниво оглаживает свою дочь, провожая ее из дома. Может быть, она во мне видит дочь, как я в ее Лео вижу своего брата?

— Пускай слушает Магомаева, — обиженно отзывается Ткачиха из окна.

— Дай мне послушать, — заступаюсь я за Муслима.

— Твоя мать тоже любила слушать да мечтать, — наставительно замечает Анька. — Вот и вымечтала себе.

Мы сидели на веранде. Бабушка учила меня вывязывать кружева старинным деревянным крючком с тонким серебряным наконечником — только таким крючком, а не фабричным можно было связать эту пену морскую. Пока рисунок входил в пальцы, я выслушала историю сватовства и появления отца в этом доме.

Во-первых — на улице зима, а он стоял в залатанном, с чужого плеча плащике и рваных ботинках и, не дав бабушке рта открыть, непринужденно взял за руку и поднес ее пальцы к губам. Во-вторых — зима, он стоял в плащике с чужого плеча, рваные ботинки оставляли мокрый след на полу, а на локте левой руки его лежала огромная охапка хризантем. Этими цветами он — это уже в-третьих, — едва переступив порог, с ног до головы осыпал бабушку... «Женщину, родившую мне это чудо». Именно так он и выразился, кивнув в сторону мамы.

Я знаю, что отец с первого дня знакомства с мамой мечтал об этой сцене, сэкономил на сахаре, заменяя его глицерином, да и на многом другом еще, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Он не обратил никакого внимания на провальную игру актеров, вовлеченных в это действие, настолько был поглощен своим режиссерским замыслом: они оба, бабушка и дедушка, растерянно топтались в крохотной прихожей, подбирая с пола цветы. Бабушка молчала, пораженная этой театрально-безвкусной сценой, она сразу заподозрила недоброе и насторожилась, разглядывая отца со всем вниманием. Отец как ни в чем не бывало уже снимал с промокших ног ботинки, бабушка была вынуждена дать ему переодеться в сухие дедушкины носки. Бедная бабушка! Она сразу почувствовала, что эти невинные цветы, для которых дедушка уже подыскивал банки и наполнял их водой, открывают собою череду странных и нелепых ситуаций, в которые окажется вовлечена ее семья. Студент-выпускник химфака, он был гол как сокол, но явился в дом с роскошным букетом; у него была готова дипломная работа, способная принести ему ученую степень, но беспечно завалены некоторые другие предметы, в том числе политэкономия и философия социализма, — об этом бабушка уже знала от мамы.

Эта история взволновала меня. Я как будто присутствовала при своем появлении на свет, рождении из лепестков хризантем. Я потащила бабушку в коридор, требуя показать, где отец осыпал ее цветами, хотя показывать, собственно, было нечего: коридор, он же кухонька с керосинкой и электрической плитой на сундуке, был крохотный. «Здесь...» — топнула ногою в половику бабушка. Я даже заглянула за сундук в поисках хотя бы одного ссохшегося в прах кудрявого лепестка.

— И неужели у вас не нашлось ни одной вазы? — с досадой спросила я бабушку.

— Ваз не держали, — оскорбленно отозвалась она, — рассовали букет по банкам. А потом я все эти цветочки бросила в печь...

Бабушке хотелось, чтобы я разделила ее возмущение безвкусным жестом отца. Но это не было жестом... Если мама посылала отца за арбузами, он притаскивал их целый мешок, открывал дверь и с порога под мои восторженные возгласы начинал вкатывать их один за другим, как мячи, в коридор. Стоило мне поинтересоваться, как выглядит какое-то животное, допустим, снежный барс, он приносил из библиотеки полный портфель книг, из которых можно было получить об этом барсе исчерпывающую

справку. В самом начале той давней болезни, когда я еще не впала в беспамятство, он все тормозил меня: «Скажи, чего ты хочешь? Ну скажи?» — и я, жалея его, сказала: «Шарик». Спустя полчаса отец примчался в палату. Мне становилось все хуже. Я видела, как он трясущимися губами надувает один, два, три, десять, сто шаров, словно пыгается вдохнуть в мои легкие жизнь, и когда вся палата наполнилась шарами, мое сознание тронулось в путь между толкающимися разноцветными мирами колоссальных молекул, висящих в воздухе, как продолговатые капли дождя. Может, он пленился идеей количества, чтобы взять у судьбы реванш за свое скудное детство — количеством арбузов, цветов, шаров, сделанных им открытий, которые неумоимо размножала его пишущая машинка, количеством публикаций в научных журналах, — как иной пыгается взять свое глоткой...

...Он уроженец города Кронштадта, сын священнослужителя. Отец и матушка сделали все, чтоб воспитать своего сына в вере в Бога, но он верит только в науку и в любовь своей невесты (мама кивком подтвердила правоту его слов). С раннего детства ему пришлось самому зарабатывать на кусок хлеба: пел на клиросе в церковном хоре, продавал газеты, работал рассыльным в железнодорожной конторе, занимался в химическом кружке, руководитель которого, однокашник ректора здешнего университета Кайгородова, направил его в Ростов, справедливо полагая, что только личная поддержка ректора позволит отцу с его происхождением поступить в университет...

— Живы ли ваши родители? — спросила бабушка.

Отец не замедлил с громогласным ответом:

— Мой батюшка был убит большевиками в девятнадцатом году в городе Майкопе в ходе массовых расстрелов заложников и социально чуждых элементов, а матушка скончалась от горя годом позже.

Услышав слово «Майкоп», бабушка и дедушка едва не лишились сознания от страха...

Бабушка невзлюбила отца с первого взгляда, почуяв в нем обреченного. Она видела: перед нею стоит заносчивый молодой человек с воспаленной, бессвязной речью и дикими поступками, за эти страшные годы не научившийся ничему, малорастворимый в эпоху, как капля жира на воде. Она-то сумела справиться со своей памятью, забыть о том, что просторный особняк, в котором теперь ее семейство занимало три клетушки, когда-то принадлежал ее родителям. Она заставила себя забыть про свою учебу в дорогом пансионе в Лондоне, где прожила много лет, пока ее отец налаживал торговые связи с английскими мануфактурными предприятиями, где ей однажды довелось побывать на коронационных торжествах в Вестминстерском дворце, на которых присутствовал Николай Второй, и классная дама, обратившись к ней, произнесла, украдкой показав на человека в золотом парадном мундире, с вялой походкой и неожиданно теплыми глазами на застывшем лице: «Русская девочка — вон твой царь!..» Как и все жители Старопочтовой улицы, бабушка каждый день ходила в магазин, сохранивший название Багаевского, но, часами выстаивая в очередях за горсткой крупы или полфунтом горохового хлеба, она при этом старалась не вспоминать, что ее фамилия — Багаева. Ей удалось уцелеть, благополучно мимикрировать в социально зыбкой прослойке служащих благодаря упорству, с которым она нажимала на педаль швейной машинки. Муж работал, дочь уже была студенткой университета, отличницей... И вдруг является человек, претендующий на ее руку, и бабушка, пустив его на порог дома, сразу понимает, какую угрозу несет он для всего ее хрупкого мироустройства.

Не успели еще смолкнуть шаги отца на скрипучей деревянной лестнице, как бабушка с несвойственной ей твердостью объявила маме, что она никогда не даст согласия на этот брак...

Тихая и обычно послушная мама также твердо возразила, что с женихом ее разлучит одна *смерть*. Дедушка, напуганный упоминанием Майко-

па, помалкивал. Но словами маму уже было не пронять, театральные жесты и словоизвержения отца уже произвели действие на ее душу, и она оказалась в ситуации, неуклонно повторявшейся в ее судьбе, — ситуации слепого, неверного выбора. Единственное, на что хватило бабушку в те драматические минуты, — это на расправу с ни в чем не повинными цветами. Сконфуженный дедушка подносил бабушке букет за букетом, а она совала хризантемы головками вниз в бушующее пламя печи. Мама не осмелилась вступить за цветы, и этот образ, образ живых растений, охваченных пламенем, преследовал ее потом долгие годы — бабушке все-таки удалось уничтожить одно из пленительных воспоминаний мамы в будущем — воспоминание о сватовстве моего отца.

В их семье никогда не повышали голос. Все недоразумения устранялись на полутонах, при помощи намеков и иронических замечаний.

Когда из-за двери маминой клетушки, где спустя месяц поселились молодые, вырвались первые крики отца — отчаянные, как призыв о помощи, — бабушка поджала губы скобкой: она ждала их, предвестников неминуемого разрыва. Дедушка, засучив рукава, попытался наладить мамину семейную жизнь, свято веря, что любовь все превозможет. Когда отец после очередного скандала высказывал в чем был на улице, мама появлялась в дверях гостиной и, вся в слезах, манила дедушку к себе. Бабушка, не повернув головы, строчила пододеяльник. Может, и вправду стрекот машинки освобождал ее слух от прочих помех? Дедушка с мамой закрывались в комнате, и она, задыхаясь и дрожа, рассказывала про очередную свою провинность, рассердившую отца.

Брошь. Он подарил ей на день рождения дорогую брошь, а она ее потеряла. Мама была рассеянна, жизненный ее путь ознаменовался сплошной чередой утрат, начиная с той броши. Брошь была точкой отсчета, открывшей мартиролог, — у отца оказалась крепкая память на обиды. Дедушка, пытаясь успокоить маму, в ярких тонах нарисовал ей историю приобретения отцом этой броши: как он, экономя на себе, мечтал о подарке для любимой, как долго выбирал в магазине подходящую старинную вещь... Дедушка пытался убедить маму, что гнев отца имел основания, — но верил ли он в это сам? Разве стоят все сокровища вселенной наших слез и унижений? — рыдая, говорила мама. Дедушка ласково ее обнимал и возражал, что речь идет не о конкретной вещице, а о чувствах, внутри которых зародилась ее идея. Мама постепенно успокаивалась: через каких-нибудь полчаса она уже была готова встретить отца веселой шуткой, взявшись с ним за руки и забыть про ссору. Но не тут-то было! Отец не желал примирения и веселой шутки, пока мама до конца не осознает своей вины. Но как доказать, что она ее осознала? Что — биться головой о стену? Рвать на себе волосы?

Причины их разлада коренились в ее привычках, в характере беззаботной и ребячливой девушки, выросшей без особой строгости. Прежде всего дисциплина, говаривал отец. Он всю свою жизнь держался на распорядке, на строгом и суровом учете каждой минуты, тогда как мама привыкла плавать в море бесконтрольного времени и не умела расщеплять свои дни на часы и минуты, а ориентировалась на положение солнца: утро, день, вечер. Эта разница в часах, по которым они жили, сразу дала о себе знать. Как-то мама опоздала на спектакль «Собака на сене». Отец терпеливо дождался в фойе ее появления, ни слова не сказав, демонстративно порвал билеты, повернулся и ушел. Там, где требовалось простое дисциплинарное взыскание, он сразу прибегал к судебному иску и опять несколько дней не разговаривал с ней. Мама чувствовала, что мир, с которым она прежде состояла в братских, нежных отношениях, отступил от нее, как кромка пересыхающего озера, изменилось само звучание мира, с ней перестали болтать на своем легком, цветастом языке ее ситцевые и крепдешиновые, пыткой отдавались в голове монотонные дожди, которыми оказалась богата ее первая семейная осень, от свежей зимы болели глаза и невозможно стало, как пре-

жде, отправиться с друзьями на каток. Подружка Ася, живущая по соседству, уже не бросала маме камешком в стекло, потому что отец однажды высунулся в окно и объявил Асе, что у ее замужней подруги теперь нет времени на беспредметную болтовню — это во-первых, а во-вторых — как можно вызывать человека таким способом, точно собачонку?

Я спросила бабушку: неужели в тот год у родителей не было счастливых, безмятежных часов?

Неодобрительно скривившись, бабушка ответила, что были. Во-первых, отец всегда бурно восхищался умом и способностями мамы. Как-то он вручил бабушке сверток, на котором его рукой было начертано: «Дуракам — до востребования», и попросил запереть его в секретный ящик буфета. Бабушка поинтересовалась: что это? Отец сказал, что единственное достоинство этого учебника — бесспорная популярность изложения, но в отношении теории, системы и стиля он крайне слаб. Отец представил маме целый список книг, которые ей следует прочесть и сдать по ним ему экзамен.

Несколько недель, пока мама читала книги Шорлеммера, Кона, Вальдена, Ладенбурга — словом, всю историю и теорию химии от Лавуазье и до наших дней, они прожили исключительно мирно и даже счастливо. А уж после того, как мама сдала экзамен отцу по этим книгам, восторгу его не было границ. Он говорил, что за такое короткое время смог освоить лишь первые главы Ладенбурга и главу седьмую книги Гринберга о природе сил комплексообразования. «Эта головка, — гладил он мамины волосы, — самая удивительная головка на свете. Невозможно поверить, что ты поступила на химический факультет, отдавая дань моде, из легкомыслия, ведь ты прирожденный ученый», — разливался отец.

Они ходили в оперетту, перечисляла бабушка (после «Собаки на сене» мама уже никогда больше не опаздывала, такое лопе де вега устроил ей тогда отец!), сидели вдвоем в библиотеке, читая «Успехи химии», обменивались мнениями о прочитанных ими романах, прогуливались по Старопочтовой, и все соседи говорили бабушке, какая они красивая пара. Время от времени они с друзьями ставили на дому любительские спектакли, разыгрывали сцены из «Демона», «Маскарада», «Русских женщин»...

«Когда стосуточная ночь повиснет над страной!..»

Бабушка рассказывала, что отец произносил эти некрасовские слова с таким глубоким чувством, словно сбрасывал с себя маску «изверга-губернатора», роль которого играл в «Русских женщинах», и становился самим собою, каким не знали его ни мама, ни бабушка, ни институтские товарищи... Да, он понимал, что над страной нависла тысячесуточная ночь, и уже предчувствовал, что ему едва ли суждено дожить до рассвета.

Когда случилось то, что должно было случиться, бабушке припомнилась эта сцена: дочь, придерживающая концы шанхайского покрывала, изображавшего дорожный плащ Марии Волконской, и отец в гриме, с нарощенным с помощьюю пластилина крючковатым носом, в старом свитере, к которому он прикрепил булавками нарисованный на листе ватмана вицмундир с крестами...

Вас по этапу поведут с конвоем... —

дребезжащим, старческим голосом пророчески предрекал он маме. Ему бы играть на театре записных злодеев, он был прекрасный актер. Его голос обволакивал, обольщал, искушал, увещевал, а между тем острый холодный глаз был нацелен на свою жертву: клюнет или не клюнет она на эту хитрую некрасовскую удочку?

Нет! что однажды решено —
Исполню до конца!
Мне вам рассказывать смешно,
Как я люблю отца,
Как любит он...

При этих словах дедушка Ефим, *лорнировавший* актеров через старые очки без одной оглобельки, принимающий высокие фразы за чистую монету, даже прослезился, не подозревая, что все случится так, именно так, как написано в тощей репетиционной тетради мамы.

...Но долг другой,
и выше и трудней,
Меня зовет...

звенел голос мамы. «Губернатор» патетическим тоном обращался к княгине с напоминанием:

Пускай ваш муж — он виноват...
А вам терпеть... за что?

И мама, воздев руки запевала на самых высоких гражданских нотах:

Нет! я не жалкая раба,
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба —
Я буду ей верна!

После этой реплики, отнюдь не последней в спектакле, отец начинал бешено аплодировать самоотверженной княгине Волконской, на несколько секунд обращаясь из актера в зрителя, а потом восторженным голосом договаривал последние слова губернатора, пророческие слова:

Я не могу, я не хочу
Тираниль больше вас...
Я вас в три дня *туда* домчу!..

Спустя год отцу предложили место в аспирантуре университета. Но он рвался в Москву, что послужило поводом для последней мучительной ссоры с мамой, перешедшей на последний курс. Отец хлопнул дверью и уехал. Это произошло летом сорокового.

Мама осталась одна, внутри своей не изжитой за время их мучительной семейной жизни любви, не зная, жена она или нет. Ей казалось, что жизнь ее кончена. Отец не подал о себе ни одной весточки. Прошел год. Бабушка уже благословляла небо за то, что оно избавило ее дочь от этого человека. Но в начале лета от него пришло странное послание, в котором лишь содержалась рекомендация маме прочитать последний номер «Успехов химии», где подробно излагается электронный механизм комплексообразования. «Если будешь читать эту статью, — точно продолжая прерванный разговор, писал отец, — советую тебе предварительно ознакомиться с более доступным материалом у Раковского или хотя бы прочитать по «Спутнику химии», том 3, принцип Паули». Далее он как ни в чем не бывало просил ее приехать и привезти ему в Москву целый ряд монограмм, оставшихся среди его книг, в том числе труды Глюккеля и Ван Ариеля.

Попробуй догадаться, что стояло за этой просьбой: желание повидаться или ему в самом деле срочно понадобился Глюккель.

Мама собралась и поехала, как ни отговаривала ее бабушка.

Она разыскала отца в лабораторном корпусе. Он беседовал с каким-то внушительным белобородым стариком, и разговор их, видимо, был таким захватывающим, что отец, мельком взглянув на маму, сделал ей знак рукой обождать. Мать стояла, смотрела на него и чувствовала, что с ней происходит что-то странное: она уже не жаждала примирения с ним, как еще каких-то десять минут назад. Оказывается, она уже вполне освоилась внутри своего одиночества, оно сильно раздвинуло границы ее зрения: она увидела мужчину с холодным сердцем, увлеченного своим положением столичного аспиранта, стремившегося произвести на нее неотразимое впечатление и тем окончательно подчинить себе. Оказалось, она путешествовала, пока он лежал в люльке своих научных идей. Мама осторожно выложила на стол затребованные отцом монограммы и выскользнула из аудитории.

Отец догнал ее на набережной. Он чувствовал себя смущенным. Он не ожидал, что она уйдет. Но, взяв прежний тон, он осведомился насчет принципа Паули: ознакомились ли с ним она? Но ее уже было трудно сбить с толку. «Я приехала не за этим, я хотела спросить, могу ли считать себя свободной», — объяснила она. «Быстро же тебе понадобилась свобода, — сказал отец и, помолчав, добавил: — Ты-то сама как считаешь?» — «Свободна», — пожалала плечами мама. «Ты очень изменилась», — почти восхищенно произнес отец. «Извини, но мне уже пора», — мама по-товарищески протянула ему руку. Отец руки не принял. «Как, ты проделала такой путь, чтобы обменяться со мной двумя фразами и уехать?» — «Да, на большее я не рассчитывала, — мягко сказала мама. — Ты мне не писал... О, это не упрек, я просто ответила на твой вопрос». — «Я писал тебе, — признался отец, — в моей комнате лежит целая кипа неотправленных писем. Пойдем, я покажу тебе...» — «Зачем же, — не согласилась мама, — я верю...» — «Но ты же не можешь просто так взять и уйти», — уже с просительной интонацией произнес отец. Мама засмеялась в ответ, и он сказал: «У тебя кто-то есть». — «Ты сам не веришь этому, — покачала головой мама, — так быстро это все не происходит: сегодня одна любовь, завтра другая...» — «Так все-таки — у тебя ко мне была любовь?» — уцепился за ее слова отец.

В какой-то момент мама заметила в глубине аллеи одинокую фигуру в черном и подумала, что этот незнакомый человек, медленно приближающийся к ним, несет какую-то дурную весть. Слово за слово — шаг за шагом человек подходил все ближе; это была пожилая женщина в теплом, несмотря на ясный июньский день, габардиновом пальто. Когда мама произнесла: «сегодня одна любовь, завтра другая...» — женщина приблизилась к ним вплотную и сказала:

— Ссоритесь, влюбленные? Не надо сейчас ссориться. Теперь нам всем будет не до ссор. Началась война.

Очень важно понять, что же на самом деле произошло потом, буквально в следующие минуты и часы после того, как та незнакомая женщина с Крымской набережной произнесла слово «война».

Отец настаивал на том, что, *когда началась война*, они мгновенно помирились, и в свидетели себе он берет весь наш народ, охваченный единым пафосом примирения всех исторически враждующих сторон перед лицом общего врага. Так было, потому что иначе быть не могло. Он, как всегда, апеллирует к большим величинам, оказавшись достойным продуктом своей эпохи, приучившей всю страну к большим стройкам и процессам, большим тиражам и жертвам, к гигантским памятникам этим жертвам, ко всему огромному, масштабному.

Мама стояла на том, что никакого примирения не было и быть не могло. Когда отец сказал ей, что намерен снять с себя бронь и отправиться на фронт добровольцем, она, конечно же, поняла его и благословила, как женщина, провожающая на войну защитника Родины.

Отец посадил ее на ростовский поезд с каким-то высоким, ликующим, торжественным чувством к ней — он провожал жену, *которая будет ждать*.

Впоследствии, когда между ними начались скандалы, он постоянно возвращался к этим словам — *высокое, ликующее, торжественное*, — расположенным в диапазоне частот гиперзвука, на которые немедленно отзывалось гулкое эхо антонимов на инфразвуковой волне — *низость, втихаря, позорно*. И те и другие были слова-маски, как в комедии дель арте, где нет места оттенку, тогда как все наше существование построено именно на оттенках, на чередовании светотени, на отзвуке, невнятном бормотании и шепоте крови, а не на громогласном фонетическом каркасе слов, внутри которых якобы живет буква духа. Нет, все не так буквально, ведь речь идет не о *войне и мире*, а о сердце человека, которое развязывает узлы исторических событий и сплетает разорванные ткани бытия не физическим, акустическим путем, а сложными симфоническими ходами огромного ор-

кестра, «симфонией тысячи участников», как у Малера. Да, сердце — оркестровая яма, в нем, как пчелиный рой, гудит музыка, все инструменты, которых когда-либо касалась наша мысль, продолжают звучать и после того, как дирижер убрался со сцены, так что становится ясным: время и место для музыки не играют никакой роли. В эту оркестровую яму свалено звучание скрипок, флейт, гобоев, кларнетов, валторн, контрфагота, тромбона, труб, литавр, барабанов, челесты, арфы, колокольчиков, ксилофона, бонгов, маракасов, бич-хлопушки — голоса их переплетаются, как змеиный клубок, как наш дышащий, шевелящийся внутри черепной коробки розово-серый мозг. И попробуй из этого шевелящегося комка звучаний вытащить мелодическую ниточку флейты-пикколо — она оборвется, потянуть за скрипичную струну — она лопнет, отсечь от прибора арфы отдельную волну, разбить нашу речь на звучащие фонемы, и тотчас станет ясно, что все эти консонансы — «низость», «торжество», — кроме акустического, не имеют под собой никакого обоснования. Мама считала себя совершенно свободной и тогда, когда просталась с отцом на перроне, и тогда, когда спустя полтора месяца после этой сцены пришло извещение о том, что он пропал на фронте без вести, и тем более тогда, когда она полюбила Андрея Астафьева.

8

В ТОМ, КАК КОСТА ВХОДИЛ К НАМ БЕЗ СТУКА — С ЛИЦОМ, на котором была написана уверенность, что его не выставят, даже если обитатели комнаты заняты, — крылся какой-то вызов. «Здравствуйте, это я...» — с порога говорил Коста, и ему неучтиво отвечали: «Видим, что ты», — а дальше он поступал в зависимости от того, с какой интонацией это говорилось: проходил, нащупывал стул и разваливался на нем — или, сочинив какое-то срочное дело (дескать, забыл, от каких ступеней задали нам строить аккорды), застревал на пороге, чтобы чуть позже все равно оказаться сидящим перед нами, закинув ногу на ногу, с сигаретой в зубах.

— Здравствуйте, это я... — сказал он, появившись однажды на пороге нашей комнаты.

Я была одна. Писала письмо домой, забравшись на кровать с ногами, и мне не хотелось ни с кем разговаривать. Поэтому я взяла и промолчала в ответ. Удерживая дыхание, затаилась в своем углу, как разведчик, застигнутый над секретным документом во тьме вражеского кабинета. В комнате исходила исступленным светом яркая лампочка, которой было здесь тесно, — мы ее выкрутили из люстры в концертном зале; но напрасно она накалялась и грела потолок, сейчас был не тот случай. Коста настойчиво повторил:

— Здравствуйте...

Некоторое время он недоверчиво вслушивался, сомневаясь в том, что комната действительно пуста. Потом вытянул шею, повел головой по сторонам, сделал шаг, другой, третий, обошел стол, одной рукой скользя по клеенке, а другой ощупывая воздух, и вот его пальцы зависли всего в нескольких сантиметрах от моего лица, подушечка каждого смотрела мне в глаза. Рука его вблизи казалась огромной, как у Полифема. Наконец он убрал руку — и вовремя: еще б немного — и его палец угодил бы мне в глаз.

Пожалуй, я бы не вынесла собственного коварного молчания и подала голос, если б не удивление, охватившее меня за секунду до того, как он убрал свою руку. Его лицо за эти мгновения так преобразилось, что я прикусила язык. Я видела, как вечная маска иронии и высокомерия сошла с лица Коста, он походил на любопытного ребенка, пробравшегося на чердак, куда ему запрещали лазить взрослые. До сих пор лицо его, казалось, лепили и подправляли чьи-то сильные и умелые пальцы: как предок его, грузинский князь, пускаясь в путь по своим огромным охотничьим угодьям, постоянно держал руку на прикладе ружья, так Коста всегда держал наготове выражение упрямой заносчивости, точно оно могло защитить в

постигшем его несчастье. Меня пронзила мысль, что он ведет себя как любой из нас, зрячих: безнадежно слепой, он тоже повинуется закону зеркала, смотрясь в которые все невольно привстают на цыпочки и делают лицо, он тоже не прочь при помощи отражения чуть-чуть подправить природу, чтобы она не слишком заносилась перед своим творением, придать ей вид законченного торжества идеи сильной воли, мужской чести и национального достоинства. Он таял на моих глазах, «идеи» одна за другой стекали с его лица.

С грацией наивного дикаря, а не слепого Коста бесшумно двигался по комнате. Пальцы его пробежали по моей тумбочке, и он осторожно и внимательно принялся за изучение вещиц, разбросанных по ее поверхности. Вот он нащупал ручное зеркальце и, раскачав в нем край комнаты, осторожно отложил его. Потом в руках его оказалась пудреница, — слабоумная улыбка композитора, нашедшего нужную музыкальную фразу, пробежала по его губам, когда он открыл ее крышку. Поднес пудреницу к лицу, дохнул в нее, и удушливое облачко пылицы фыркнуло из-под ватки. Коста чихнул и положил пудреницу на место, после чего с еще большей осторожностью взял в руки флакончик духов, понюхав его, отвинтил пробку и лизнул ее дно. Довольный, завинтил флакон. Какой бы предмет он ни взял с тумбочки, лицо его неуловимо менялось, словно он вступал в глубокое внутреннее соприкосновение с его сутью. Ручное зеркальце, как гладь вод речных, таило в себе слишком многое, чтобы в это можно было вдаваться, не рискуя повредиться в уме, — какие люди тонули в зеркалах, не чета нам! Из флакона до него донеслась простенькая полевая мелодия, и духи ему, кажется, понравились на вкус. Но в целом все три вещицы вызвали в нем нежность — принадлежа другой, женской половине человечества, они оказались послушными, миролюбивыми и охотно выболтали свои крохотные секреты. Вздох первооткрывателя слетел с его губ, и я догадалась, что ни мать его, ни сестра, скорее всего, не пользовались косметикой.

Трепещущие пальцы Коста перенеслись на подоконник — и мечтательное выражение сошло с его лица, точно после любимых мелодий он принялся за гаммы. Скучная тяжесть книги, сообщившей ему о себе тисненными буквами, что она «Словарь музыкальных терминов», стопка нот с запахом библиотеки, прислоненный к стеклу пухлый отрывной календарь, на котором он не мог узнать, какое означено число какого года, пузырек с клеем — эти нейтральные предметы в своей сути как бы сращивали обе половины человечества, мужскую и женскую, все-таки их не примиряя, потому что примирение возможно лишь на пути взаимных уступок: например, мужчины уступили женщинам переливчатые цвета тканей или цветочный дух косметики, — и все эти, теперь и его собственные, личные уступки женскому миру оборок и пудрениц глубоко тронули Коста.

Он бережно взял со спинки стула крепдешинное платье, которое носила красивая, капризная, себялюбивая девушка, и она носила его как доспехи, сознавая степень своей прелести и защищенности, усиленной именно этим платьем. Но сейчас они разделились, платье и девушка: девушка где-то вдали, в другом платье была той же, спесивой и равнодушной, острой на язычок, а платье, оставленное без присмотра, было само откровение, как девушка душа во сне — тихая, шелестящая, переливающаяся женственностью. Коста не надо было притворяться перед ним. Оно льнуло к его пальцам каждой своей пуговичкой, пояском, оборкой. Коста поднес его к лицу, как морскую воду в горстях, и тихо рассмеялся. Но тут в коридоре напористо зацокали каблучки, и он отбросил платье с такой стремительностью, точно оно могло ужалить его руки. Платье как в обмороке упало на стул, свесив обшитые оборкой рукава. А лицо Коста в ожидании человеческого, женского существа сделалось прежним — неприступным.

Коста принадлежал к числу людей, говорящих жизни «нет» прежде, чем она, собственно, успела им что-либо предложить. Ведь жизнь всегда

сначала стремится человеку помочь, но для того, чтобы принять помощь, он должен чуть-чуть в себе потесниться, не заковычивать себя в железные доспехи, потому что с момента рождения человеку только и делают, что помогают, и на этой естественной помощи покоится жизнь. А Коста было невозможно помочь по собственному почину, можно было только что-то сделать по его требованию — или не сделать, и то и другое он принимал внешне совершенно одинаково, и то и другое все глубже утверждало его в тяжелой мысли, что он выброшен кораблекрушением на берег, заселенный существами другой породы, и он не желал налаживать с ними контакт, старательно оберегая свое страдание. Он бросил вызов судьбе, ждавшей от него большего, чем человеческое смирение и особенное понимание жизни, и страшно было думать о том, что рано или поздно судьба примет его вызов. Коста был начитан, по всякому поводу сыпал цитатами или строчками стихов, и я видела, что он ждет от меня вопроса, откуда он все это знает, неужели так много книг переведено на подушечки пальцев... Наконец, рассердившись на него за эти свои сомнения, я задала ему этот вопрос, и он небрежно ответил, что вечерами ему, сменяя друг друга, читают мать и сестра.

— Им не трудно? — спросила я.

— Нет.

Этот короткий ответ почему-то задел меня.

— Помнится, у императрицы Анны Иоанновны четыре чтицы скончались от горловой чахотки.

Коста, как бы обрадованный моей отповедью, ответил:

— У нас в роду все славятся отменным здоровьем, — и тут же, уловив движение с моей стороны, жадно спросил: — Что, что ты хотела сказать?..

В комнату, где я жила, он всегда входил без стука, и всякий раз мне казалось, что он хочет услышать вопрос: почему ты не стучишься? Чтобы заставить нас молча проглотить его ответ: мол, даже если кто-то переодевается, он все равно никого не стеснит. Но никто не пошел ему в этом на встречу.

Как-то он заявился к нам и произнес, развалившись на стуле в своей любимой позе:

— Все говорят — Пруст, Пруст, а ты читала этого Марселя? Нет? Люся-библиотекарша сказала, что жуткое занудство, из чего я сделал вывод, что с этим автором следует внимательно ознакомиться... — И как фокусник, вытащил из-за борта своего прекрасного клетчатого пиджака книжку. — Давай вместе прочитаем, — предложил он мне, и в его тоне не было и отенка просьбы; почувствовав мою растерянность, снизошел: — Кстати, мне нравится твой голос.

— Прямо сейчас?

— А чего тянуть? Зачитай-ка мне для начала несколько абзацев с разных страниц, — сказал он и вытянулся на стуле, скрестив длинные ноги.

— Что ж, недаром Люсе это не пришлось по душе, — произнес он спустя четверть часа. — Прочитай, что там во вступительной статье.

— Спасибо, — минут через десять сказал он, — пожалуй, этот автор мне нравится.

— Мне тоже, Коста, но читать я тебе не буду, у меня от долгого словоговорения начинает болеть горло.

— Жаль, жаль, — небрежно ответил Коста, — ладно, мне Неля почитает, надеюсь, хотя ее голосом только мадам Занд читать...

Он часто старался обходиться без палочки — например, когда шел в столовую. Всегда шагал впереди остальных, герой, — он брал на себя первый шквал взглядов, обращенных в их сторону, он чувствовал, как блестящие тараканы чужих зрачков ползут по его лицу и лицам его братьев, они, эти взгляды, что с ним хотят, то и делают, но Коста был горд и шел впереди, а за ним, как однорукие лыжники, пробирающиеся сквозь пургу, шли со своими палочками Теймураз, Заур, Женя... Они брали со стола подносы и вставляли в очередь за невидимой пищей. Теймураз находил

пустой столик, подавальщица быстро протирала стол и придвигала стулья. В тех случаях, когда надо было воспользоваться помощью посторонних, на первый план сразу выдвигался Женя или Теймураз, но не Коста, нет.

В весеннюю сессию наш просторный старый яблоневый сад весь был охвачен густым цветением, даже самая малая его ветка праздновала май, приподымая жгучие, как снег, соцветия. Белым сад стал словно как-то вдруг, за одну ночь, словно потрясенный бедой человек, еще вчера каждая ветка звенела упругими розовыми почками, а уже утром, будто оглушенные упавшим снегопадом, деревья стоят в облаках. Синева неба прописывала подробности цветения тщательно, словно на века; если смотреть в сторону Столовой горы, на вершине которой сверкал снег, казалось, что сад простирается далеко в небо и теряется в нежнейшем суфле из облаков, горного снега и грез.

Как-то мы шли по бетонированной дорожке, ведущей к столовой. Деревья шумно раскачивались под ветром, осыпая белыми лепестками наши плечи. Я услышала отчетливый стук за спиной, потом постукивание разбилось на мелкую дробь, и дорожка мгновенно потемнела от хлынувшего дождя. Чувствуя себя виноватой, что проморгала надвигающийся ливень, я схватила Коста и остановившегося рядом Заура за рукава, чтобы отвести их к беседке, но Коста резко высвободил руку. Он не мог в эту минуту обойтись без моей помощи — беседка стояла за деревьями в глубине сада. Барабанная дробь дождя усилилась, но Коста продолжал стоять на месте, засунув руки в карманы и не желая принимать помощь со стороны. Его мокрое лицо сделалось надменным и несчастным оттого, что он не знал, как ему поступить. И я не знала, как к нему подступиться. Я отвела остальных в беседку, потом вернулась к Коста. Мы были одинаково вымокшими, когда я в нерешительности остановилась перед ним. Тут сквозь белую крону наискосок грянул луч солнца, и все кончилось. Коста повернулся и зашагал к столовой, встряхивая головой. Да, это была гордость, но что дождю его гордость, к чему его гордыня будущим стихиям, которые, еще спеленутые, ворочаются в облаках, какое дело, наконец, природе до того, что он не может ее видеть, какое дело людям, они не могут нести ответ за его слепоту! Слова, как овцы, разбрелись с моего языка: «так нельзя!..», «зачем тебе это?!..», «тебе будет трудно...». Но нет, я не могла пасти свою сбивчивую речь, направляя ее в то единственное русло, которое могло соединить нас обоих, как это только что сделал дождь, все эти фразы, несмотря на их схожесть, были заготовками разных конструкций...

Я все время отводила от него глаза, потому что знала, что взгляд может увести далеко, я пресекала попытки собственного взгляда на корню, точно смотрела на новорожденного, которого можно сглазить, ведь за взглядом неумолимо следует жест, любой жест как продолжение мысли и чувства — руку на плечо или резкий поворот головы в сторону, — за жестом может стронуться с места судьба, слепая судьба, и я следом за ней, как собака на поводке. Я знала, это был закон зеркал: за добрый жест положена благодарность, за любовь — любовь, за душу — вера, но вот Коста, он ни во что, кроме собственной гордости, не верил, даже в музыку, в ее принадлежность всем нам, ни на что не надеялся, поэтому и Неле, влюбленной в него, надеяться было не на что...

— У меня для тебя сюрприз, — входя в нашу комнату и усаживаясь на стул с развернутой нотной папкой на коленях, молвил Коста.

— Что он сказал, Неля? — не поверила я своим ушам. (Отчего-то мы с ним постоянно пикируемся.)

— Он говорит — сюрприз, — охотно включилась в нашу игру Неля в роли толмача — наивного, недалекого комментатора общих мест и прозрачных ситуаций, в которых даже слепой Коста ориентируется много лучше ее.

— Тебя выгнали из училища, Коста?

— Скажи ей, Неля, что от этого я далек, — принялся уверять нас Коста. — Мои дела блестящи. Если после училища я не поступлю в Московскую консерваторию, то по крайней мере мне обеспечено место музыканта в крематории.

Это грустная шутка. Слепым музыкантам трудно найти работу. Но в крематорий их действительно берут — тех, кто играет на духовых. Еще они выступают с концертами в домах престарелых. Еще — преподают музыку в интернате для слепых и слаборазвитых детей.

— Скажи ему, Неля, пусть не рассчитывает на место в крематории, — объяснила я. — Туда берут духовиков.

— В самом деле, Неля? Неужели ни в одном колумбарии нет места клавишным?

— Почему ты вдруг заинтересовался крематорием, Коста?

— Мой сюрприз имеет отношение к этому благородному заведению...

— Хорош сюрприз!

— Это идея Регины Альбертовны, — любезно адресуюсь к Неле, сказал Коста. — Она желает, чтобы я выучил третью часть си-бемоль-минорной сонаты Шопена.

— «Похоронный марш», — сказала я. — Это и есть сюрприз?

Коста с готовностью повернулся ко мне. В меня уперся его прямой невидящий взгляд, смотрящий всегда чуть в сторону, с чуть сбитым плавающим прицелом, взгляд, уплывающий то выше, то ниже моего виска.

— Сюрприз состоит в том, что ты будешь диктовать мне нотный текст, а я записывать.

Коста протянул мне ноты, пристроил на коленях бумагу, «решетку» и приготовил «шило» для записи.

— Понятия не имею, что за знаки в этой тональности, — сказала я.

— Сделай малую терцию вверх, — с усмешкой посоветовал Коста.

— Ре-бемоль мажор. Тоже не знаю.

— Она не знает, — с удовольствием отозвался Коста, — она ориентируется только в пределах двузначной тональности, ну и дела... А ты знаешь, Неля?

— А при чем тут тональность?.. — удивилась Неля. — Давай я продиктую.

— Нет, я хочу, чтоб она диктовала, мне интересно послушать, что у нее получится. К тому же это не моя прихоть, а поручение, данное твоей, Неля, подруге Региной Альбертовной...

— Ладно, — сказала я. — Знаки диктовать?

— Мне они известны, — заносчиво ответил Коста.

«Текст» показался мне сначала нетрудным, но очень скоро Коста стал ловить меня на неточностях.

— Почему ты говоришь «триоль»? Я помню на слух другое...

— Квинтоль, — поправила меня Неля.

— Круто ты обходишься с Шопеном, — молвил мне Коста. — Хорошо, а дальше что у тебя? Посмотри, там должен быть знак над «ля»...

— Неля! Что это за знак?

— Неужели не знаешь? — тут удивилась и Неля.

— Сыграть могу, а названия не помню...

— Фермата. На три такта фермата, Коста.

Я передала ноты обрадованной Неле и стала наблюдать за возникновением дырочек-нот на бумаге. Неужели сквозь эти водяные знаки в самом деле просвечивают аккорды, трели, триоли? Сколько человек в мире может их расшифровать — сто, тысяча? Тысяча слепых музыкантов собирает пыльцу с этих точек и переносит их к тысяче инструментов. Если б Коста дотянулся до звезд, какую бы музыку он смог считывать с ночного неба? Может, все эти светящиеся точки — мелодические послания, которые мы, зря зрячие, не в силах разобрать? Может, окутанная туманом строка над

Столовой горой — это слово, которое всякий раз писала в нотной тетради Анна Магдалена, заканчивая перебелять очередную воскресную кантату Иоганна Себастьяна: *il fine, il fine, il fine...*

В Неле любой мало-мальски проницательный человек угадал бы существо, живущее придуманными чувствами, а придуманные чувства, случается, бывают сильнее настоящих, зависящих от каких-то объективных причин — несходства характеров, времени, разлуки и так далее. Жизнь человека, дышащего болотными испарениями мечты о жертве, которую необходимо принести во имя осуществления единственной его цели — подвига любви, была бы чревата опасностями и насыщена постоянной тревогой, как музыка импрессионистов, но, к счастью, вымысел — главное условие их существования и единственно надежная почва под ногами, оттого, какие бы бездны ни разверзала перед ними действительность, она не в силах их поглотить. Если бы Коста мог ее видеть, у Нели была бы хоть какая-то надежда, как у любой мало-мальски привлекательной девушки, но Коста был слеп, зато он прекрасно *слышал* Нелю, слышал весь этот расстроенный ряд клавиатуры, лишенной полутонов, дребезжащие от дуновения первой встречной личности струны, разошедшиеся от внутреннего жара деку, не держащую строй. Он узнавал ее по духам «Лесной ландыш», которые невзлюбил, потому что предпочитовал, что тлетворный аромат готовящейся ему жертвы будет преследовать его до конца жизни, даже если женой его станет тихая горская девушка. Тем не менее он часто пользовался Нелей как чтицей, хотя его и раздражала ее манера чтения.

— Она ни черта не понимает из того, что читает, — жаловался он мне.

— Ах, так тебе еще надо читать с выражением! — возмутилась я. — Может, ей следовало бы еще и разыгрывать прочитанное в лицах?..

— Не мешало бы, — рассеянно отвечал он. — Кстати, не язви, ни за что не поверю, чтобы женщине не нравилось, когда при ней поругивают другую. Что делать... — пожимал он плечами, — презрение к ближнему своему — это чувство, которым особенно охотно лакомится человек.

Неле, конечно, очень хотелось занять при слепых мое место, а я бы ей с удовольствием его уступила. Но как только я попыталась внедрить ее в нашу компанию, слепые дружно насупились и замкнулись. А про овощное рагу, приготовленное Нелей, сказали, что есть его невозможно. Даже Женя, благожелательно относившийся ко всем без исключения зрячим, не позволил Неле перебинтовать себе руку, когда он случайно порезался о выбитое в телефоне-автомате стекло и, возможно, истек бы кровью, если бы меня вовремя не позвали. Рана оказалась довольно глубокой, и я потащила Женю в травмопункт. Он шел тихий и перепуганный, невидимая кровь стекала за манжет его рубашки, и ему казалось, что он с каждым шагом слабеет. Нас пропустили без очереди.

— А что мне будут делать? — в тревоге спрашивал Женя, прислушиваясь к позвякиванию инструментов.

Ему сделали укол и наложили несколько швов. Назад он шел важный и бодрый, делая вид, что ведет меня под руку.

Неля тоже училась на фортепианном отделении. Я как-то слушала в ее исполнении «Белые ночи» из «Времен года». Такого оговора ни Чайковский, ни любой другой композитор не заслужили. Для Нели движение музыки исчерпывалось пометками в партитуре, которым она и следовала с честностью механизма. Все, что невозможно вывести на орбиту слов, — это и есть музыка, но Неля об этом не имела ни малейшего понятия. Слушая ее, я подумала, что Коста не совсем не прав, скучая с Нелей. Волна может быть сильной или слабой, но она несет в себе категорию глубины. Нелино исполнение отличала ученическая пресность; на экзамене она получила пятерку.

Честное слово, стоит лишь подумать об этом, и мысль сгущается до такой муки, что отпадает необходимость поступка... Тогда я думаю, что не-

которые наши *жесты* должны храниться исключительно в театре, где для них, как для картин в музеях, будет создан благоприятный температурный режим и ограничен доступ зрителей, растаскивающих их по ниткам и лоскуткам, потому что в едком пространстве мысли любое действие моментально идет трещинами, как парковая статуя, замешенная на халтуре: не успеешь поднести руку к сердцу, она отваливается, как гипсовая, и поклаться, увы, нечем... Надо бы научиться всегда переводить наши чувства из плоскости в объем, но нет, как заблудившиеся путешественники, они нуждаются в точном адресе, в конкретном имени и облике, и когда Неля говорит, что ее любовь к Коста бескорыстна, как тень, которую не могут не отбрасывать предметы, я ей не верю хотя бы потому, что эта коротенькая фраза от первого и до последнего слога, как воин в доспехи, закована в сеть мелких, друг на друга набегающих движений: ее ресницы трепещут, пухлые губы дрожат, руки растерянно оглаживают плечи, голова склоняется набок, как у жертвы.

Я не знаю в точности, как все это происходит... Она приходит в концертный зал задолго до появления там Коста и садится в первом ряду, так чтобы хорошенько видеть его. Она затаивает дыхание, не скрипнет креслом, не шелохнется, чтобы не спугнуть свою награду. Она тиха как вещь, возможно, ей на время удается превратиться в неодоушевленный предмет, иначе бы он угадал ее присутствие в пустом зале, ведь у него прекрасный слух, он должен был бы в своих дебрях, где ему знаком всякий призывок и обертон и внятна вибрация незаполненного объема, различить шорох преследования, коварное дыхание врага. В своем прозрачном путешествии по клавишам он должен был *наткнуться* на тяжелое плотное тело, сидящее напротив, в которое ударяется с налету звук, не может быть, чтобы в зале не изменилась акустика, чтобы первая же попавшаяся под пальцы мелодия не рассказала Коста о том, что с ним сейчас происходит самое страшное, что только может случиться с человеческим существом: некая тьма, сгустившаяся в первом ряду зрительного зала, его видит и использует его как хочет. Господи, как он незащищен перед нею! Он сидит как жертва, как пища для чужих прожорливых чувств. Неля им тихо кормится, пристроив хоботок своего зрачка к самой болезненной, к самой нежной, ничем не защищенной его ране — музыке...

Что это за музыка, иногда гадаю я, хотя какое это имеет значение, разве простая гамма хоть в какой-то степени может послужить Коста укрытием? Да и может ли лицо выразить то, что выражают пальцы? Или избранная мелодия лепит лицо Коста, придавая его чертам сходство с самой собою? Но, между прочим, *видит* ли Неля его? К чему прикован тяжелый, как камень в ногах утопленника, Нелин зрачок, *от чего* зрение все время тянет ко дну, где, кроме слабых контуров снующих мимо сердца фантазий, ничего различить невозможно? И музыка, и книги, и жизнь объединились против нашего воображения, готовые образы и надуманные чувства обобрали его, и мы давно путешествуем зайцами, за чужой счет, наперед известными маршрутами. Она хочет слепо лечь под его пальцы как музыка — но тогда зачем ей глаза?

(Окончание следует.)



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

Я КУПИЛ ДВУХ ГОРЛИЦ

Зимовье

Е. М.

Твой голос с хрипотцой от курева
любую ссору подытожит.
Кто уголком таким же Дурова,
как наш с тобой, похвастать может?

...Идешь ли на неиссякающий
источник лесом и дворами,
глядим ли на перегорающий
экран с худыми новостями,

бежит ли пес, всеильной лапою
снежок колючий загребая,
крадется ль кот бесшумной сапою —
жизнь, в общем, хороша любая;

особенно под ветхой кровлею
вконец запущенного дома,
то бишь отчизны обескровленной
с песком миров до окоема.

1996.

Московский романс

Порт пяти неизвестных морей,
ставший каждому россу в обузу.
Это ты за гармошкой дверей
с остановки отчалила к вузу.

И хурма на одном из лотков,
привезенная дядькой из Крыма,
с огурцами персидских платков
золотистой окраской сравнима.

...В эту зиму по белой траве
научился бесшумно бродить я,
всё тасуя в своей голове
недомолвки твои и открытья.

Говори, говори, говори,
почему была столь тороплива,
почему от зари до зари
в горле горлица спит сиротливо?

Не хмелеть бы на первом глотке,
соглашаясь с любой небьлицей,
а подольше побыть на катке
и потом помечтать над страницей.

Повернем-ка, мой ангел, назад,
чуть не в детства ангину и смуту,
чтобы стало как раз в аккурат
торопить дорогую минуту.

Крым

(по памяти)

...Там фосфоресцирует космос открытый
и с ним породненный прибой басовитый.

Под ситцем, готовым ожог холодить,
разлучниц тела не успели остыть.

Лабает с братвой безымянной джазбанды
небритый пахан на свету танцверанды,

то голову в плечи, то весь напоказ,
всю утварь ударных задействовав враз.

Зловеще, щемяще, таинственно, чудно
с иудиным цветом сошлись обоюдно

колючие розы в сплетенье срамном,
не ведая тоже, что будет потом.

* *
*

Помнишь — вроде котлована
капище в грозу,
в память Максимилиана
первую слезу...

Максимилиан Волошин,
киммерийский жрец,
сердоликовых горошин
любодей-истец.

Сколь с мешком из-под картошки
схож его хитон,
по вискам волос сережки
треплет аквилон.

...Если крабов, крыли власти,
по лбу шла тесьма.
За столом кипели страсти
странные весьма.

На любительском спектакле
бесконечном том
как не спутать было паклю
с золотым руном?

И никто не знал, содея
от избытка муз:
Феодосия — Вандея,
столп — а не искус.

К прославлению Алупки

I

...Магнолий сливочных пудовые цветы;
гулка кремнистая дорога.
Но если в сторону — цепляются кусты
и колют лядвия поэта-полубога.
Замри и вслушайся!

Он утром здесь бежал
в купальню с полосатым тентом.
Ведь педантичный граф не зря его считал
бездельником и диссидентом.

II

Увы, от страсти нет надежных панацей.
И рококо Парни скрутило все карнизы,
когда колонны войск приветствовал Лицей
и граф ушел на фронт с благословенья Лизы.
...Когда ж с победою отважный генерал
домой вернулся невредимо,
счастливый Государь его к себе призвал
и сделал богдыханом Крыма.

III

Громоздкий Аю-Даг и был покрыт леском,
но рядом две скалы и ласточкины сакли
хозяин повелел отдраивать песком
и выстроил дворец, как задники в спектакле.
По склонам выжженным затеял виноград,
стал экономить снег, а то была утечка.
И превратился Крым в роскошный вертоград
из захолустного местечка.

IV

Но знают школьники, что значит саранча
в судьбе великого поэта.
Миледи, к завтраку ворвавшись сгоряча,
потупилась из-под берета.
Невозмутим на вид, но втуне зол как черт,
наместник замолчал, хотел задать вопросец,
да призадумался...

Ты жалок, полулорд,
полутатарщина и полный рогоносец!

V

— Купеческий корабль из греческих сторон! —
внезапно сэра извещают.
С подозрною трубой скорее на балкон
и видим: парус убирают
в жемчужном далеке.

Обрадован паяц,
велит свистать наверх, дает прислуге взбучку.
Купальня издали похожа на матрац.
И гений в суете графине стиснул ручку.

VI

Совсем немногое осталось досказать:
графиня родила — тому виной Раевский.
Естественно, скандал не удалось замять,
о нем судачили Мясницкая и Невский.
...В Одессе, где каштан весною свечи льет
и мальчик по нужде сейчас зашел за кустик,
поставлен памятник.

А Пушкин в свой черед
невдалеке имеет бюстик.

VII

И мы гуляли там! И ты была со мной!
И обезьяний крик библейского павлина
внезапно в сумерки раздался за стеной
непроницаемой жасмина.
Сквозь вереницу дней несет моя рука
— никто твоей любви небесной не достоин —
прощальный поцелуй, подобье мотылька.
Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоен.

Дождь в Кастилии

Шелковые петли
К окошку привесь...

Пушкин.

Луна за тучами эль-грековскими брезжит
едва вдали
теперь всё реже.
Ты слышишь ли,
в Мадриде в брачном почти чаду
кончающийся дождь
еще стучит по мрачным
кумирам мраморным в ночном саду.
Крутые бобрики идальго длиннолицых
примяты влагой, и
к нехитрым радостям великих инквизиций
прибавь свои.

Рассталась бы душа с роскошной грешной тошной
сырой землей,
но безутешная всё медлит под окошком
с шелковою петлей.

Летучей мыши
над зыбью крыш
в серчающем гитар рыдании расслышать
доступно лишь
последнее прости — неуловимой массе
воды в горсти,
айве с оскоминой на скомканном атласе
последнее прости.

Дождь — кровь священная, вдруг пролитая в схватке
 пространства невпрогляд
 с прозрачным временем.

И приторны посадки
 левкоев у оград.

* *
 *

Я купил двух горлиц; они все время ворковали;
 тшкетно я запираю их на ночь в мой дорожный
 сундучок: там они ворковали еще громче.

Шатобриан¹.

— Как живется? — через Лету
 кто-то с берега другого
 призывает нас к ответу.
 — Если честно, бестолково.
 Наша бедность, наша доблесть
 пропадают ныне втуне,
 как в речном затоне отблеск,
 непрогрешемся в июне.

— Отправляйтесь, нерадивцы,
 поскорее в путь обратный.
 Постарайтесь, нечестивцы,
 замолить невероятный
 грех — пред тем, кого без свежей
 отутюженной рубахи
 освистали вы, невежи,
 на подмостках скользких плахи.

О, бунтующее, жабые,
 перекидчивое племя,
 своенравное и рабые
 до предела в то же время,
 всем достанется по вере,
 так не мешкайте с устатка
 на колени рухнуть перед
 алтарем миропорядка.

...Так в подсказку нам, безбожным
 завсегдатаям шалманов,
 гуляют горлицы в дорожном
 сундучке Шатобриана,
 что у взвихренной дороги
 на дворе на постоялом
 сном забылся неглубоким
 под суконным одеялом.

На границе бреда с бьлюю
 мнится лилия в затоне
 с тополиной ватой, пылью
 или — мантия на троне,
 для которой горностаев
 промышляя, попотели
 где-то за полярным краем
 честных варваров артели.

¹ Перевод О. Э. Гринберг.

Гулят горлицы в походном
сундучке Шатобриана
о служении свободном
от житейского изъяна.

3.VII.1996.

* *
*

Зима с огнем на поражение
при беспорядочных разборках,
с поддачей, головокружением,
объятиями на задворках —
она прошла; остались в памяти
гудки автомобильных пробок,
на сумеречном небе наледи
над домино жилых коробок.

...Да споры: кто же мы — отступники
в перелицованной одежде
и где — в банановой республике
или империи, как прежде?
Иль на подходе нынче к власти знать,
скомандующая «короче!»
любителям поразглагольствовать
по-русски на излете ночи.

1996.



БУЛАТ ОКУДЖАВА



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ

ГЕНИЙ

Это было задолго до войны. Летом. Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Я всякий раз читал вновь написанное дяде и тете. В поэзии они были не слишком сведущи, чтобы не сказать больше. Дядя работал бухгалтером, тетя была просвещенная домохозяйка. Но они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: «Гениально!»

Тетя кричала дяде: «Он гений!» Дядя радостно соглашался: «Еще бы, дорогая. Настоящий гений!» И это ведь все в моем присутствии, и у меня кружилась голова.

И вот однажды дядя меня спросил:

— А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было... и у Безыменского... А у тебя ни одной...

Действительно, подумал я, ни одной, но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в Союз писателей, на улицу Мачабели.

Стояла чудовищная тягучая жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, оказался в своем кабинете. Он заехал на минутку за какими-то бумагами, и в этот момент вошел я.

— Здравствуйте, — сказал я.

— О, здравствуйте, здравствуйте, — широко улыбаясь, сказал он. — Вы ко мне?

Я кивнул.

— О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю!..

Я не удивился ни его доброжелательной улыбке, ни его восклицаниям и сказал:

— Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи...

— О! — прошептал он.

— Мне хочется... я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у Пушкина или Безыменского...

Он как-то странно посмотрел на меня. Теперь, по прошествии стольких лет, я прекрасно понимаю природу этого взгляда и о чем он подумал, но тогда...

Он стоял не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул:

— Книгу?! Вашу?! О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно! —

Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: — Но, видите ли, у нас трудности с этим... с бумагой... это самое... у нас кончилась бумага... ее, ну, просто нет... finita...

— А-а-а, — протянул я, не очень-то понимая, — может быть, я посоветуюсь с дядей?

Он проводил меня до дверей.

Дома за обедом я сказал как бы между прочим:

— А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу... но у них трудности с бумагой... просто ее нет...

— Бездельники, — сказала тетя.

— А сколько же нужно этой бумаги? — по-деловому спросил дядя.

— Не знаю, — сказал я, — я этого не знаю.

— Ну, — сказал он, — килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два...

Я пожал плечами.

На следующий день я побежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, самый главный, секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал.

ЛЮБОВЬ НАВЕКИ

В ранней молодости я был поразительно влюбчив. Нет-нет, это была не похотливость, не склонность к разврату, не холодная расчетливость самца. Это был жаркий огонь, умопомрачение, платоническое безумие. Я влюблялся. И когда смотрел на предмет своей влюбленности, у меня вырастали крылья, и я понимал, что отныне это навсегда.

Конечно, некоторое легкомыслие, свойственное возрасту, определяло степень этого пожара, но я был абсолютно порядочен, верен, щедр, склонен к самопожертвованию и счастлив. И все это до той поры, пока не возникала другая.

Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул и понял, что это навсегда. Ее предшественница тотчас померкла. И дело тут было не в красоте, не в особых каких-то достоинствах. Я уже тогда создавал, что есть что-то, какая-то таинственная власть, утверждающая мое восхищение. Смешно было бы говорить, что у *этой*, например, глаза были прекраснее, чем у *той*, или что у *этой* манера общения была обворожительней. Нет-нет, и глаза у *той* были прекрасней, и манера общения, и нос, и губы, и характер... А сгорал от *этой* и искренне верил, что уж теперь все, что это навеки.

Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул. Она была прекрасна. Высокая, стройная брюнетка с локонами, покоящимися на плечах, с зелеными глазами, с загадочной улыбкой. Она была немногословна, и за этим тоже таилось нечто, что не давало покоя. Я, как брюнет, обычно был склонен к блондинкам, но тут все блондинки показались заурядными. Я даже, помню, удивлялся, мол, как это можно было иметь дело с *той* и даже ею восхищаться и так обольщаться на ее счет, когда в мире существовала *эта!*

Я жил тогда в Тбилиси у своей тети. Шел сорок пятый год. Тетя меня очень любила и была мне вместо матери. Меня, как вчерашнего фронтовика, легко приняли в университет и многое прощали. А прощать было что. Филология меня не очень возбуждала, но мысль о том, что я вчерашний фронтовик, что я жив, что мне в связи с этим все дозволено, что очередная пассива не сводит с меня глаз, что вечером мы пойдем с нею в парк Дома офицеров и будем отбивать ноги в танго, фокстроте, в вальсе-бостоне, — мысль об этом очень возбуждала меня.

И вот появилась Алиса Бошьян, и я вздрогнул и уже через несколько дней решил познакомить ее с моей тетей. Всех предшественниц я тоже приводил к тете, и всем она давала самые возвышенные оценки. И это стало традицией.

— Вот, — сказал я взволнованно, — знакомьтесь, это Алиса Бошьян.

— Я очень рада, — сказала тетя, — он столько рассказывал о вас, и с таким восхищением, что не терпелось познакомиться... О, вот вы какая! Ну, заходите, заходите, я очень рада...

Мы ужинали троём. Было очень сердечно. Я смотрел то на Алису, то на тетю. Разговор был милым и непринужденным. Тбилисский вечер плывал в окно. Как хорошо, что закончилась война!

Уже было довольно поздно, когда я отправился провожать Алису. Вернулся я не скоро. Вбежал в квартиру, бросился к тете. Она убирала со стола.

— Ну что?! — почти закричал я. — Какова, а? Я ведь говорил!.. Ты ведь не разочаровалась? Да? Да?..

— Ну что ты, — сказала тетя и погладила меня по голове, — она великолепна! Какая фигура! А глаза!.. — Ушла на кухню, вернулась: — Да, кстати, может, конечно, мне показалось, но у нее немного кривые ноги... — и тут же поправилась: — ножки... Впрочем, может быть, и показалось... Да это, в сущности, такой пустяк... Не так ли?

— Конечно, — выдохнул я оторопело.

Спал плохо. Просыпался и думал про ноги Алисы. Подумаешь, думал я, какая мелочь! Утром, проснувшись, снова подумал о том же. Приехал в университет, встретил свою сокурсницу Катю Ломан. У нее были точеные ножки. Оглядел остальных сокурсниц. У всех были великолепные ноги. В конце коридора показалась Алиса. Приблизилась. Я отчетливо разглядел, что у нее ноги действительно кривые. Не очень, но кривые. Да и походка неуклюжая и странная, словно она ступает по скользкому полу.

Через неделю, встречаясь, мы просто здоровались, я, кивнув, проходил мимо в аудиторию и усаживался рядом с Катей и, оглядев ее, понимал, что это навеки.

ГИТАРИСТ

Это случилось в пятьдесят девятом году. Я работал в «Литературной газете». У меня уже были первые песенки и первая широкая известность в узком кругу. Это очень вдохновляло меня. Я очень старался понравиться именно им, моим литературным друзьям. Один из них, назовем его Павлом, позвал меня на свой день рождения. Были приглашены и некоторые другие сотрудники из нашего отдела литературы.

Я отправился к Павлу, конечно, вместе с гитарой и со своим ближайшим другом тех лет, начинающим писателем Владимиром Максимовым.

Мы добрались до Плющихи, нашли дом. Нам открыли дверь. Гостей было уже с избытком, и наши уже были здесь.

И вот мы вошли в комнату и начали рассаживаться за уже накрытым столом. Слышался обычный возбужденный галдеж, затем в него вмешался плеск разливаемого в бокалы вина, затем прозвучал тост в честь пунцового именинника... И звон стекла, и криканье, и вздохи — и вдруг тишина и сосредоточенное поедание праздничных прелестей, и восторженные восклицания, и, в общем, как обычно, удовлетворенное журчание голосов, этаким ручеек, постепенно, от тоста к тосту, превращающийся в мощный поток.

В доме Павла я был впервые, и родственники его были мне незнакомы. Судя по их лицам и разговорам, простые милые люди, в основном из московских работяг. Они и преобладали за столом. А наших было мало, и они, конечно, старались не очень-то «высовываться» и не нарушать господствующего климата своим интеллектуальным вздором. Так, нашептывали друг другу всякие остроты и посмеивались украдкой. Только Володя Максимов был крайне мрачен.

Наконец, когда было достаточно выпито и съедено, отяжелевшие гости потянулись в соседнюю комнату. Мои подмигивали мне многозначительно. Я шел и понимал, что, по уже установившейся традиции, предстоит петь. Меня это в те годы радовало. Я начал привыкать к интересу, который проявляли к моим песням мои друзья. Рядом двигался хмурый Максимов. Пока мы сидели за столом, я, зная о его пристрастии к спиртному, подумал, что наступил этот час и потому он так мрачен. Но оказалось, что он трезв, трезвее меня и всех остальных, и это было непонятно.

В тесной комнате кто сидел, кто стоял. Мне подали гитару. Все замерли. Я чувствовал себя приподнято, хотя, конечно, и волновался: очень хотел угодить слушателям.

— Что же мне вам спеть? — спросил я, перебирая струны, — что-то сразу и не соображу...

— Может быть, «Сапоги»? — шепнул кто-то из своих.

Я подумал, что «Песенка о сапогах» — это военное. Это не ко дню рождения... И посмотрел на Максимова. Он был мрачен.

— Ну, «Неистов и упрям...», — подсказали снова.

— Нет, — сказал я, — начну-ка с «Последнего троллейбуса»... Все-таки московская тема...

Я стал перебирать струны. Одна фальшивила. Принялся настраивать. Было тихо. Правда, в соседней комнате звенела посуда: там суетились, приводя стол в порядок.

«Когда мне невмочь пересилить беду...» — запел я. Максимов опустил голову. Выпевая, я подумал, что следующей будет «Песенка о Ленке Королеве». Да-да, подумал я, хоть и военная, но все-таки московская.

Я пел и попутно обмозговывал свой небогатый репертуар. И вот конец: «...и боль, что скворчком стучала в виске, стихает...» — и последний аккорд. Кто-то из своих захлопал. И вдруг из дальнего угла крикнули требовательно:

— Веселую давай!.. «Цыганочку»!..

— «Цыганочку»!.. — загудели гости, и кто-то затянул «Ехал на ярмарку ухарь-купец...».

Я не понимал, что происходит. Стоял, обнимая гитару. Тут ко мне подскочил Максимов, дернул меня за руку и прошипел:

— Пошли отсюда!.. — и повел меня насильно в прихожую. — Давай одевайся! Скорей, скорей!.. Пошли отсюда!..

Мы вышли из квартиры. Ноги у меня были деревянные. Голова гудела.

— Я не хотел тебе говорить, — сказал, кипя, Максимов уже на ночной улице, — когда мы пришли, там, на столике в прихожей, лежал список гостей, и возле твоей фамилии было написано — «гитарист»!

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ

Самое начало шестидесятых. У меня уже некоторая известность. Крутятся магнитофоны. Появляются в газетах бичующие меня фельетоны. Это еще больше усиливает интерес ко мне. Бурное для меня время, очень значительное. Ведь мною интересуется публика, ну, может быть, и не очень широкая, ну и, конечно, интересуются не столько мною, сколько моими песенками, которые они пересказывают друг другу, напевают, находят в них что-то близкое для себя... Большая честь.

И вот однажды звонит мужчина с завода твердых сплавов, где-то в районе Марьиной рощи. Называется председателем профкома. Голос у него какой-то странный, какие-то подозрительные интонации слышатся в его речи. Он долго выпрашивает меня — Окуджава ли я и пою ли я свои песни... Ах, тот самый?.. И выступаете с ними?.. Ну да... ну конечно... и выступаете... Тогда вам нужно срочно к шести часам быть у нас в профкоме. Тут дело чрезвычайной важности... Тут, понимаете, такая каша заварилась!..

Еду. Ломаю голову: что может быть у меня общего с заводом твердых сплавов?! Какие это твердые сплавы?!

В профкоме множество народу. Все смотрят на меня разинув рты, всплескивают руками, ахают, чертыхаются.

— Здравствуйте, — говорю я, — что это случилось?

И председатель профкома, задыхаясь от волнения, рассказывает мне о происшедшем.

О том, как несколько дней назад явился в профком молодой человек высокого роста, широкоплечий. Лыняные волосы украшают голову. Голубые глаза дружелюбно распахнуты. Сдержан. Немногословен. Вы про Окуджаву что-нибудь слышали? Мы говорим, мол, слышали, слышали, ну и что? А я и есть Окуджава, ну, здравствуйте. Тут все наши сбежались, и

мы начали сговариваться о его выступлении в нашем клубе. Договорились как раз на сегодня, на семь вечера. Он сказал, что ему нужен аванс в пятьдесят рублей, а остальные, мол, после вечера. Ну, мы дали ему аванс, и он ушел. И тут, через полчаса, наш бухгалтер возьми и скажи: по-моему, Окуджаву вовсе не такой. Он и постарше, и помельче вроде, худенький такой, и усики у него... Что-то тут не так... Началась у нас паника, и вот сегодня мы к началу вызвали опергруппу после разговора с вами. Скоро он явится, представляете? И возьмут его с поличным, а вы будете свидетелем!

Ко мне подходит лейтенант милиции и спрашивает:

— А документики у вас есть?

Предъявляю ему удостоверение. Все в порядке. Он говорит:

— Прошу всех лишних покинуть помещение.

— Публики полон зал, — говорит кто-то.

Все наэлектризованы. Я больше всех. Дрожь меня сотрясает. Особенно когда думаю о сумме аванса. Ведь в те годы пятьдесят рублей — это была неслыханная плата за выступление, а тут аванс! Я, выступая по разным клубам, получал самое большее тринадцать рублей, а тут аванс!

И вот дело уже к восьми, а мошенника все нет.

— Не придет ваш жулик! — смеется лейтенант. — Что он, дурак, что ли?

— Подождем еще немного, — говорит председатель профкома без всякой надежды.

В восемь часов председатель говорит мне:

— Пойдемте, хоть покажитесь публике... Вот беда!

И вот я выхожу из-за кулис на сцену, и зал меня приветствует, и председатель, вышедший со мной, потерянно говорит в зал:

— Тут, понимаете, вот какая штука получилась... Как бы вам это объяснить...

Я отодвигаю его от микрофона и рассказываю о случившемся. Все хохочут, аплодируют и кричат:

— Пойте! Пойте!..

Председатель шепчет мне:

— Может, выступите?.. Что же теперь-то... Уж теперь придется...

Вдруг у меня мелькает мысль, что все это затеяно специально, чтобы заставить меня выступить!.. Впрочем, эта мысль тут же гаснет, потому что в те годы меня не нужно было уговаривать и всякое приглашение выступить я почитал за большую честь... И все-таки я замотал головой и наотрез отказался, мол, я не готовился, и гитары со мной нет, и вообще вы сами видите, как все сложилось...

Так и разошлись.

Через несколько лет в перерыве одного из выступлений кто-то вручил мне конверт. В нем лежала фотография незнакомого мужчины. На обороте была надпись: «Этот человек на книжной ярмарке выдавал себя за вас и давал автографы на ваших книжках».

Глядя на эту фотографию, я вспомнил ту давнюю историю на заводе твердых сплавов. Этот тоже был молодой человек, высокий и широкоплечий. Но он был брюнет, и у него были пышные украинские усы.

И все-таки большая честь.

МИСТИКА

Как-то я написал стихи о Моцарте. Затем возникла мелодия. Получилась песенка о Моцарте. Я начал ее исполнять. Она постепенно стала известна. В конце припева у нее были такие слова: «Не оставляйте стараний, маэстро. Не убирайте ладони со лба...»

Однажды мне позвонили из Ленинграда с киностудии «Ленфильм». Они очень просили дать им эту песню для какого-то фильма. При этом рассыпались в похвалах и любезностях. Ну что тут рассыпаться? Я был счастлив. Они пригласили меня приехать в Ленинград.

На киностудии меня ждали к часу дня. В гостинице «Европейская», где мне был приготовлен номер, я расположился за столом, чтобы записать это стихотворение. Всё шло хорошо, пока не добрал до той самой последней строчки в припеве: «...не убирайте ладони со лба». Перо остановилось. Сажу и раздумываю, как все-таки правильнее: «не убирайте ладони» или «не убирайте ладоней»? Чем дольше мучился, тем больше запутывался и наконец плюнул на истину, записал один из вариантов, какой — уже не помню, и вышел из гостиницы.

До киностудии — две остановки в метро. Спускаюсь по нескончаемому ленинградскому эскалатору и продолжаю по инерции размышлять: «ладони» или «ладоней»?..

Вдруг кто-то догоняет меня. Мужчина средних лет. В очках. С портфелем. Не слишком приветлив. Ни «здравствуйте», ни «извините».

— Скажите, песенка о Моцарте ваша?

— Моя, — бормочу растерянно.

— А что значит «не убирайте ладони со лба»? Что под этим подразумевается? Наверно, есть какой-то второй план?..

Он вглядывается в меня пристально. Лицо неподвижное. Я пытаюсь улыбнуться, но не получается. Наконец перебарываю растерянность:

— Ну, это... уж и не знаю, как объяснить...

Он напряженно ждет.

— Ну, когда человек думает, он... ну... держит... подпирает голову ладонями, что ли...

— И это все?! — спрашивает он с мрачным разочарованием. — Вот это?.. И все?..

— И все, — выдыхаю я и пожимаю плечами. А что я еще могу ему сказать? Это же стихи...

Он устремляется вниз по бегущему эскалатору. И вновь ни «спасибо», ни «до свиданья». «Ну и ну!» — почти кричу я, задыхаясь от изумления.

Обалдевший, добираюсь до киностудии, где меня ждут. Милые люди, давние знакомые, почитатели. Не могу удержаться и выпаливаю им о происшествии, об этом самом, о моих утренних сомнениях, о странной встрече на эскалаторе!

— Мистика!.. — говорю я. — Ломал голову — и вдруг этот в метро!..

Они смеются с вежливым одобрением.

— Да нет, — говорю я, — это действительно было... Вот только что!

Они улыбаются и кивают. Им нравится мое сочинение.

— Да я не придумал, — настаиваю я, — все так и было...

— Ну конечно, конечно, — смеются они.

НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Еду по Тверскому бульвару. Везу в машине только что полученные авторские экземпляры своего исторического романа «Похождения Шипова». Настроение приподнятое. Книга издана приятно. Моя книга. Еду. Вдруг, уже сейчас не помню — но что-то такое на пути, что-то я объезжаю, какое-то неожиданное препятствие... А впереди — инспектор ГАИ, и он велит мне остановиться. Останавливаюсь.

Он подходит вразвалочку, берет под козырек. Капитан. Такой невысокий, плотный, аккуратный, непроницаемый и вежливый.

— Что же это вы? — говорит он. — Как же это так?.. Загляделись? Пожалуйста, ваши документы.

Я хорошо знаю, что за этой вежливостью. Он меня отчитает неизвестно за что, оштрафует, поглумится, дай-то бог, а ведь может и документы отобрать, и распясть... Сейчас я уже не помню, что произошло, помню только, что моей вины не было, но помню также, что понимал: все равно накажет. Уж если остановил — не отвертеться.

— Позвольте, — говорю я, — но ведь там был троллейбус... А я ведь не должен... и потом, ведь у поворота... а я же сзади...

Он слушает, не перебивает меня. Смотрит, куда я показываю нервной рукой. Губы поджаты, глаза прищурены.

— И потом, — говорю я, — вы только представьте...

И вдруг он говорит:

— Вы правы. Действительно. Этой детали я не учел, — и протягивает мне документы, в которые даже не заглянул.

Что же это такое?! Как это так?! Инспектор ГАИ, признавший себя неправым?! Я к этому не привык! Я не приспособлен! Что-то надо сделать... Как-то это отметить... Тут я вспоминаю, что у меня же экземпляры романа! О, инспектор!

— Погодите, — говорю я задыхаясь, — просто не верится, что инспектор ГАИ со мной согласился! Чудо!..

Он хмур, он смотрит, как я широко улыбаюсь, но его губы плотно сжаты.

— Вы знаете, — суетливо говорю я, — у меня только что вышел исторический роман, и я хочу подарить вам эту книгу.

Он разглядывает меня чуть наклонив голову.

— Интересно, — говорит он, — интересно.

— Присядьте, пожалуйста, в машину, я вам надпишу...

Он устраивается на сиденье и берет в руки книгу.

— Интересно, — говорит он, перелистывая, — это о чем же?

— Это о Льве Толстом, — говорю я, — подлинное событие в его жизни.

— А, — говорит он, — о Толстом... Да... Это вы написали?

— Да-да, я автор, и мне хочется в знак нашей удивительной встречи подарить ее вам.

Он захлопывает книгу и протягивает ее мне.

— Сейчас, сейчас, — говорю я и тянусь за ручкой.

— Да нет, — говорит он, — эту книгу мне не надо.

— То есть как?! — смеюсь я, ничего не понимая.

— А вот так, — говорит он спокойно, — я про Толстого все читал. —

И вылезает из машины.

И я вижу, как он уходит — плотный, аккуратный, короткошей, медлительный. И сапоги его блестят.

ШКОЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Я вообще человек непьющий, ну, может, пару рюмочек в компании — и все. А в начале семидесятых, когда стал автомобилистом, даже это прекратилось, если предстояло сесть за руль. И какая бы ни была компания — только минеральная или сок. То ли это заговорило законопослушание, то ли чувство собственного достоинства — не мне судить.

Но однажды некая сила все-таки вознамерилась меня испытать, ткнуть носом, пугнуть.

Тогда я жил у Речного вокзала на Ленинградском шоссе. Я был приглашен посольством Германии в числе других, как это называется, деятелей культуры на пароходную прогулку. Название зафрахтованного теплохода уже не помню, а отплытие было назначено на семь часов вечера от Речного вокзала. А Речной вокзал был на расстоянии нескольких сот метров от моего дома. Пешком — минут пять.

Но я, начинающий автомобилист, влюбленный в свою темно-зеленую машину, конечно, отправился к речному порту на ней. Подкатил. Поставил ее рядом с другими машинами и пошел на причал.

Белый теплоход заполнялся нарядными гостями — немцами, американцами, но в основном нашими. Встретились знакомые. Все были возбуждены, как это водится в подобных случаях. Постепенно разбились на отдельные компании, устроились в разных гостиных по симпатиям, переходили из салона в салон. Общего стола не было, но было множество официантов, разносивших аппетитную снедь и питье в большом количестве.

В салончик, в котором я устроился со своими друзьями, время от времени заходили и другие гости. Беседовали о том о сем, сплетничали, рассказывали анекдоты и ели и пили, пили, пили. Было множество знакомых и незнакомых знаменитостей. Заглянула к нам и Алла Пугачева, начинавшая тогда приобретать известность. Мы познакомились. Она спела новую песню на слова Осипа Мандельштама, и все ее поздравляли и пили, пили, пили.

Внезапно какая-то сладкая боль задела меня и обожгла — и тут же утихла. Но вскоре возникла вновь. Это произошло, когда я узнал, что наше путешествие рассчитано на семь часов. Отчего же мне тогда не выпить рюмочку? — подумал я. За семь-то часов все ведь улетучится!.. И я выпил. Боль тут же затихла. Было шумно, весело. Я выпил вторую.

Постепенно стемнело. Люстры засияли. На лицах было вдохновение. Официанты были снисходительны и щедры. Голова кружилась. Джин с тоником, виски с содовой, арманьяк, бордо — все невиданное, непробованное, знаменитое!

Я понимал, что опьянел. Я это прекрасно понимал, но впереди было семь часов!

Глухой звук паровозного двигателя внезапно смолк, и все почему-то засуетились.

- Что случилось? — спросил я.
- Все. Приехали, — сказали мне.
- Так ведь говорили... семь часов...
- А уже почти восемь прошло.

Я еле двигался, хотя все соображал. Потянулся за всеми к выходу. Как-то так получилось, что меня все обогнали, и когда я вышел на площадь перед зданием Речного вокзала, машин уже не было. В последнюю какую-то иномарку со смехом усаживались иностранные гости. Я подумал, что если они могут ехать через всю Москву, почему же я не смогу? Вон ведь дом-то совсем рядом. Я увидел вдалеке свою темно-зеленую любимицу. Она преданно ждала меня. Как я дошел до нее, не помню. Было сложно, но дошел и уселся, и включил свет, и завел. Она ожила. Я понимал, что пьян, но дом-то ведь вот он, да и город пуст. И поехал. Миновал парк и ловко так выехал на Ленинградское шоссе. Ни одной машины. Третий час ночи.

Вдруг вижу: впереди инспектор ГАИ, и он машет палочкой, чтобы я остановился. Останавливаюсь и вылезая, и понимаю чрезвычайность ситуации, и с осторожностью к нему приближаюсь.

- Он стоит среди пустынного шоссе и хохочет, и говорит:
- Что это вы посреди шоссе встали? А ну-ка к тротуарчику...

Залезаю в машину, ставлю ее к тротуару. Действительно, что это я?.. Снова приближаюсь к нему и протягиваю документы, но так, чтобы по возможности быть от него подальше.

- Выпили? — спрашивает он и хохочет, и берет документы.
- Нет, — говорю я.

Он снова хохочет. Приятный парень. Ему, наверно, одиноко на этом пустынном шоссе.

- Ну, рюмочку, — говорю я, — тут был прием посольский...
- Знаю, знаю, — смеется он, — а вы забыли двигатель выключить.

Я побежал к машине, то есть это мне казалось, что я бегу. Выключил двигатель. Да я уже и не пьян...

— Вы знаете, — сказал, вновь приблизившись, — вот мой дом, видите? Садитесь со мной в машину, и вы увидите, как я ее поведу... Садитесь...

Он снова захохотал и сказал:

- Я бесплатно ездить не люблю. Понимаете? Дошло?

Пьян, пьян, но я тут же все понял. Порылся в карманах, достал помятые двадцать пять рублей (а по тем временам это была значительная сумма) и протянул ему.

Он взял их, спрятал, вернул мои документы и сказал с дружеской улыбкой:

— Ладно, садитесь в машину и аккуратненько, аккуратненько, — и погрозил пальцем.

Я почувствовал себя лучше. В голове прояснилось.

— Послушайте, — сказал я без вражды, — ну ладно, что было, то было. А как вы догадались, что я выпил?

Он снова расхохотался, так по-братски взял меня под локоть и подвел к машине.

— Во-первых, — сказал он, — когда вы выехали на шоссе, вас понесло почему-то в третий ряд!.. Во-вторых, все Ленинградское шоссе тотчас пропахло спиртным перегаром... Да-да, пропахло... В-третьих, вы протянули мне документы и уронили их и двадцать минут ползали по асфальту, их подбирали... Я обхохотался...

Ничего себе, подумал я, какое унижение!

Он перестал смеяться. Лицо помрачнело.

— Я уж не говорю о том, на что вы были похожи, когда побежали выключать двигатель, — сказал он с отвращением и повернулся ко мне спиной.

...В полдень проснулся и вспомнил об этом. Какое унижение!

С тех пор за рулем — ни капли.

ВИКА

С Викторией Некрасовым мы были друзьями. Ну, может, не закадычными, но я его очень любил и ценил, и он, как мне кажется, отвечал тем же. Его литературный дар известен всем, но обаяние, доброжелательность, искренность и неподкупность были не менее значительны.

Мы познакомились давно, но встречались редко — когда он выбирался в Москву из своего Киева.

Вскоре наступило отвратительное время, и его за непокорность и строптивость вытолкали из страны. Он уехал в Париж. Имя его стало у нас запретным. Голос на «Радио Свобода» — тоже. А уж общение с ним — преступлением против советской власти.

Однажды я получил из Франции письмо без подписи. Гадал-гадал, от кого оно, — все напрасно. Мой сын повертел в руках конверт и вдруг ткнул пальцем в почтовую марку. Я взгляделся. Боже мой! На марке было изображено лицо Вики! На марке, как обычно, стоял советский почтовый штемпель: не заметили!

Примерно через год после его отъезда я был отправлен в Париж с группой поэтов для участия в большом поэтическом вечере. Из отеля я тотчас позвонил Вике. Он очень обрадовался и сказал, что на вечере непременно будет, но, так как там мы встретиться не сможем, меня тайно привезут к нему домой после выступлений.

Минут за пятнадцать до начала я вышел на большую сцену без занавеса, чтобы посмотреть на публику. Громадный зал был переполнен. Первый ряд занимали работники советского посольства. Они были почти в одинаковых костюмах и в одинаковых галстуках. Физиономии были напряжены, даже суровы. Они очень отличались от остальной публики — веселой, праздничной, по-парижски раскованной. И увидел я в зале знакомые эмигрантские лица. На виду у посольских общаться было крайне опасно, поэтому мы перемигивались, кивали друг другу.

И тут я заметил во втором ряду, прямо за посольскими спинами, Вику! Он был в сером пиджачке, ворот нараспашку. Он смотрел на меня широко улыбаясь. Не могу объяснить, как это все получилось. Конечно, не храбрость вдохновила меня, но какая-то тайная сила толкнула к ступенькам, я сбежал в зал и кинулся к нему. Он вскочил, и мы крепко обнялись через головы мрачно застывших посольских. Дух захватило. Все, подумал я, теперь никуда не выпустят!.. Теперь все... — подумал я. Ну и ладно... и черт с ними!..

После концерта мы встретились у него дома. Выпили. Хохотали, вспоминая эти предосудительные объятия.

— Ну ты и смельчак! — смеялся он.

Я был горд и счастлив.

После этого мы встречались почти каждый день, и всегда в кафе «Монпарнас», на втором этаже. И каждый раз он приносил с собой фотоаппарат, подзывал официанта и просил нас щелкнуть. То ли судьба была ко мне снисходительна, то ли посольские так обалдели, наблюдая наши преступные объятия, что махнули рукой, то ли в воздухе запахло чем-то новым, но я и после несколько раз попадал в Париж, и ритуал оставался неизменным: кафе «Монпарнас», второй этаж и щелкающий официант.

И вот уже в разгар перестройки произошла очередная встреча. Опасаться было нечего. Но традиция сохранилась. Вновь то же кафе и щелкающий официант. Вика был после больницы. Осунувшийся, грустный, и разговор у нас был какой-то странный, без прежнего огонька.

Через месяц, уже в Москве, я получил от него очередное письмо с вложенной в конверт нашей последней фотографией. Грустная. Лица у нас почему-то зеленоватые на синем фоне. Я уставился на нее и не мог оторваться. Зазвонил телефон. Так, разглядывая ее, я взял трубку. Звонила приятельница из Парижа. Она сообщила, что Виктор Некрасов сегодня скончался.

МЫШКА

Однажды зимним вечером я сидел в Переделкине у телевизора. Вдруг из-под дивана вышла мышь и уселась у моей ноги. Я закричал с отвращением, и она исчезла под диваном.

Покой рухнул. Я вспомнил прошлогоднее нашествие мышей, как я, забросив все дела, расставлял мышеловки, рассыпал отравленные зерна, выбрасывал на снег серые трупики, прятал пищу, брезговал к ней прикасаться... А они продолжали бесчинствовать. Их становилось все больше и больше. Они вскарабкивались по шторам, пищали, повсюду оставляли свои отвратительные следы и плодились за шкафом, и розовенькие их наследники время от времени выползали оттуда на свет божий...

Так продолжалось с месяц. Я выдохся, опустил руки. Вдруг они исчезли. Специалисты объяснили, что это был какой-то специфический мышинный год.

И вот теперь снова?!

Я замер на диване, и она появилась снова и снова уселась у моей ноги. Я шевельнул ногой — она исчезла. Страх и отвращение бушевали во мне. Я вытащил из чулана мышеловку, зарядил ее и поставил в темном углу. Покоя снова не было.

Я плохо спал. Весь следующий день она не появлялась. Но вечером, едва я уселся перед телевизором, она возникла. Она сидела у моей ноги, спиной ко мне, и не отрываясь глядела на экран. Я шевельнул ногой — она нехотя удалась. Я замер — она вышла из-под дивана и уселась на прежнее место. Странно, но я уже не испытывал отвращения. Напротив, какой-то интерес, какое-то ненавязчивое любопытство проснулись во мне. Что это такое? Что за поза у нее? Чего она хочет?..

Я наклонился, чтобы к ней присмотреться, но она исчезла.

В течение следующих дней все совершалось по уже установившемуся распорядку. Я постепенно разглядел ее. Она была хороша! Вдруг я понял, что она хороша. Я видел ее маленькие сверкающие черные глазки и изысканную мордочку, и светло-серую шубку, и выразительный хвостик крендельком. Она привыкала. Она постепенно перестала исчезать под диваном, а просто чуть-чуть деликатно отодвигалась в сторону, стоило мне пошевелиться.

Я положил на пол кусочек печенья. Она его с аппетитом погрызла, утерлась лапкой и вновь уставилась на экран.

Прошел месяц. Чего только не испробовала она, чем только не лакомилась: и печеньем, и салом, и колбаской... Я привык к ней, мало того — привязался. Теперь было бы странно смотреть телевизор в прежнем одиночестве. Не знаю, чем она занималась днем, но вечером зажигался экран — и она тотчас усаживалась перед ним. Мне было хорошо. Я даже перестал вспоминать прошлогоднюю стаю серых животных, эту беснующую толпу.

Я вообще не любитель толп. Слава богу, что хоть у меня в доме они отбушевали. А это маленькое изящное существо в светло-серой шубке тоже, видимо, склонно к уединению и вряд ли тоскует по своим суматошным соплеменникам...

Днем я, как всегда, работал за своим столом. Зимой темнеет рано. Я подумал, что скоро включу телевизор и мы усядемся с нею...

Вдруг что-то громко щелкнуло. Присмотрелся — а это сработала мышеловка, о которой я успел позабыть! Кинулся к ней — а в ней моя мышка!..

Как-то у меня сидели друзья. Я рассказал им эту историю. Все удрученно замолкли. Фазиль вскрикнул: «Неужели насмерть?!»

Я — ШВЕДСКИЙ ШПИОН

Шестьдесят пятый год. Меня отправляют на Дальний Восток с выступлениями. Я не рвусь туда, никогда этого не добивался, но Союз писателей как-то чрезмерно заинтересован, какая-то таинственная вибрация сотрясает его механизм, в те годы достаточно мощный. Я позволяю себе всякие капризы. Ну, например, говорю, что самолетом не полечу — только по железной дороге. Организаторы не возражают: пожалуйста, как вам будет угодно, нам все доступно, поездом — так поездом. Поедете в спальном вагоне до самого-самого...

Но этого мне мало. Я ведь буду в двухспальном купе не один. Какой-нибудь незнакомый тип будет все восемь дней истязать меня храпом, разговорами, а может, будет пить беспробудно и дышать винным перегаром.

— Возьмите мне два билета, — говорю я жестко, — я хочу ехать один.

— Нет проблем, — улыбаются они.

Наконец все оформлено. Я получаю пропуск на въезд во Владивосток. (В те годы этот приграничный город был на специальном режиме.) Забираюсь в свое купе. Устраиваюсь: ехать ведь долго. Какое счастье — я один! Все развешиваю, расставляю. Пишущая машинка на столике, бумага, перо...

Приходит проводник. Рыжий чубчик. Широкая улыбка.

— Чайку не желаете?

Он приносит чай, печенье. Его зовут Паша.

Поезд идет. Спускается ночь. Я хорошо высыпаюсь. Утром выхожу в коридор. Паша проходит мимо. На меня не смотрит.

— Здравствуйте, Паша.

Он отворачивается, отворачивается и не отвечает.

Ну вот, думаю я с раздражением, очередной хам, а казался таким своим. И действительно, он не отвечает на мои вопросы, а если и отвечает, то глядя мимо меня и так, что желание спрашивать пропадает. Чаю больше не предлагает. Мне не хочется унижаться. Хожу в вагон-ресторан и ем и пью сколько пожелаю.

Мне работается. Пейзаж за окном однообразен. Проходят дни. Приближается Владивосток. В последнюю ночь, накануне приезда, я просыпаюсь от стука в дверь, она тотчас же открывается, и входит офицер:

— Проверка пропусков.

Подаю ему пропуск. Он долго его изучает.

— Паспорт, — говорит он.

Протягиваю паспорт. Он ведет себя странно. Движения замедленны, губы сжаты. Он вчитывается в каждую букву.

— Какие еще есть документы?

Я понимаю: что-то не так. И молча выполняю его распоряжения. Предлагаю ему писательскую книжку, командировочное удостоверение, военный билет...

Он изучает их долго-долго. Потом возвращает, козыряет и уходит, и я вижу, как рыжий Паша семенит за ним следом.

Утром как ни в чем не бывало, радостно улыбаясь, Паша приносит мне чай и пачку печенья. И садится напротив меня, и я узнаю следующее.

В день моего отъезда из Москвы все московские вокзалы получили секретное извещение о том, что некий швед выехал из Москвы в неизвестном направлении без специального на то разрешения. Опергруппы на всех вокзалах принялись за поиски. По всем поездам команда: проводники обязаны следить за всем подозрительным и регулярно докладывать. Шпион не должен действовать безнаказанно.

Получив задание, Паша тут же сообщил, что в его вагоне находится подозрительный тип: едет один в купе по двум билетам, на остановках не выходит, целый день стучит на машинке. Роста среднего. Худой. Черный чубчик, черные усики. Типичный швед.

Донесение Паши выслушали с вожделением, а так как в те годы понятие «лицо кавказской национальности» было не в ходу, сразу догадались, что речь идет о шведе. Все восемь дней тщательно следили и, конечно, крайне огорчились, проверив документы...

— Я им в первый день сказал, мол, проверьте документы, чего восемь дней-то тянуть, — говорит Паша, улыбаясь во весь рот, — а они мне, мол, мы профессионалы, и ты нас не учи, понятно?.. А я тоже думал, что вы шведский шпион! — и хохочет. Такой милый, свойский, такой бдительный. Паша.

УБИЙЦА

Не прошло и года, как случилось невероятное: Союз писателей организовал туристическую группу для поездки в Швецию и меня с женой включили тоже! Я не верил: впервые в капиталистическую Европу! Свершилось! Группа была маленькая: восемь писателей с женами. Шестнадцать человек. И я среди них! Женя Евтушенко на Западе уже бывал, и неоднократно, но радовался за меня и подмигивал поощрительно. И вдруг перед самым отъездом выяснилось, что меня из списка вычеркнули!.. Я чуть не заплакал. Я побежал к Ильину — генералу КГБ, который руководил московскими писателями. Он кивнул на потолок и сказал, что в отношении меня передумали.

— Сам виноват, — сказал он с грустью, — поешь всякие песенки, раздражаешь начальство...

— Да как же так?! — выдохнул я с отчаянием. — Я был так рад... и жена... Я же фронтовик!..

— Ничего, — сказал он неумолимо, — наладь все эти дела, и в следующий раз...

И тут вошел обеспокоенный Евтушенко. Он кивнул генералу, сел напротив без приглашения и сказал мрачно:

— Виктор Николаевич, дело в том, что вся Швеция с замиранием сердца ждет его, — (он кивнул в мою сторону), — приезда. У них очень большой ажиотаж... — (Я похолодел: впервые я слышал о себе такое.) — Если он не приедет, разразится международный скандал. Я не знаю, по чьей вине, но объяснить будет невозможно... В конце концов, я беру на себя всю ответственность... Ведь все было готово, и вдруг такое!..

Ильин слушал, кивал, поглядывал на меня, а я сидел ни жив ни мертв, и что-то такое во мне оборвалось, а в жизни моей было так много подобного — оскорбительных унижений или унижительных оскорблений или и того и другого, да в таком количестве... Ничего, подумал я, не сдохну.

— Ну ладно, — вдруг сказал генерал, — ладно, беру на себя ответственность, ладно, черт с вами...

Когда мы вышли, я спросил Женю:

— Что это ты говорил насчет ажиотажа?

— Какого ажиотажа? — не понял он.

— Ну, ты говорил... — сказал я.

— А-а, — махнул он рукой и засмеялся.

На следующий день на Моховой в каком-то учреждении, сейчас уж и не помню в каком, с нами провели собеседование. Я слушал очень внимательно, не пропускал ни единого слова, был крайне возбужден. В заключении чиновник с холодными глазами суммировал сказанное:

— Запомните: вы едете в капиталистическую страну. В этом мире кишат шпионы и диверсанты. Запомните: особенно опасны хиппи...

— Кто это такие?! — спросил я, теряя сознание.

— Это, — сказал чиновник, — молодые люди с длинными волосами, наркоманы и убийцы...

Радость моя померкла. Напряжение достигло апогея.

И мы поехали в Швецию.

В Стокгольме было солнечно и жарко. Город был прекрасен. О, если бы не назойливая мысль о таящихся в нем опасностях! Если бы не страх, сковывающий наши души!.. Удобная и чистая гостиница, доброжелательное обслуживание, изысканный непривычный ужин, но постоянный озноб, дрожь по коже и мысли об опасности. Из окна четвертого этажа мы видели чистую улицу и раскованных, хорошо одетых прохожих и чистенькие «мерседесы» и «вольво». Но это с четвертого этажа.

— А попробуй выйди туда — и сразу что-нибудь случится, — шепотом сказал я.

Жена кивнула. На первый день никаких коллективных мероприятий не было. Вдруг жена моя поморщилась и сказала мне тоже шепотом:

— Ну что, так и будем сидеть взаперти? Какого черта!.. — и вдруг пошла к двери.

Я потащился за ней. Мы общались только шепотом. В лифте набилось полно народу. Они улыбались друг другу, хохотали, и слышалась шведская, английская и французская речь. А мы? А мы перешептывались и презирали сами себя. И когда спустились и вышли в холл, жена произнесла громко и отчетливо:

— Хватит! Я подумала: или как шведы, или закрыться в туалете на весь срок поездки! Какое я имею отношение к шпионам, а тем более — к диверсантам?! Хватит!..

Мы вышли на шумную улицу.

— Посмотри на их лица, — сказала она, — как они смеются, как движутся... Ничего себе шпионы!

— Тише, тише, — шепнул я и напряженно оглянулся.

Она умолкла. Было душно. Потом сказала с горечью:

— Вот потопчемся перед гостиницей, и можно в Москву возвращаться... Господи, как душно!..

И тут я увидел прямо у самого подъезда — автоматы с кока-колой. Мы подошли к ним. Я опустил монету, но автомат не сработал. Я стал нажимать какие-то кнопки — никакого толку. Достал другую монету. Вдруг увидел слева от себя громадную волосатую руку. Она тянулась к моей монете! Я поднял голову и похолодел: рядом со мной стоял высоченный хиппи с волосами до плеч. Он бормотал что-то и тянулся к моей монете.

— Отдай ему, отдай, — прошептала бледная моя жена, — да отдай же!

Ну вот, подумал я, сбылись зловещие пророчества.

— Лучше отдай, — шепнула жена с отчаянием, — он на все способен!

А хиппи что-то бубнил и продолжал тянуться к монете. И я отдал ее ему. Я был унижен. Неужели, подумал я, он способен убить из-за такой ерунды?! Я показал жене глазами на дверь в гостиницу, но она пребывала в столбняке. Я напряженно следил за хиппи. Я ждал подвоха: без этого не

могло быть... Я же не просил его... А если бы даже попросил, он не обязан... Он мог просто... почему он должен?.. Он мог сказать: «Да иди ты!..» И я бы пошел...

Хиппи опустил монетку в щелочку автомата, нажал какую-то кнопку, и ледяная бутылка впрыгнула ему на ладонь. Он сорвал пробку, и лицо его расплылось в улыбке. Он протянул бутылку моей жене! И при этом поклонился! И ушел... «Бай-бай...»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!

Уже после начала перестройки я снова побывал в Швеции. Я гулял по Стокгольму. Я ничего не боялся. Пугальщики замерли, словно их никогда и не было. Все предшествующие годы я теперь вспоминал с улыбкой, краснел за себя того и радовался новым обстоятельствам. Кстати, вспомнил еще несколько эпизодов, связанных с той, теперь уже давней, поездкой туристом.

Тогда, еще не представляя себе, что смогу поехать в Швецию, я познакомился в Москве с шведским корреспондентом и писателем Хансом. Мы иногда общались. Он был веселый, умный молодой человек, который никак не мог совместить грусть моих стихов и песен с красной суетой в моем воспаленном мозгу. Затем срок его пребывания в Москве закончился, он уехал к себе на родину, а тут вскоре и мне выпала честь впервые заглянуть в капиталистический мир. И вот в Стокгольме, уже после истории с хиппи, когда я уже кое-что уяснил, хотя, конечно, не до конца, он разыскал меня и пригласил нас с женой в свой дом поужинать.

Это была двухэтажная квартира. Я таких никогда не видел! Внизу был накрыт изысканный стол. Было вкусно, шумно и весело. Звучали анекдоты, в которых мои соотечественники представляли в комическом свете. Ханс был прекрасен. Вдруг он предложил мне посмотреть второй этаж его квартиры. Настроение было хорошее. Голова немного кружилась. Я кивнул и двинулся за ним. Меня поразило устройство этой квартиры. Конечно, подумал я, корреспондент — это же богатый человек! Внезапно в мозгу возникло подозрение: а что, если он обыкновенный разведчик?! И пригласил меня в свой дом и теперь ведет меня... на второй этаж!.. А там что? И теперь, подумал я, он начнет уговаривать меня... ну, это... сотрудничать...

Я переступал деревянными ногами. Я шел за ним, как пленник. Он оборачивался и улыбался. Знаю я ваши улыбки! Мы поднялись. Я втянул голову в плечи. Знаем мы... Хмель выветрился.

— Ну вот, — сказал он, — это мой кабинет.

Что-то такое проступило сквозь туман.

— А это спальня, — сказал он, приоткрыв следующую дверь.

Вот сейчас! — подумал я и остановился.

— Ну что? — спросил он, — тебе, кажется, не интересно?

— Да что я, спален не видел? — пробормотал я, — давай, пожалуй, вернемся, — и ждал, что он сейчас-то и начнет...

— Хорошо, — легко согласился он, — сейчас нам подадут крабов. Ты любишь крабов?

Я никогда не ел крабов.

— Конечно, — сказал я, и дышать стало полегче...

...Через несколько дней случилась еще одна нелепость. Женя Евтушенко, давно ставший завсегдатаем в Европе, очень меня опекал и старался всеми силами приобщить к Западу. И вот он уговорил нашего общего знакомого — шведского издателя — устроить посещение ночного клуба со стриптизом! Когда все было решено, я внутренне возликовал, деланно поморщился, ибо одна моя половина была, естественно, переполнена любопытством, жадной открытий, очарована доступностью тайны, но вторая, красная, горела на медленном огне заслуженного ханжества. Вот и гримаса отвращения.

Мы заняли столик перед самой сценой. Вспыхнул свет. Женя и моя жена сидели напротив меня. Он что-то говорил ей, и она поглядывала на меня с большим интересом. Грянула музыка. На сцене появилась женщина в короткой крахмальной юбочке, длинноногая, с большой пышной грудью, покуда скрытой под кружевной блузочкой. Ну и что? — подумал я, скажите пожалуйста, невидаль... Женщина начала пританцовывать.

— И это все? — спросил я небрежно.

Женщина сбросила с себя блузочку. Женя подскочил ко мне.

— Я должен тебя предупредить, — горячо прошептал он, — сейчас она обнажится, спустится в зал и, возможно, сядет тебе на колени...

— Что?! — чуть не крикнул я.

— Ну, у них так принято, — сказал он, — я знаю... Но ты не вздумай ее оттолкнуть или еще что-нибудь... Ты понял? Не надо скандалов...

И снова уселся на свое место, и снова переглянулся с моей женой.

Танцовщица продолжала раздеваться. Сначала скинула бюстгальтер, и обнажились не очень упругие груди, колышущиеся в такт музыке. Затем, словно осенний лист, слетела с нее пышная юбочка. Единственное, что осталось, — это нечто, напоминающее фиговый листок...

Я ждал. Я так напрягся, что не слышал музыки. Сейчас она сойдет со сцены... Но музыка умолкла, и раздали жидкие аплодисменты. Свет на сцене погас. Я был спасен. Сердце билось отчаянно. Моя жена и Женя посмеивались.

Да, все это было. И вот пролетело двадцать лет, и я снова в Стокгольме. Я еду в автомобиле. Солнечный осенний полдень. Вдруг машина останавливается, и я вижу, что и все идущие впереди машины остановились тоже. Затор. Светофора нет. Впереди на улице, пересекающей нашу, какое-то движение. Я вижу эскадрон всадников в старинных одеяниях: то ли гусары, то ли уланы. Они медленно, торжественно пересекают наш путь, а за ними, вы только представьте себе, за ними — старинное открытое ландо, да-да, *ландо*, и в нем — женская фигура. Я ахнул: это была королева Швеции! Ах, ведь не каждый день случается такое!

Я кинулся из машины и побежал, побежал туда, к перекрестку, скорей, скорей, успеть бы... Встал на самом углу. Стою, сгорая. На мне плащ и кепка. Ландо поравнялось со мной. Королева Швеции, Сильвия, вся — красота и достоинство, восседает на кожаном троне! И я вижу, как она поворачивает свою королевскую голову и всматривается в меня, всматривается... Я хотел ей поклониться, но она уже отвернулась. Не успел я огорчиться, как она снова взглянула на меня! Второй раз! И вновь отвернулась.

Воротившись в гостиницу, я, переполненный всякими возвышенными чувствами, рискнул написать ей коротенькое послание.

«Ваше Величество!

Я стоял на краю тротуара. Вы проезжали мимо и два раза внимательно посмотрели на меня. Я не монархист, Ваше Величество, но мне было крайне приятно, и я навсегда запомню этот день!»

На следующий день мне вручили от нее ответ!

«Милостивый государь!

Я помню: вы действительно стояли на краю тротуара, и я два раза внимательно на вас посмотрела, потому что, когда я поравнялась с вами, вы, милостивый государь, не сняли кепку».



ТАТЬЯНА БЕК



ДО СВИДАНИЯ, АЛФАВИТ

* *
*

Я любила тебя намного сильнее, чем надо.
Как русалка, как дура, как кто незнамо...
Я летела к тебе сквозь дрожь твоего палисада,
Как стрела... А там оказалась яма,

Яр предательский, злая дыра, воронка.
О, зачем я,
отвергнутая,

злословлю?
Я тебя любила, как брата и как ребенка.
Как отца, наконец... Но я не ходила на ловлю,

На охоту (коварство хищное было мне мерзко!) —
И капкан не ставила:

сильной любви в силках ли
Выражаться? В клетку была твоя занавеска,
А из крана ночью, как слезы, капали капли, —

И мне было жалко тебя в связи с любой незадачей
И хотелось укрыть, заслонить, перешить, исправить.
Я любила слишком, что значило быть незрячей
И пускать на ветер иную любовь и память.

Проклинаю как порчу, бегу от тебя, но спиною: пячусь.
Перерезала нить, но, птясь, хочу наглядеться...
И гоноу ужасные мысли: мол, переиначусь,
Изменяюсь, нальюсь новизной — и тебе никуда не деться.

Нет, нет, нет! Ухожу от тебя навеки.
Ненавижу ямы твои, буераки, овраги, пещеры.
...Я отныне вольна не топиться весной в Онеге
И смертельно бояться себя за отсутствие чувства меры.

* *
*

Не думая о месте и о пользе,
Я выскочила прочь из колеи...
— Вас больше нет! Вас не бывало вовсе,
Кумиры сотворенные мои.

* *
*

Что же ты! Лети, не труся,
Ввысь и напролом —
С потрохами пропадая
Между туч и книг...

«Паче снега убелюся», —
Как гласит псалом.
«Стала злая и седая», —
Как сказал дневник.

Кончилось тысячелетье,
Охлестнув лозой.
— Кончено! Конеч! Кончина! —
Розга — кнут — ремень.
Все равно. Бежать из клетки,
Вымыться слезой,
Напоследок беспричинно
Расцвести, как пень.

Сошка мелкая в таблице —
Вычеркнута прочь.
Но жила же я, была же
В струях дождевых.
...И не думаю топиться
Или яд толочь.
Волею судьбы и блажи
Я живу в живых.

* *
*

Прелесть утратила и сноровку,
Но не отчаялась до поры, —
Так черепаха тянет головку
Нежную — из роговой коры:

Из торжества омертвевших клеток...
Лежа

на берегу крутом,
Я улыбнусь тебе напоследок
Любящим и безвольным ртом.



ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО



В СИНЕМ ШАРЕ



В нашем классе была звезда —
Серые глаза цвета осинога гнезда,
Осанка — будто родилась в Спарте,
Сидела на последней парте
С Андреем Головиным.
Он был умный и гадкий.
Через два года стал портным.
Я его как-то встретила вечером на улице —
В черном пальто на красной подкладке
Он шел — полы разлетались! —
Я спросила о Лене, но они больше не встречались.
Жалко.
Знаете, кем стала она?
Думаете, фотомоделью, профессионалкой?
Она стала утопленницей,
И когда я вспоминаю ее, я думаю только об этом,
Как будто она была ею и тогда,
Когда ее не касалась вода
Набережной москворецкой,
И она не лежала в мертвецкой,
И на нее не светила луна в узкое окно под потолком
И звезда — счастья или любви —
Все равно, как ни назови.



Накрапывал дождик, сорочка прилипла, подол натянув на колени,
Я тихо сидела на дне плоскодонки на мокром полене,
Мне что-то мешало и что-то за мною тянулось.
— Не вздумай, — мне властно сказали, — у нас так одна оглянулась...

И вот понесло на кувшинки, уже задевало бортами,
Цветы проезжали по дегтю прощальными ртами,
А я подбородок прижала и слышу: — Ну что ты боишься?
Последняя схватка осталась, сейчас ты родишься!
И огненно-желтым мне в комнате свет показался,
И я закричала, а мир для меня рассыпался.

Потом я жила, жизнь тогда для меня состояла
Из пресненской комнаты, страха школы, ранящей боли утр.

Свежий снег наметал над гипсовыми вазами парка высокие полусферы.

Я обожала подругу, ее черную шубу и белую пуховую шапку с брошкой.
Один раз, отгуляв полдня по морозу и поднявшись к себе на седьмой,
Я увидела в окно, что она вышла. Меня не пускали,
И, глядя на ее далекую фигурку, я испытала тоску любви.

Время от времени я становилась на каменный подоконник
И глотала салют из рубинов и бриллиантовой зелени,
Оставлявший ужасные следы боя на Калиновом мосту.

Вечера у метро окружали конфетный ларек.

За домом был круг, и однажды я села в трамвай взрослой жизни,
Мне нужен был пятый, а я села на двадцать второй —
Так хотелось скорее уехать.

* *
*

Замирающий центр. Ничего не узнать.
Вечер в слитках.
Снег — жалко новый переулочек начинать.
Всюду — под фонарями и в загибах дворовой тьмы —
Зинаида московской зимы.

В нашем парадном на потолке копченый крест,
Как в пещере индейца Джо,
И лифт ручной работы, выполненной перочинным ножом.

Он поет, поднимая, а на площадке — заварной сладкий свет,
Я им запивала кульки конфет,
Сидя на подоконнике, в спину дуло
Синим временем, которого больше нет.

* *
*

Вечер выпуклый, субботний смотрит в окна в Сандунах,
Видит лампы, и холщовые диваны, и детей льняных,
Видит розовые пятна тел молочных и парных, —
Он затерся в складки жизни,
Чтоб выхватывать отрывки зимних выходных.

...А когда, одевшись, выйдешь в допотопной теплой шали
И на улице наступишь на сухой январский прах —
Ты как будто — в синем шаре — и в других мирах!

Изнутри глядишь на город — там кристальные киоски,
Заморенная надежда, площадь, а за ней —
Старый дом с Принцессой Грезой, где в прокате новый Оскар,
Темная подпушка сквера... и периоды огней.

Воспоминания о соседских детях

Я приеду обратно
в юбке цвета мертвой ласточки.
В десять вечера
двор будет поджаривать в воздухе
звуки велосипедных звонков,
что залетали в комнату и соединялись
с никелем кроватных шаров,
делая их больше.



А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

КРОХОТКИ

Только вернувшись в Россию, я оказался способен снова их писать, там — не мог...

(из письма в «Новый мир»)

ЛИСТВЕННИЦА

Что за диковинное дерево!
Сколько видим её — хвойная, хвойная, да. Того и разряду, значит? А, нет. Пристывает осень, рядом уходят лиственные в опад, почти как гибнут. Тогда — по соболезности? не покину вас! мои и без меня перестоят покойно — осыпается и она. Да как дружно осыпается и празднично — мельканием солнечных искр.

Сказать, что — сердцем, сердцевиной мягка? Опять же нет: её древесная ткань — наинадёжная в мире, и топор её не всякий возьмёт, и для сплава неподымна, и покинутая в воде — не гниёт, а крепится всё ближе к вечному камню.

Ну, а возвратится снова, всякий год как внезапным даром, ласковое тепло, — знать, ещё годочек нам отпущен, можно и опять зазеленеть — и к своим вернуться через шелковистые иголки.

Ведь — и люди такие есть.

МОЛНИЯ

Только в книгах я читал, сам никогда не видел: как молния раскалывает деревья.

А вот и повидал. Из проходившей грозы, среди дня — да ослепил молненный блеск наши окна светлым золотом, и сразу же, не отстав и на полную секунду — ударище грома: шагов двести-триста от дома, не дальше?

Минула гроза. Так и есть: вблизи, на лесном участке. Среди высочайших сосен избрала молния и не самую же высокую липу — а за что? И от верха, чуть ниже маковки, — прошла молния повдоль и повдоль ствола, через её живое и в себе уверенное нутро. А иссиялась, не дошла до низа — соскользнула? иссякла?.. Только земля изрыта близ подпалённого корневища, да на полсотни метров разбросало крупную щепу.

И одна плаха ствола, до середины роста, отвалилась в сторону, налегла на сучья безвинных соседок. А другая — ещё подержалась денёк, стояла — какую силой? — она уж была и насквозь прорвана, зияла сквозной большой дырой. Потом — и она завалилась в свою сторону, в дружелюбный развилочек ещё одной высокой сестры.

Так и нас, иногo: когда уже постигает удар кары-совести, то — через всё нутро напрострел, и через всю жизнь вдоль. И кто ещё остоится после того, а кто и нет.

КОЛОКОЛ УГЛИЧА

Кто из нас не слышал об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — битом плетью, а ещё и сосланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, — и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане — сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье *государевых людей* (убийц малого царевича), и тех — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе.

Возвращаясь Сибирью, пересёкся я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника — в часовенке-одиночке, где отбывал он свой триста-летний срок, пока не был помилован к возврату. А вот — я и в Угличе, в храме Дмитрия-на-крови. И колокол, хоть и двадцатипудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почёте. Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают — ударить.

Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам. Всего один удар, но длится полминуты, а додлеается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов.

В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и сколько в неё ни ломились недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского народа — то колокол возвещал общий страх за Русь.

Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвещали Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь.



Н О В Ы Е П Е Р Ё В О Д Ы

ИНГМАР БЕРГМАН



ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Творчество крупнейшего шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана (род. в 1918) с трудом поддается делению на периоды по признаку какой-либо преобладающей фабульной тематики или смены стилей. Бергман меняется постоянно и постоянно же возвращается к тому, что, казалось бы, уже исчерпано им и пройдено; в его фильмографии за экранизацией древней легенды может следовать строгая традиционная драма, за психоаналитическим фильмом — мистический; без видимого перелома художественных установок он переходит от решений символических, притчевых — к реалистическим, от «классического» психологизма — к стиранию грани между реальностью и химерами, порожденными больным сознанием его героев, одновременно делает «большое» кино, где цвет, костюмы, интерьеры являются элементами структурными, — и снимает телефильмы в очень скупой, сдержанной изобразительной манере. Но есть и константы. Одной из областей пристального внимания Бергмана (в особенности Бергмана «зрелого», работающего исключительно по собственным оригинальным сценариям) была и остается семья. Достаточно вспомнить такие наиболее известные в ряду многих других фильмы, как «Сцены из супружеской жизни», «Шепоты и крик», «Осенняя соната», «Фанни и Александр». В отношениях — почти всегда болезненных, обостренных — между сестрами, матерью и дочерью, мужем и женой Бергман находит материал, позволяющий прикоснуться к фундаментальным философским, экзистенциальным, нравственным проблемам, проанализировать отчуждение человека в обществе. Такое отчуждение, деструктивно воздействующее на личность, ведущее к катастрофической разобщенности людей и переживанию тотального одиночества, — основной «отрицательный герой» Бергмана-гуманиста.

В восьмидесятые, окончив работу над книгой «Латерна магика» (1987; на русском языке — М. «Искусство». 1989), где рассказано, местами вызывающе открыто, о себе, своей жизни в искусстве, своих размышлениях и оценках, Бергман замысливает картину о юности своих родителей, первых годах их брака, их надеждах и неудачах. Авторским воплощением этого замысла стал вышедший в 1991 году «кинороман» «Благие намерения» (на русском языке — «Иностранная литература», 1994, № 5), постановку фильма осуществил в том же году датский режиссер Билли Аугуст. «Я смотрю на фотографии, — писал Бергман в предисловии к роману, — и испытываю непреодолимое влечение к этим двум людям, у которых нет практически ничего общего с замкнувшимися в себе, разросшимися до мифических размеров существами, владычествовавшими в моей юности». В 1993 году у «Благих намерений» появляется своеобразное продолжение. В романе «Воскресный ребенок» (на русском языке — «Иностранная литература», 1995, № 9; все указанные переводы выполнены А. Афиногеновой; фильм снят сыном Бергмана Даниэлем Бергманом) Бергман вновь возвращается к мучительной для него теме своего детства и своих сложных взаимоотношений с родителями, особенно с отцом. Тепло задушевных бесед и жестокие, изощренные наказания; нежность, забота — и неотвязный страх... «Я не помню, какие слова были сказаны, я помню картину целиком и холод с пола, я помню интонации и аромат материнских цветов и ее мыла. А слов не помню. Они выдуманы, построены на догадках, реконструированы шестьдесят четыре года спустя». «Воскресный ребенок», по собственным

словам Бергмана, — книга предельно откровенная. Но ни здесь, ни в прежних автобиографических произведениях Бергман не упоминает эпизод из жизни родителей, очевидно и предопределивший драматическую, напряженную атмосферу в семье. Об этом — его новый роман «Исповедальные беседы».

Термин «бергмановское письмо» имеет достаточные основания занять свое место в литературоведении. «Кинороманы» Бергмана, безусловно, не сценарии, однако автор стремится, чтобы в них заключались возможно более полные указания постановщику. Отсюда ориентация бергмановской прозы не столь на «чисто литературную», словесную выразительность, сколько на особое внимание к детали, тщательность в описании внешности, одежды и движения персонажей, пейзажа и мизансцены, света и цвета. «Я писал так, как пишу уже пятьдесят лет, — объяснял Бергман в «Благих намерениях». — Не стану утверждать, будто я в своем повествовании так уж скрупулезно придерживался истины. Я надставлял, добавлял, выбрасывал и переставлял местами, но, как это часто бывает с подобного рода играми, игра, похоже, стала достовернее действительности. Сознывая без всякой горечи, что не мне предстоит ставить мою сказку, я старался быть особенно точным в описаниях, вплоть до самых незначительных деталей, даже таких, каких камера все равно не зарегистрировала бы. Они могли бы лишь, возможно, помочь актерам проникнуться нужным настроением».

Публикация «Исповедальных бесед» осуществляется во многих странах мира, в том числе и в самой Швеции, почти одновременно и параллельно с выходом телефильма, поставленного знаменитой бергмановской актрисой Лив Ульман.

БЕСЕДА ПЕРВАЯ (ИЮЛЬ 1925 ГОДА)

Последнее воскресенье июля 1925 года, послеобеденная жара. Башенные часы над куполом церкви отбивают половину четвертого. Улицы пустынные. Трамвай, пыхтя от усилия, преодолевает пригорок возле западной продольной стороны кладбища, которое граничит с обширной площадью, где расположены торговые ряды и театр. На остановке из трамвая выходит женщина и останавливается.

Анна.

На ней бежевый уличный костюм с длинной, до щиколоток, юбкой более темного цвета, ботинки на высоких каблуках и незамысловатая, дающая тень шляпка. Жакет расстегнут, под ним виднеется белая кружевная блузка с высоким стоячим воротником. Из украшений — лишь обручальные кольца и маленькие бриллиантовые сережки. Сумочка из светлой кожи прижата к груди. Тонкие перчатки небрежно засунуты в карман жакета.

Вот она снимает шляпку и зажимает ее в левой руке. Темные густые волосы расчесаны на прямой пробор и собраны в низкий пучок, который вот-вот распадется. Под четко обозначенными бровями на низком широком лбу — темно-карие глаза. Большой рот, добродушно-пухлые губы.

Анна.

Уже двенадцать лет она замужем за Хенриком, который служит викарием в церкви с величественным куполом и башенными часами, только что пробившими половину четвертого. Ей тридцать шесть лет, и у нее трое детей — два мальчика и девочка.

Осмотревшись, она решает пойти через кладбище, может, посидеть там недолго на зеленой скамейке в душистой, прохладной тени лип, передохнуть.

Она идет своим обычным энергичным и целеустремленным шагом, чуть выдвинув вперед голову, на ходу бросает быстрый, проверяющий взгляд по сторонам. Пустынно и тихо, ни души.

Поэтому она вздрагивает от страха и, покраснев, оглядывается, когда кто-то окликает ее.

Дядя Якоб.

Он сидит на скамейке рядом с церковной стеной, спрятавшись в тень деревьев. Приглашающе машет своей большой рукой: «Добрый день, добрый день, малышка Анна, иди сюда, присядь, какая у тебя может быть спешка. Иди же сюда».

Дядя Якоб — рослый человек с седой, цвета стали, несколько непослушной шевелюрой, ухоженной бородкой и усами — тоже седыми. Высокий лоб, тяжелое, крупное лицо, серые глаза, внушительный нос и большой рот с мягко опушенными уголками. Кисти, как мы уже сказали, большие, красивой формы, с выступающими жилами и беспорядочно разбросанными печеночными пятнами. Голос низкий, в произношении заметны следы диалекта — если я правильно помню, смоландского. Он в пасторском облачении. Тонкое серое летнее пальто и широкополая шляпа лежат на скамейке. Якобу шестьдесят четыре, вот уже двадцать лет он служит настоятелем приходской церкви, стало быть, он начальник Хенрика. Большая ладонь треплет Анну по щеке, Анна слегка приседает и неуверенно улыбается, пытаясь совладать с невольным чувством, что ее застигли на месте преступления.

Но ведь ее и впрямь застигли на месте преступления.

Якоб приглашает ее сесть рядом. Они быстро обмениваются сведениями, интересуясь здоровьем членов обеих семей. Якоб приехал из загорода на похороны. Кроме того, в шесть часов у него вечерняя служба, обещал помочь при причащении. В понедельник поедет к Марии, она чувствует себя превосходно, избавилась наконец от длительной простуды, отправится в домик на острове, у него осталось еще несколько дней от отпуска. Кстати, какое лето, а? Правда, слишком мало дождей, особенно там, у моря.

А Анна?

Ну, дети у бабушки в Даларна. Врач же прописал им лесной воздух после всех инфекций в весеннем семестре. Но во вторую неделю августа они приедут на дачу в шхерах. Все трое здоровы и бодры. Хенрик уехал на семинар.

Да, об этом Якобу известно — экуменический семинар в Сигтуне. Хенрик чувствует себя хорошо, весна для нас была тяжелой со всеми этими болезнями. Бессонница у него прошла, он наслаждается жизнью у моря. Что касается самой Анны, то она страшно скучает по детям, но ей не хочется оставлять Хенрика одного, ему необходимо ее присутствие. «А что ты делаешь в Стокгольме?» — внезапно спрашивает Якоб, и она краснеет, в то же время улыбаясь. «Была у парикмахерши. Понимаете, эдакие тайные похождения. А вчера вечером обедала у Хассельрутов, очень милые люди, мои друзья. Хенрик никогда со мной к ним не ходит, даже не знаю почему. Наверное, потому, что это исключительно мои друзья. А завтра я на несколько дней еду в Даларна, побуду с детьми и мамой. Хенрик ненадолго останется один, но там будет старая Альма, она о нем позаботится, так что, думаю, все будет в порядке. Вы ведь понимаете, дядя Якоб, что мне хочется немножко побыть с Ма, она так одинока после смерти Эрнста, — и я...»

Анна, отвернувшись, проводит рукой по глазам словно бы в нетерпении: не могу примириться с тем, что мой брат умер так вот внезапно и ужасно. А мама любила его. По-моему, она никого другого вообще не любила.

Она прячет лицо в ладонях. Якоб молчит, внимательно слушает и наблюдает за ней. Она быстро опускает руки: «Столько всего навалилось, просто клубок какой-то. Извините, дядя Якоб, я не плакса. Но столько всего навалилось».

Взяв себя в руки, Анна сморкается в большой носовой платок. «Мне надо домой. Хенрик, возможно, будет звонить в четыре. Он сразу же начинает нервничать, если я не отвечаю. А вы не хотите проводить меня, дядя Якоб? Я бы угостила вас чашечкой кофе с бутербродом». Якоб кивает и хлопывает Анну по руке. «Прекрасно. Намного лучше, чем ранний обед перед вечерним богослужением. Пошли».

Анна и Хенрик живут на втором этаже пасторского дома, в угловой квартире, выходящей окнами на пышную зелень кладбища и маленький переулок. Все укрыто, свернуто, обернуто. Сквозь приоткрытые окна проникает прохлада. Хрустальная люстра укутана в тарлатан, с паркетного пола убраны ковры, мебель и другие предметы спрятаны под белыми и пожелтевшими покрывалами. Но напольные часы в углу идут, они показывают без чего-то четыре.

Анна сдергивает покрывало с синего бархатного дивана и усаживает дядю Якоба. У его ног стоит маленький резной столик, на нем поднос с чаем, бутербродами, сыром, колбасой и солониной. Сама Анна садится в кресло возле круглого стола с мраморной столешницей. На стене за ее спиной висит картина в золоченой раме, изображающая Деву Марию с Младенцем. На лице по-

старевшего Иосифа сдержанное удивление. На заднем плане видны пастухи и ангелы. Картина тоже закрыта тарлатаном.

Мирно текущий разговор обрывается. Анна отвернулась к окну, рука ее поглаживает мрамор. Якоб ест бутерброд, не делая попыток нарушить молчание. «Ты не против, если я закурю?» — спрашивает он как бы походя и вынимает трубку и табак. Она мимолетно улыбается, но тут же делается серьезной.

Жест рукой.

— Вы не спешите, дядя Якоб?

— В полшестого у меня служба. А так...

— А потом?

— Весь вечер. Сколько захочешь.

Молчание.

— Может, не надо... не знаю.

— Я тебя готовил к конфирмации, и я твой духовник. Говори все, что хочешь. Или что должна.

— Пусть будет так.

Якоб, подавшись вперед, долго и тщательно разжигает трубку. Анна поворачивается к нему лицом. Такое впечатление, что у нее вот-вот лопнет роговица. Глубокий вздох. Она разглядывает свои кисти, покоящиеся на подлокотниках.

— Я — неверная жена.

Я живу с другим мужчиной.

Я обманываю Хенрика.

Мне страшно.

Нет, это не муки совести или что-то в этом духе.

Это было бы смешно.

Страх.

Больше не знаю, что мне делать.

Другой мужчина.

Он на десять или на одиннадцать лет моложе меня.

Изучает теологию. Будет священником.

Мне следовало бы порвать с ним. Хотя бы ради него самого.

Но я не могу.

Я люблю его.

Больше года.

Уже больше года.

Вы его знаете, дядя Якоб.

Это Тумас.

А тут дети.

И Хенрик.

Я скоро задохнусь.

Якоб кивает. И у нее хватает духа продолжать:

— Мама враждебно относилась к моему браку с Хенриком. Когда мы наконец поженились, она изменила свое мнение и решила всячески нам помогать. На это ушло два года. Два года.

Анна замолкает, грустно улыбаясь. Настоятель молчит.

— Да, два года. Потом я, конечно, поняла, что мама была права. Мы не подходили друг другу. Хенрик обложил меня со всех сторон своими страхами. Я должна была быть ему матерью, а он — ребенком. Моим ребенком. Моим *единственным* ребенком. Ему надо было непременно знать, где я, знать мои мысли. Это было похоже на тюрьму, эмоциональную тюрьму. Не могу описать это по-другому.

Анна встает и идет по скрипучему паркету, твердо, на высоких каблуках. Руки сцеплены за спиной. Сейчас важно не разреветься. Сейчас она расскажет все, как есть. Нет, не как есть, об этом ей ничего не известно. Она расскажет, что она думает, расскажет, как, возможно, есть на самом деле. Это — загадочное стихотворение, которое взорвало ее упорядоченную действительность и теперь угрожает ее жизни. (Настолько? Пожалуй, преувеличение? Вероятно, нет. Однажды боль, точно ядовитая запруженная вода, прорвет плотину и захлестнет внутренности. Поразит ее нервы, мозг, сердце и чрево. Ввергнет ее в долгие мучения, нанесет телу неизлечимые раны.)

— Все началось невинно и коварно. Я пригласила Тумаса летом к нам на дачу. Вы ведь знаете, что Воромс — дача моих родителей, она расположена в одном из красивейших мест Даларна. Мы с Хенриком и детьми собирались провести там лето. Мама намеревалась пожить в шхерах у своих пасынков. Я пригласила Тумаса приехать на Иванов день. Там должны были быть и Хенрик, и Ертруд. Потом оказалось, что Хенрик не может, ему пришлось поехать на конференцию. Я хотела написать письмо с извинением и отказом. Но Хенрик считал, что Тумас все равно должен приехать. Мы еще шутили: а вдруг из Тумаса и Ертруд получится пара. Эта девушка стала бы хорошей пасторской женой. Ну вот, Тумас прибыл накануне Иванова дня. Ертруд уже была там. Служанки были в отпуске, а мне помогала по хозяйству ловкая девчушка из деревни. Я чувствовала себя свободной и счастливой. Вокруг все сияло и цело. После затяжных дождей погода переменилась, каждый день светило солнце. Что-то я разболталась. Сама слышу, что говорю о всевозможных пустяках, которые вам, дядя, наверное, кажутся вовсе не важными.

Она стоит напротив Якоба, руки по-прежнему за спиной, глаза устремлены на настоятеля. Вдруг хлынули слезы, совсем неожиданно, но она настороже, подавляет плач.

— Да, все началось невинно и коварно. Мы играли с детьми, собирали землянику, ели вареную ветчину с молодой картошкой и простоквашу с пряниками. Вечерами играли на рояле и пели. Он знает множество вещей. Иногда мы отправлялись на долгие прогулки на другой берег реки, к пастбищенским постройкам в Бэсне и Гронэсе. Всегда втроем — Ертруд, Тумас и я. Я была так счастлива... я была так счастлива, что могла бы... я была счастлива, понимаете, дядя Якоб. Наверное, я переоценила свои силы, потому что думала — это я помню: я влюблена в этого мальчика, влюблена так, что, по-моему, это почти смешно. Я не собираюсь стыдиться своей влюбленности. Но не открою ее. Сохраню в себе. Иногда я оставляла Тумаса наедине с Ертруд, хотела, чтобы они побыли вместе. Я правда *хотела*, чтобы они обрели друг друга. Мне, ощущавшей себя страшно тяжелой, казалось, что я могу летать.

Анна быстро проводит ладонью по волосам, потом садится на диван рядом с настоятелем, на секунду задерживает его старческую, в коричневых пятнах, руку в своих и отпускает ее.

— В один из последних дней пребывания Тумаса в Воромсе я спустилась вниз накрыть стол к ужину. Дети резвились на площадке под верандой, Ертруд, сидя в гамаке, писала письма. Тумас помогал мне расставлять тарелки и бокалы. И вдруг он останавливается у торца стола — я стояла у зеленого буфета, доставала десертные тарелки, — и говорит, Тумас внезапно говорит, что любит меня. Что он меня любит — он так и сказал: любит — уже два года. Что он не понимает, как ему теперь, когда он должен со мной расстаться, жить. Он попросил меня не сердиться на него за то, что он сказал. В общем, я не знаю, что он сказал. Я как бы перестала слушать. Все было так ужасно и нереально, и у меня мелькнула отчетливая мысль: теперь все пойдет к черту, он все испортил, ну почему он такой идиот.

Якоб, бросив взгляд на часы, с некоторым усилием поднимается с низкого дивана.

— Мне надо идти, малышка Анна. Прости меня, но я хочу попасть в церковь загодя. Если хочешь, мы можем продолжить после службы. Я только загляну домой, сниму пасторское платье и надену что-нибудь поудобнее. Скажем, в восемь? Подходит?

Анна тихо благодарит, и он похлопывает ее по плечу. «Почему бы тебе тоже не пойти в церковь? — внезапно спрашивает он, уже выходя в холл. — В такой воскресный вечер, как этот, нас соберется не так уж много душ. Правда, о чем будет проповедь Арборелиуса, ты вряд ли услышишь, ну да это, может, и к лучшему. Зато Эрлинг прекрасно играет на органе, а хор споет две многоголосые песни Мурена. Так что кое-что для души все-таки будет».

Он задумывается ненадолго, потом устремляет на нее чуть ли не строгий взгляд.

— Если ты хочешь причаститься, то должна это сделать, Анна. Когда человек страдает, когда человека приперло, если он не знает, что ему с собой делать, то полезно причаститься и получить дозволение доверить свою беду сердцу Господа.

— Я ничего не знаю про сердце Господа, дядя Якоб.

— А тебе и не надо знать. Но в самом действии кроется милость. И, возможно, она утишит твои муки.

— Думаю, не смогу.

— Поступай как знаешь. В любом случае, увидимся в восемь.

Чем же она занимается, оставшись одна? Время — половина шестого воскресного дня. На улице по-прежнему жарко. Солнце пылает над церковным куполом. Раскаяние? Облегчение? Печаль? Возможно, головокружение, молчаливое, не дающее ответа. Лихорадочное, свербящее беспокойство: остановись. Что я делаю? Привычное ускользает, растворяясь в мерцающих красках, а те испаряются и растворяются в убегающих тенях. Она не может различить лица Тумаса, но свою мать видит отчетливо. Может, позвонить Ма, которая в этот час сидит на неудобном стуле у окна, заставленном роскошными пеларгониями и выходящем на реку, вересковые пустоши и четко вырисовывающиеся в послеполуденной дымке горные хребты. Она читает «Упсала Нью Тиднинг» наверняка. Сидит, маленькая, с прямой спиной, в очках, съехавших на кончик носа. Солнечный свет падает искоса, справа, и, пробиваясь сквозь зелень цветов на подоконнике, освещает ее бледное лицо, изрезанное морщинками смеха вокруг глаз и глубокой морщиной мудрости над мощным основанием носа. Передник снят, ибо сегодня воскресенье, на ней летнее платье из серой чесучи, с широкими манжетами и воротничком, отделанным ажурной строчкой. На полу сидит внук, пятилетний Нильс, он мирно играет в кубики и крошечные, с мизинец, куколки.

А может, вместо этого попытаться разыскать Тумаса? Просто узнать, в каком он настроении, не рассказывать про исповедь и признание, не требовать от него слов утешения или каких-то важных сообщений. Но, пожалуй, его не найти. Во-первых, он снимает комнату у старика родственника и телефон висит на стене в прихожей, во-вторых, он только что закончил обед в своей дрянной столовке, с двумя приятелями, оставшимися на лето в Упсале. И сейчас наверняка отправился в Ботанический сад и гуляет там возле прудов с кувшинками, где висит тяжелый аромат китайских роз и стоячей воды. Или же сидит в тени вязов и читает какой-нибудь учебник к экзаменам. Она быстро сосредоточивается на мысли о его руке, лежащей на страницах книги, она думает, напряженно думает, так что почти оказывается рядом с ним. Она стоит склонив голову и приложив палец к губам, словно просит его помолчать. Нет, нет, Тумас, не сейчас. И не потом, — быть может, никогда. Признание означает, наверное, что-то взрывное и окончательное. Во всяком случае, что-то загадочное, что она не осмеливается себе представить. В какое-то мгновение, которое взламывает ее существование, она вдруг осознает смысл, точный смысл своего положения. И тогда хватается рукой за спинку стула и на секунду ясно ощущает холод, идущий от этого белого резного дерева.

В ту же длинную секунду она видит себя как на картине: Анна и Тумас. Оба голые и потные. Она лежит на спине в его объятиях и, обхватив обеими руками его голову, прижимает ее к своей груди. Она раздвигает ноги, раскрывается, спина ее вдавливается в грубое кроватное покрывало. В холодной комнате царит сумрак. В кафельной печи мерцают догорающие угли, и ленивые снежинки четко выделяются на фоне черных крон парка. Мгновенье за пределами страха. Мгновенье, непостижимое, как смерть. Сейчас, в эту минуту, прикасаясь к резной спинке стула, она всем своим существом ощущает остроту чувств, сумерки, растерянность потных тел, запах табачного дыма, грубую поверхность покрывала, бурный конец, от которого до сих пор дрожат ее нервы. Испуганное, замкнутое лицо юноши, он закрыл глаза, сжал губы и тихонько постанывает. Он отвернулся, его рука покоится на ее длинных волосах, струящихся по жесткой, грязной подушке с колючей ажурной строчкой. В этом кратком «сейчас» ее чувства и разум осознают бесповоротную жестокость любовного свидания. И сейчас, именно сейчас, она ясно понимает, что ни о чем не жалеет. Она не взваливает вину ни на себя, ни на кого другого, она не станет вмешивать Бога или верность во мрак своего смятения. Она знает, что никогда не проникнет глубже в себя, чем в это мгновенье. И она летит вниз, в свои самые сокровенные тайники. Бешеный свет ослепляет, прогоняя мягкий сумрак. Анна любила говорить, что хочет узреть правду. Ей казалось, что

она тоскует по правде, желает ее, это стало чем-то вроде страсти. Быть может, это — как узреть Божий лик. Она охотно называла себя апостолом правды. И дошла даже до того, что просвещала других. Подобными словами она вызывала к себе особое уважение. В эти краткие мгновенья она раскалялась в своих умных наставлениях. И прошептала про себя: о какой правде я говорю? И ей стало чуточку стыдно (не слишком) за свои случайные мысли.

Бьет шесть, над залитыми солнцем пустынными улицами гремит колокольный звон. Анна берет себя в руки, убийственное мгновенье позади. Она отпускает спинку стула и идет в комнату. «Ну вот что, Анна! — громко говорит она самой себе. — Ты не будешь звонить ни Ма, ни Тумасу. Зато вполне можешь сходить в церковь и послушать музыку. Тебе это пойдет на пользу».

Она берет с полки свою престельную летнюю шляпку и смотрится в мутное зеркало холла. Она разглядывает себя с холодной объективностью актрисы. В ее несомненно отчаянном положении это приносит ей короткую, но явную радость. Она всовывает руки в рукава жакета и надевает его на кружево блузки. Перчатки, сумочка, сборник псалмов. И в путь. Вниз по лестнице, на другую сторону улицы, по булыжной дорожке кладбища, быстрым шагом к высоким темным воротам. Начинается прелюдия к первому псалму, душ на зеленых скамейках и впрямь не густо. Солнце мечет горизонтальные копы в звездное небо громадного синего свода. В отличие от душевного тепла кладбища, в церкви холодно. Пахнет заплесневелым погребом, увядшими цветами и старым деревом. Неуверенно мигают свечи на алтаре под высоким алтарным изображением: красное платье Богоматери тускло светится на фоне жуткой мизансцены. Грешница, рыдая, цепляется за подножье креста. За все еще освещенным солнцем Иерусалимом чернеют тучи.

Анна опускается на скамью и сдержанно здоровается с фру Арделиус, которая сидит у прохода вместе со своей взрослой рыжеволосой дочерью в платье-матроске и матроской шапочке на непослушных кудрях.

Служба идет как положено. Говорит второй священник, Арборелиус, его низкий голос гремит под сводами храма, отскакивая от надгробий на каменном полу.

Хор поет довольно суровые псалмы, оба из Псалтири: «Направь меня на путь вечный» и «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня».

Окна просторной, хорошо оборудованной кухни выходят в огороженный кирпичными стенами двор с вязами и складскими постройками. На открытом окне пузырится светло-красная летняя занавеска. Кладовая настолько вместительна, что в ней умещается старомодный, но все еще пригодный к употреблению ледник. У стены стоит частично раскладывающийся кухонный стол, вокруг него — выкрашенные в синий цвет деревянные стулья. По стенам развешаны полки, уставленные медной посудой и разнообразной утварью. Под длинными и низкими мраморными мойками располагаются вместительные шкафчики. В углу, рядом с выпирающим дымоходом, — мощная, хитроумно сработанная дровяная плита образца 1909 года. В ней есть две духовки и блестящий медный котел-нагреватель. Многочисленные конфорки и четыре дыры над огнем. Возле дровяной плиты поперек стоит двухконфорочная газовая плита. Пол устлан проолифленным к лету линолеумом, лишь кое-где покрытым лоскутными ковриками. С высоченного потолка свисают две лампы, из тех, что встречаются в сапожных мастерских, дающие, когда их зажигают, неприятельный желтый свет. В торцовой стене, противоположной окнам, несколько ступенек ведут вниз, в комнату для прислуги.

Пахнет летом из двора и олифой от линолеума.

Настоятель сидит на деревянном стуле у стола и набивает трубку. Восемь часов, все еще светло. Солнце только что спустилось до крыш и дымовых труб соседнего дома. Где-то перед распахнутым окном играет патефон.

Якоб набивает трубку из кисета. Кончик указательного пальца, пожелтевший от никотина, покрыт следами небольших ожогов. Настоятель, освободившись от пасторского облачения, переоделся в мятые серые фланелевые брюки и длинный, домашней вязки, жакет. Брыжи заменены более удобной удавкой.

Темно-синий галстук завязан аккуратным узлом. Жилет несколько пообтрепался, на нем не хватает одной пуговицы, из рукавов жакета выглядывают манжеты, облегающие сильные волосатые кисти.

Причина, по которой настоятель пребывает в кухне, — незатейливый ужин, сымпровизированный Анной: омлет с луком и кружочками помидора, маленькие сосиски и молодая картошка. Она наливает водки себе и дяде Якобу. Кроме того, у них на двоих есть бутылка ледяного пива. Настоятель поднимает рюмку за похвальную проворность и чокается с Анной, стоящей у стола.

Именно таким образом трагедия делает паузу. Якоб и Анна отдаются еде, вежливо болтая о том о сем.

Анна сняла передник. Подав кофе, она садится на табуретку возле мойки, обращенной к окну. Настоятель помешивает кофе, берет три кусочка сахара, потом, чуть помедлив, добавляет четвертый.

— Большинство считает, что Лютер упразднил исповедь. Ничего подобного. Он предписал то, что назвал «исповедальной беседой». Но он был важным знатоком людей, этот замечательный реформатор. При свете дня, лицом к лицу получается не так-то легко. В этом случае, безусловно, волшебный полумрак исповедальни, бормочущие голоса, запах ладана намного лучше.

Настоятель глядит на свою мирно попыхивающую трубку и задумчиво улыбается. «Я тебя не вижу, — говорит он. — Твое лицо исчезло в вечернем свете из окна. Если хочешь, милая Анна, продолжим нашу беседу. Если нет, просто посидим, ощутим доверительность. Это тоже весьма целесообразно».

Но Анне не терпится поговорить.

— У меня было невероятно гармоничное — и веселое — детство. Иногда я себя спрашиваю, а было ли это так уж полезно. Может, это приводит к появлению ошибочных представлений о жизни. И конечно, я была наивной. Одно то, что я вышла замуж за Хенрика. Я ведь понимала, как он исковеркан, но настолько переоценивала свои возможности, что поверила, будто я избрана его спасти. Можете ли вы представить себе девочку глупее? Мама предостерегала меня. Предостерегала и пыталась мне помешать, но я была упряма. Ясно, я его любила — по-детски, шально. А ведь я ничего не знала. Ни о нем, ни о себе. За два года, за два года, дядя Якоб, мы растранижирили наш любовный капитал. Однажды ночью я сбежала из Форсбуды в Упсалу. Приехала рано утром, ревела, просила маму помочь мне. Она была внимательна, нежна, но непоколебима. На следующее утро меня заставили сесть на поезд и вернуться к супружеским обязанностям. Идиотизм, да и только!

Анна безрадостно смеется и отворачивается к окну. Солнечный свет уже погас. Грязно-желтые фасады дворовых построек окрашиваются в красноватый цвет. Под громадными деревьями двое мальчишек усердно возятся с громыхающим велосипедом. Крупнотелая женщина в серо-голубом плиссированном платье открывает окно и высовывается наружу. В глубине квартиры мелькают еще какие-то женские фигуры, разговоры, смех и небрежные звуки пианино выплескиваются во двор.

— Нет, — внезапно и решительно говорит Анна. — Я не смогла последовать вашему совету, дядя Якоб. Мне, пожалуй, хотелось причаститься, но я сдержалась.

Они покидают кухню: «Нет-нет, я уберу потом. Пойдемте в библиотеку, там я усажу вас в удобное кресло и угощу сигарой. Хенрик получил целый ящик от оптовика Густавссона — в благодарность не знаю за что, по-моему, за то, что навестил его старуху мать в благотворительном заведении Эрики».

Она берет дядю Якоба под руку, и они идут по сумеречным комнатам, где накрытая простынями мебель светится словно арктические глыбы льда. Библиотека представляет из себя прямоугольную комнату с двумя окнами, выходящими на кладбище и Стургатан. Стены заставлены книжными шкапами. Между ними втиснут маленький домашний алтарь, на котором лежит раскрытая семейная Библия. Над ней висит полуметровой величины деревянное распятие, изображающее торжествующего Спасителя. Над широким кожаным диваном — написанная маслом картина кисти какого-то мрачного голландца. Под прямым углом к дивану вздымается искусно сделанный комнатный орган. Под окнами стоят низкие, удобные кожаные кресла. Центр комнаты занимает массивный библиотечный стол.

— Хенрик почти никогда не курит сигары, но он говорит, что сигары оптовика изысканны.

Анна открывает серебряный ларец, вынимает одну сигару, подносит ее к уху и, покатав взад-вперед, удовлетворенно кивает.

— Папа был большим поклонником сигар. Хорошие сигары и хорошие паровозы были его страстью (возможно, еще и мама, но это не так точно). Я обожала сидеть у него на коленях, когда он курил. Так что он с детства научил меня относиться к сигарам бережно и уважительно.

Она раскрывает позолоченный нож с ручкой из слоновой кости и обрезает выбранную сигару, потом протягивает ее Якобу, зажигает длинную спичку и дает ему прикурить. На минуту слышно лишь энергичное похихивание. После чего настоящий с довольным видом смотрит на свою сигару.

— Дело было так, если вам, дядя Якоб, интересно послушать. Мы с Тумасом были одни в его скверной комнатушке. На дворе — январская стужа. Начало смеркаться. Я сказала ему, что вынуждена вернуться в Стокгольм и теперь мы встретимся не скоро. Он стоял не шевелясь, положив руки мне на плечи. Я уже надела пальто. Собиралась уходить. В эту минуту я и сделала выбор.

— Ты сделала выбор? — (С ударением на всех трех словах.)

— Я сбросила пальто, стащила платье. Села на стул, сняла зимние ботинки, нижнюю юбку, лифчик и чулки, вытащила шпильки из волос. И наконец осталась в одной рубашке. Раздеваясь, я не смотрела на Тумаса. Теперь взглянула на него. Он стоял у письменного стола. Потом потряс головой и сказал: «Нет-нет, только не это». Так точно и сказал, дядя Якоб. Но у меня уже выбора не было. У меня уже не было возможности пойти на попятную, я знаю, это звучит мелодраматически, но я не нахожу других слов. И я взяла его за руку и притянула к себе, он упал на колени, я сжимала его голову руками, а его лицо покоилось у меня на груди. Так вот было дело. Вам не противно, что я так подробно рассказываю, дядя Якоб?

— Тебе решать.

— Я приняла его в себя, вы понимаете. А потом мне пришлось его утешать.

Неожиданно рассмеявшись, она стукнула кулаком по спинке кресла.

— Он был безутешен. Говорил, что изменил мне и Хенрику, своему другу. Считал, что проявил слабость и поступил подло. Сказал, что Бог ему этого не простит. Он был похож на перепуганного до смерти ребенка. Потом мы снова принялись целоваться. И его рвение уже не уступало моему. Ничего... ничего. Нет. Ничего.

Она проводит ладонью по лбу и волосам, словно желая освободиться от паутины.

— Я, пожалуй, размышляла о раскаянии. Но я не раскаиваюсь. Размышляла о грехе, но это всего лишь слово. Я выстроила высоченную стену запретов между нами. Но как только у меня появляется малейшая возможность встретиться с ним, я рушу эту стену. Я думаю о Хенрике, но его лицо расплывается, я слышу, что он говорит, — я имею в виду, слышу его голос. Но Хенрик не совсем реален. Думаю, мне бы надо было... я знаю, что я бы... нет, это все-таки неправда. И дети. Я стала добрее к детям, у меня появилось больше терпения. И к Хенрику тоже подобрела. Наши отношения стали лучше — лучше во всех смыслах. Я бываю нежной и ласковой с ним, и он радуется, меньше раздражается и боится. Все стало лучше с тех пор, как я дала себе обещание любить Тумаса. И он тоже успокоился, у него больше не бывает припадков «осознания греховности», как он это называет. Мы не можем часто видеться, но когда я навещаю мать в Упсале, мы встречаемся.

Она произнесла многословную, длинную речь. Ни тени страха. Ни тени раскаяния или смущения. Она стоит рядом с креслом, облокотившись на спинку, и смотрит на сумерки, спустившиеся над темными кронами кладбищенских деревьев.

— Если все так великолепно, как ты утверждаешь... Почему ты заплакала?

— Вы застали меня врасплох. Я почти весь день провела с Тумасом в одном пансионате. Проводила Хенрика на вокзал и сразу пошла к Тумасу. Мы

не виделись больше месяца, шесть недель, кажется. Я так разволновалась — нет, не огорчилась, а разволновалась. Я не видела, что вы сидите там, в тени деревьев. А потом вы окликнули меня, и я жутко, до смешного испугалась, как будто меня застигли на месте преступления — вот именно, застигли! И когда мы сидели и вели незатейливый разговор, у меня возникло чувство...

Молчание. Молчание длится. Анна подбирает слова, которые не будут высказаны.

— По-моему, я догадываюсь, какое чувство.

— Вовсе нет! — сердито восклицает Анна. — Если откровенно, так я испугалась.

— Испугалась меня?

— Это было похоже на столб, черный блестящий столб, высотой до неба. Мгновенное ощущение, которое через секунду пропало. Потом мы сидели и разговаривали. И мне было только приятно, ничего странного я не видела.

— А затем ты расплакалась.

— Да. Я же поняла, что меня лишат всякой радости, оставив взамен столько страданий и — горя, что это не поддается разуму... Это был краткий миг озарения — точно как этот столб, — через несколько секунд он испарился, и я услышала собственный голос, рассказывавший о... А потом подступили слезы. И я не сумела...

— Ты ведь могла сослаться на что угодно.

— Я смотрела на вашу большую ладонь, дядя Якоб. И подумала, что если у Бога есть рука, во что я не верю, но если у Него есть рука, то она похожа на вашу. И мне вспомнился псалом: «И молю я напоследок, Боже милый мой, в Свою руку Ты мою возьми...» — На какое-то мгновение ее переполняет боль, она обходит стол и садится на неудобный монашеский стул у органа. Теперь наступает довольно долгое молчание, о чем мы упоминаем для тех, кому интересно, как такого рода беседа течет и дышит.

— Из сказанного тобой я понимаю, что *вообще-то* тебе хотелось поделиться со мной, хотя ты думала, что не сможешь.

— Так оно, верно, и есть, — говорит Анна звонким, как у маленькой девочки, голосом. — А разве не всегда так бывает? Большая радость, радость настолько огромная, что она непостижима, влечет за собой великий мрак, всевозможные страдания и страхи. Похоже, я попробовала вкус боли, ожидающей меня за пределами радости. Если это *не* Бог дал мне Тумаса, то я далеко от Бога, и это хорошо. Я знаю, вы, дядя Якоб, сейчас думаете, что я непозволительно кощунствую.

— Не тебе решать, о чем я думаю! Помню, как ты готовилась у меня к конфирмации. Ты была начитанна, а во время наших бесед всегда задавала любознательные вопросы. И еще я заметил, что ты была хорошим другом. Я знал, что ты выросла в доме, где царила любовь. Я был знаком и с твоей матерью, и с твоим отцом, с матерью в первую очередь. И, пожалуй, спрашивал себя, что за жизнь тебе предстоит.

Якоб подается вперед, зажав гаснущую сигару между большим и указательным пальцами. Он раскуривает ее, выпуская кольца дыма, в сумерках разливаются ароматный запах. Анна, склонив голову, разглядывает свою раскрытую ладонь — потом делает едва заметный жест сдерживаемого нетерпения.

— Вся эта уютная надежность. Даже в училище — я имею в виду медицинское училище. Я ведь видела нищету — особенно детей. Но это не затрагивало моего чувства надежности. И долгие годы с Хенриком — двенадцать лет, — сложные, трудные годы, совсем не такие, как я себе представляла. Но надежность существовала все равно. Мама и папа. Мой брат. Наша улица, Трэдгордсгатан. Все это было всегда. Я жила в глубине надежности.

Молчание. Молчание длится.

— Мне уйти, Анна?

— Нет, посидите еще, дядя Якоб. Но я не думаю, что у меня есть что добавить.

— А почему, *собственно*, ты мне все это рассказала?

— Если у меня хватит смелости подумать...

Если немножко подумать.

То я вижу, что над нами нависла опасность.

Что меня все больше загоняют в угол.

Дети, Хенрик, Тумас и я...

Мы ходим на грани катастрофы.

Жизненной катастрофы.

Разве это не так называется?

Жизненная катастрофа.

Или же я ничего не предпринимаю, но тогда я могу... нет, это невозможно. Есть ли вообще избавление? И второй вопрос — который пугает меня больше всего, — *хочу* ли я избавления? И сразу же возникает мысль о детях. И это так тяжело, что я отталкиваю от себя эти мысли, они почти непереносимы. Ну вот, я плачу, но это не только эгоизм, просто мне чертовски больно. Потому как можно что угодно говорить о Хенрике, но он добр к детям. Возможно, чересчур строг к мальчикам, но вообще к детям относится с любовью и лаской — и мне отнять у него детей... Это было бы несправедливо. Да, это адская машина с часовым механизмом, она все тикает и тикает, и иногда я совершенно отчетливо ее слышу. И мне становится страшно... И в то же время я тоскую.

Внезапно она, глядя прямо в глаза настоятелю, улыбается — чуть ли не весело:

— Вот *так*, стало быть, обстоит дело, дядя Якоб. Я не говорила ни с кем об этом. Кое-кто, по-моему, догадывается, возможно, Ертруд. Она видела нас с Тумасом вместе. А еще Мэрта. Однажды она отвела меня в сторону и предостерегла от разных вещей. А сейчас она — миссионер и врач по другую сторону экватора. Ертруд, как я думаю, была немножко влюблена в Тумаса, но она ни разу ничего не сказала. Теперь вам все известно, дядя Якоб! Не знаю, на что я, собственно, надеялась. Может, на то, что дядя Якоб даст мне хороший совет, какое-то решение. Или отпущение грехов.

Якоб курит сигару, она почти догорела, он разглядывает огонек, мерцающий в тонких табачных листьях.

— Если тебе хочется сочувствия, могу сказать, что в глубине моей души оно есть. Если ты хочешь отпущения грехов, то его ты не получишь, поскольку в тебе, как мне кажется, нет ни грана раскаяния. Если же хочешь моего совета, то тут я бы тебе кое-что сказал при условии, что ты воспримешь мои слова серьезно. При этом я вовсе не имею в виду, что ты обязана следовать этим советам. Но ты должна поверить, что я говорю в силу своего разума.

— Понимаю.

— Все, что я намерен тебе сказать, вызовет у тебя протест. Ты огорчишься, разозлишься и взбунтуешься.

— Может, я буду благодарна.

— Сомневаюсь. Прежде всего: ты должна безусловно порвать со своим другом. Даже если ты сама ощущаешь глубокое и сильное удовлетворение от этого чувства, ты обязана прекратить связь. Тумас совершает тяжкое преступление. Возможно, оно нанесет ему непоправимый вред. Кроме того, если об этом его ложном шаге станет известно, его будущая карьера представляется весьма проблематичной, чтобы не сказать, что на ней можно поставить крест. Ты утверждаешь, что любишь его, и я тебе верю. Быть любимым таким человеком, как ты, — драгоценный подарок. Таким образом, я не сказал, что ты должна перестать любить его, — требовать этого было бы странно. Я лишь говорю, что ты должна прекратить с ним всякие отношения, я подчеркиваю — *всякие*. Тем самым ты докажешь ему свою любовь.

Анна не сводит глаз с настоятеля. Зажглись уличные фонари, сполохи света гуляют по потолку. Значит, они различают лица друг друга. Якоб, наверное, ждет какой-то реакции от Анны, но та молчит.

— И еще: ты все должна рассказать Хенрику.

— Этого я сделать не могу.

— Должна.

— Нет-нет, не могу. Что угодно, только не это.

— Ты обязана.

— Зачем? Нет, это невозможно.

— Правда, Анна! Сейчас ты запуталась в тенетах лжи. Чем дольше ты будешь жить в этих тенетах, тем несчастнее будет твоя жизнь.

— Дядя Якоб! Хенрик — человек, который едва справляется с напряженной обыденной жизни. Он слабый и боязливый. Его служебная нагрузка огромна. Правда доконает его. У нас скверный брак, неудачный во многих отношениях, как душевно, так и физически. Но нас связывают своеобразные добрые, товарищеские узы. И это помогло нам продержаться двенадцать лет. Дух товарищества и дети. Если бы я выложила правду, перед нами разверзся бы ад. Нет, дядя Якоб, нет и нет.

— Неужели ты не понимаешь, что, скрывая правду, ты проявляешь глубочайший эгоизм? Ведь не исключено, что правда поможет Хенрику созреть и исправить свою жизнь!

— Исправить свою жизнь! Простите, дядя Якоб, но Хенрик не такого сорта человек. Он отступает, когда можно отступить. Он сбегает, когда есть возможность сбежать. А если он в кои-то веки видит, что приперт к стене, то взрывается от бешенства или заболевает. Он погибнет. *Вот* правда. Я знаю, что он хороший священник. И заботливый духовник, который помог многим. Но под этой внешней оболочкой скрывается жалкий, напуганный до смерти бедолага. Я *не могу* сказать правду. *Знаете ли* вы, дядя Якоб, как мы живем? Я имею в виду то, что называют интимной жизнью? Порой мне хочется взвыть от отвращения и унижения. Но жизнь продолжается, день за днем, и это главное. Я не могу рассказать Хенрику о моей плотской жизни. Я не могу даже предугадать, как он отреагирует... может, он... И вина — эта вина...

— Ты должна поверить, что я все понимаю. И тем не менее единственная возможность — *правда*. Тебе надо предотвратить унизительное открытие.

— А кто поможет мне, когда разверзнется ад? Может, обратиться к Богу? Или к вам, дядя Якоб? Или к матери? Что мне делать, если Хенрик выкинет меня на улицу? Пойти к Тумасу, — (усмехается), — и заявить: вот, мол, бедняга, теперь тебе придется заботиться обо мне и моих детях? Нет! Я не собираюсь открывать ему ту правду, которую вы требуете. Я не верю в такого рода искренность. За ложь и обман я покупаю свою повседневную жизнь. Она того стоит. Я намерена сама нести свою вину, никого не прося о помощи. Ни Бога, ни дядю Якоба.

— Ты говоришь о вине, словно знаешь, что такое *настоящая* вина. Ты понятия об этом не имеешь. Возможно, мои слова ранят и причиняют боль. Возможно, тебе придется подвергнуть себя и своих родных испытаниям. Но, выбрав правду, ты сделаешься сильной.

Анна мысленно улыбается: да-да, разумеется. Идя по пути правды, ты обретаешь силу. Выбрав правду, ты решишь все неразрешимые проблемы.

— Я пойду, Анна! Понимаю твое неприятие. Я и не требую, чтобы ты думала, как я. Я даже не помню, просила ли ты у меня совета. Я лишь сказал то, что мне пришло в голову.

— Разве так странно, что я защищаюсь?

— Можешь злиться на меня, пожалуйста. Ведь я говорю с тобой из глубины своей упорядоченной действительности. В этот конкретный момент мои собственные кризисы и неудачи вряд ли имеют какое-то значение. Так что, пожалуйста, обижайся. Но подумай. Ты умная молодая женщина. Мне кажется, то, что я тебе сказал, уже давно живет в твоей душе. Как отчетливая реальность.

— И поэтому я знаю...

— Отбрось на минуту твои предубеждения относительно возможностей Хенрика.

— Спасибо вам за заботу, дядя Якоб.

— Я буду молиться за тебя сегодня.

Она опускает голову. Они стоят в большой темной прихожей. Его пальцы сжимают ручку двери.

— Зажги свет, хочу увидеть твое лицо.

Она поворачивает электрический выключатель. В латунных бра по обе стороны двери зажигается парочка сонных ламп.

— Посмотри мне в глаза. Так. Ты злишься.

— Нет.

— Конечно, злишься. Ты сердита и разочарованна. Но чего ты ждала?

— Не знаю. Мне только хочется...

— Мы играем много ролей. Одни — потому что это забавно, другие — потому что кто-то желает, чтобы мы их играли. А чаще всего потому, что хотим защитить себя.

— Я тоже так думаю.

— И тут я незаметно упускаю то, что ролью *не* является. В процессе жизни ухожу от того, что есть «я сам», или как это там называется.

— На это я могу сказать не задумываясь: сейчас, вот в это мгновение, я *наконец-то* и есть «я». Жизнь с Хенриком все глубже засасывала меня в то, что вы называли «ролями».

Она умоляюще, со страхом смотрит на Якоба. Он не отвечает на ее взгляд, а только, качая головой, легонько проводит рукой по ее щеке.

— Помню твои слова в тот вечер накануне конфирмации: «Молю Бога, чтобы я смогла приносить пользу. Вообще-то я очень сильная». Ты не забыла?

— Нет-нет. Это было наивно. Но ведь я *была* наивной.

— Теперь Бог тебя услышал.

— Нет.

— Ты не веришь, что Богу есть дело до твоей беды?

— Нет.

— Ты больше не веришь.

— Нет.

— Значит, и молитвы не читаешь.

— Нет.

— Что говорит Тумас?

— Говорит, что мое «отступничество», как он выражается, пугает его. Дядя Якоб, а вы верите в Бога? В Небесного Отца? Бога Любви? В Бога с руками, сердцем и бдительными глазами?

— Для меня это не имеет значения.

— Не имеет значения? Как может не иметь значения образ Бога?

— Не произноси слова «Бог»! Говори «Святой»! Человеческая Святость. Все остальное лишь атрибуты, маскарад, манифестации, выходки, отчаяние, ритуалы, безнадежные крики в темноте и тишине. Человеческую Святость нельзя ни прозреть, ни уловить. И в то же время это нечто, за что можно держаться, нечто совершенно конкретное. До самой Смерти. Что потом — сокрыто. Но одно точно: вокруг нас происходят вещи, которые мы не воспринимаем своими чувствами, но которые воздействуют на нас непрерывно. Только Поэты, Музыканты и Святые протягивают нам зеркало Непостижимого. Они видели, узнали, поняли. Не целое — осколки. Для меня большое утешение думать о Человеческой Святости и таинственных Необъятностях, окружающих нас. Мои слова — не метафора, это действительность. В Человеческую Святость входит Правда. Нельзя совершить насилие над Правдой, не причинив зла себе. Не причинив зла другим.

Они сели на стулья возле входной двери. Лампочки в бра сонно выполняют свою работу. За распахнутым окном столовой — ночь.

БЕСЕДА ВТОРАЯ (АВГУСТ 1925 ГОДА)

Прошел месяц, стоит ласковый август, половина девятого вечера. Хенрик сидит на пирсе, низко плывут облака, время от времени моросит дождь. Су-мерки серые, без теней.

На пирсе он один. Больше из-за комаров, чем ради удовольствия он курит сигарилью. Голова не покрыта, светлые волосы над высоким лбом поредели. Взгляд голубых глаз приветлив, усы ухожены. Под плащом летний пиджак и фланелевые брюки, пристежной воротничок и галстук.

Вот на другой стороне залива, у причала Стендёррен, появляется пароход. Дав задний ход, он поворачивает форштвень в сторону Смодаларё и приближается на хорошей скорости. С резким стуком сбрасываются сходни. Анна стоит наготове на носу. Подхватив багаж, она спешит на берег. Сходни сразу же убирают. В глубине судна бренчит рында, гребной винт стегает темную прозрачную воду. Пароход дает задний ход и, набрав скорость, исчезает за мысом Рёдудд. Кое-где светятся круглые иллюминаторы кают.

Хенрик берет у Анны чемодан и корзину с кулками и пакетами, одновременно целуя ее в губы. Она, поднявшись на цыпочки, целует его в щеку. Он свежеевыбрит.

Теперь наступил момент, когда я, сидя за письменным столом на Форё 18 июня 1992 года, подойду поближе к этим двум людям, которые августовским вечером 1925 года преодолевают крутой каменистый подъем, ведущий от причала Смодаларё. Во всяком случае, сделаю попытку. Не знаю точно причины прилагаемых мной усилий. Не знаю, но тем не менее иду, приближаясь с головокружительной, бесшумной скоростью. Я их вижу.

Построенная в начале века дача находится в десяти минутах ходьбы от причала. Маленькая веранда на заднем фасаде смотрит на вечернее солнце и узкую, посыпанную гравием дорожку. Желтый, с белыми угловыми венцами дом имеет четыре комнаты и тесную, старомодную кухню. Столовая соединена с импозантной застекленной террасой на переднем фасаде, выходящей окнами на зеленый склон, залив, открытое море и островок Паннхольмен. На чердаке расположены две комнаты поменьше, одна на северной стороне, другая — на южной. Идиллию довершает выкрашенная в зеленый цвет уборная на скалистом пригорке. У торца дома растет огромный, пышущий здоровьем, кудрявый дуб, которому насчитывается не одна сотня лет. По этой причине дом носит название Экебу¹.

Они преодолевают подъем, каменистый, в рывках. Высокие сосны застыли в молчании, моросит дождь. «Вот дурак, не взял зонтика», — говорит Хенрик извиняющимся тоном, ставит поклажу на землю и переводит дух. Анна, чуть обогнав его, останавливается и оборачивается: «В городе, конечно же, светило солнце, так что я и не вспомнила про зонтик. Давай помогу. Понесем чемодан вдвоем».

Они плетутся рядом, но Анна намного ниже Хенрика, поэтому дело идет туго.

— Я лучше сам понесу чемодан, — говорит Хенрик.

— Тогда я возьму корзину!

— Нет, она мне нужна для равновесия.

— Ну, тогда уж и не знаю.

Она смеется и снимает шляпу, капли дождя стекают по ее лицу и густым темно-шоколадным волосам. На ней синее летнее пальто, серая юбка и шелковая блузка с маленькими пуговками.

— Дождь — это здорово, — говорит она, вытирая тыльной стороной ладони лоб и щеки.

— Здесь за три недели не упало ни капли. Да ты же знаешь. В Даларна небось тоже сушь стояла?

— Мы боялись, что родник пересохнет. Но у нас на крайний случай есть наша река — Дальэльвен.

— Мы здесь страшно экономим воду. Употребляем только для готовки и для соков. Моемся в море.

— Кстати насчет мытья: тебе большущий привет от мальчиков, и от Малышки, разумеется. Мы с мамой решили дать мальчикам полную свободу. Они исчезают после завтрака и целыми днями торчат у приятелей в деревне. Появляются лишь к ужину, и, как я уже сказала, мы не обращаем внимания на время и чистоту. По субботам моются уши и подстригаются ногти. Все здорово. Малышка немножко поранила себе попку на треснувшем горшке, шла кровь, мальчишки в царапинах и ссадинах, но это в порядке вещей.

Анна болтает, слегка поддерживая корзину, она болтает, а Хенрик довольно слушает.

— Как себя чувствует тетя Карин?

— О, мама!

Анна останавливается на вершине склона, и Хенрик опускает на землю чемодан и корзину, набитую кулками и пакетами из бакалеи Густавссона.

— Да, мама, конечно. И Эбба. Ровно три месяца со дня гибели Эрнста. Мама горюет, я вижу, и у Эббы глаза заплаканные. Иногда ночью я слышу ее

¹ Букв.: Дубовое Гнездо (швед.). (Здесь и далее примеч. переводчика.)

причитания. Но обе спокойны и веселы. Маленькому Яну исполнилось три годика, да ты сам знаешь. Мы ему устроили замечательный день рождения. Мне трудно ладить с Эббой. Мы обе пытаемся, но натываемся на взаимное отчуждение. Ее горе и мое — они как бы несравнимы, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Старший брат Эрнст. Непостижимо.

Анна, взмахнув рукой, идет дальше. Хенрик немного отстал.

— А когда приедут Малышка и мальчики? Вы что-нибудь решили?

— Мама едет в Стокгольм в конце следующей недели и прихватит с собой детей. Так что мы успеем отпраздновать день рождения Малышки здесь, до переезда в город.

— Значит, мы пробудем вместе совсем недолго.

— Мы ведь решили, что переезжаем пятого сентября.

— Да-да. Пятое сентября — это вторник.

— Мы же вместе это решили.

— Да-да. Знаю.

— Мы будем вместе почти три недели. Это же здорово. Разве не так, Хенрик?

— Я читаю проповедь в церкви Хедвиг первого сентября.

— У тебя здоровые, загорелые, веселые дети! Помнишь, что сказал доктор Фюрстенберг весной? Детям нужен лесной воздух.

— Да, конечно.

— Надо сказать спасибо Ма, что она согласилась взять их на все лето, не смотря на горе. И все заботы.

— Да, конечно. Разумеется.

— Мы должны быть благодарны.

— Я благодарен!

Навстречу им попадают профессор Рютстрём с женой Аделаидой, совершающие вечернюю прогулку, их деревянный замок возвышается по другую сторону дороги в Экебу. Профессор ведет класс скрипки в Музыкальной академии — больше виртуоз, чем педагог. Это маленький, ухоженный толстяк с непослушной рыжей шевелюрой, подернутой сединой. Жена Аделаида тоже маленькая, толстая и рыжая, она родом из Мекленбурга и когда-то была выдающимся драматическим сопрано. Оба белокожие, с печеночными пятнами на лицах. Их крупные головы сидят прямо на плечах.

Пасторское и профессорское семейства вежливо здороваются и, как положено, справляются о самочувствии. Фру Аделаида интересуется, когда мальчики вернутся из Даларна, и фру Анна сообщает, что это произойдет на следующей неделе и что Даг рвется походить под парусом с Сигфридом. Профессор складывает зонт, говоря, что дождь, определенно, кончился еще не начавшись, а пастор отвечает, что слышал далекий гром и видел, скорее всего, зарницы над шхерами. Потом все желают друг другу спокойной ночи и расходятся в разные стороны. Хенрик говорит, что профессор Рютстрём будет исполнять скрипичный концерт Глазунова на открытии сезона и профессорша уже обещала достать контрамарки. «Репетирует по четыре часа ежедневно при распахнутых окнах, — добавляет Хенрик, — немного тяжеловато». — «Они такие милые люди, — говорит Анна. — Если бы только поменьше о политике рассуждали. Эти вечные проповеди о величии и падении Германии — порой это звучит просто по-дурацки».

Но вот они и дома, через открытую веранду входят в прихожую. Анна снимает пальто и бросает шляпу на полку. Хенрик вносит чемодан в комнату Анны, узкой раздвигающейся дверью соединенную со спальней-кабинетом Хенрика.

— Думаю, спущусь к причалу, окунусь.

— Я пойду с тобой, прослежу, чтобы ты не утонула.

— Подожди, я сейчас, — говорит Анна, выгалкивая Хенрика.

Он зажигает керосиновую лампу на буфете в столовой, потом выходит на застекленную террасу. Внезапно им овладевает беспокойство, чуть ли не страх. Он садится в скрипучее плетеное кресло.

Анна стремительно проходит через столовую: «Не знаю, стоит ли оставлять лампу зажженной. В таком случае, надо закрыть окно, иначе налетит комарья и другой мошкары». На ней черный купальник и поношенный бордо-

вый халат. «Ну, идем», — говорит она с мимолетной улыбкой. Сбросив сандалии, она босиком бежит вниз, к черной, блестящей воде. Хенрик, заложив руку за спину, медленно спускается за ней.

Анна с разбегу бросается в воду, волосы у нее перевязаны косынкой, которая сразу же слетает и стелется по воде. «Очень теплая», — кричит Анна. Хенрик уселся на перевернутый пустой ящик. Анна плывет к пирсу и взбирается наверх.

Она быстро укутывается в просторный халат и, отвернувшись, снимает мокрый купальник. Потом, присев рядом с Хенриком на ящик, грубым полотенцем вытирает ноги и сует их в сандалии. Откидывает влажные волосы назад и проводит руками по густым, с матовым блеском прядям. «Пошли, Хенрик, сейчас самое время выпить чашку чая с бутербродом», — говорит она, беря мужа за руку.

Он крепко обхватывает ее бедра, привлекает к себе, прижимается лбом к ее животу. Движение головой вверх и вниз — и небрежно завязанный халат распаивается. Хенрик, не выпуская жену из объятий, покрывает поцелуями ее живот и бедра. Она высвобождается — не резко, медленно, но решительно. Он поднимается и обнимает ее. Целует ее влажное лицо, шею, губы. «Нет, не надо, — говорит она тихо. — Не держи меня так. Идем попьем чаю на кухне. Я начинаю замерзать. Идем, Хенрик», — говорит она мягко, протягивая ему руку.

Время, должно быть, ближе к одиннадцати, опять пошел дождь, тихий и упорный. На Анне голубая фланелевая ночная рубашка с длинными рукавами, живот и колени прикрыты пледом, на ногах — ночные носки. Она пьет чай не спеша. Хенрик сидит за торцом стола напротив. Он ради компании налил себе пива. Допотопная керосиновая лампа на столе слабо шипит и чуть коптит. Супруги сохраняют молчание.

Но вот Хенрик решительно встает, делает шаг к Анне, останавливается перед ней:

— Прошло четыре долгих недели. Я тосковал по тебе. Скучал и по детям, но больше всего по тебе. Я не жалею, было бы блажью и бесстыдством хныкать, когда человеку создают такие условия, как мне. О да! Обо мне прекрасно заботились. И я не сидел в одиночестве. Приезжала Ертруд, и Пер Хассельрут, и Ейнар со своей невестой, и масса других милых людей. Так что я не собираюсь жаловаться. Это было бы проявлением неблагодарности и избалованности. И ты писала такие нежные, добрые письма. Твои письма мне здорово помогали. Я читал их по вечерам, уже лежа в постели. И потом мы говорили по телефону, хотя это палка о двух концах: телефонные разговоры слишком анонимны. Но мне было приятно слышать твой голос. И вот ты наконец здесь. Я считал дни, все время боялся, как бы не произошло чего-нибудь такого, что помешало бы тебе приехать. Как бы то ни было, но теперь ты дома. И что самое замечательное — несколько дней мы сможем побыть вдвоем.

Указательный палец Анны скользит по узору скатерти.

— Да, но сегодня я не хочу, — говорит она быстро и тихо.

Хенрик молчит.

— Анна?

— Нет, Хенрик. Нет.

— Что с тобой?

— По-моему, ничего, совсем ничего. Просто хочу, чтобы меня оставили в покое.

— Разве у тебя было мало покоя?

— Я должна привыкнуть. Ты не можешь требовать.

— Какое странное слово. Я ничего не требую.

— Но я не хочу.

Качая головой, она встает и несет чашку в мойку. Хенрик крепко обнимает ее, прижимает к себе. Чашка летит на пол и разбивается на мелкие кусочки. Анна каменеет от отвращения и гнева. Потом высвобождается, на этот раз уже не мягко и не извинительно. На секунду она поворачивается к нему, словно желая что-то сказать, она побледнела и тяжело дышит. Хенрик скорее поражен и испуган.

— Я сделал что-то не то? Что с тобой, Анна? Ты же можешь...

Но Анна уходит, задерживается ненадолго в прихожей, точно собираясь выйти в дождь, однако, осознав, что на ней надето, поспешно, как будто ее преследуют, скрывается в своей комнате. Закрывает дверь и запирает ее на ключ. Запирает.

Хенрик растерян, в нем медленно зреет нехорошая злость, обида, огорчение. Любовное желание улетучивается, оставляя вместо себя пустоту, которая вдруг заполняется колючей, на грани слез, злобой. Он выходит на террасу и устремляет взгляд в журчащую, шелестящую темноту. Лампа на буфете в столовой освещает оконное стекло и его черную фигуру. Страх, злость, подавленность.

Довольно скоро верх берет страх. Ему хочется избавиться от него, поэтому он спешит в свою комнату и стучит в узкую раздвигающуюся дверь. Ответа нет, тишина. Он стучит еще раз, так же осторожно. По-прежнему никакого ответа. Он ласково зовет ее, голос выдает испуг: «Анна, прости меня, я вел себя глупо, по-дурацки. Анна. Ответь, пожалуйста, *прошу* тебя».

Анна неслышно ходит по комнате. Туда, сюда. По краю лоскутного ковра, опущенная голова выдвинута вперед, руки скрещены на груди, взгляд следует за темными параллельными линиями половицы. Анна глубоко дышит, точно ей не хватает кислорода, точно она находится на невероятной высоте, где воздух разрежен и небо черно. Останавливается, скидывает мягкие тапочки, замирает — прислушивается к тихой мольбе Хенрика по другую сторону двери. Время от времени блестящая латунная ручка двери поворачивается, но осторожно, боязливо.

И тут он вскрикивает и ударяет в дверь ногой. Страх и бешенство. Колодит кулаком: «Ты не имеешь права обращаться со мной таким образом! Анна! Ответь по крайней мере».

Тишина. Анна стоит неподвижно, с опущенной головой. Темные длинные волосы закрывают щеки.

Опять Хенрик: «Анна! — Сейчас его голос спокоен. — Мы должны поговорить. Я не намерен отступать. Буду сидеть на террасе и ждать тебя. Буду ждать сколько угодно. Сколько угодно, Анна, — слышишь? Я хочу, чтобы ты пришла и объяснила, в чем дело».

Он отпускает ручку двери и удаляется. Она слышит, как он возится на террасе, передвигает кресло, садится, зажигает трубку.

Все это она слышит, неподвижно замерев посередине лоскутного ковра в черно-синюю полосу.

Многие любят говорить о «решающих моментах». С особенным размахом пользуются этой фикцией драматурги. На самом же деле такие моменты вряд ли существуют, это только так кажется. «Решающие моменты» или «роковые решения» — звучит правдоподобно. Но если разобраться, то момент вовсе не решающий: просто чувства и мысли длительное время — сознательно или бессознательно — шли в одном направлении. Сама же развязка — факт, скрывающийся далеко в прошлом, в глубинах тьмы.

Анна выходит из оцепенения. Мрак, гнев, удушье неумолимо толкают ее к тому, чтобы изменить жизнь многих людей. В момент, когда рушится реальная действительность, где-то на краю ее сознания возникает таинственное ощущение удовольствия: пусть все летит в тартарары. И я погибну. И *наконец-то* будет поставлена точка. Она отпирает дверь, проходит через столовую, прихватив по дороге лампу с буфета, и, выйдя на террасу, осторожно ставит ее на круглый плетеный стол у торцевой стены. Подворачивает фитиль. Ну вот, теперь они с Хенриком могут посмотреть друг другу в глаза. Хенрик пытается начать с извинения: «Прости, я вел себя как ребенок, но я правда испугался. Мы, конечно, ссорились с тобой, и даже довольно часто, но к запираению дверей не прибегали».

Анна придвигает кресло и садится напротив Хенрика — это небольшое, выкрашенное белой краской плетеное креслице, старомодное, с покатыми подлокотниками и кое-где с прорезами.

— Сейчас я скажу тебе что-то, что причинит тебе боль.

— Теперь я и правда напуган.

Он просительно улыбается.

- Дело в том, что с некоторых пор я живу с другим человеком.
- Только не говори...
- Которого я люблю.
- Которого ты любишь...
- Которого я люблю больше всех на свете. Я живу с ним во всех смыслах — физически, всеми чувствами и в своем сердце.
- Это правда?
- Это правда, Хенрик. Я сомневалась, я хочу сказать, не знала, стоит ли мне признаваться. Но сегодня вечером, когда ты предъявил свои права на меня, я почувствовала, что больше не в силах притворяться. Мы с Тумасом весь день были вместе. Я приехала от него.
- С Тумасом?
- Я больше не хочу. Не могу.
- С Тумасом?
- Ты его знаешь.
- Тумас Эгерман?
- Да. Тумас Эгерман.
- Он ведь — он ведь изучает...
- Он учится в Упсале. Закончит года через два. Два с половиной.
- Это он как-то пел романсы Шумана на приходском вечере?
- Да, он по профессии музыкант. В академии получил диплом преподавателя музыки. Поэтому и запоздал немного с богословским образованием.
- Лицо Хенрика замкнуто, взгляд голубых глаз — без всякого выражения — прикован к глазам Анны. Она отворачивается.
- Больше мне, собственно, сказать нечего.
- А как ты себе представляла... дальнейшую жизнь?
- Не знаю.
- У нее наворачиваются на глаза слезы, но она подавляет гнев. Хенрик усмехается:
- Почему ты плачешь?
- Я не плачу. Но твой вопрос о нашей дальнейшей жизни вызывает у меня злость. Странно, но это так.
- Я пытаюсь спокойно...
- Хенрик! Наша совместная жизнь постепенно стала чуждой и непонятной. Я не была сама собой, я сидела взаперти.
- А с Тумасом ты свободна, так?
- Я не думаю о том, «свободна» я или нет.
- Анна?
- Что?
- Чего тебе больше всего хочется?
- Ты спрашиваешь серьезно?
- Серьезно, Анна.
- Он говорит мягко и смотрит на нее без злобы или отчуждения. Она приходит в замешательство, ей страшно. Чувства, пронизывающие их разговор, разбегаются в разные стороны и не поддаются контролю.
- Ты спрашиваешь, чего я хочу, а я не знаю. Возможно, хочу заботиться о нашем доме, о наших детях, конечно. Это же смешно... я имею в виду, другого и помыслить себе нельзя. Я могу остаться с тобой, помогать тебе в работе, я буду тебе хорошей помощницей.
- А Тумас?
- С Тумасом у нас нет будущего. Со временем он найдет собственный путь. Женится на какой-нибудь девушке, своей ровеснице, которая будет хорошей женой и матерью. Но дай мне капельку свободы. Позволь мне побыть с Тумасом. Какое-то время.
- Какое-то время. Что это значит?
- Не знаю. Ты спросил, чего бы мне больше всего хотелось сейчас и в будущем. Я пытаюсь ответить.
- Может, мне завести себе «даму» на этот неопределенный срок?
- Пожалуйста, не надо иронии.
- Извини.

Молчит.

Молчит.

— Если хочешь, если ты настаиваешь, то я готова бросить все — дом и детей, — все.

— И детей?

— Да, детей. Одно, Хенрик, одно я знаю точно: ты всегда был добр и нежен с детьми. Иногда чересчур строг к мальчикам — зачастую вопреки моей воле. Но им, возможно, будет лучше без меня. Они избегнут наших проблем. Мы ведь детей никогда не вовлекали, правда?

— Бедная Анна!

— Что это ты?

— Бедная Анна. Тяжко тебе приходится.

— Да, тяжело. Иногда я молю Бога наслать на меня болезнь, чтобы я попала в больницу, чтобы меня увезли подальше от этого чувства вины, вины — да. Хенрик, наклонившись, берет ее руку в свою. Он серьезен, нежен.

— Тебе не кажется, Анна, моя Анна, что есть какой-то смысл в том, что свалилось на нас? И что причиняет такую невыносимую боль.

Анна слушает добрый голос, смотрит на приближившееся вплотную лицо. Он больше не сторонится ее, он ласков и немного торжествен.

— Я много раз собиралась. Ты же, как бы там ни было, мой лучший друг несмотря ни на что. Ты — единственный, с кем я всегда могла поговорить, поэтому все это было как во сне: жить и словно бы играть какую-то роль. Принимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю.

— Я бы рассказала тебе, и мы вместе... Но потом я думала, сколько у тебя дел, ответственности и всех твоих прихожан. И я считала, что тебе будет не под силу моя правда и было бы бесцеремонно втягивать тебя в то, что я сама должна распутать. Так время и шло — но иногда вдруг появлялась мысль: *сейчас!* Сейчас я скажу. Будь что будет — но я видела, как ты измотан, видела твое уныние, и ты говорил, что боишься не справиться, и я видела, в каком страхе ты пребывал накануне своих проповедей. И я молчала. И чем дальше, тем, естественно, труднее становилось признаться.

— Кто-нибудь знает?

— Нет.

— Даже твоя мать?

— Неужели ты полагаешь, что я рискнула бы говорить с Ма? Нет-нет, Хенрик, это невозможно.

— И никто другой?

— Нет, Хенрик.

— Ты уверена?

— Не буду врать. Господи, как трудно. Мэрта знает.

— Вот как — Мэрта.

— Я все расскажу, но будет больно.

— И все же, наверное, лучше мне знать.

— Дело было так. Мне хотелось побыть с Тумасом. Хотелось провести с ним несколько дней — и ночей — вдвоем. Тумас колебался, ему и хотелось, и нет — он боялся, считал, что это будет обманом. Я объяснила ему, что обман и так налицо. И я написала Мэрте, которая временно жила в доме своей тетки в Норвегии, недалеко от Мольде. Она сразу же ответила, чтобы мы приезжали, и сообщила, что сама едет в Трондхейм, на съезд миссионеров.

— Понимаю.

— Я вижу, что ты *хочешь* понять.

Она опускает голову и целует его руку. Потом резко всхлипывает, но, овладев собой, проводит ладонью по лбу и глазам.

— Ты кому-нибудь еще призналась?

— Да.

— И...?

— Дяде Якобу.

— Значит, ему теперь все известно.

— Он наш друг, близкий нам человек, я проходила у него конфирмацию.

— Он мой начальник.

— Разве это важно?

— Нет... может, и нет.

— Он любит тебя, я знаю. И ты это знаешь. Я встретила его случайно, была застигнута врасплох. Мы сидели на кладбищенской скамейке и беседовали. Он прямо спросил меня, нет ли у меня чего на сердце, и я исповедалась.

Она испуганно замолкает.

— И?

— Он посоветовал мне открыть правду. Сказал, что другого выхода нет, сказал, что я должна порвать с Тумасом. Сказал, что это мой долг, что это единственная возможность. Сказал, что я совершу грех по отношению к тебе, если не признаюсь, — он был строг.

Последние слова произносятся шепотом, горестно. Хенрик откидывается на спинку кресла, выпускает руку Анны и, повернув голову, смотрит на темное, в потоках дождя окно, в котором отражаются керосиновая лампа и две расплывчатые, согнувшиеся фигуры. По-прежнему царит серьезное, доброжелательное спокойствие. Ничего душераздирающего, ничего ранящего. Никакой явной или тайной злобы. Нет.

— Значит, по-твоему, он был строг. А чего ты ожидала?

— Не знаю. Я ведь начала открывать душу без цели или надежды. Это была просто потребность. Наверное, я подозревала, что именно он скажет, но в то же время боялась.

— Боялась?

— Я сказала дяде Якобу, что правда в этом случае может привести к катастрофе для многих людей. А он ответил, что несправедливо недооценивать тебя.

Молчание. Потом она говорит:

— И теперь я вижу, что дядя Якоб был прав. И я благодарна. Ты мне как бы помог — ведь речь шла о жизни и смерти.

Она плачет не скрываясь, обнимает его за плечи, соскальзывает на колени, привлекая его к себе, целует его глаза, лоб, шею и, когда он начинает ласкать ее, целует его в губы. Он падает на нее, и на секунду она приходит в себя. Потом закрывает глаза и отдается ему.

Едва заметный рассвет. Дождь перестал, но тучи тяжело движутся над неподвижностью моря. Утреннее безветрие. Анна и Хенрик лежат в постели Хенрика, он, свернувшись калачиком, прижимается щекой к ее груди. Спит не шевелясь, дышит беззвучно. У нее сна ни в одном глазу, ни сна, ни мира, ни милости.

Она тихонько высвобождается из неудобных объятий и выскальзывает из-под одеяла. Прикрыв его плечи, она долго разглядывает безоружного, спящего человека.

Осторожно отодвигает узкую дверь в свою комнату, бесшумно закрывает ее, зажигает свечу на ночном столике и залезает под одеяло — в комнате холодно и сыро, раскрытое окно закреплено крючками, роликовая штора не опущена. Что-то шелестит и журчит в водосточной трубе и бочке для дождевой воды. Вдалеке коротко вскрикнула птица, а так вокруг такая тишина, что Анна различает легкое свиристение в ухе. Она закрывает глаза — очевидно, у нее и в мыслях не было, что она может задремать, но, похоже, она все-таки ненадолго задремала этим первым утром новой, ужасной жизни и не слышала, как вошел Хенрик. Он тихо-тихо, почти шепотом произносит ее имя:

— Анна. Я хочу задать тебе последний вопрос, который не дает мне покоя.

— Да.

— Прости, если разбудил.

— Я вроде бы не спала.

— Нет, не зажигай. Я вижу тебя, так лучше.

— О чем ты хотел спросить?

— Видишь ли...

Он колеблется, отходит к окну, стоит повернувшись лицом к беззвучно плывущему рассвету.

— Говори же, что собирался.

Она села, сцепила руки, сидит выпрямившись, со сцепленными пальцами и наблюдает за черной тенью там, у серого прямоугольника окна.

— Я хочу спросить тебя прямо. Много раз собирался. Но не хватало духу. А теперь, в эту ночь абсолютной откровенности, спрашиваю. И прошу тебя ответить правду.

— Обещаю.

— Ты испытывала физическое наслаждение с Тумасом?

— Да, испытывала.

— Сильнее, чем со мной?

— Ты не имеешь права задавать такие вопросы.

— Я прошу тебя ответить откровенно.

— Не могу.

— Это и есть ответ.

— Я ничего не могу с этим поделаться.

— Что между нами не так?

— Я люблю Тумаса.

— А меня не любишь.

— Может, любила когда-то давно. Не знаю.

— Но ты никогда не испытывала наслаждения?

— Я не хочу...

— Пожалуйста, скажи правду.

— Да, я никогда не испытывала физического наслаждения от близости с тобой. Чаще всего мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Да мы же с тобой еще по этому поводу шутили.

— Шутили, верно.

— Но это не было проблемой. Во всяком случае, для меня.

— Просто небольшая неприятность.

— Приблизительно.

— И не слишком часто.

— Да, не слишком, это верно.

— А с Тумасом все было иначе?

— Ты не имеешь права спрашивать.

— Да-да, понимаю. Понимаю.

— Хенрик, иди сюда, сядь на кровать.

— Нет-нет, я больше не стану мешать тебе спать, моя Анна. Ты, наверное, страшно устала.

— Да.

— Я тоже.

— Тогда спокойной ночи, Хенрик. Возьми мою руку.

— Спокойной ночи, Анна. Нет, нет, нет. Не надо.

В его голосе звучит рассеянная грусть. Он отодвигает дверь и осторожно задвигает ее за собой. Анна слышит его шаги там, в другой комнате.

Она продолжает сидеть как сидела, прямая, неподвижная, со сцепленными руками, сухой взгляд широко раскрытых глаз устремлен в рассвет, который никогда не наступит.

Сейчас, именно в это мгновение, мне в высшей степени необходимо остановиться и обдумать положение. В каком месте пробивается наружу родник? Как выглядит правда? Не как было на самом деле, интересно не это. А вот что: какой вид принимает правда или — каким образом смешают и творят правду мысли главных действующих лиц, их чувства, их склонность бояться — и так далее до бесконечности. Мне необходимо остановиться, проявить осторожность. *Ты наносишь мне смертельный удар. Я наношу тебе смертельный удар.* Душевный ландшафт главных героев подвергается чудовищной тряске — вроде природной катастрофы. Возможно ли вообще описать такое, и самое главное: ведь долговременные последствия проявляются постепенно, много времени спустя после краха, в телах, душах, чувствах — разве не так? Облекается ли развязка подобного рода, что предстоит сейчас, во множество слов? Не больше ли в ней неловкости, отчаяния и растерянности как для инициатора (Хенрика), так и для защищающейся стороны (Анны)? Дойдет ли сцена до той точки, когда крушение Анны обернется нападками и праведным гневом? Вероятно, но не в этой так называемой действительности — там это событие растягивается на недели, месяцы и годы, монотонно перемалывается, лишь

время от времени прерываясь перемириями и иллюзорными примирениями с патетическими заверениями об окончательном мире. Как описать *бег по кругу*, мелочное нытье, бесконечные и все более унижительные вопросы, которые в конце концов препятствуют любому состраданию? Как мне описать те ядовитые пары, которые незаметно, словно нервно-паралитический газ, отравляют атмосферу дома, долго, возможно всю жизнь, разъедавая чувства и мысли его обитателей? Как мне показать различные точки зрения и предвзятость, которые непременно будут расплывчатыми и ненадежными, потому что у актеров второго плана нет ни малейшего шанса узнать настоящую правду? Никто не знает — все видят.

Назавтра — пасмурно и безветренно, дождь перестал, все пропитано влагой. Супруги немногословны, оба испытывают гнетущую усталость без возможности отдохнуть. Хенрик спозаранок отправляется на старой лодке и с удочкой в море. Анна, написав парочку писем и приведя в порядок счета, садится на велосипед и едет на хутор, где есть телефон, откуда она звонит матери, чтобы узнать, как дети. Карин, с присущей ей чуткостью заметив изменившийся голос Анны, спрашивает, не случилось ли чего, что Анна немедленно отрицает. Дагу в щеку вонзился рыболовный крючок, пришлось ехать в амбулаторию Репбэккена, вытаскивать, а так ничего особенно не произошло, все здоровы, дети немножко кукусятся из-за предстоящего расставания с летом и свободой. Им же прекрасно известно, что режим на Смодаларё намного строже, но все, как сказано, здоровы.

Ужин вдвоем — тушеный окунь и кисель из ревеня — проходит мирно. Супруги спокойно беседуют о семейных делах (о крючке в щеке, разумеется, и о том, как Ма представляет себе будущее своей невестки и ее малыша). Говорят о приходской работе, о вновь отложенном ремонте церкви, жалобе пастора Арборелиуса в церковный совет по поводу отказа финансировать его поездку по Прибалтике, о замечательном пополнении недавно созданного Общества матерей и тому подобном. После ужина они пьют кофе на террасе. Внезапно сквозь неподвижную дымку под облаками пробивается солнечный луч. Супруги в один голос замечают, что вот, мол, неожиданно выглянуло солнце. Наверное, завтра выдастся хороший денек, можно будет отправиться в залив Шерхольмсвикен. Анна произносит это чуть ли не с мольбой, и Хенрик, мимолетно улыбнувшись, соглашается, что было бы неплохо. После чего разговор уходит в песок, слова испаряются, голоса, связки, губы не выдерживают. Наступает молчание. Анна штопает на грибке носок — большая дырка. Позади длинного ряда пеларгоний жужжит умирающая оса. Солнце через несколько минут погаснет, ветра нет, свет без теней насыщен влагой. Хенрик читает газету внимательнее обычного.

В семь супруги вместе слушают новости. Потом перебираются в столовую, зажигают лампу на круглом столе, и Хенрик читает вслух главы из нового романа Элин Вэгнер. Не забыта и привычная вечерняя прогулка. В десять часов они желают друг другу спокойной ночи, поцелуи в щеку, гасятся керосиновые лампы. Хенрик, устроившись на лестнице террасы, закуривает сигарилью. В спускающейся темноте — сперва долгие сумерки, потом внезапная осенняя тьма, падающая с застывших облаков, — виднеется водное зеркало: залив и открытое море. Анна ушла в свою комнату, к своим тщательным вечерним ритуалам, потом книга на ночь, на носу очки, лунки ногтей промассированы и смазаны лечебной мазью.

В этот день ничего не было сказано. Анестезия все еще действовала. Следующий день — с ветром, бегущими облаками и привкусом осени — был столь же спокойно-непримечательным, как и предыдущий. Таким образом, Анна и Хенрик были предоставлены сами себе три дня.

Молчание, установившееся между супругами, было вполне приемлемым. Посторонний человек, наблюдая за их поведением и интонациями, вряд ли бы отметил что-то необычное или тревожное. Анна, которая в большинстве случаев первой протыкала иголкой созревший нарыв, не осмеливалась пошевелиться. Свои мысли, свой бунт, чувства страха, вины, горя или гнева она держала в себе закливающим усилием воли. И в то же время ощущала неуверен-

ность и замешательство: и это все? Жизнь соскользнет в наезженную колею? Или эти мирные дни несут в своем чреве непостижимую угрозу?

Хенрик двигался и говорил очень осторожно, чтобы не разбудить осознание невыносимой боли. Дружелюбие, краткие прорывы нежности, тактичное молчание отличали эти дни.

В пятницу трехчасовым пароходом должна была приехать фрёкен Лисен. В субботу в то же время прибудут дети в сопровождении всегда готовой прийти на помощь фрёкен Агды, которая вообще-то была учительницей младших классов где-то далеко, в районе Упсаласлэттен, но сейчас, по причине слабых легких, наслаждалась скромной пенсией по болезни, посвятив себя роли нежной и кроткой гувернантки.

Отобедав, по обычаю, в пять часов, супруги совместными усилиями начали убирать со стола, мыть и вытирать посуду. И тут Хенрик поднес бокал к свету из кухонного окна и заметил, что у бокала выщерблен край. Анна, занятая у мойки, ответила, что так оно наверняка и есть. Хенрик отозвался не сразу, но через несколько минут высказал свое мнение по поводу жалкого состояния всего сервиза вообще. У части выщерблены края, у тарелок тоже, столовое серебро разномастное, некоторым приборам просто место на кухне — слова шли вразнобой, неразборчиво. Анна, не готовая к такому повороту, терпеливо объяснила, что, когда дом снимали, часть утвари вошла в контракт и ей показалось ненужным везти лишнюю посуду из города. Хенрик, продолжая вытирать столовые приборы, похоже, обдумывал аргументы жены. В это мгновение Анна с ледящей душу ясностью осознает, что скоро их жизнь разлетится на куски. Хенрик говорит:

— Да, все это, может, и хорошо. Но я не понимаю, почему мы должны есть на грязной скатерти. Не понимаю.

— Грязной скатерти? — Анна прерывает мытье посуды, вынимает руки из бадьи и тыльной стороной ладони убирает прядку со лба.

— Скатерть в пятнах. Не знаю уж, сколько дней не меняли скатерть, — наверное, больше недели, наверняка десять дней. Когда я был здесь один, я не хотел ничего говорить фрёкен Лисен. Но меня удивляет, что ты не увидела пятен, обычно ты такие вещи замечаешь.

Анна молча направляется в столовую, на ходу вытирая руки о передник. Открывает буфет, вынимает скатерть и быстрым движением расстилает ее на столе.

— Где пятна? — спрашивает Анна вежливо, но с внутренней дрожью, которую она с трудом подавляет.

— Вот, вот и вот. — Хенрик тыкает пальцем. Действительно, на белой скатерти есть три пятнышка, но обнаружить их не так легко. Темноватый кружок величиной с монетку в один эре от стеарина, ржавое пятно возле каймы и еще одно, не слишком большое, но заметное.

— Не понимаю, куда ты клонишь, — говорит Анна, изо всех сил пытаюсь сохранить спокойствие. Она садится за стол и кладет руки на скатерть. Хенрик стоит там, где стоит: правый висок сильно покраснел, ладонь на резной спинке стула чуть дрожит.

— Не понимаю, куда ты клонишь, Хенрик.

— Ничего особенного, ничего важного. Во всяком случае, для тебя, похоже.

— Завтра будешь обедать на чистой скатерти, и вопрос закрыт. Сожалею, что тебя огорчают бокалы с шербинками и пятна, но мы же на даче, и гостей у нас не бывает.

— Я смотрю на дело не столь однозначно.

— Тогда, будь добр, скажи, как ты смотришь на дело.

Анна усмехается. Хенрик, по-прежнему стоя возле стула, водит пальцем по тканому узору скатерти.

— Все очень просто, Анна. Я вдруг понял, что ты забросила дом.

— Что ты такое говоришь?

— Забросила наш дом. Клубы пыли под кроватями, засохшие цветы, повранная занавеска — вон там.

Хенрик показывает на окно, выходящее на террасу. На легкой летней занавеске кое-где зияют прорехи.

— Но Хенрик! Меня же не было полтора месяца, а у фрёкен Лисен, какая бы она ни была хорошая хозяйка, стало слабеть зрение, мы ведь обсуждали это. Я не могу...

— А почему тебя не было полтора месяца?

Анна в полной беспомощности умоляюще смотрит на мужа по другую сторону стола. Но он не глядит на нее, он опустил глаза, может, закрыл, красное пятно на виске расплзлось, рука дрожит, почти незаметно.

— Отвечай честно.

— Я не понимаю. Мы же с тобой договорились. Ты ведь помнишь: доктор Фюрстенберг предписал детям лесной воздух. Ты не захотел ехать в Даларна, жить в одном доме с Ма. Ты предпочел быть здесь, у моря. Разве ты забыл, что *ты сам* предложил, чтобы я с детьми отправилась в Даларна, а ты — сюда и мы бы увиделись в начале августа? Не помнишь?

— Я удивился, как быстро ты согласилась с моим предложением.

— Я была благодарна за твою широту, за то, что ты не стал чинить препятствий.

— Ты была благодарна за то, что я дал тебе возможность встречаться с любовником. Твои поездки в Упсалу вызывали у меня некоторое недоумение, но теперь я знаю их причину.

Обе стороны соблюдают вежливый тон. Анна все еще взывает к разуму, умоляет опомниться. Хенрик постепенно, сам того не замечая, переступает границы здравого смысла.

— Три раза я ездила в Упсалу с Ма, чтобы помочь ей уладить дела, оставшиеся после Эрнста.

— Четыре раза, Анна, четыре.

— Ну да, правильно. Один раз нам пришлось позаботиться о Карле из-за того, что он учинил в квартире, где снимает комнату. Мы были вынуждены срочно отправить его в клинику «Юханнесберг». Тебе это известно.

— Но все это было прекрасным поводом увидеться с любовником.

(Молчание.)

— Отвечай, Анна. Ради Бога, давай будем честными.

(Молчание.)

— Прошу тебя настоятельно.

— Чего ты хочешь? Я все рассказала. Что еще тебе надо?

— Подробности.

— Подробности? Что ты имеешь в виду?

— Именно то, что я сказал. Ты должна подробно отчитаться о своих любовных делишках с твоим... с этим человеком.

— А если я откажусь?

— У меня есть хорошее средство заставить тебя. Ты не задумывалась о такой возможности?

— Задумывалась.

Она *задумывалась* и поделилась своими опасениями с Мэртой и Якобом: *он может отобрать детей*. Если дойдет до разъезда или официального развода, детей присудят ему. Таков закон.

— Поэтому для нас всех будет лучше, если ты постарайся быть предельно откровенной. Прошу тебя правдиво, без злобы ответить на мои вопросы. После чего я в тишине и спокойствии обдумаю твои ответы и в тишине и спокойствии, возможно вместе с юридически грамотным человеком, приму решение относительно дальнейших шагов. Ты поняла?

— Да.

— Ты хотела что-то сказать?

— Просто мне интересно: куда делись понимание и прощение? Куда подевалось твое понимание, о котором ты говорил в воскресенье вечером?

— Ты не можешь рассчитывать на неизменное понимание. Я впал в столбняк от твоей истории. Сейчас столбняк проходит, и я начинаю осознавать свой долг.

— Долг?

— Разумеется. Мой долг по отношению к детям. Я обязан в первую очередь думать о детях.

— Хенрик, пожалуйста, Хенрик.

— Поскольку ты столь недвусмысленно и бесцеремонно поставила во главу угла собственное удовольствие, тем самым подвергнув риску существование семьи, ответственность ложится на мои плечи — все очень просто. Я не потерплю выщербленных бокалов, скатертей в пятнах и грязных занавесок. Я не потерплю того разложения, которое — из-за твоего распутства — проникло в наш дом.

— Хенрик, ты не имеешь права...

— На что это я не имею права? Я имею право на то, что я обязан делать, что является моим долгом сейчас, в данную минуту. Я должен узнать все, до мельчайших подробностей. Я готов предоставить свои вопросы в письменном виде, если это облегчит тебе дело и — избавит от неловкости. А ты ответишь мне на них в письме, с которым я обойдусь строго конфиденциально. Само собой.

— Нет. Да, понимаю.

— Живя здесь один, я тосковал по семье. Радовался, что вам хорошо. Что дети здоровы. Я писал тебе, чтобы ты отдыхала, была веселой и мужественной, что мы скоро увидимся, что мы — в руках Божьих.

Анна закрывает лицо руками, она не плачет, просто вынуждена скрыть тяжелый гнев, разрывающий нутро. Надо быть благоразумной, надо собраться с мыслями, надо...

— Что ты хочешь знать?

— Когда ты была с этим человеком, ты раздевалась догола?

(Молчание.)

— Ты слышала мой вопрос.

— Я слышала твой вопрос, но мне кажется, я сплю. Хенрик, милый, это как во сне.

— Я задал прямой вопрос: ты была голая, вы были голые?

— Да, мы были голые.

— Весьма интересный факт, ибо передо мной ты обнажалась очень неохотно.

— Верно.

— Сколько раз ты была с этим человеком?

— Не знаю.

— Наверняка знаешь. Но стыдишься признаться.

— Думаю, около пятнадцати или двадцати.

— Сколько раз ты напрямую со своего любовного ложа шла ко мне в постель?

— Не знаю. Я пыталась уклониться, но потом думала — лучше уступить, чем нарваться на неприятности, только бы поскорее.

— Вот *это* любовь!

— Может быть.

— И как долго продолжалось это свинство?

— Если ты под свинством имеешь в виду мою любовную связь, то она продолжается чуть больше года. В прошлом году в Воромс на Иванов день приехали Ертруд и Тумас, ты должен был появиться неделей-двумя позже. Мама отправилась к сыновьям, я была одна с детьми. Потом, как я сказала, приехали Ертруд и Тумас, мы вместе отпраздновали Иванов день. В последующие дни мы втроем часто совершали длительные лесные прогулки. Однажды у Ертруд заболело горло, и она осталась дома. Мы с Тумасом дошли до Юрчэрна. Там есть заброшенный хутор. Я предложила Тумасу переспать со мной. Уговорила его.

— Но ты не забеременела.

— Нет.

— Каким же образом?

— Полагаю, что после всех несчастий во время последних родов я не могу иметь детей. Похоже, я разорвалась.

— Почему же ты, в таком случае, просила меня быть поосторожнее? Почему ты врала?

— Потому что одна мысль о твоём семени в моем теле была невыносимой.

— Но не о его?

— Не о его.

— Понимаю.

— Что же это ты вдруг понял?

— Понял, почему ты забросила дом в последний год. Например, выщербленные бокалы и грязные скатерти.

— Все как раз наоборот. Меня так мучили угрызения совести, что я с удвоенной силой старалась заботиться о тебе и детях. Работала как одержимая в приходе. Делала все, насколько хватало сил, все, что только могла измыслить. Можешь обвинять меня в самом ужасном, Хенрик. Но не в том, что я плохо вела дом, не работала в приходе, не в отсутствии заботы.

— И не в угрызениях совести.

— Пусть так. Но главное, я любила вас — да, и тебя — и старалась ничем вам не навредить. Насколько у меня хватало сил.

— А о чем вы говорили?

— Не понимаю.

— О чем вы говорили, ты и этот тип? Ведь вы же не все время занимались блудом.

— Не смей говорить мне такие слова.

Молчание, потом:

— Прости, ты права.

— Надо все-таки знать меру, Хенрик.

— Но о чем вы говорили? Он учится на священника. Совсем молодой, говорят, прекрасный музыкант. Пианист? Или?

— Его мучил вопрос, не покарает ли нас Господь.

— Ну и?

— Я считала, что мне, быть может, дозволено хоть раз в жизни испытать радость любви. Тумас был боязливее меня. Я молила Бога покарать *меня*, а не Тумаса.

— Так что вы превзошли друг друга.

— Что ты имеешь в виду?

— В религиозной эротике. Смачно!

Анна устала на Хенрика, она потеряла дар речи. Тоннель сужается, надежный фундамент действительности рассыпается в пыль и пепел. Точки опоры исчезли, земля ушла из-под ног. Анна встает:

— Меня сейчас вырвет.

Она пытается идти спокойно, но желудок извергает желчь, заполняющую рот. Анна стискивает зубы и успевает добраться до пригорка позади дуба — руки упираются в толстый ствол, ее рвет. Тело свело, затылок и подмышки, щеки и лоб в испарине. «Меня так еще никогда не рвало», — мелькает смутная мысль. Приступ стихает, она вытирает рот, но от дерева не отходит. Вокруг стоит вонь от рвоты.

Она скорее догадывается о присутствии Хенрика, чем различает его в сумерках, он держит у ее губ чашку с водой: «Выпей, я помогу тебе, тебя еще тошнит? а то пойдем в дом, полежи на диване в гостиной, я побуду с тобой, больше говорить не будем. Постараемся успокоиться, сейчас надо прежде всего обрести ясность ума, мы больше не станем причинять боль друг другу. Вот, смотри, так будет хорошо, вот подушка и одеяло, я посижу здесь, тихонечко. Опять начинается дождь. Пожалуй, закрою дверь на террасу. Вот так, и пусть лампа на буфете горит, чтобы мы видели друг друга, — если мы этого хотим, конечно».

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ (МАРТ 1927 ГОДА)

Мать Анны приехала на несколько часов из Упсалы, чтобы повидать дочь. Она сняла комнату в пансионате «Нюландер», на углу улиц Брахегатан и Хюм-легордсгатан.

Анна с Хенриком, которому дали отпуск на полгода (по причине «переломления и нервной слабости», как написано во врачебном заключении), провели какое-то время в доме отдыха. Встреча Хенрика с матерью Анны нежелательна, посему был избран вариант с пансионатом.

Мартовский день 1927 года.

Анна на улице.

Анна в дверях.

В прихожей.

Фрёкен Элин Нюландер с белыми, аккуратно причесанными волосами и черными глазами.

Длинный темный коридор, миновали кухню.

Фрёкен Нюландер просит прощения за то, что не нашлось комнаты по-лучше и побольше, но все занято вплоть до Пасхи. Речь ведь идет всего о паре часов.

Комната с узким окошком выходит во двор, обстановка состоит из трюмо, кровати и двух стульев — все белое. И еще умывальника с тазом и кувшином, ширма отодвинута, у окна — небольшой письменный стол. За ним сидит Карин Окерблом, из потрепанного портфеля она вынула папку. Фрёкен Нюландер спрашивает, не желает ли Анна чего-нибудь. Карин уже попила чаю, поднос стоит на стуле, и фрёкен Нюландер тут же берет его, чтобы унести. Нет, Анна не хочет чаю, и фрёкен Нюландер закрывает за собой дверь — она никогда не подслушивает. Идет с подносом прямо на кухню, выключает газ под чайником, после чего, закурив маленькую турецкую сигаретку, садится почитать «Свенска моргонбладет».

Как здороваются Анна с матерью? Обнимаются ли они, сбрасывает ли Анна поспешно пальто и шляпу, кидая их на стул возле двери, снимает ли ботинки, поправляет ли волосы перед мутным зеркалом трюмо? Какие движения, какие интонации главенствуют в первые минуты стыдливого свидания матери с дочерью в тесной, окном во двор, комнатухе благородно-тихого пансионата фрёкен Нюландер этим мартовским днем, с его кружащимися снежинками и месивом на улицах? Где-то во дворе заплакал ребенок. Но как бы там ни было, можно жить дальше, должно получиться, должно. До чего унижительно встречаться в тесной комнатенке пансионата фрёкен Нюландер.

— У меня мало времени! Поезд Хенрика приходит из Упсалы в пять. Он собирался взять такси, и к этому времени я хочу быть дома. Что сказал профессор Турлинг?

— Не много. Он внимательно выслушал мой рассказ и сказал, что тщательно изучил твое письмо. Но, естественно, отказался что-нибудь говорить, прежде чем не побеседует с Хенриком.

— Неужели он *совсем ничего* не мог сказать?

— Наберись терпения, Анна. Профессор Турлинг — опытный врач. Ты не можешь ждать, чтобы он опирался только на наши слова. Но одно обстоятельство он подчеркнул твердо. Положить Хенрика в больницу против его воли он не имеет права. Так называемое «принудительное лечение» возможно лишь в строго оговоренных случаях: если пациент представляет угрозу для себя или для других.

— Значит, прежде чем он сможет вмешаться, должно что-нибудь произойти?

— Профессор счел нужным отметить, что пока у него нет никаких доказательств помешательства Хенрика в том смысле, в каком это понимает закон.

— А вред?

— Вред?

— Вред, наносимый мне, детям. Это не считается?

— Анна, подойди, сядь напротив меня, давай поговорим разумно. Ислльзуем отпущенное нам время.

— Не могу, не хочу.

— Не стой же у двери. У тебя такой вид, словно ты собираешься сбежать.

— Сколько я должна терпеть?

— Сядь. Вот так.

— Мама! Все идет по кругу. Начинается с того, что мы пережевывали вчера, и позавчера, и позапозавчера: как может священник, потерявший веру, читать проповеди воскресенья за воскресеньем? *И*: это я виновата, что он потерял веру. Какое я имею право доводить его до краха и разорения? *И*! Ему немедленно требуется снотворное. *И*! Если он не засыпает, им овладевает злоба, которая трясет его так, что он раздражается слезами. Мне приходится зажигать свет. И потом. И потом? Что будет с *детьми*? Отец, не способный зарабаты-

вать на жизнь, вечно хворающий? Пастор, который не в состоянии читать проповеди? И что произойдет, когда он будет стоять на кафедре, в церкви черно от людей и все лица обращены к нему? А ему нечего сказать. Ибо вообще-то ему следовало сказать правду, а правда заключается в том, что я, Анна, его жена или кто я ему теперь, — что его жена превратила его в развалину, клячу, которая больше не способна отвечать за свои проповеди. Так все и идет, мама! А потом снотворное, и у него нет сил, нет сил. Что бы я ни говорила, что бы ни делала, все отравлено. Он смотрит на меня этим своим пустым взглядом, и глаза его наполняются слезами, слезами жалости к себе, — и говорит, что он *недостойный*. Что это чудовищное наследство для детей, что их жизнь будет адом. И еще говорит, что вообще-то хочет умереть. Но это *не правда*. Потому что он не хочет умирать. Он боится смерти, это я поняла, и все делается лишь для того, чтобы унижить меня, унижить. В конце концов оказывается, что это я во всем виновата, но, унижая и позоря меня, он в то же время, мама, в то же самое время требует от меня *утешения*.

— Я хочу кое-что спросить у тебя, Анна. И прошу ответить откровенно. Когда ты против моей воли и желания семьи вышла замуж за Хенрика, я предвидела сложности, борьбу, слезы. Но сейчас что-то не сходится. В одном я была уверена твердо — в том, что он любил тебя. Что же произошло? Что убило его чувство? Причины, видимые нам, не могли послужить достаточным основанием такой страшной перемены.

— Не понимаю, что вы имеете в виду, мама.

— Конечно, понимаешь. Я спрашиваю тебя, не считаешь ли ты, что в создавшейся ситуации есть доля твоей вины. Посмотри на меня, Анна! И ответь по возможности правдиво. Есть ли твоя вина в том, что происходит, в том, что разрушает вас обоих и угрожает детям?

— Да, есть.

— Тогда признайся, в чем твоя вина.

— Я не могу смириться с тем, что меня лишают свободы, не могу смириться с тем, что мне не позволено думать, как я хочу, чувствовать, как я хочу. Наш хороший друг, близкий друг Карл, Карл Альдерин, ты его знаешь, заканчивает юридический факультет. Ну и вот как-то он сказал, что весной закончить не успеет — ясное дело, он распустеха. А потом сообщает, что сумеет закончить лишь к Рождеству. И Хенрик приходит в бешенство и пишет ему, что, в таком случае, он отказывает Карлу от дома. Тот звонит мне, плачет, ничего не понимает. И я вынуждена закрыть двери нашего дома для этого бедняги.

Анна замолкает. Она видит, что этот аргумент не произвел на мать ни малейшего впечатления. «Да — и?» — изредка вставляет она, глядя на дочь синими глазами, — круглое лицо, высокий лоб, тяжелый двойной подбородок, тщательно уложенные блестящие белые волосы. Маленькая фигурка напротив дочери выражает пристальное внимание.

— Да — и?

— Неужели вы не понимаете, мама. Мне вдруг запрещают принимать друга, попавшего в беду. Нашего общего друга. Которого надо наказать.

— Это повод для досады, а не для трагедии. Настоящая причина, Анна?

— Я отбываю пожизненный срок и знаю, что мне никогда не выйти на свободу. Но я не хочу! Не собираюсь с этим мириться. Я не прощаю, не понимаю, я больше не люблю этого человека.

— У тебя есть другой?

— Нет... нет...

Ответ срывается с языка. Анна глядит прямо в глаза матери, в голосе ни тени сомнения: «Как вы могли подумать такое, мама?»

— Прости, что спрашиваю.

Молчание.

— Это вы, Ма, воспитали во мне любовь к свободе. Это вы настаивали, чтобы я получила хорошее профессиональное образование. Вы, Ма, и тетя Сигне говорили о праве женщины на собственную жизнь. Как же с этим быть?

— Трое детей меняют предпосылки, отодвигая собственный интерес на второй план. Ты сама знаешь.

- Да.
- Ты должна нести ответственность за жизнь детей.
- Именно этого я и хочу. Хочу уехать, взять с собой детей, создать здоровый, нормальный дом. Хочу вернуться к своей профессии. Если погибну я, погибнут и дети.
- Ты не можешь сбрасывать со счетов их отца.
- Вновь молчание. Молчание, молчание.
- Ты молчишь.
- А что мне сказать?
- Мы же намеревались поговорить откровенно.
- Когда вы, мама, приводите такие аргументы, я теряю дар речи.
- Возможно, на это есть свои причины.
- Причины есть, но они необязательно и есть правда.
- Молчание, молчание. Трудно.
- Очень трудно, Ма!
- Да, трудно. Потому что ты лжешь. И мне стыдно за твою ложь. Стыдно.
- Что мне скрывать?
- Совсем недавно я узнала, что уже почти три года ты состоишь в связи с человеком моложе тебя. Мне известно, как его зовут, известно, кто он, я знаю его родителей. Но я не назову его имени.
- Как вы узнали?..
- Это не имеет значения. Полтора года тому назад ты во всем призналась Хенрику. Начались проблемы. Почти год спустя у Хенрика происходит нервный срыв, и его кладут в больницу. С диагнозом «переутомление». Все правильно?
- Да.
- Твоя связь продолжается?
- Да.
- Хенрик хочет сохранить брак. Хочет возобновить работу, хочет попытаться...
- Да, знаю.
- Тебе отвратительна мысль о сохранении брака, и ты задумала разорвать его?
- Да.
- Планом предусматривается объявить Хенрика больным. Ты утверждаешь, что он душевнобольной. Ты хочешь, чтобы его поместили в больницу, и тогда окружающие не будут считать тебя виновной.
- Да.
- Ты посвящаешь в свой план меня. Ты лжешь и просишь меня помочь.
- Это был единственный выход.
- Я не намерена комментировать твоё поведение. В конце каждый сам ответит за свои поступки.

Анна издаёт короткий безрадостный смешок.

— Ваша любимая сентенция, мама.

Отчуждение, сумерки, бледные лица, дыхание несмотря ни на что, биение пульса несмотря ни на что. Смутный гнев: ты — моя мать, ты никогда не любила меня. Я пошла своей дорогой, дорогой, которую, правда, указала ты, моя мать, но когда я поймала тебя на слове и пошла той самой указанной тобой — о чем ты забыла — дорогой, ты вырвала меня из своего сердца, отказалась смотреть на меня. Я напрасно любила тебя и восхищалась тобой. Так было — и так есть.

А по другую сторону: вот сидит Анна, моя девочка, мое дитя, и неотрывно глядит на меня — мрачно, без притворства. Мне надо было бы протянуть руку, коснуться ее — это так просто. Надо было бы обнять ее — это совсем просто. Ведь ее раны — это мои раны. Почему же я ничего не делаю, почему смотрю на нее отчужденными глазами, как на чужую? Почему я ожесточилась, зачем воздвигаю препятствия, почему превращаю не относящиеся к делу причины в главные? Почему я не могу... Она оступилась. Дорогое мое дитя, почему я не обниму тебя? Моя девочка всегда шла своим путем, не слушала, она обрезала нити, отвернулась от меня, замкнулась. Я была бессильна, я была в бешенстве. Неужели это возмездие? Доставляет ли мне удовольствие видеть ее несчастной? Нет, ни малейшего. Но нет и чувства близости.

Сумерки, за узким оконцем — неспешный мокрый снегопад. Отдаленные обрывочные звуки рояля, по несколько тактов зараз. Анна смотрит на мать, повернувшуюся к угасающему свету из колодца двора. Да, как во сне. Здесь, в чужой комнате с чужим брандмауэром и чужими чувствами из ниоткуда. Привычные интонации, повседневные прикосновения и обращения где-то далеко-далеко, почти не существуют. Что происходит — где я и любовь, обветшавшая и поруганная, ощущаемая теперь лишь как боль? Тяжесть, мука, боль. Неизлечимая болезнь. Я же хочу... я думала, что непобедима, что я... гроссмейстер своей жизни. И рыдание, без слез...

— Итак, я еду в Упсалу семичасовым поездом. Ты возвращаешься домой к Хенрику и детям. Когда у вас обед? Ага, сегодня позднее, наверное, когда Хенрик придет? Тогда не будем дольше задерживать друг друга. Я только хотела обсудить с тобой кое-какие практические дела, если ты уделишь мне еще несколько минут.

Карин зажигает настольную лампу, надевает очки, открывает папку и с известной педантичностью вынимает из нее счета, бумаги и коричневый конверт.

— Твою записную книжку я искала везде: в ящиках письменного стола, в твоих сумках и в шкафу — все напрасно. Ты уверена, что Хенрик ее не брал?

— Не знаю.

— Кроме того, я позвонила в прачечную на Эстермальме, как ты просила, и договорилась с ними на конец месяца.

— Спасибо.

— И еще: имей в виду, что Эллен не останется. Поэтому я сократила отпуск Эви. Она уже раскрутилась вовсю. Но Эллен не останется. Во-первых, она страшно устала, во-вторых, ее поездка домой откладывалась уже два раза. Так что она рада вернуться ко мне в покой Упсалы. Будет лучше, если Эви возьмет все в свои руки с самого начала, поскольку ей предстоит заниматься хозяйством. Май была сильно простужена, но сейчас опять на ногах. Она девушка ловкая, и ты можешь полностью на нее положиться. А Эллен уехала. Три помощницы тебе ведь ни к чему?

— Ни к чему.

— Перед тем как приехать сюда, я зашла в магазин «Рэрстранд» и заказала шесть закусочных тарелок с тем же узором, что и имеющиеся. Их доставят на следующей неделе.

— Спасибо.

— Здесь в папке подписанные счета, они подсчитаны и занесены в хозяйственную книгу. Все сошлось — с точностью до трех крон.

— Спасибо.

— В конверте несколько писем Хенрика ко мне, которые, мне кажется, тебе следует прочитать. Ты спрашивала, как я узнала.

— Спасибо.

— Да, пока не забыла: я отнесла большую серебряную десертную ложку в мастерскую — отремонтировать и почистить. Хюмлегордсгатаң, один. Ложку получишь через месяц — у них масса работы, но я подумала, что если не сделать это сейчас, это не будет сделано никогда. Они обещали, что ложка станет как новая.

Больше добавить нечего. Анна встает, идет к стулу у двери и надевает пальто — шляпу она держит в руках. Поворачивается спиной к матери, которая по-прежнему сидит у окна. Хочет что-то сказать, но не находит нужных слов.

— Анна!

— Да?

— Подойди ко мне.

Анна послушно подходит к матери и останавливается возле нее, словно маленькая девочка, опустив голову и отводя глаза.

— Что вы собирались мне сказать, мама?

— Мне не хочется, чтобы мы расставались врагами.

— Я вам не враг. Напротив, я страшно благодарна вам, мама, за все, что вы сделали для меня в это долгое и трудное время. Даже не представляю, как бы все было, если бы вы, мама, не помогли. Так что я благодарю от всего сер-

дца. Я поступила глупо, не рассказав вам о моей связи с Тумасом. Глупо. Особенно потому, что я должна была бы предугадать, как поступит Хенрик. Это же ясно. Поставив вас в известность, он навредил бы нам обеим. Очевидно, это было выгодно во многих отношениях. Господи, Господи правый, как я ненавижу этого человека. Хоть бы он умер.

Анна говорит спокойно — это как бы просто констатация фактов: «Он следует за мной по пятам, точно подранок, говорит, что никогда не оставит меня. Говорит, что будет терпеть мою связь с Тумасом. И в то же время общаривает все углы, читает мои письма, подслушивает, когда я говорю по телефону. И глядит на меня этим своим водянистым взглядом, который я ненавижу, и говорит со мной этим своим тихим голосом. Знаете, мама, он рыщет в моих книгах, проглядывает подчеркнутые места и заметки на полях, он даже мой молитвенник пролистал. Порой мне кажется, что он сам дьявол. Но не это хуже всего. Хуже всего наши бессонные ночи. Он является ко мне в спальню в час ночи и будит меня. К этому времени он уже успел принять снотворное, сильное снотворное. И вот он лежит на полу, мечется из стороны в сторону и жалобно стонет или сидит, просто сидит на стуле возле двери и разевает рот, точно собирается кричать или блевать. Это настолько чудовишно, что меня разбирает смех. Потому что — вдруг он просто *разыгрывает трагедию*? Вдруг он просто хочет напугать меня, чтобы я сломалась и пожалела его? И я говорю, что сделаю что угодно, лишь бы он успокоился. И тогда начинается *тот самый* ритуал. Если мне предстоит жить так и дальше, то я отказываюсь, я уйду, открою газ или перережу себе вены...»

Тесную комнату с высоким потолком освещает лишь лампа под желтым абажуром, стоящая на тумбочке возле белой кровати с высокими спинками, покрытой вязанным крючком покрывалом. А так довольно темно. Мартовские сумерки за окном словно свинец, снег перестал. На фоне грязноватых отблесков города вздымается брандмауэр. Во дворе болтают две женщины в толстых шубах, с кувшинами в руках и в ботиках, наполовину утонувших в слякотном месиве. Там и сям начинает зажигаться свет в кухнях стоящего во дворе дома. Карин сидит на стуле, опираясь локтем левой руки на стеклянную столешницу секретера, лицо, повернутое к окну, ничего не выражает.

Анна стоит там, куда ей велено было встать, напротив матери, шляпу она положила на стул. На ней отороченное мехом элегантное пальто, руки в карманах, карие глаза расширены, но голос спокойный, сдержанный, словно она говорит о каком-то малознакомом человеке.

Карин не прерывает дочь, неизвестно, вслушивается ли она в сказанное или только воспринимает интонацию. Точно не знаю. Нет, она не прерывает Анну, не смотрит на нее. Позволяет ей продолжать.

— В сентябре, когда у него произошел срыв в то воскресенье после проповеди, он не хотел меня видеть. Отказывался говорить со мной, отворачивался. Я получала сведения от третьих лиц, в основном от фрёкен Терсерус, вы с ней знакомы, мама. Она сразу же встала на сторону Хенрика. Это она позаботилась, чтобы его поместили в Дом самаритян, это она говорила с профессором Фрибергером. Это она устроила Хенрику временное освобождение от работы. И она же сообщила мне, что он не может говорить со мной, не может видеть меня. Сначала я до смерти перепугалась. Боялась, как бы он чего не сделал, не знаю, что я себе напредставляла. И ведь во всем была виновата я, я просто заболела от чувства вины. Потом мной овладело бешенство, и я выбросила все это из головы. Как здорово, думала я, не видеть этого человека, который мучил меня целый год, с прошлого лета, когда я призналась. Потом наступила тишина. Я знала, что ему хорошо в этой больнице. Торстен Булин и Эйнар держали меня в курсе дел. Прошло какое-то время. Я начала устраивать свою жизнь с детьми, нам было хорошо, покойно и хорошо. Мальчики тоже утомились, исчезла бессонница, прекратились грызенье ногтей, ссоры и драки.

И тут стали приходиться письма. Сперва раз-два в неделю, потом каждый день. В основном это были отчеты о положении дел, как он себя чувствовал, кто его навещал, что сказал профессор. Постепенно письма приобрели более личный характер. Хенрик начал писать, что хотел бы уехать из Стокгольма. Хотел бы получить место в сельском приходе, где-нибудь на севере. Он заговорил о *нашем* будущем. В письмах сквозили прощение и озабоченная неж-

ность. Он писал, что тоскует обо мне и детях. Я спросила профессора Фрибергера, как мне к этому относиться, и он настоятельно посоветовал быть по возможности уступчивой. Да-да, я начала отвечать на его письма. Сперва односторонне, потом более подробно, прибегала к своего рода заботливой лжи. Я заставляла себя, это был единственный выход. И все шло нормально. На Рождество он приехал домой, ну да вы, мама, об этом знаете, все было хорошо, он все время принимал успокоительное, чувствовал усталость, но был приветлив. Своеобразный театр привидений, но ничего страшного. За день до его возвращения в больницу чуть не произошла непоправимая катастрофа. В воскресенье мы ужинали рано. Хенрик уезжал поездом в половине седьмого. Все было собрано и упаковано. Даг сидит справа от Хенрика, строит презрительные гримасы, опрокидывает в себя стакан воды так, как пастор Конрадсен — шнапс, обычно Дагу это здорово удается и вызывает поощрительный смех. На этот раз вышло по-другому. Вода попала не в то горло, он закашлялся и уронил стакан, стакан разбился. Осколки стекла и вода разлетелись по столу. Хенрик очень резко реагирует на внезапный шум и строгим голосом говорит мальчику, что тот должен следить за своим поведением. Даг не отвечая бьет ложкой по тарелке. Хенрик взрывается и велит ему выйти из-за стола. Даг, немного помолчав, произносит совершенно спокойно: «Вот и замечательно, значит, мне больше не надо будет вас видеть. Кстати, мы все так считаем». — «Что вы считаете?» — спрашивает Хенрик, тоже спокойно. «Все считают, что будет здорово, когда вы, отец, вернетесь в больницу». После чего встает и выходит из столовой, при этом громко хлопнув дверью. Происходит жуткая сцена. Хенрик идет за Дагом. Мы слышим кошмарные крики из детской. Он избил мальчика выбивалкой для ковров. Мы сидели за столом как в столбняке. Позже, когда крики затихли, я отправилась в детскую. Даг лежал ничком на полу. Он не издавал ни звука. Хенрик ушел в свой кабинет и закрылся на ключ. Мальчик был весь в крови, избитый, кожа на спине висела клочьями. Не могу говорить об этом...

Хенрик уехал в больницу. Мы не обмолвились ни словом. Долгое время писем не было.

Дядя Якоб получил официальное заявление Хенрика об уходе: он не хочет больше служить приходским пастором, поскольку считает, что выдохся и ни на что не годится. Дядя навестил его в больнице и попросил подождать с отставкой. После долгих разговоров и мучительных переживаний Хенрик обещал не приводить своего решения в исполнение. В конце февраля характер писем изменился. В них зазвучала неприкрытая мольба. Он писал, что мы повзрослели через страдания и очистились благодаря пройденным испытаниям. Я не имела понятия, что отвечать, и продолжала говорить полуправду. Я глушила страх перед будущим, глушила беспокойство, да, я пользовалась теми радостями, которые давала жизнь. И не упускала ни одной возможности видиться с Тумасом. Их было не так много, но я не переживала, все равно это было как во сне. Или, может, свидания с Тумасом и были единственно реальными, а все остальное — нет, точно не знаю. В начале марта, как вам, мама, известно, мы с Хенриком уехали в Сульбергу. Он считался «здоровым». Ну, да вы в курсе дела. Следовало постепенно уменьшать количество снотворных и успокоительных таблеток, и он должен был медленно привыкать к будничной жизни вместе со мной — об этом вам тоже известно. Профессор Фрибергер уехал в Америку читать лекции в каком-то университете, и его заменил профессор Турлинг. Особой беды в том не было. Да вы знаете. Вы же говорили с ним. Но вы, мама, не знаете, каково было там, в Сульберге. Я не могла об этом писать, потому что Хенрик следил за моей перепиской и требовал, чтобы я разрешила ему читать мои письма. Это был ад.

С другими отдыхающими, с директором и персоналом он был любезен, предупредителен, производил впечатление счастливого и гармоничного человека. Жутко было видеть это непроницаемое двуличие. Должна сказать, мама, что через какое-то время это начинает сбивать с толку, поскольку ты думаешь — а ведь он *может* казаться здоровым, нормальным, добрым, любезным и довольным. Ведь *может* же. Ах, не знаю, но я думаю о собственном двуличии и вынужденном поведении, и — что бы произошло, если бы я позволила себе сломаться? Если бы я — если бы я начала кричать? Почему Хенрик...

Действительно ли он болен — действительно ли он так безнадежно болен, что никогда не поправится? Сознает ли он *вообще*, что болен? Или же все это игра, чтобы добиться выгод и власти над другими, надо мной? Нет, не думаю, что это сознательно, не думаю, не настолько он подл, не хочу в это верить. А вы, мама, все время получали из Сульберги прекрасные сообщения. Кроме того письма, которое мне удалось отослать тайком, когда он выклянчил снотворное. Это письмо — я понимаю, что оно сбивало с толку. По-моему, помощи от профессора Турлинга нам не видать. Хенрик очарует его, будет выглядеть довольным, полным энергии и желания вновь приступить к работе. Дело обстоит именно так. Выхода нет, мама. Интересно, сколько ужаса, напряжения и безнадежности надо вынести человеку, прежде чем он сломается? Да-да, я тяну и тяну свою ношу. И дни идут. Но зачем? В чем сокровенный смысл? Может, существует какой-то тайный порядок, который мне не дозволено узреть? Я должна понести наказание? Буду ли я прощена, или наказание пожизненное? И почему за мое преступление надо карать детей? Или мое наказание заключается в страдании детей? Я заблудилась, заблудилась во мраке. И просвета не видно. Если Бог существует, я, наверное, на расстоянии вечности от этого Бога. Поэтому... — (замолкает).

— Ты собиралась что-то сказать.

— Поэтому я продолжаю встречаться с Тумасом. Я вижу, что он боится. Он влюбился в добрую, по-матерински заботливую женщину старше себя, которая слушала его рассуждения и его музыку. Он был доверчив и лишен всякого коварства. И вдруг — это почти смешно: не первой молодости, похотливая, внушающая страх женщина вцепилась в него мертвой хваткой. Не исключено, что он хочет отделаться от меня, хотя и не осмеливается — не осмеливается видеть, не осмеливается прогнать меня, а я ведь умоляю: *Тумас, пожалуйста, порви со мной!* Уходи, брось меня, если я тебе в тягость. Я не хочу портить тебе жизнь. Все это я ему говорю, но это лишь слова. И я неискренна с ним. Потому что вообще-то мне хочется кричать все эти дикие банальности: не уходи, не оставляй меня, я брошу все, все, что скажешь. Брошу детей и свою жизнь, только бы ты принял меня, позволил быть с тобой. *Вот правда.* Но не вся правда, ибо я до смешного разборчива. Говорят, любовь слепа, но это вовсе не так — любовь пронительна и чутка. И видит и слышит больше, чем хочется видеть и слышать. И я вижу, что Тумас — милый мальчик, теплый, чувствительный, умеющий радоваться. Но он чуточку сентиментален и часто говорит глупости, а я делаю вид, что не слышу. И потом, я думаю, а что было бы, если бы мы с ним... ничего бы не получилось... потому что он немножко любит приврать, и я слышу, когда он врет. Но мне не хочется смущать его, и начинается игра. Иногда я спрашиваю себя — спрашиваю себя, правдива ли я в эту самую минуту. И правда съезживается и исчезает, и ухватить ее не удастся. Мама, я запуталась. Все болтаю и болтаю, а на самом деле, скорее всего, устала и боюсь.

В дверь стучат. Не ожидая ответа, фрёкен Нюландер всовывает в щель свою белую напудренную физиономию и сообщает, что звонят. Вот здесь, в прихожей. Пожалуйста.

— Я оставила на всякий случай номер телефона Эви, — говорит Карин, но Анна не слышит. Она уже схватила трубку: «Алле, это я. Хорошо, что позвонили, Эви. Я иду. Буду дома через десять минут. Спасибо, хорошо».

Анна возвращается в разгар беседы матери с фрёкен Нюландер, которая немедленно испаряется, прикрыв за собой дверь. В черных глазках поблескивает воспитанное любопытство. «Может, позвонить и вызвать такси?» — спрашивает она из-за двери. «Нет, спасибо, не надо».

И, повернувшись к матери, Анна говорит, что Хенрик вернулся раньше, чем предполагалось, что теперь...

— Но, девочка моя, ты просто была в городе, приходишь домой, удивляешься, это ведь...

— Мама, вы должны пойти со мной. Иначе Хенрик решит, что я...

— Нет, я не намерена встречаться с Хенриком, об этом не может быть и речи.

— Что мне делать... Что мне делать?

— Немедленно иди домой, Анна.

Анна в отчаянии смотрит на мать, крепко сжимающую ее локоть. Потом опускает голову, берет со стула шляпу и поворачивается к зеркалу.

— Милая девочка, береги себя.

Это вырывается неожиданно, возможно, обе женщины удивлены в равной степени. Анна бросается матери на шею, но та не отвечает на объятия, а лишь похлопывает дочь по спине.

И на мгновение замирает. После чего Анна поспешно уходит, чуть не забыв сумочку, — мать показывает на нее пальцем, Анна молча кивает.

Так. Теперь Карин одна в тесной комнатке пансионата. Где-то в глубине, за стенами и перекрытиями, звучит последняя часть фортепьянной сонаты Бетховена, исполняемая с неимоверной тщательностью. Карин закрывает рукой глаза. Не то чтобы она плачет — с этим давно покончено, — но все-таки на душе горе.

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ (МАЙ 1925 ГОДА)

Анна читает вслух:

— «Мольде расположен в замечательном месте с великолепным видом на фьорды и заснеженные горы Ромсдальсфьеллет. Дома — по большей части деревянные — купаются в чуть ли не по-южному пышной зелени. Летом М. — довольно оживленный туристический центр. Статус города он получил в 1742 году, а в 1916-м сильно пострадал от пожара».

Они уже давно в дороге, каждый добирался сам по себе. Место встречи — Ондальснес, там заканчивается железнодорожная ветка из Осло. Тумас, приехавший на пару дней раньше, устроился в пансионате в порту. Последний отрезок пути в Мольде они, стало быть, должны проделать вместе на маленьком пароходике «Оттерэй». Тумас встречал ночной поезд, который прибыл по расписанию. Они успели позавтракать в пансионате (но оба были так взвинчены своим опасным приключением, что им практически ничего не лезло в глотку). После чего не спеша двинулись к набережной. О чемоданах Анны позаботился носильщик. Тумас уже загрузил на борт свою незначительную поклажу.

С моря дует свежий ветер, звонит рында, убирают трап, отдают швартовы. Пароходик, осторожно отчалив, лавирует между рыбацкими лодками, грузовыми кораблями и парусниками. В сумрачном, отделанном плюшем и пропахшем плесенью салоне Анна обнаружила книжечку о цели их путешествия — городке Мольде в дальних фьордах.

Они давно, несколько месяцев, говорили об этой поездке. Теперь, стало быть, она осуществилась. Официально Анна едет в гости к своей подруге Мэрте Ершё, уже давно ставшей ее единственным душевным другом.

В Мольде собрались на свой конгресс миссионеры со всей Скандинавии, сотни мужчин и женщин, приехавших из Африки и Китая. Мэрта, только что вернувшаяся из Конго, временно живет в доме тетки. Она уже много раз приглашала Анну приехать на несколько дней. Когда же Анна поинтересовалась в письме, не будет ли Мэрта возражать, если в городе в это же время окажется и Тумас, фрёкен Ершё ответила, что будет рада ему и что конгресс перебирается в Трондхейм, где в Домском соборе состоится торжественная экуменическая месса. Это означает, что Анна с Тумасом останутся в старом доме одни на два дня. Тетка Мэрты, жена министра, лечит ревматизм на курорте в Тироле.

Пассажиров на борту совсем мало. Как раз в эту минуту они одни в маленьком салоне, Анна закрыла путеводитель. Ее рука ищет его руку, Анна закрывает глаза, быть может, спрашивая себя, что она чувствует, и с удивлением констатирует, что не чувствует ровно ничего. Разве что сосущий голод, поскольку она была не в силах что-нибудь съесть за завтраком.

Они вышли из фьорда, море переливается в грозových порывах и встречном ветре, корабль ныряет, и иллюминатор окатывает брызгами серебристой воды. Блестящая латунная лампа степенно покачивается на своих цепях. Вокруг треск и скрип. Из-за стены, прилегающей к ресторану, доносятся женские голоса. Наверное, накрывают к беду.

У Тумаса мальчишеское лицо, открытое, прямодушное, приветливые глаза — карие с зеленовато-голубоватым отливом. Большой упрямый рот, массив-

ный нос, по-девичьи маленькие уши. Густые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб. Тумас высокий и стройный, руки, как и положено пианисту, крупные. Ногти обгрызенные. На нем опрятный, слегка залоснившийся костюм, который ему немного маловат, что усиливает впечатление мальчишеского облика. Тумас часто улыбается. Голос у него — выразительный музыкальный инструмент, находящийся в умелых руках.

На Анне юбка и блузка с широким отложным воротником, на шее — золотой медальон на тонкой цепочке. Широкие рукава с манжетами в цвет блузки. Юбка, до щиколоток, перехвачена широким вышитым поясом с кожаной пряжкой. Волосы, как и полагалось в те времена, причесаны на прямой пробор, но после недавнего мытья чуть растрепались. Лицо горит, точно у нее температура, она прикладывает тыльную сторону ладони к щеке — горячая, наверняка температура.

До последней секунды Тумас надеялся, что она не приедет, заболеет, или заболеет кто-нибудь из детей, или у Хенрика отменится поездка. Целый час до ожидаемого прихода ночного поезда из Осло он мерил шагами платформу. Откровенность вряд ли была отличительной чертой его характера. А сейчас он сразу же скажет ей — что скажет? Но тут с шумом и грохотом подкатил поезд, и земля задрожала, как и он сам. Вот длинная змея вагонов остановилась в ясном свете дождя, из паровоза и между вагонами валили тяжелые клубы пара, и сквозь них хлопотливо и целеустремленно заспешили по каменному перрону люди. Тумасу хотелось улигнуть. Это была последняя возможность избежать чего-то громадного, чего-то, что, возможно, раздавит его. Но... Она появилась у него за спиной. Окликнула осторожно, словно бы угадывала его страх и не хотела пугать еще больше. Когда он обернулся и увидел ее совсем рядом, страх испарился. Молчаливая и серьезная, она была совершенно спокойна, по крайней мере так казалось, потом, улыбнувшись, показала на чемоданы, стоявшие справа и слева от ее ладной фигурки. «Да, надо бы позвать носильщика, вот именно. Вон идет один. Эй, доброе утро, вот эти два чемодана надо отнести на пароход, отбывающий на Мольде в два часа. Я расплачусь прямо сейчас. Не требуется? Увидимся на пароходе?» Носильщик ставит чемоданы на тележку с другой поклажей и мелом пишет на них «Мольде».

Покончив с этим, они вновь замерли друг против друга, улыбающиеся и серьезные. «Ну что, может, теперь поздороваемся? Здравствуй, дорогой Тумас». — «Здравствуй, Анна». Они протягивают друг другу руки.

— Как мило, что пришел меня встретить. Мы ведь договорились увидеться на пароходе.

— Я ждал несколько часов. Часа два, думаю.

— И, наверное, надеялся, что я не приеду?

Анна, внезапно рассмеявшись, гладит его по щеке рукой, затянутой в перчатку. «Ладно, идем», — говорит она решительно. И они идут.

Стук моторов. Медленное скольжение вниз. Треск деревянной обшивки салона. Голоса в соседнем помещении. Вихри воды за иллюминаторами.

— Тебя обычно укачивает? — спрашивает Тумас.

— По-моему, нет. Однажды, давным-давно, мы с мамой и Эрнстом переплывали Ла-Манш в шторм. Все заболели, кроме меня и Эрнста.

— Даже твоя мать?

— Даже она, подумать только!

Молчание. Доверительность.

— Да, Тумас. Мне кажется, нам надо обсудить кое-какие *практические детали*.

— Я предполагал, что это будет необходимо.

— Как я писала тебе, нас пригласили пожить в доме тетки Мэрты за городом. Мэрта — моя лучшая подруга со времен училища в Упсале. Она единственная, кто знает. Ближайшие дни она будет в отъезде, поэтому ключ оставила у одной женщины, которая живет рядом с гаванью.

— Значит, все в порядке?

— Не думаю. Я не хочу вовлекать Мэрту в нашу драму, если что случится. Я предпочитаю жить в гостинице. Там достаточно нейтральная обстановка. Что скажешь?

— Не знаю, это так неожиданно.

— Поэтому я заказала номера в Городской гостинице — двухместный и одноместный.

— Но я, пожалуй...

— Тумас! Это мое дело. Ты настаиваешь на оплате дороги. Это и так много!

— Тебе не страшно?

— Если начну задумываться, то станет страшно. Посему я не задумываюсь. Планирую, но не думаю. Меня пугает только одно...

— Ну, говори.

— Меня пугает только одно — что теперь наша любовь должна принять какие-то ошеломляющие формы, чтобы оправдать наш поступок. Может, наша любовь не выдержит такой нагрузки?

— Ты так считаешь?

Анна, схватив его руку, подносит к губам и целует.

— У тебя ласковая рука, Тумас. Вначале, — я хочу сказать — до всего, — я смотрела исподтишка на твою руку и думала, что вот *эта* рука...

— Да?

— Не скажу. Давай поговорим еще об одном практическом деле.

Она выпускает его руку и берет сумку, лежащую рядом на диване, открывает ее, роется, вынимает маленькое портмоне и из потайного кармашка достает большим и указательным пальцами обручальное кольцо.

— Это обручальное кольцо моего дедушки, маминого отца. Он оставил его мне на память. Теперь *ты* его поносишь несколько дней. Пастору Эгерману не подобает быть без кольца. Гостиничный персонал наверняка обратит внимание.

— Ты все продумала.

— Ты огорчен?

— Нет-нет. Но вот это, с кольцом... Не знаю.

— Будь же разумным, Тумас. Кольцо разрешает практическую проблему, и только. Немножко даже забавно. Интересно, что говорит дед на своих небесах?

— Что его внука — безбожница, злая, распущенная язычница.

— Бери кольцо, Тумас.

— Что-нибудь еще?

— Вот письмо Мэрте, в котором мы благодарим ее за заботу, но отказываемся от приглашения.

Кольцо лежит на ее раскрытой ладони. Он колеблется. Она решительно надевает кольцо ему на палец — с жестом нетерпения.

— А теперь мы накидываем плащ-невидимку на наши два дня. Никто не знает. Никто не видит. Как сон. Но мы сами должны позаботиться, чтобы он не превратился в кошмар.

— Ты плачешь? — спрашивает Тумас едва слышно.

— Я почти никогда не плачу. Давно перестала.

— Я тоже тосковал.

— Иногда я думаю: бедный мой Тумас, он, наверное, в ужасе от всех этих чувств. Его собственных чувств и чувств Анны. Если он тоскует, то, быть может, по чему-то другому — не знаю, чему-то тихому, красивому, свободному от лжи. Нет-нет, *я не буду* плакать, ведь я совсем не расстроена. Не надо утешать меня.

Он обнимает ее за плечи, притягивает к себе, она не противится, но почти сразу же высвобождается: «Нет, — говорит она решительно и мотает головой, — *нет*. Воистину мне не на что жаловаться. Это лучшие часы в моей жизни. Пойдем полюбуемся на волны, шторм и горы. На корме наверняка есть где укрыться от ветра. Идем, Тумас!»

Пароход «Оттерэй» причаливает дважды перед конечным пунктом — Мольде. Сперва он отклоняется на восток и заходит в тесный, глубокий фьорд Лангфьорден. В глубине расположено местечко Эйдсвог. Там пароход стоит час для погрузки, берет на борт пассажиров, после чего выходит из фьорда, поворачивает на север и причаливает у рыбацкой деревушки Ветэй. И наконец корабль берет курс на Мольде, куда рассчитывает прибыть к вечеру.

Тумас с Анной одни в маленьком салоне. Они немного подремали, проснулись и снова прикорнули, свернувшись калачиком на красном пахнущем плесенью плюше и укрывшись своими пальто.

Итак, пароход замер у причала Эйдсвог, моросит дождь. Гора укрывает от ветра. Шум погрузки и разгрузки почти не слышен. Сквозь тишину слабо доносится голоса немногочисленных пассажиров и команды, топот, приказы.

Но вот возле салона раздаются шаги. Кто-то решительно стучит в дверь. Не дожидаясь ответа, узурпатор входит и останавливается у двери.

Это высокая женщина лет сорока, одетая в строгую форму шведских церковных сестер милосердия. Зонт, высокие боты. Перчатки. Аккуратная сумочка. Открытое крупное лицо, высокий лоб, туго зачесанные назад волосы, широко распахнутые пронзительно-голубые глаза. Мощный нос правильной формы. Губы неоднозначны. Мягкие, красивые в середине, они ужесточаются ближе к уголкам рта, где демонстрируют уже только решительность. Дама не отличается красотой, но привлекательна. Улыбаясь (а именно это она сейчас и делает), она становится почти хорошенькой. Лоб Анны заливают краска. Лицо Тумаса не выражает ничего — может, ментальное замыкание.

— Мэрта! — восклицает Анна.

— Собственной персоной, — отзывается Мэрта, прислоняет зонтик к одному стулу, кладет сумочку на другой, перчатки на сумку, снимает форменную шляпу, помещает ее на стол под лампой, расстегивает длиннополое пальто. Совершая эти действия, она говорит — на ярко выраженном смоландском диалекте:

— Здравствуй, Анна, здравствуйте, кандидат. Могу представить, как вы удивлены. Милая Анна, у тебя, несмотря ни на что, здоровый и радостный вид. И к тому же щеки пылают.

Она порывисто и неуклюже обнимает Анну и за руку здоровается с Тумасом, который встал, опрокинув при этом чашку с чаем.

После чего все трое на какое-то время замирают, вряд ли погрузившись в размышления, скорее от растерянности.

— Сядем? — предлагает Анна несколько неуверенно. — Хочешь чаю? Я могу заказать. Есть также бутерброды, если ты...

— Нет, спасибо. Я приехала сюда несколько часов назад и, чтобы убить время, до отвала наелась в пансионате — так что спасибо, не надо. Зато мне бы хотелось — если кандидат не обидится — поговорить с глазу на глаз с Анной. У вас ведь нет каюты? Нет, я так и думала и посему купила каюту, где мы с Анной можем уединиться. А вы, кандидат Эгерман, оставайтесь здесь и почитайте книгу. Возьмите ту, что я взяла в дорогу.

Из чемодана извлекается толстый том.

— Пожалуйста, это вы наверняка не читали. «Деяния любви» Киркегора, 1847 года, новое издание, перевод и комментарии Торстена Булина.

— Если нам надо поговорить, то только в присутствии Тумаса. Это необходимо.

— Единственная необходимость — нам с тобой поговорить наедине.

— Делай так, как говорит твоя подруга.

Анна удивленно смотрит на Тумаса, но склоняет голову в знак согласия. Мэрта с некоторым педантизмом собирает свои вещи, после чего женщины покидают салон. Дверь закрывается, женщины скрылись из глаз, и Тумас несколько мгновений стоит в нерешительности. Потом с размаху садится на диван, засовывает руки в карманы и начинает насвистывать какое-то ларго. Закрыв глаза, он прислушивается к биению пульса за ухом и вибрации машин в глубине судна.

Пароход, выйдя из гавани, набирает скорость. Сквозь облака пробивается яркий свет майского дня, мерцают дождевые капли на стекле иллюминаторов. Внезапная дрожь, неожиданная грусть: это не я, это не принадлежит мне, я беден, буду беден всегда, еще беднее, буду нищим. Блаженны нищие духом. Мы и в самом деле столь блаженны?

— Сегодня в шесть утра я села на быстроходный корабль, чтобы перехватить вас. Хотела передать ключ лично, дабы не вмешивать фру Бекк и избивать ее расспросов.

— Мы как раз решили поселиться в гостинице. Я уже заказала номера. Мне не хочется жить с Тумасом в чужом доме, в чужих комнатах с чужой ме-

белью. Ты должна понять! Это первый и, наверное, последний раз, когда мы с ним можем побыть вдвоем.

— Как тебе могло взбрести в голову, что гостиничная комната в центре города, с ее тонкими стенами, любопытной обслугой и презрительными понимающими взглядами, будет лучше тишины в старом, окруженном громадным садом доме? Как ты себе это представляешь?

Анна сидит на низенькой скамеечке, прижимаясь спиной к стене, голова опущена. Она играет пуговкой на манжете, которая вот-вот оторвется.

Каюта мягко покачивается, время от времени окно окатывает прозрачная зеленая вода.

— Я, пожалуй, готова, — говорит Анна.

— Готова, — что значит готова?

— Десять лет назад. Серый безветренный день в начале сентября. Я стояла у окна пасторской усадьбы, выходявшего на реку — черную, как чернила. И тут пошел снег — он падал прямо-прямо. Вокруг меня была тишина — повсюду, ни единого человека. Я словно бы осталась одна на белом свете. Мы с Хенриком поссорились. Он молчал, день за днем. Я погибала и отворачивалась. Мы были женаты два года. Два года, Мэрта, у нас уже родился наш малыш. Я стояла у окна, в тишине, и вдруг увидела, понимаешь, *увидела* все, что натворила. Помню очень ясно, как я подумала: это не моя жизнь и этот человек — не мой муж, и единственное существо, имеющее право чего-то требовать от меня, — малыш, который спит в своей корзинке в спальне. Я осознала, что все это надо разрушить. Это было совершенно очевидно. Я ощутила своего рода радость. Почувствовала, что справлюсь, и вообще я могу справиться с чем угодно. Будут слезы и страдания. Но я не смирюсь. Не собираюсь больше стоять и глазеть на этого отстранившегося от меня нытика. Не разрешу больше унижать меня этими недовольными, мелочными придирками. Мне было двадцать шесть, и в это решающее мгновение я знала, чего хочу от жизни.

Так что я взяла малыша и уехала в Упсалу. Естественно, я воображала, что Ма обрадуется, поскольку она много лет плохо относилась к Хенрику и нашему браку. Я думала, что вернулась домой. Но я ошиблась. Мама почти сразу заявила, что я, конечно, могу остаться на несколько дней, но она не намерена предоставлять убежище сбежавшей жене, и что мой само собой разумеющийся долг — вернуться к Хенрику, и что я сделала выбор, и что человек выбирает только *один раз* и другого выбора нет. Через три дня я уехала обратно. Спустя два года, весной 1917 года, я сделала новую попытку сбежать. На сей раз меня забрал Хенрик, и вскоре мы переехали в Стокгольм. Не стану преувеличивать. И не хочу быть несправедливой. Наши будни вовсе не были адом. Мы превратились в двух тягловых лошадей, которые сообща тянули тяжелый груз. Моя несвобода не была слишком невыносимой. Я не это имею в виду. Но вот появился Тумас. Прошел уже почти год, да, это случилось в прошлом году, на Иванов день. А потом последовало «нарушение супружеской верности», если ты понимаешь, о чем я. И вдруг уже не было времени остановиться и перевести дух. А теперь эта поездка. Не думай, будто это какой-то внезапный каприз. Эта поездка — не знаю, как сказать, — эта поездка связана со смертью. Нет, я не нахожу слов, чтобы выразить то, что хочу сказать. Но разве, когда ты обнаруживаешь собственное одиночество — я имею в виду *абсолютное одиночество*, одиночество в смертный миг, одиночество ребенка, — разве тебе не становится больно? Я знаю, Мэрта! Ты никогда не испытываешь одиночества. Ты живешь в руке Божьей. Я тоже пыталась, пыталась, но такой общности достичь так и не сумела. Нет, *одна* — четко и ясно. И тут в моем одиночестве возник Тумас. И теперь мы с ним оба можем сказать: мы не одиноки.

Анна усмехается:

— Да что говорить. Стоит ли говорить что-то еще, кроме того, что я в прекрасном настроении, чувствую себя *неважно*, хочется спать, но сейчас я счастлива — дай мне мяч, возьми мою куклу. Мне грустно, но вряд ли стоит говорить «мне грустно», поскольку никому до этого нет дела.

— Когда я покидала сегодня Мольде, у меня была куча всяких соображений, не морального свойства — нет, как ни странно, это меня не занимало с самого начала. Нет, мне было любопытно посмотреть на Тумаса — я ведь по-

мню его совсем маленьким. Его мать тоже собиралась посвятить себя церкви, стать сестрой милосердия, мы — ровесницы. Потом она вышла замуж, родилась Тумас — ладно, это к делу не относится. И еще я хотела отдать тебе ключ. И надеялась, что ты вернешься домой в целости и сохраннысти и что мы с тобой сообща составим план на случай, если кому-нибудь взбредет в голову задавать вопросы. Кроме того, я по-настоящему скучала по тебе. Ты ведь для меня как младшая сестричка, о которой я должна заботиться. Наверное, я чуточку ревную. Я хочу сказать — ревную к Тумасу. Но пусть это тебя не волнует. Так что, пожалуй, было глупо с моей стороны приезжать таким вот образом. Столь невероятно рассудительная особа — и вдруг срывается с места. Прости меня.

— Дай мне, пожалуйста, ключ.

— Что? Ключ?

— Нет, не спрашивай. Пожалуйста, дай мне этот чертов ключ.

— Я закупила все, что вам может понадобиться, — сегодня же суббота. Дрова для кафельных печей, уголь для железной печки и керосин для ламп — все есть.

Анна берет ключ и прячет в сумку.

— Что ж, пора возвращаться к Тумасу. А то он, наверное, удивляется.

— Я вернусь из Трондхейма во вторник утром. И займусь домом.

Анна обнимает подругу. Прижавшись друг к другу, они покачиваются, нежно и утешающе.

Боркмановская вилла находится в нескольких километрах от города, у подножия гор. Здание представляет собой результат веры в будущее и архитектурной радости 1880-х годов. Обширный, но запущенный сад заселен сомнительными копиями классических статуй. Кое-какие состарившиеся фруктовые деревья уже зацвели, песчаные дорожки усыпаны прошлогодней листвой. На клумбах у южной стены дома сияют весенние цветы.

Они обходят дом, и Анна отпирает дверь на кухню; время — около семи вечера. Дождь прекратился, ветер стих, и с крутого горного склона сползает пронизывающий холод. Вдалеке слышится глухой рокот: водопад невидим, но постоянно напоминает о себе. Солнце закатывается за горы, ярко освещая облака на западе, свет по-майски мягок, без теней. Все это вкупе с полинялой элегантностью громадных, перегруженных мебелью комнат, запахами старого горя и давно увядших роз вызывает у Анны неожиданное предчувствие беды. В доме наличествует электрическое освещение — сонные карбидные лампы, дающие бледный желтоватый свет, немилосердно разоблачают запустение дома — канувшее в Лету величие.

Они опускаются на чересчур мягкий диван в гостиной с высокими, обрамленными тяжелыми гардинами окнами, выходящими в майские сумерки сада, на цветущие фруктовые деревья. Они берутся за руки: да, мы сейчас далеко. Вот мы и осуществили свою мечту. Или же это лишь искусная версия нашей мечты — дело рук демонов? Существоем ли мы вообще? — но ведь наша дерзость покарала нас одышкой и бледностью лиц? Что с нами? Может, мы попали в западню, с нежностью и заботой устроенную нам дорогим другом? Смешно? Будем смеяться — или уже пора плакать?

В этой атмосфере растущей грусти, отнюдь не элегической, Анна проявляет практичность: «Думаю, нам надо поесть и прежде всего выпить. Помнится, Мэрта упомянула про две бутылки вина, которые она поставила на ледник. Идем, дружок, мы еще поборемся. Нас ведь не казнят на рассвете, правда? Мы же приехали наслаждаться, Тумас».

Вид двух печальных физиономий в засиженном мухами зеркале с золотой рамой вызывает у Анны смех. Анна смеется, и Тумас невольно ей вторит, несмотря на владеющий им страх. Стоя рука об руку, они рассматривают свидетельство зеркального стекла. Созерцание и внезапная радость возвращают им былую близость. Тумас обнимает Анну, целует. Она отвечает, но останавливается и с мягкой решительностью отталкивает его.

Она стоит, голова опущена, рука упирается в его плечо. «Нет, не сейчас, у нас впереди — вечность. Удивительно, правда?»

Много лет тому назад министерша Боркман вела большой дом — множество прислуги, многочисленные гости, большая родня, не слишком многочисленными выдающиеся друзья и некоторое количество хорошо воспитанных прихлебателей. Кухня спланирована соответственно. Все, кроме могучей плиты, имеется в поражающем воображение множественном числе — кладовые, ледники, мойки, газовые счетчики, кухонные часы, подъемники для кушаний, сигнальные приспособления, переговорные трубы, сервировочные столы, обеденные столы, керосиновые лампы, столы для выпечки, разделочные столы, высокие стулья, низкие стулья, скамейки, шкафы, окна без занавесок, выходящие на огород, внушительных размеров дощатый пол без ковров, нагреватели для воды, насосы для холодной воды, помойные корыта, стеклянные шкафы, забитые всяческими предметами первой необходимости, кухонная утварь, сервизы для буден и праздничная посуда, серебро и керамические вазы.

Они накрыли на длинном столе с выскобленной столешницей, стоящем в центре кухни, уже поели и выпили. Зажгли свечи и теперь сидят друг против друга. Тонкие бокалы наполнены, красуются бутылки. Одна уже опорожнена.

— Да, Тумас, твоя Анна чуточку опьянела, и скажу тебе — последний раз такое было не вчера. Я родилась под знаком Льва, — собственно, я дочь своей матери, а моя мать, Тумас, не из трусливых. А ты меня боишься?

— Иногда — да, иногда боюсь.

— Что же тебя пугает?

— Не знаю. Но это не то, что ты думаешь.

— Вот как. Не то.

— Мне делается страшно, когда ты...

— Когда я беру инициативу?

— Да, что-то в этом роде.

— Хочешь еще вина?

— Да, спасибо. Как хорошо.

— Ага, хорошо. Забудь о завтрашнем дне. Кстати, мы больше никогда не будем строить планов.

— Ты жалеешь, что затеяла эту поездку?

— Нет. Хотя, впрочем, — да, но не так, как ты думаешь.

— А как же?

— Этого я сказать не могу.

Она целует его ладонь, прижимает к щеке, целует еще раз, кладет себе на лоб.

— Идем, мой любимый. Идем зайдем спальню министерши и ее кровать, пока нам не изменило мужество.

Другие комнаты были бы, наверное, удобнее, но получилось так, что Мэрта постелила им в заботливо согретой и тщательно прибранной спальне министерши. На обоях — явно весьма дорогих — мутно горели розы, кафельная печь представляла собой отливашую зеленую башню, увенчанную ракушками и вьющимися водорослями. В центре комнаты величественно возвышалась черная блестящая резная кровать. Над перинами и пуховыми подушками колыхался балдахин. На картинах были изображены сцены из сельской жизни: сбор урожая, великолепные лошади и галдящие дети в национальных костюмах. Висел там и обрамленный черной рамой портрет усопшего десятилетия назад министра — дородного, но статного господина с седыми волосами, пышными бакенбардами и бородой, большим носом и строгим взглядом. На отлично сшитом мундире теснились ордена отечественного и зарубежного происхождения. Бархатные с вышивкой занавеси на высоких окнах были задернуты, скрывая весенние сумерки.

Сводчатый потолок был отделан лепниной. Над дверью в небольшой будуар и дверью поменьше — в хитроумно сделанную туалетную комнату — парили гипсовые херувимы, запутавшиеся в цветочных гирляндах.

Этот мавзоль был до отказа забит молитвами, разочарованиями, слезами, скрытой похотью и тайными приступами гнева министерши, там пахло вареной цветной капустой и чем-то еще, что, вероятно, можно было бы назвать давным-давно мумифицированными крысами. В то же время пробивался и слабый аромат тяжелых духов министерши — мускус и лепестки розы.

Анна останавливается на пороге и вновь смеется: «Нет, это невероятно. Тумас! Ну, что теперь скажешь!» Хлопнув в ладоши, она обнимает Тумаса за талию и вталкивает его внутрь. «Но нам нужен свет!»

Она находит шнур, и комнату заполняет мягкий ночной свет — свет майской ночи. Комната увеличивается, наполняясь черными тенями и внезапно высвеченными предметами: напольные часы с золочеными стрелками, две колонны ионического стиля, разрисованные вьющимися лесными цветами, маленькая мраморная статуя обнаженной девочки, сидящей на корточках, с поднятой головой; в стороне — письменный стол с богатой резьбой, японская ширма, тонкая и прозрачная, застекленный шкаф с книгами в переплетах.

Вот в этой декорации и будут спать любовники. Любовники, чей опыт ограничивается робкими встречами на кровати в грязной студенческой комнате. Они еще не видели друг друга обнаженными, разве что на солнце и ветру сквозь скабрзную откровенность мокрых купальников. Они страстно обнимались, целовались до крови на губах, ошупью, порой на грани отчаяния, изучали тайны друг друга. Все это происходило с закрытыми глазами, неуклюже, наспех. Неуверенность делает их робкими, ибо их тела еще не обрели общего языка.

Поэтому нужно следовать озарению Анны: «Сейчас мы разденемся — по-одиночке. Я разденусь в туалетной комнате, а ты в будуаре. Только не зажигай света, окно выходит на дорогу, вдруг кто-то мимо пройдет и заинтересуется, чем это министерша занимается на старости лет». — «Хорошо, так и сделаем», — кивает Тумас с облегчением оттого, что Анна проявила инициативу.

Анна раздевается в желтом свете одинокой электрической лампочки в виде ландыша, висящей где-то в отдаленной высоте туалетной комнаты фру Боркман. Узкое зеркало на двери отражает Анну целиком — с головы до пят. Вот она распустила узел на затылке, тяжелые волосы струятся по спине и плечам, доходя до талии, в тусклом свете сверкает белое кружевное белье: панталоны до колен с ленточками и широкой резинкой на талии, строгий, сшитый по фигуре лиф, который она, предварительно отстегнув подвязки, державшие с помощью безыскусных пуговок темные шелковые чулки, расстегивает пуговица за пуговицей. Рубашка, украшенная широкими кружевами, чуть приталена и заканчивается вышитой каймой на высоте бедер. Теперь на Анне не осталось ничего, кроме украшений — обручальных колец, медальона на золотой цепочке и маленьких бриллиантовых сережек. Она стоит голая, молодое стройное тело четко отражается в зеркале, освещаемом лампой. Тонкие руки, запястья, округлые гладкие бедра, живот со следами трех беременностей. Обследование объективное, но эмоциональное, нельзя поддаться мгновенному ощущению нереальности. «Ночная рубашка», — произносит она вслух и натягивает фланелевую рубашку безо всяких изысков. Продуманный выбор, разумный. Целомудрие и безыскусная чистота поверх душевной бури. Не думать... может, помочиться? Да, это ей крайне необходимо. Ватерклозет министерши стоит на небольшом возвышении в торце туалетной комнаты. По бокам — блестящие латунные поручни.

Тумас разделся и сидит на краешке одного из обитых шелком стульев будуара. Мальшеское тело, широкие плечи, жилистые руки, высокая грудная клетка, плоский живот без волос, кроме как на лобке — рыжеватый редкий кустик, худые ягодицы и длинные ноги. Ступни маленькие, с опрятными пальцами. Правое бедро чуть костлявее левого — детский полиомиелит. Он причесался, сделал аккуратный пробор и, чтобы успокоиться, зажег трубку. Но не успокоился. Дело в том, что ночная рубаха лежит в чемодане, а чемодан стоит на стуле в спальне. Он не может пойти в спальню голый, и в кальсонах и рубашке — или без нее — тоже нельзя: если Анна увидит его в таком одеянии, еще действующая магия белого вина наверняка испарится и все станет тривиальным. Вбежать в спальню, двумя прыжками добраться до постели и прикрыть наготу периной тоже не годится. Это было бы несовместимо с указаниями Анны. Он раздумывает, не одеться ли ему опять, войти, взять ночную рубаху, извиниться перед Анной, выйти, разделся и надеть рубаху. Но подобные действия тоже разрушат зыбкое настроение.

Анна устроилась на пышной кровати. Она расчесывает, словно бы бесцельно, свои длинные волосы и тихо зовет Тумаса. Он тут же открывает дверь и входит — босой, но в длиннополом, наглухо застегнутом зимнем пальто.

Анна и Тумас беспомощны и беззащитны. Как внутренне — перед самими собою, так и внешне — перед величественным ложем, забитой вещами комнатой, перед утомительными переживаниями поездки, перед наготой, перед сильно выкорчеванным чувством вины. Все это надо преодолеть с помощью жестов и слов любви. Они пустились в рискованное путешествие. Пришли в движение загадочные силы. И сейчас, в это мгновение, любовники достигли конечного пункта: она сидит на высокой расстеленной кровати, в простой ночной рубашке, со щеткой в правой руке, а он стоит у двери, босой, в поношенном зимнем пальто.

Комната освещается тремя источниками света: негасимыми весенними сумерками за тонкими занавесками на окнах, сонной лампой под потолком и трепещущими стеариновыми свечами на ночной тумбочке справа от кровати. Анна, возможно подавляя дрожь в голосе, велит ему снять пальто и говорит, что сейчас они оба залезут в постель и крепко обнимутся. Он послушно гасит свет, она задувает свечи на тумбочке, и вот они лежат под периной. Обнимаются, это не слишком удобно, но они обнимаются, и он гладит ее по волосам. Им наверняка трудно дышать, и между ними — бездна. Но ночной свет за тюлевыми занавесками неподвижен. Так что если они не закрыли глаза от страха, то отчетливо видят друг друга. Тумас просит Анну посмотреть на него: «Давай смотреть друг на друга, Анна». Она прижалась лицом к его плечу, пытается взглянуть на него — нелегко...

Они засыпают от истомленности душ и невысвобожденного страдания тел.

Вновь начинается дождь, успокаивающий, кроткий. Они засыпают не став ближе. Есть веская причина посочувствовать. Роли, которые они предназначили себе и друг другу, сыграть нельзя. Их единственный багаж состоит из ледяных замечаний, чувства греховности, вины перед близкими людьми. И, быть может, самого страшного: вины перед униженным Господом. Против всего этого у них оружия нет — они беззащитны.

Они спят, идет дождь. За окном — а поэтом и в комнате — темнеет. Он просыпается, тянется к ней, а она, обнимая его за талию, притворяется спящей. Открывает губы для поцелуя, но поцелуя не последовало, его голова тяжело опускается на подушку, он прерывисто дышит. Она лежит неподвижно, не тревожит его, сказать им нечего, потому что у них нет слов — это будет потом: сверкающие слова из романов, ибо все это обязательно должно быть великим и уникально-сверхъестественным. Она, возможно, думает, что ей следовало бы столкнуться с собой тяжелое горячее тело, которое вдавливает ее в мягкую постель, — следовало бы помыться. Но она не в силах беспокоить его, разбудить. Она не шевелится, дышит едва слышно, по-прежнему обнимая его.

Тумас спит, как ребенок, — глубоко и беззвучно, рот открыт, от него пахнет сном и катаром желудка. Анну же бросает то в жар, то в холод, ей надо помочиться, между ног течет липкая жидкость, а от запаха спермы у нее к горлу подкатывает тошнота. Но она не осмеливается пошевелиться — не сейчас. Она заставляет себя продлить мгновение, защищаясь от ржавого ножа разочарования.

Добавить нечего, кроме разве что дождя на рассвете, тишины (даже птицы молчат), запаха чужой комнаты.

— Тумас!

— Да.

— Мне надо встать.

— Конечно.

— Подвинься чуточку.

Она садится, двумя руками откидывает всклокоченные волосы, лоб горит, щеки горят, но ей холодно. Тумас глубоко дышит.

— Я, пожалуй, еще посплю.

На это ответить нечего. Анна касается лица и плеча спящего. Потом встает и открывает дверь в выстуженную туалетную комнату министерши.

Когда она, более или менее приведя себя в порядок, возвращается в кровать, Тумаса там нет. Она сворачивается под тяжелой периной, да, чувствует она себя неважно, от живота к голове поднимается волна лихорадки. Анна лязгает зубами — «наверное, у меня температура».

Она закрывает глаза, но тут же снова их открывает — очевидно, она заснула. Тумас сидит на стуле возле двери совершенно одетый. Лицо белое как полотно, в глазах слезы.

— Я уезжаю. Пароход на Ондальснес уходит через два часа, в семь, по воскресеньям он отходит на час позже. Я прогуляюсь до гавани, это недалеко. Внизу в прихожей я нашел расписание с указанием отплытия и прибытия пароходов. «Оттерэй» по воскресеньям отходит в семь утра, часом позже, чем по будням. Потом я прямо пересяду на поезд. Он уходит в пять вечера. Это пассажирский поезд — останавливается на всех станциях. В Осло я буду не раньше утра понедельника. А там много вариантов, но я смогу быть в Стокгольме уже в семь вечера в понедельник и в девять — самое позднее — в Упсале.

Анна сидит в кровати, подобрав под себя колени, от нее пышет жаром, поэтому она сбросила перину и укуталась в просторную ночную рубашу. Глаза закрыты, щеки пылают.

— Не уезжай.

— Надо быть честным.

У нее перехватывает дыхание, глаза устремлены на него:

— Что ты имеешь в виду?

— То, что я сказал, — говорит Тумас, — я должен быть честным. К моему ужасу, я вижу, что не был честным.

— В чем проявлялась твоя нечестность? — спрашивает Анна, почти потев голос.

— Я должен был бы осознать свою ущербность. Должен был бы сказать тебе, что вся эта поездка — ошибка. Может, не для тебя, а для меня. Находиться в бегах мне не по силам. Я слишком... серый. Собственно, все это я знал с самого начала, но ты взяла дело в свои руки. Я был слишком труслив и не хотел тебя огорчать, но понимал собственную ущербность. Всегда понимал.

У него выступают на глазах слезы, но он сглатывает их, беспомощно всхлипывает и проводит рукой по лицу.

Анна основательно задумалась — это серьезно, сейчас важно, чтобы слова и интонация совпали.

— Пожалуйста, не отчаивайся так. Или по крайней мере давай отчаиваться вместе. Мы ввязались в нечто чересчур большое и опасное — это истинная правда. Если мы будем держаться вместе, то сможем исправить причиненный вред.

Теперь Анна полна энтузиазма, лихорадки как не бывало. Она выпрыгивает из постели и становится напротив него на ковер с узором в виде водорослей.

— Какие у тебя маленькие ножки, — бормочет Тумас, горестно улыбаясь.

Ранним утром 6 мая Мэрта Ердшё возвращается пароходом из Трондхейма в Мольде. Она сразу же отправляется на виллу министерши, чтобы убедиться, что все в порядке и что любовники не оставили после себя компрометирующих следов. Погода переменилась. Ветер разогнал тучи и влажную дымку, стоит солнечное, тихое утро, в старом саду расцвело еще несколько фруктовых деревьев. Мэрта от нетерпения не дожидается автобуса, а берет такси.

Она входит в дом через кухню — все вроде бы в порядке, убрано. Она проходит в просторный холл, снимает форменное пальто и осторожно освобождается от накрахмаленной накладки сестры милосердия. Приглаживает темно-русые волосы, ставит свой маленький саквояж на стул и поворачивается к гостиной, купающейся в лучах весеннего солнца.

В дверях стоит Анна, опираясь рукой о косяк. Веки набухли от слез и ночного бдения. Волосы небрежно зачесаны назад. На ней пальто, под ним виднеется чесучовая блузка и синяя юбка с заметным пятном чуть выше колена.

Мэрта не может сдержаться, изумление опережает тактичность, и она восклицает приблизительно следующее: «Но Анна! Ты здесь? Я думала, ты уехала

вчера утром!» Потом, резко оборвав себя, она подбегает к Анне и обнимает ее. Анна не сопротивляется, она закрывает глаза, руки повисли как плети. Женщины опускаются на пол. Они ничего не говорят — ни слез, ни объяснений. Мэрта держит несчастную в своих объятиях, они сидят, тесно прижавшись друг к другу, на голом паркетном полу, исчерченном квадратами солнечных лучей. Спустя какое-то время Мэрта спрашивает — очень осторожно, — звонила ли Анна матери и предупредила ли ее, что задерживается. Та слабо кивает: да, звонила, звонила еще в понедельник утром.

После этой произнесенной бесцветным голосом фразы наступает длительное молчание. Наконец Мэрта предлагает Анне ненадолго прилечь и говорит, что ей наверняка не помешает чашка чая. Анна говорит, что ей холодно, но позволяет отвести себя к дивану. Она падает ничком, отвернувшись, рукой прикрывая лицо. Мэрта накрывает ее пледом министерши. Анна не отвечает на вопрос, хочет ли она выпить чаю, — она заснула.

Ближайшие часы Мэрта хлопочет возле спящей. Ставит чашку заваренного на травах чая с медом на стул в изголовье. Наспех проверяет второй этаж и спальню. Везде тщательно прибрано, в громадных полутемных комнатах нет ни следа движений или чувств. Чемоданы Анны стоят возле двери. Шляпа снята с полки. Вероятно, Анна собиралась уехать, но ей изменили силы.

В три часа дня вторника Анна просыпается и направляется, чуть пошатываясь, в туалетную комнату. Она долго мочится. Потом умывается холодной водой. После чего пьет приготовленный Мэртой чай, сидя прямо, как маленький больной ребенок, решивший слушаться всех предписаний. Мэрта в библиотеке изучает толстенный том с двумя романами Бьёрнстjerne Бьёрнсона. Заметив, что Анна проснулась, она захлопывает книгу, ставит ее на полку, входит в гостиную и усаживается на стул возле окна. Солнце передвинулось в юго-западное крыло дома, оставив вытянутую, перегруженную мебелью комнату в полумраке.

Анна пьет чай. Она по-прежнему в пальто.

Подруга ждет.

Анна, бережно поставив чашку на стул, вытирает губы тыльной стороной ладони, вновь откидывается на мягкую спинку дивана, сбрасывает вышитые тапочки и закутывается в плед.

— Тебе все еще холодно?

— Нет-нет, все хорошо.

— Хочешь еще чаю?

— Нет, спасибо.

— Как ты себя чувствуешь?

— Вроде нормально. Правда, немного зуб болит.

— Ты проспала шесть часов.

— Сколько времени?

— Около половины четвертого.

Мэрта для верности бросает взгляд на маленькие золотые часики, висящие на тонкой золотой цепочке, пристегнутой к нагрудному кармашку форменного платья.

— Я приняла несколько порошков брома, которые нашла в ночной тумбочке министерши. Кажется, вчера вечером. Но все равно заснуть не могла. Почти всю ночь бродила по дому. Внезапно меня вытошнило, вот, на юбке осталось пятно. Пыталась его вывести, но ничего не вышло.

— У тебя есть другая юбка?

— Вроде есть.

Все темы для разговора, похоже, исчерпаны, но Мэрта терпеливо ждет. Ее пациентка зевает. Закрывает глаза.

— Тумас захотел прогуляться в воскресенье утром. Сказал, что хочет немножко побыть один. Отправился в гавань и узнал, что после обеда идет почтовый пароход в Ондальнес. Он сразу же вернулся и сообщил, что уезжает. Одолжил сто крон и уехал. А я осталась.

Анна, тихонько засмеявшись, отворачивается и задерживает дыхание.

— И что ты делала?

— Это было в воскресенье, а сегодня, по твоим словам, вторник. Не знаю, все смешалось. В основном я бродила по комнатам. Вообще-то интересно.

— Ты уедешь завтра рано утром.

— Прости? Да... Уеду? Не знаю. Хотя пожалуй.

— Конечно, уедешь. Если хочешь, я провожу тебя. Присмотрю, чтобы ты села на нужный поезд и так далее.

• — Все-то ты решаешь и устраиваешь.

— Кандидат забыл свои ноты.

— Мы планировали, что он поиграет в церкви, вот он и взял кое-какие ноты. Но с этим ничего не вышло. Ой, больно.

— У тебя что-то болит?

— Да, зуб. Я была у зубного за день до отъезда, он вскрыл его и почистил. У тебя есть магнецил или что-нибудь еще?

— Да, в саквояже, подожди, я принесу. Кажется, я оставила его в прихожей, да, именно так. Вот он. Ну-ка посмотрим, я точно знаю, что... вот они, я же *знала*. На, запей глотком чая. В чашке осталось. Вот так.

Анна хватает руку Мэрти и прижимает ее ладонь к своей щеке. И бормочет что-то вроде того, что как мне, мол, повезло, повезло, потому что у меня есть подруга, она такая славная и ни о чем не спрашивает.

— Значит, договорились — едем завтра утром.

— Одно я знаю наверняка.

— И что же?

— Знаю, что поступила несправедливо с Тумасом, навязав ему эту поездку.

— Он ведь мог отказаться.

— Интересно, каким образом? Я прямо бредила ею. Нет, нет, нет. Он, пожалуй, пытался возражать. Робко, тихо.

Вновь смех, негромкий и чужой. Анна, забравшись с ногами на пышный диван, укрытый белым летним чехлом, кладет голову на расшитую подушку. Мохнатый плед министерши натянут до подбородка. Мэрта устроилась на том же диване, ее рука лежит на закрытой пледом ступне Анны.

— Самое ужасное, самое ужасное...

— Да?

— Знаешь, что чудовищнее всего?

— Нет.

— Я видела лицо *Хенрика*. Ты когда-нибудь задумывалась об этом странном феномене — человек не помнит лиц, которые видит каждый день? Я пытаюсь вспомнить мамино лицо — или твое, или лица детей — и не могу. Если я вижу сон, то *знаю*, что мне снится какой-то близкий мне человек, которого я встречаю ежедневно. Сон говорит мне, что это так, — но лицо редко бывает тем самым, это незнакомое лицо. И вдруг, когда я бродила по дому — это было, наверное, в воскресенье вечером, потому что началось... нет, это было, пожалуй, в понедельник вечером... или?.. Не знаю. Но вдруг я увидела лицо Хенрика. И это причинило мне страшную боль, потому что это был вовсе не тот Хенрик, не сегодняшний. Не то властное, или злое, или плачущее лицо, не тот Хенрик, который жалуется или испытывает страх. Не маска. Не тот Хенрик, требующий, угрожающий или попросту глупый. Это было другое лицо, но, несмотря на это, я знала, что это Хенрик. Но вовсе не тот Хенрик, которого я любила много лет назад, когда мы были молодыми! Умоляющее, мягкое, радостное, неуверенное, исполненное любви, милое лицо! Это был не *тот* Хенрик. Нет, я увидела старое лицо — Хенрика-старика. Ему было около восьмидесяти. Но я видела его — раз за разом — не перед собой, не как привидение или что-нибудь в этом роде. Нет, я видела его за глазами яблоками. Картина была очень отчетливой, возникала вновь и вновь и причиняла боль. Мне хотелось захныкать, пожаловаться, но ничего не получалось. Я только смотрела и смотрела, и это было почти невыносимо. Лицо Хенрика выражало столько горя, ранимости и решимости... я ведь знаю, что *он* — *старый ребенок*. И это мне он выпал на долю. И мне кажется, что моя роль в том, чтобы наносить ему незаживающие раны. Воспаленные раны — самые болезненные. Которые всегда будут воспаленными, никогда не затянутся. И он цепляется за меня, а я пугаюсь и прихожу в бешенство, и когда он всерьез угрожает моей жалкой свободой, я наношу ему смертельную рану. Я бы, наверное, могла убить его. А оружие — Тумас.

Анна спокойна, говорит спокойно. Око шторы. Время как во сне.

— А Тумас?

— Тумас меня покинул, но я его не покину.

Голова откидывается на расшитую подушку, Анна натягивает плед на плечи. «Схожу на кухню, посмотрю, что у нас есть на обед», — сухо говорит Мэрта и удаляется.

На журнальном столике лежит дедушкино обручальное кольцо.

БЕСЕДА ПЯТАЯ (ОКТАБРЬ 1934 ГОДА)

Воскресенье 14 октября 1934 года, 11 часов утра. Место действия — Упсала, возле углового дома на пересечении Эвре Слоттсгатан и Скульгатан. Все утро идет дождь, с равнины дует пронизывающий ветер, он предвещает снег. Как раз в этот момент тучи разошлись и над университетом Густавианум выплыло низкое, укутанное тонкими завесами солнце. Домский собор и церковь Троицы колоколами созывают на мессу. Улицы пустынные.

Такси останавливается у подъезда по Скульгатан, 14. Из машины выходит Анна, открывает сумочку и достает маленький замшевый кошелек с посеребренным замочком. Она платит одну крону двадцать пять эре и дает еще двадцать пять эре на чай. Шофер, краснощекий парень с отвислыми усами, молча кивает, включает передачу и исчезает в облаке дыма.

Анна какую-то минуту стоит в задумчивости. Ей сейчас сорок пять, лицо почти не изменилось — появились игольчатые морщинки вокруг глаз, губы стали пухлее, мягче. Нос чуть покраснел от ветра. Глаза серьезные, взгляд выражает пылливое любопытство. На лбу глубокая поперечная складка. В остальном же — прямая спина, элегантное зимнее пальто, черная шляпка с короткой вуалью, перчатки и ботинки.

Она быстрым привычным движением смотрит на ручные часы, хотя прекрасно знает, что сейчас — пять минут двенадцатого, поскольку колокола только что перестали звонить. Она приехала слишком рано, но после короткой прогулки по Слоттсгатан все-таки решила войти. С некоторым усилием она открывает тяжелую дверь, холл подъезда выглядит весьма внушительно — покрытые ковром мраморные ступени, цветные окна и резная дверь во двор. С потолка, расписанного в стиле модерн, свисают могучие медные абажуры с матовыми лампочками. Запах свежей краски и позднего завтрака.

Споро преодолев два пролета, Анна звонит в правую из двух имеющихся на этаже покрытых белым лаком застекленных двойных дверей. Открывает высокая, худая женщина. Ей лет семьдесят, живые серо-голубые глаза, высокий лоб, узкий, красивой формы нос, тонкие губы и слегка обвисшие бледные щеки. Редкие волосы туго стянуты на затылке в безыскусный узел. Это, стало быть, Мария.

— Ой, Анна, как хорошо, уже пришла! Входи, входи. Как приятно видеть тебя, ты такая же красивая, как всегда. Вот тебе плечики, подожди, я повешу. Поцелуй меня.

Анна, пробормотав какие-то извинения за слишком ранний приход, наверняка с большой любовью ответила на приветственный поцелуй и, сев на белый плетеный стул, сняла ботинки, которые поставила на полку для обуви под вешалкой. Потом она приглаживает непослушные волосы и вынимает из сумочки пудреницу. Высморкавшись с негромким трубным звуком, она тщательно пудрит нос.

— Как только осень, нос у меня сразу делается большим и красным — так было с детства.

Критический взгляд и относительное удовлетворение. На Анне синее шерстяное платье по икры, юбка на пуговицах, широкие рукава заканчиваются кружевными манжетами, круглый воротник, тоже украшенный кружевом, схвачен на горле камеей, в ушах — бриллиантовые сережки.

— Якоб спит. Утром у нас был доктор Петреус, сделал ему укол морфия. Теперь он проспит с час или около того.

— Как он себя чувствует?

— Дело идет к концу, счет пошел на дни, по словам доктора. Иногда бывает тяжело. У него страшные боли, и тогда помогает только морфий. А в промежутках между приступами он чувствует себя относительно неплохо, даже, бывает, съедает что-нибудь, но, в основном, лишь выпивает стакан молока или бульона — или шампанского.

Мария с усмешкой делает легкое движение своей большой исхудалой рукой.

— Не ужасайся. У нас вовсе не дом печали. Здесь живут и страдания, и физическое унижение, и некоторое нетерпение из-за того, что смерть так медлит. Но мы не предаемся горю. Ни я, ни Якоб.

— Мария, вы уверены, что у дяди есть силы повидать меня?

— Он говорит о тебе ежедневно. Иначе я бы, как ты понимаешь, не позвонила.

— Хенрик передает самый горячий привет. Он не мог прийти из-за мессы.

— Видишь ли, Анна, на этом-то и строился расчет. Якоб попросил меня узнать, когда у Хенрика месса, ну и...

Заговорщически улыбаясь, она тянется к серебряной шкатулке, стоящей на круглом столике в гостиной, берет сигарету и тут же закуривает.

— Тебе не предлагаю, поскольку помню, что ты не куришь. Надеюсь, ты извинишь меня.

Анна кивает, вежливо улыбаясь. Мария откидывается на спинку небольшого обитого зеленой тканью кресла. Характерным жестом она закладывает правую руку за спину, а левой держит у губ сигарету.

— В пятницу у нас был тяжелый день. У него раздулся живот, прямо до смешного. Доктор Петреус выкачал целые литры жидкости. И сразу полегчало. Но самое ужасное все-таки, когда его рвет желчью. Приступы накатывают волнами, чудовищные, — он задыхается, корчится в судорогах. Мы бессильны — доктор, сестра и я, — ничего не помогает, ни морфий, ничего. У него метастазы везде, рак точно взбесился.

Она умолкает и смотрит в потолок. Потом переводит ясный, прямой взгляд больших серо-голубых глаз на Анну. Лицо ее в жестком октябрьском свете, резко оттеняемом низким октябрьским солнцем, бледно. Нет, она не плачет.

— Мы прожили вместе уже почти пятьдесят лет. Мне было двадцать один, когда мы поженились. Если бы мы смогли вновь встретиться после смерти, если бы такая таинственная возможность существовала, то все это — внешнее — было бы легко нести. И смерть была бы облегчением, потому что Якоб освободился бы от своих страданий, а я — от трудного ожидания, но смерть есть смерть. Никаких загадок, никаких красивых тайн. Кстати, знаешь, что странно: в особо мучительные минуты мне в голову приходит утешающая мысль — развод был бы, если бы мы плохо с ним жили в браке, намного болезненнее. Но мы жили счастливо, поэтому...

Она молча курит, потом гасит окурок в пепельнице, вскакивает и расправляет юбку на костлявых бедрах.

— Спасибо, что выслушала меня. Знаешь, я не слишком-то люблю говорить об этом. Пойду посмотрю, не проснулся ли Якоб.

У двери она поворачивается и как бы мимоходом бросает:

— Я забыла сказать, что сегодня придет пробст Агрелль. Якоб хочет, чтобы тот его причастил. Он будет здесь в час. Я позову тебя через несколько минут.

Библиотека представляет из себя большую прямоугольную комнату с двумя окнами, выходящими на Эвре Слоттсгатан, вдоль стен — забытые книгами шкафы. Посередине стоит внушительных размеров заваленный письменный стол. Узкий дверной проем ведет во внутренние покои, где виднеется кровать с высокими спинками. У стола — кресло с мощными подлокотниками и высокой спинкой. В кресле сидит Якоб. Он в опрятном темном костюме, висящем мешком на его истощенной фигуре. Белый жесткий воротничок на несколько номеров велик, руки покоятся на подлокотниках — большие и бессильные, кисти высовываются из чересчур просторных манжет. Но узел на галстуке безупречен, высокие ботинки блестят, холеные седые усы. Ничто в старом господине не указывает на близкую смерть.

Анна целует дядю Якоба в щеку и обнимает его вместе с креслом, оба расстроганы и чуть неуклюжи. Якоб кладет свою большую ладонь на ее волосы и прижимает ее голову к своему плечу.

— Дорогая Анна, как хорошо. Дорогая Анна. Ты все такая же. Дорогая Анна.

— Давно мы не видались. Правда ведь давно?

— Да, погоди-ка. Погоди, дай вспомнить. Мы встречались в церкви Хедвиг Элеоноры два, нет, три года назад. Хенрик произносил проповедь. Было просто-напросто Соборное воскресенье 1931 года, и ты, Анна, пришла туда с детьми и каким-то немецким мальчиком — разве не так?

— Да, с Хельмутом.

— Географически отдаляешься от человека, даже если расстояние не такое уж... Географически — да. Но не то — как бы это сказать, — не то чтобы это особенно задевало. По крайней мере не чувства. Я часто думаю о тебе, Анна.

— А я думаю о...

Они сейчас совсем близко, так близко, что видят лишь кусочек лица и глаза. Анна во внезапном порыве проводит рукой по щеке Якоба.

— Не стану жаловаться. Я живу хорошо, несмотря на весь этот кошмар. Только вот больно долго. Она не торопится, эта самая. Это мне за то, что я всегда был нетерпелив и в то же время ленив. Сейчас я вынужден напрягаться. Час за часом, минута за минутой. А я — я хочу быть на ногах, в костюме. Хочу почаще сидеть в этом кресле. Тогда мне легче дышится. Хотя порой бывает тяжело — здесь, среди моих старых книг. И Мария открывает окна, впуская холодный воздух, ты понимаешь. У меня крепкое сердце. Бьется и бьется. Как-то вечером оно заколотилось и встало — в раздумье, и я подумал — *сейчас!* Но не тут-то было! И я сделался морфинистом. Это самое прекрасное в этой длинной и тоскливой истории. Тебе, наверное, кажется, что я эдакий болтливый бодрячок, — так это потому, что мне недавно сделали укол, и это как рай — не могу вообразить себе ничего более милосердного. Сначала боль и муки, а потом никакой боли — одна эйфория. Так что приходится делить время на доброе и злое. Мария читает мне вслух по нескольку часов в день — я слишком измотан, чтобы читать, да и голова в тумане. Но мы читаем «Сокровище королевы»². Иногда приходит органист Домского собора, этот, как его там зовут — видишь, Анна, какой я стал бестолковый, — вот, Аксель. Аксель Мурат. Приходит и играет на рояле в гостиной — в основном Баха, «Хорошо темперированный клавир». Хотя сейчас у меня нет потребности в общении, только устаешь. Друзья думают, что мне приятны гости, а это вовсе не так. Вот Мария и отказывает всем направо и налево. Одно лишь *по-настоящему* неприятно во всех этих неприятностях — то, что я не могу есть. Только чуточку жидкости, и это очень грустно. Я вспоминаю времена, когда был обжорой и настоящим чревоугодником. Наесться до отвала, вкусно поесть и вкусно выпить. Иногда, когда я остаюсь один (и, конечно, если боли терпимые), представляю себе разные блюда. Да, это, верно, кара, ведь обжорство — один из смертных грехов. А как ты, Анна? Как дела?

Вопрос прямой, задан строгим голосом и сопровождается испытующим взглядом. Прошу, мы перешли к делу. Анна колеблется, она в смятении, покраснела.

— Что вы имеете в виду, дядя Якоб?

— То, что я спросил, и ничего больше. *Как дела?*

Тон нетерпеливый, не приемлющий уверток. Отвечай же, прошу. Анна не решает, на какое-то мгновение ее накрывает тенью гнева, и она говорит, что ничего особенного, все как обычно. «Все хорошо, было бы неблагодарностью жаловаться. Да, и дети здоровы. У мамы было воспаление легких, но она уже поправляется. А Хенрик в большом напряжении в связи с предстоящими выборами настоятеля — ну да вы знаете. Решение правительства затягивается. Энгберг против, но старый король, похоже, хочет Хенрика, вот назначение и отложили, как это называется. И это, конечно, действует на нервы».

Старик делает нетерпеливый жест, проводит рукой по лицу и, саркастически улыбнувшись, откашливается.

² Роман шведского писателя XIX века Карла Юнаса Луве Альмквиста.

— Коммюнике мне ни к чему. Я хочу знать, как вы живете, ты и Хенрик, как все уладилось. Мы не говорили серьезно десять лет. Так что, возможно, пора. Я где-то прочитал, что Тумас женился, и я слышал, что он получил назначение в окрестностях Упсалы.

— Я тоже слышала.

— Какая ты стала немногословная, Анна. Разве я не достоин того, чтобы узнать, чем все кончилось?

— Достойны, только не знаю, есть ли о чем рассказывать.

— Я попросил Марию связаться с тобой потому, что не хочу сходить в могилу, не зная, чем кончилось дело. Анна, я всегда считал тебя моим ребенком, моей дочерью. Не проходит дня, чтобы я не думал о твоей жизни. Я отметил, что брак не распался. Много раз я собирался поговорить с тобой. Но я — ленивый и непредприимчивый тип, который охотно отодвигает в сторону все, что может нарушить его покой, так что я, как обычно, откладывал и откладывал, пока вдруг все не ушло в далекое прошлое. Но вот теперь. В долгие часы болезни наша беседа всплыла в моей памяти и не давала мне покоя. И в конце концов я попросил Марию разыскать тебя. И сейчас, Анна, мы с тобой здесь, *лицом к лицу*. Время настало.

Настоятель говорит быстро и горячо, внезапно силы у него иссякают, и он отворачивается, поэтому Анна не видит его глаз. Левой рукой, украшенной кольцами, она разглаживает гладкую синеву юбки.

Поскольку молчание затянулось, настоятель переводит взгляд на Анну и требовательно глядит на нее: я хочу знать.

— Я сделала, как вы мне посоветовали, дядя Якоб. Когда я приехала на дачу, мне показалось это уместным, потому что мы с Хенриком были одни. Ну, я и рассказала все, как есть, ничего не утаила. Даже самое мучительное. Я закончила рассказ, наступило долгое молчание. А потом Хенрик сказал: «Бедняжка Анна, как тебе, должно быть, тяжело». Мы начали говорить, и я осмелилась поведать о себе больше, чем когда-нибудь за двенадцать лет совместной жизни. Это был очень странный вечер, и я вспомнила ваши слова, дядя Якоб, о том, что надо дать Хенрику шанс созреть. Никаких попреков, никаких угроз, никакой горечи. Никакой злобы.

— Вот видишь, Анна! Видишь!

— Вижу.

— А потом?

Анна задумывается. Ладонь с кольцами гладит синеву юбки.

— Я последовала вашему совету. Порвала с Тумасом. Было тяжело, но ведь после того, как я открылась Хенрику, тайная жизнь не могла продолжаться. И я порвала с Тумасом. Не обошлось, конечно, без слез. А теперь это все лишь прекрасное воспоминание. И Тумас женился, да вы знаете. Я его больше не вижу.

— А переутомление Хенрика?

— Он невероятно много работал. Он всегда чудовишно много работает — он ведь не в силах отказать, если люди просят. А тот год был тяжелым во многих отношениях. Дети болели. Я тоже болела. Потом у Хенрика наступил нервный срыв. Да ведь вам все это известно, дядя Якоб. Я не пыталась влиять на него, выжидала. Когда Хенрик должен был вновь приступить к работе, возникли, естественно, проблемы. Ну и больше, собственно, рассказывать не о чем. Я перенесла две операции и чуть не умерла. Приехала мама, взяла хозяйство в свои руки. Это было, наверное, нелегко: Хенрик и Ма никогда не ладили, хотя с годами, пожалуй, подуспокоилось... но враждебность — тяжкий груз... не стану отрицать.

— А как у Анны с Хенриком?

— Анна с Хенриком живут в дружбе. Мы даже можем ссориться без неприятных последствий — раньше такого не бывало. Хенрик понимает, что мне нужно немножко свободы, совсем чуть-чуть. Так что следующим летом я с двумя другими женщинами поеду в Италию, похожу по музеям.

Якоб, глубоко вздохнув, закрывает глаза. На губах играет слабая улыбка.

— Откровенно говоря, я беспокоился. Но не рещался спросить. То, что ты мне рассказала, сняло бремя с моей души. Я говорю, как старый Симеон в храме: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром».

Он привлекает Анну к себе и неуклюже, плотно сжатыми губами целует волье уха. У него вырывается сухой всхлип.

— Прости, от меня, наверное, дурно пахнет. Я с большой нежностью думаю о твоём мужестве, Анна. Помнишь, как мы стояли на Домском мосту и пересчитывали семь мостов Упсалы?

— Помню.

В порыве сильного душевного волнения Анна осторожно высвобождается, отходит к окну, тыльной стороной ладони вытирает глаза и сопит — нет, не плакать, не плакать.

Тихонько вошедшая в комнату фру Мария подходит к мужу. Они о чем-то шепчутся. «Да, так и сделаем», — отчетливо говорит Якоб.

— Анна, не подождешь за дверью несколько минут? Мы сейчас закончим, — говорит Мария.

Анна отвечает «разумеется», бесшумно выходит, прикрыв за собой дверь, и вдруг оказывается перед пробстом Агреллем в полном пасторском облачении. Он несколькими годами старше Якоба, но его красноватое лицо пышет здоровьем, мягкие седые волосы густы и зачесаны назад, открывая выпуклый лоб. Лыдисто-голубые глаза смотрят с любопытным вниманием.

— Я — один из самых старых друзей Якоба. Он просил причастить его именно сегодня, в день нашего совместного посвящения в сан пятьдесят два года тому назад.

Мария, приоткрыв дверь, сообщает, что теперь можно войти. Распахивает дверь настежь и пропускает пробста, а сама выходит, закрывает дверь и застывает в некоторой растерянности.

— Якоб пожелал остаться с ним наедине пару минут.

Слабый взмах руки и извиняющийся взгляд: «Ты останешься?»

— Да.

— По-моему, Якоб будет рад, если ты...

— Да.

— Я помню тот вечер давным-давно, кажется, это был 1907 год, когда Якоб вошел ко мне, присел на краешек кровати и сказал: «Представляешь, Мария, Анна Окерблум говорит, что не хочет идти к причастию». После этого он не спал всю ночь. Был удивлен, раздосадован и страшно огорчен. Но ты все-таки пошла.

— Да, пошла.

— А причина? Мне просто любопытно.

— Причина проста. Когда я сообщила маме, что не собираюсь идти к причастию, она здорово рассердилась и сказала, что мне должно быть стыдно, что я эгоистка, избалованная девчонка, что это будет позором для семьи и что она не потерпит подобных глупостей. Перед тем как хлопнуть дверью, она повернулась и добавила, что намерена отменить нашу поездку в Грецию, но, разумеется, я свободна поступать, как хочу, должна следовать собственной совести, и никто не будет меня принуждать. Вот я и пошла к причастию.

Обе улыбаются при мысли о матери Анны, решительной, но сейчас уже дряхлой старой даме в большом доме на Трэдгордсгатан.

— Анна, передай от меня привет Карин. Жалко, что мы так давно не виделись. Но уж больно много было всяких болезней и забот в последнее время.

— Обязательно передам.

Дверь приоткрывается. Мария протягивает свою длинную худую руку Анне, и они входят в комнату больного.

Длинный прямоугольный стол у кресла Якоба расчищен. На нем стоят две зажженные свечи в оловянных подсвечниках. На вышитой скатерке — позолоченная чаша с вином. Перед чашей — блюдо, тоже позолоченное, с облатками. Пробст Агрелль склонился над больным. Они шепчутся. Слепящий луч низкого солнца прорезает комнату, рисуя беспорядочные узоры на сокровищах книжных шкафов. Часы в гостиной только что пробили час. Доносится колокольный звон с церкви Троицы.

Пробст кивает вошедшим, приглашая их подойти поближе — они остановились в дверях. Мария, повернувшись к Анне, вновь протягивает ей руку и ведет за собой. Анна не сопротивляется. Пробст стоит перед Якобом, который закрыл глаза. Большие ладони покоятся на широких подлокотниках. В резком

свете он смертельно бледен, кажется отсутствующим, но, похоже, в настоящий момент боли не испытывает. Он сидит выпрямившись, опрятный и собранный. Мария приглашает его волосы и смахивает пылинки с плеча пиджака. Быстро наклоняется и что-то шепчет в его большое ухо. Почти незаметно улыбнувшись, он шепотом отвечает, глаза по-прежнему закрыты.

Агрелль берет молитвенник, лежащий на временном алтаре, и после короткого раздумья начинает тихо читать первые слова причастия. Он целиком обращается к больному, обволакивает его голосом и мыслью. Мария смотрит на свои сцепленные пальцы, она собрана, словно перед ответственным заданием, приближающимся к своему полному завершению. Анна повернулась к слепящему свету, слезы, сдерживаемые слезы, застрявшие в горле и щекочущие нос, постарайся дышать ровно, это не выразить словами, это за пределами облакаемых в слова чувств. Там Якоб и его жена Мария, сейчас. В этот миг. Если отвести взгляд от слепящего света между торцом дома и могучим деревом. Она не может. Но она знает.

Агрелль читает стоя:

— «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.

Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого;

яко Твое есть Царство и сила и слава, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь».

Анна и Мария, коленопреклоненные, повторяют слова молитвы. Якоб с усилием сцепил пальцы — веки по-прежнему смежены. Лицо спокойно, под глазами внезапно появились черные тени. Он шевелит губами, но слов разобрать нельзя.

Пробст, взяв блюдо с облатками, делает шаг к больному, наклоняется над ним. Якоб открывает рот.

— Телом Христовым тебя причащаю. — Пробст кладет руку на голову Якоба. Потом, повернувшись к Марии, протягивает ей облатку. Она принимает ее, подняв голову.

— Телом Христовым тебя причащаю. — Он держит руку над ее жидкими седыми волосами, освещенными резким светом. Наконец делает шаг в сторону Анны, но та трясет головой — нет, нет. Пробст Агрелль не замечает — или не хочет замечать — ее сопротивление.

— Телом Христовым тебя причащаю. — Облатка. Благословение. Он не смотрит на Анну. Никто не видит ее, кроме нее самой. Тяжесть. Ей хочется рухнуть на пол. Но она сдерживается.

Теперь пробст осторожно подносит к губам больного чашу.

— Кровь Христова изливается за тебя.

Поворачивается к Марии, которая принимает милость, приблизив губы к чаше.

— Кровь Христова изливается за тебя.

Наконец — Анна. Наконец — Анна.

— Кровь Христова изливается за тебя.

Пробст Агрелль отступает назад и говорит собравшимся:

— Господь Иисус Христос, чье Тело и Кровь вы вкусили, да сохранит вас в жизнь вечную! Аминь.

Якоб открывает глаза и смотрит на своего брата по служению с едва заметной улыбкой.

— Не забудь псалом.

— Сейчас.

Якоб снова закрывает глаза, а пробст читает:

— И молю я напоследок, Боже милый мой, в Свою руку Ты мою возьми и в блаженную страну веди. Там кончаются страдания. Там надежда не нужна. Вот Тебе душа моя. Забери ее...

Якоб в тяжелойшей судороге сгибается пополам, он пытается прикрыть руками рот, но с губ сочится желтоватая, с примесью крови, жидкость, которая течет по подбородку. Еще один чудовищный спазм, рот открывается, из него с глухой отрыжкой извергается кровь и слизь. Больной хочет встать с кресла, но падает назад, задыхается. Анна, взяв его руку, поднимает ее над головой, жена схватила другую руку, но из горла опять вырывается серая вязкая жидкость, стекающая по темному костюму.

Приступ стихает, он продолжался всего пару минут. Агрелль большим носовым платком вытирает Якобу рот и нос. Мария торопливо говорит, что вроде бы сестра Эллен еще не ушла, она обещала подождать. Пожалуйста, Анна, приведи ее, она где-то в квартире.

Анна бежит через гостиную в прихожую, дверь в кухонный коридор открыта. На кухне Анна видит сестру Эллен, перед ней чашка кофе и «Упсала Ньюа Тиднинг». «Пожалуйста, сестра, идите побыстрее. Настоятелю плохо». Сестра спешит на помощь, Анна остается в прихожей. Она слышит голоса и быстрые шаги. В ванной льется вода, шумит в трубах, хлопает дверь.

ЭПИЛОГ-ПРОЛОГ (МАЙ 1907 ГОДА)

— Итак, конфирмант находится перед самим Господом — перед лицом Божьим. Господь принимает тех, кто обращается к Нему. На причастии Он хочет видеть тех, кому нужно прощение, кто хочет быть Его детьми. Дорогие друзья, а сейчас давайте все вместе прочитаем благословение: «Да благословит нас Господь и сохранит нас; да призрит Господь светлым лицом Своим и помилует нас; да обратит Господь лице Свое на нас и даст нам мир! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Это говорится майским вечером в одном из боковых приделов Домского собора, где Якоб собрал своих учеников перед предстоящим им завтра первым причастием. Шестнадцать человек, из них четверо — юноши. Год — 1907-й, одна из девушек — Анна Окерблум, семнадцати лет.

На сохранившейся фотографии она сидит справа от пастора собора, на ней красивое, сшитое специально для конфирмации платье. Голова чуть выдвинута вперед, она пристально разглядывает меня.

В этот же вечер она одета буднично — клетчатая блузка с широким кружевным воротником, заколота серебряной брошью, и синяя, в складку, юбка из тонкой шерсти. На безымянном пальце правой руки — кольцо с маленькой камеей. Возможно, эта юная дама и не красавица, но она выделяется, не прилагая к тому ни малейших усилий.

Якобу сорок шесть, это высокий, широкоплечий, грузный человек с крупными руками, облаченный в пасторский скюртук безупречного покроя и бросающейся в глаза элегантности. Каштановые волосы расчесаны на косой пробор, глаза большие, ярко-голубые, чуть навывкате, высокий лоб, густые, прямые брови. Нос величественно доминирует на его тяжелом лице. Широкие губы частично скрыты под мощными, немного непослушными усами, подбородок тоже широкий, хорошей формы. Насколько я помню, у него был низкий голос с призвуком диалекта.

В настоящее время — то есть в 1907 году — Якоб вот уже несколько лет служит в епископальном приходе, и ожидается, что в недалеком будущем он станет епископом. Должен добавить, что он давно желанный гость в окерблумовском доме на Трэдгордсгатан.

— В половине одиннадцатого собираемся в приходском зале. Когда колокол пробьет без четверти одиннадцать, мы все вместе отправимся в церковь. Я остановлюсь возле зарезервированной для вас скамейки и прослежу, чтобы всем хватило места. Каждый должен взять сборник псалмов. До мессы принимать цветы или подарки нельзя. Поблагодарим же друг друга за сегодняшний вечер и увидимся завтра на нашем общем торжестве. Доброго вечера и спокойной ночи, мои ученики.

Пастор на секунду склоняет голову и закрывает глаза, потом смотрит на учеников с отсутствующей улыбкой: можете идти. Молодые люди немедленно следуют его призыву, сперва молчаливо и серьезно, а через несколько минут с шумом и гамом.

Материализовавшийся у алтаря бокового придела церковный сторож господин Стилле выравнивает ряды стульев и поднимает с пола оброненный сборник псалмов. Якоб какое-то время стоит и задумчиво глядит вслед ученикам.

— Ужас, до чего они расшумелись, — констатирует господин Стилле. — Кто-то забыл свой сборник псалмов, даже на пол уронил. Да-да-да. Тут написано, но я не большой мастак читать написанное от руки. Что-то вроде Самселиуса?

— Господин Стилле, если вы все равно идете в приходской зал, будьте добры, положите книгу на стол у окна.

— Хорошо, господин пастор.

— Пойду за пальто. Спокойной ночи, господин Стилле.

— Спокойной ночи, господин пастор.

Якоб торопливо направляется в ризницу, представляющую из себя большую, неправильной формы комнату. Сонные лампочки в зеленых абажурах теряются в высоте свода. Вдоль стен стоят застекленные шкафы с облачением и реквизитом для церковных ритуалов. В центре — стол из светлого дуба, который сторожат шесть стульев с высокими резными спинками и потертой черной кожаной обивкой. У двери узкое, в человеческий рост зеркало. В этом темном помещении холодно, пахнет известкой, плесенью и костями мертвецов.

В комнате три двери: одна, сводчатая, ведет в алтарь, другая, узкая и высокая, с лесенкой, — на кафедру, а третья, широкая, двойная, — к северным воротам церкви.

Анна стоит возле двойной двери. Она в светлом демисезонном пальто и пыльной шляпке с длинной булавкой. В затянутых перчатками руках — сборник псалмов. Пастор, успевший уже надеть пальто и взять с полки шляпу, обнаруживает Анну и останавливается.

— Я бы хотела с вами поговорить, дядя Якоб. Если это возможно. Я хочу сказать, если у вас есть время. Это ненадолго.

— Было бы лучше подождать с беседой до следующей недели. В среду у меня будет сколько угодно времени.

— Тогда будет поздно.

— Поздно? Что ты имеешь в виду?

— Мы можем сесть? Всего на пару минут.

— Конечно, разумеется. Я только скажу господину Стилле, чтобы он дождал гасить свет и запирает.

Якоб исчезает в глубинах церкви, слышно, как он разговаривает со сторожем: «Нет-нет, конечно, у меня есть дела. Скажете, когда надо, — я буду тут».

Якоб возвращается, кладет шляпу на стол и садится на стул с высокой спинкой. Анна сидит у дальнего закругления стола, на большом расстоянии. Поля шляпы затемняют глаза и лицо, придавая ей анонимность. Подняв руки, она вытаскивает блестящую булавку, откладывает шляпу в сторону и извиняюще улыбается:

— Это новая шляпа. Мне она показалась очень элегантной.

— Ну, постепенно дорастешь до нее. Она наверняка будет тебе к лицу.

Пастор уже совсем было собрался спросить, что за дело у Анны, но передумал, он ждет. У девочки явно что-то на душе, но ей трудно решиться.

— Да, папа просил передать вам, дядя Якоб, что вас ждут на обед в следующее воскресенье. Ведь тетя Мария на курорте, и папа думает, что вам одиноко.

— Очень мило, но я пока не знаю.

— В воскресенье в три часа в большом зале университета будет выступать квартет Аулина, а потом они придут к нам на обед. Папа сказал, что они приятные люди и что вы, дядя, знакомы по крайней мере с двумя — Туром Аулином и Рудольфом Классоном. А вечером мы помузицируем.

— Да-да, весьма соблазнительно.

— Мама позвонит. Но я, собственно, не потому...

— Понимаю.

Ожидание. Анна, ковыряя сломанный ноготь, пытается что-то сказать. Якоб ждет, не торопит ее.

— У меня одно затруднение.

— Не сомневаюсь.

— И я боюсь, что вы рассердитесь.

— Не думаю, чтобы ты, Анна, могла сказать нечто такое, из-за чего я бы рассердился.

Ожидание. Анна извиняюще улыбается, на глазах у нее выступают слезы.

— Дело вот в чем.

— Ну, Анна. Давай же, говори!

Пастор остается в неведении, в чем же дело. Но он не задает наводящих вопросов, не делает попытки выведать.

— Да. Дело вот в чем. Я не хочу идти к причастию.

Вынув платок из сумочки, она сморкается.

— Если ты, Анна, не хочешь идти к причастию, значит, у тебя должны быть веские причины.

— Я пытаюсь представить себя стоящей на коленях возле алтаря, и облатка, и вино — нет. Это было бы обманом.

— «Обман» — сильное слово.

— Тогда ложью, если это лучше. Приняв участие в этом... ритуале, я бы просто разыграла спектакль... Не могу.

— Давай немного прогуляемся. Пойдем в Одинслунд, полюбуемся на весну.

Анна кивает со смущенной улыбкой. Якоб придерживает дверь, и они проходят в церковь. Сумеречный свет за высокими окнами придает загадочную бесконечность сводам и галерее, где стоит орган. Сторож Стилле машет — «спокойной ночи», и запирает церковные ворота.

Медленным прогулочным шагом они пересекают Бископсгатан.

— Остановимся. Не замерзла, Анна? Нет. Давай присядем на скамейку. А известно ли тебе, что церковь Троицы изначально называлась Крестьянской церковью по названию прихода — Приход Крестьянской церкви. Он существовал еще в конце двенадцатого века. Здесь хорошо. Можем говорить о вечных вопросах под защитой вечности.

— Вы верующий, дядя Якоб?

— Пожалуй, могу ответить утвердительно. И скажу почему: есть факты, которые не в состоянии опровергнуть даже самый умный неверующий. Хочешь послушать?

— Да.

— Ну так вот. Когда Христа казнили, распяв Его, Он ушел из мира, Его больше не стало. Конечно, в Писании рассказывается о пустой гробнице, об ангеле, говорившем с обеими женщинами. Рассказывается и о том, что Мария Магдалина видела Христа и беседовала с Ним и что Учитель посетил своих учеников и позволил Фоме Неверующему дотронуться до Своих ран. Все это евангельские утверждения. Рассказы на радость и в утешение. Но они не имеют ничего общего с настоящим чудом.

— Чудом?

— Да, Анна. Чудом, непостижимым. Подумай об учениках, разбежавшихся в разные стороны, как испуганные зайцы. Петр отрекся. Иуда предал. Все было кончено, ничего не осталось. Спустя несколько недель после катастрофы они встречаются в тайном месте. Перепуганные, в отчаянии. Мучительно сознавая, что потерпели крах. Их мечты построить вместе с Мессией новое царство развеваны. Они унижены, им стыдно, трудно смотреть друг другу в глаза. Они говорят о побеге, об эмиграции, о покаянии в синагогах и перед священниками. И вот тогда-то и происходит чудо — сколь непостижимое, столь и великое.

Якоб делает небольшую паузу — короткую искусственную паузу, наверное, чтобы проверить интерес своей слушательницы. Поблизости ни души. От длинных цветников Одинслунда и свежей зелени вязов исходит густой аромат. Маленький трамвай с трудом взбирается на пригорок возле университета Густавианум, скрежещет на повороте и соскальзывает на Бископсгатан, чтобы

бесшумно исчезнуть внизу у Трэдгордсгатан. Слабо светятся окна вагона, он похож на скользящий голубой фонарь.

— Чудо?

— Да, невероятное. Самое достоверное, самое простое и в то же время самое великое из всех евангельских чудес. Представь себе учеников, сидящих в длинной сумрачной комнате. Возможно, они только что вкусили нехитрую трапезу, которая, быть может, напомнила им о последней вечере с Учителем. Но теперь они расстроены, в отчаянии и, как я говорил, напуганы буквально до смерти. И тут поднимается Петр, тот, что отрекся, и молча стоит перед товарищами. Они поражены — неужели он собирается говорить? Воистину оратором он никогда не слыл, а после катастрофы стал еще молчаливее. И тем не менее он стоит перед ними, собираясь что-то сказать, и начинает говорить, заикаясь, неуверенно. А потом с все большим жаром. Он говорит, что пора покончить с временем трусости и стыда, разве он сам и его друзья за девять месяцев не пережили удивительнейшие вещи, которые испокон веков не приходилось переживать ни одному человеку? Они слышали послание о непобедимой любви. Учитель смотрел на них, и они обратили к Нему свои лица. Они услышали и поняли. Осознали, что они избранные. Девять месяцев они жили окруженные новым знанием и непостижимой заботой. И что же мы делаем? — спрашивает Петр, гневно обводя их взглядом. На дар Учителя мы отвечаем тем, что прячемся в норах, словно чесоточные крысы. Идут часы, дни и недели, говорит Петр, а мы тратим время, драгоценное время, на то, чтобы сохранить свою никчемную жизнь без всякой пользы. И сейчас я спрашиваю, говорит, стало быть, Петр, я спрашиваю, не пора ли нам в корне изменить положение вещей. Ибо нет ничего хуже, чем наша сегодняшняя жизнь или ее отсутствие. Зачем нам барахтаться во мраке и трусости, когда мы можем выйти на свет и сказать людям — столькоим, сколькоим успеем, прежде чем нас схватят, подвергнут пыткам и казням, — сказать, что в нашей жизни есть упущенная реальность, то есть любовь. У нас нет выбора, если только мы не предпочтем задохнуться в своих норах. Подумайте: совсем недавно Учитель, случайно проходя мимо, *посмотрел на нас и назвал по именам* и велел следовать за ним. Он выбрал нас, каждого по отдельности и всех вместе, ибо знал или думал, что знает, что мы разнесем Его заповеди по всему свету.

Петр посмотрел на каждого из своих друзей и назвал их по именам. Их было одиннадцать, поскольку Иуда повесился. Тот, что был самым преданным и мстил, ибо считал себя обманутым. Помните, что сказал Учитель, когда позвал нас: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков»? Когда Петр закончил свою речь, все, собравшиеся в темной комнате, почувствовали большое облегчение. Зажгли лампы, разлили вино и определили, кто в какую сторону пойдет, дабы исполнить свою миссию. Назавтра рано утром они отправились в путь. И вот оно — *чудо*: за два года христианство распространилось по всему Средиземноморью и в большей части Франции. Миллионы и миллионы людей крестились и готовились выдержать пытки и преследования.

— Да.

— Вот так. Так выглядит чудо. *И на этом* я заканчиваю. Позорные деяния, совершающиеся во имя любви, — дело рук человека, сокрушительное доказательство того, что мы свободны совершать всевозможные преступления.

— Да.

— Понимаешь?

— Понимаю.

— Причастие — это подтверждение, которое должно напоминать тебе о твоей причастности к чуду.

— Следующей осенью я поступаю в медицинское училище.

— Вот как? Это решено?

— Да, решено. Мама хочет, чтобы я получила хорошую профессию и могла бы стоять на собственных ногах и быть независимой, как она выражается. Хотя, по ее мнению, затея насчет сестры милосердия не слишком удачна.

— Но это уже решено.

— Если я что-то решила, то будет так, как я хочу. О чем вы думаете, дядя Якоб?

— О чем думаю! Ну, не всегда надо говорить «я люблю тебя». Но можно совершать деяния любви.

— Именно так я представляю себе свою жизнь. После получения диплома сестры милосердия я собираюсь стать миссионером и поехать в Азию. Я уже говорила с Русой Андре, и она записала меня, но одновременно сказала, что я имею право передумать, поскольку я еще несовершеннолетняя.

— Но об этом твоя мать не знает.

— Нет, я не говорила с мамой.

В мае река Фюрисон превращается в стремнину, водопад, — вздымаясь, она бросается на камни набережной. Бурлит черно-бурая вода, глухо, порой угрожающе. Под Железным мостом стремнина нетерпеливо клокочет, кипит и грохочет, от нее исходит едкий запах и ледяной холод.

Они стоят на некотором расстоянии друг от друга, положив руки на парапет моста, и глядят вниз, на постоянно меняющуюся, кипящую воду. Еще не стемнело, но фонарщики уже принялись за дело. Анна, сняв свою элегантную шляпку, держит ее в руке. Вдруг она отпускает ее, и шляпка с булавкой, цветочными украшениями и шелковой лентой летит вниз, в буйный поток. Подхваченная буруном, она, кружась, исчезает под мостом.

— Уронила шляпу?

— Нет, она улетела.

Анна, перебежав на противоположную сторону, со смехом наблюдает, как забавно уносится вдаль ее головной убор. Якоб подошел поближе, он с удивлением, смешанным с уважением, смотрит на свою ученицу.

— Анна, ты выбросила шляпу?

— Ну да. Ведь вам она не понравилась.

И, повернувшись к нему, она обвивает руками его шею и лбом утыкается в его грудь, в грубую ткань летнего пальто и в жесткие пуговицы. Он делает движение, чтобы отодвинуться, но она не отпускает его — нет, погодите, это скоро пройдет, молчите, нет, подождите, ничего страшного.

Они замерли, Якоб бережно обнимает ее, она еще крепче вжимается лбом ему в грудь — нет, не надо, так хорошо. Помолчим.

— Ты не можешь запретить мне говорить, Анна.

— Но я *не хочу* разговаривать.

— А я хочу.

— И что вы хотите сказать?

— Да вот собирался сообщить, что на Фюрисоне семь мостов: Исландский, Вестготский, Новый, Домский, Железный, Хагалюндский, Лютагенский. Семь мостов.

— Семь, как смертных грехов.

— Можешь перечислить?

— Равнодушие, Гнев, Пьянство, Зависть, Похоть, Жадность, Гордыня. Получилось семь?

— Семь. Идем, Анна, а то замерзнем.

У берегового устоя они останавливаются и прислушиваются. Сквозь рокот воды доносится ясный звон колокола Гуниллы.

— Колокол Гуниллы пробил девять. Твой папа уже недоумевает, куда ты подевалась.

— Мама уже сердится.

Вскоре они стоят на углу Дроттнинггатан и Трэдгордсгатан.

— Дальше я не пойду. Попрощаемся здесь.

— Спасибо. Спокойной ночи.

Тем не менее они не двигаются с места, он по-прежнему держит ее руку в своей.

— Анна, если ты не захочешь идти к причастию, позвони мне завтра в восемь утра. Я буду у себя в кабинете. И ты скажешь, приедешь или нет.

— Я позвоню. Самое ужасное — это мама и наши гости. И мое красивое конфирмационное платье. Вы ведь не видели моего красивого платья, дядя Якоб.

— Будь серьезной, Анна!

— Я серьезная, скоро всерьез зареву.

— Тогда иди к себе в комнату, запри дверь и поплачь. А поплакав, прими решение.

— Неужели вот так просто?

— Конечно. Так просто.

Коснувшись ее щеки, он быстрым шагом направляется в сторону Слотсбаккен и «Каролины Редививы»³. Анна тоже не стоит на месте. Она спешит домой.

Форё.

8 июня 1994.

Перевела со шведского А. Афиногенова.

³ Название университетской библиотеки Упсалы.



О Ч Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

БОРИС ЕКИМОВ

*

В СНЕГАХ

Зима нынче, слава богу, снежная. Давно таких снегов не бывало. Вот и февраль пришел, а все сыплет, метет. Хорошо глядеть из окошка на снежную замять. Соскучились по снежку. Не грех и прогуляться по белой дороге ли, тропке. Вовсе хорошо, когда едешь заснеженной белой степью. Сечет по окнам машины, ленивая поземка перебегает дорогу. По обочинам — стайки хохлатых жаворонков. Им — снег ли, метель — надо кормиться. Травы в степи нынче замело. В колено снег да в пояс. Вот и подались жаворонки к дороге.

Нынешний снег нашим людям в радость. Вспомнила наконец о нас небесная канцелярия, спохватилась. Ведь все прошлое лето — словно пёкло: с весны до осени — ни дождинки. Засуха, какой давно не бывало. Ко всем напастям еще и эта.

«...Обращаем Ваше внимание на катастрофическое положение в сельском хозяйстве, которое сложилось в результате диспаритета цен... и в связи с жесточайшей засухой».

Все верно: и диспаритет налицо, и засуха. Но нынче разговор о другом. Разговор о колдунах. Один из них живет в рабочем поселке Быково, в степном Заволжье. Виктор Андреевич Парчак, сорока трех лет, родом сельский, образование высшее, отец троих сыновей, до 1991 года трактор и комбайн не водил, пахать и сеять не умел. Работает со своим родственником Петром Николаевичем Смутневым, тоже начинающим хлеборобом, на 400 гектарах земли. В 1995 году, в жесточайшую засуху, получил по 32 центнера озимой пшеницы с гектара. А рядом, на той же земле, по 2 — 3 центнера наскребали.

— Колдун, — объяснили мне. — Везде — сушь, а над ним дожди идут. Значит, умеет колдовать.

Что ж... Познакомиться с колдуном всегда интересно. Но не зря говорят, что внешность порой обманчива. Виктор Андреевич оказался отнюдь не богатырем с плечами в косую сажень. Роста среднего и в плечах узковат. И все его хлеборобские успехи — это лишь работа.

И начало было обычным. 1990 год. Огляделись, подумали и поняли, что прежней жизни пришел конец. Надо начинать новую. Четыре мужика, связанные родством и свойством, во главе с В. А. Парчаком взяли 1000 гектаров брошенной земли совхоза «Волжский».

— Неудобья... Это мягкое слово ничего не говорит, — вспоминает Парчак. — Эти земли более пяти лет не пахались. Осот там был выше человеческого роста и в руку толщиной. Там косули водились.

— Кто-кто?.. — удивленно переспрашиваю я.

— Косули. Я сам удивился. Но ведь лес стоял осотовый, глушь, они и прижились. И уходить не хотели. Мы рубим осот... Буквально топорами рубим... Они уходят вглубь. Это были джунгли, а не пашня. С ранней весны мы начали чистить землю, пахать...

Но прежде чем пахать, был первый решительный шаг: несколько дней раздумий, а потом три месяца тяжелой маеты.

— Обдумали и решили, и правильно сделали, — вспоминает Парчак. — Заниматься землей — значит, надо иметь свою технику, а не ходить с протянутой рукой. Взяли кредит более двухсот тысяч рублей. 1990 год. Тогда это были великие деньги. Кое-кто за голову хватался: «С ума сходите?! Наберите

старенького, подлатайте. На первое время сойдет». Мы взяли кредит. Техника тогда была недорогая, но купить ее было негде. За три зимних месяца я исколесил полстраны, а в области могу и сейчас нарисовать план всех райагроснабов. За три месяца я потерял одиннадцать килограммов веса, но к весне у нас была вся техника, нужная для работы. И брал я ее не внавяз, а с запасом, чтобы первые, самые трудные, пять лет быть во всеоружии.

С первых теплых дней Парчак с товарищами взялись за землю. До июня они сумели вспахать лишь 400 гектаров из тысячи, хотя работали по двенадцать — четырнадцать часов. И сутки, и двое, и трое могли не уходить с поля. Это была изнурительная, тяжкая работа.

2 и 3 июня 1991 года шел дождь. Его Парчак помнит и нынче. После этого дождя посеяли просо на отвоеванных 400 гектарах. Получили урожай — 600 тонн. Реализовали. Цена тогда была хорошая, получили деньги и разделились.

Не ругались, не спорили, не упрекали друг друга, а просто поняли, что вместе — не по пути. Разные по характеру, по жизненным взглядам люди. Одни считали, что нельзя тратить себя, «надрываясь» в работе на пределе. Парчак считал, что нужно. И он остался вдвоем со своим нынешним напарником П. Н. Смутневым. Полученные деньги пошли на погашение кредита, на удобрения, на горячее — словом, на жизнь для земли и себя, это едино.

— Многие из начинающих земледельцев, — говорит Парчак, — работают на барыш, а не на урожай. Для урожая, для земли нужно покупать удобрения. А для барыша можно и обойтись год-другой. Это уже психология: «Как это я из кармана живые деньги выну, отдам, а неизвестно, что будет...» Мы же работаем на урожай сегодняшней и завтрашней.

Приехал я в Быково, искал Парчака, спрашивал о нем.

— Это который колдун? Над которым дожди идут?

— Это который везучий?

Может, и вправду колдун ли, везучий?

— Ни одного дождя за лето, как и у всех, на поле у Парчака не было, — сказал мне человек знающий, начальник районного сельхозуправления. — Первые капли упали во время уборки и пошли во вред. Про везение и тем более про колдовство — это басни да бабьи сплетни. Человек работает не жалея себя. И не просто «на дурака прет», а соблюдает все требования агрономической науки. У него были не хорошие и даже не отличные, а идеальные пары. Для наших краев это — в любую засуху спасенье. У него были отличные семена. Он вовремя отсеялся. Он применял удобрения. Отсюда и результат.

В 1995 году Парчак и Смутнев с 200 гектаров озимой пшеницы получили по 32 центнера, а с 200 гектаров проса — по 15 центнеров с гектара. Первый за лето дождь пошел во время уборки, и потому проса собрали меньше, чем могли бы.

Нынешнее лето. Жестокая засуха. Хлеба буквально «горели». Активировали, списывали, гоняли комбайны, собирая крохи. Соседние с Парчаком колхозные поля дали по 2,5 центнера с гектара пшеницы.

— Почему? — спрашиваю я у Парчака.

— Все просто, — отвечает он на мое недоумение, — и ничего не нужно придумывать! Тем более что я и придумать ничего не смогу, я не агроном. Трактористом и комбайнером прежде не был. Надо делать так, как говорит наша агрономическая наука. Точно и твердо выполнять все ее предписания. Вот и все.

На мой взгляд, это главная причина успеха Парчака. Он не «выдумывал велосипед». Он точно, со старанием выполнял все агрономические требования, все, что до него уже десять раз проверили и доказали многолетним опытом, наукой и практикой не на какой-нибудь, а на нашей волгоградской земле. К примеру, в первый год на парах он проводил более десяти культиваций за сезон.

Пахота ли, сев, культивация — для Парчака все важно и все главное.

— Обойду всех агрономов, — говорит Парчак, — посоветуюсь. Литературу читаю. Все выполняю в точности. У меня день уходит, чтобы войти в работу, отрегулировать агрегаты. На какой глубине идут лапка, сошник, норма высева, заделка семян в почву — все важно и все должно быть так, как положено. По-

сле пахоты, боронования, культивации, сева любой клочок моего поля можно проверить. Даю сто процентов гарантии: никаких отклонений от нормы.

И прежде, а в последние годы особенно много приходится видеть на полях наших горького. Зеленая трава стоит по колону, а убеждают: «Это — черный пар. Припоздали с культивацией, но не беда, успеем...» Успеют. Только проку от такого «черного пара» нет. Скачет сеялка за трактором, того и гляди оторвется. Пашня, считай, не бороненная. «Ничего, — машут рукой. — Дожди пройдут, все прибьется, вырастет». Конечно, вырастет, только вот что? Осот, розовый вьюнок, полевая ромашка.

За годы своей работы Парчак и Смутнев получили и реализовали три тысячи тонн зерна. Всего лишь на 400 гектарах. Иные колхозы на десяти тысячах гектаров получают зерна в два раза меньше.

Но... «от земли не будешь богатым, а будешь горбатым» — не мною придумано. Живет Парчак в том же доме, в каком жил и раньше. «Мерседесов» и даже «Жигулей» не купил. Все полученные деньги вложены в производство. Провели к своему участку дорогу из бетонных плит, построили склад для техники, семян, удобрений. Протянули электролинию, смонтировали подстанцию. Скважина, водонапорная башня, склад горюче-смазочных материалов. Государство помогало мало, а главное, с опозданием на полгода. Тогдашняя инфляция эту помощь «съедала».

Позади пять лет работы. Самой трудной, потому что это было начало. Что впереди?

— Для меня стало ясно, — говорит Парчак, — что на наших землях можно получать по сорок — пятьдесят центнеров озимой пшеницы на парах. Так я и буду работать.

Но, отработав пять трудных лет и получив около трех тысяч тонн зерна, Парчак не разбогател. Не все планы его сбылись. Он хотел на своей земле построить хороший большой дом, и, может быть, с бассейном, что при нашей жаре вовсе не роскошь. Хотел разбить сад и парк. Хотел построить свой элеватор для зерна. Не вышло. И не его в том вина. Пусть государство не выполнило свои обещания: дом для фермера и прочее. Но самое горькое — год 1993-й, когда 700 тонн пшеницы отдали государству и ждали денег за нее целый год. При тогдашней инфляции деньги обратились в дым. Год жизни. Год тяжелого труда.

И когда говорит Парчак: «Страна должна повернуться лицом к крестьянину», он имеет в виду только одно: «Честно расплачивайтесь за мою пшеницу, за мой труд. Чтобы я не ждал и не выпрашивал свои деньги месяц, два, три, а то и год. А еще — цены должны быть сообразными: за железку, за хлеб, за горючее».

Конечно же, не обошли мы в наших разговорах темы общие и насущные: колхоз и фермер.

— Поработав фермером, а потом объединившись в колхоз, я буду уже другим, — сказал Парчак.

— Вы вернетесь в колхоз? — изумленно спросил я. — Зачем?

— Конечно, не в прежний, — ответил мой собеседник. — Но объединяться мы все равно будем, рано или поздно. На других принципах. Это необходимость. Потому что я зерно получил и отдал его чужому дяде, который смеет его, испечет хлеб, сделает макароны и получит доход больший, чем я. Значит, нужна своя переработка. Но в районе четыреста фермеров. Не заводить же нам четыреста пекарен, четыреста мельниц. Это — деньги на ветер. Надо объединиться. На какой основе, тут надо думать. Но объединяться все равно будем.

Мы говорили о многом. В конце разговора я спросил у него:

— У вас трудное позади. Но если бы сейчас вам предложили еще тысячу гектаров земли, такой же запущенной, джунгли, в которых кабаны и косули. Вы бы взяли?

— Взял бы. Мы бы смогли ее обработать. Подросли сыновья, племянники. Они уже работают на тракторе, на машине.

— А пять тысяч гектаров? — загорелся я. — Взять и отвечать за эту землю, чтобы и она могла по тридцать, по сорок центнеров с гектара давать? Пусть с сезонными работниками, с наемными. Но смогли бы?

— Можно, — твердо ответил Парчак.
— А десять тысяч гектаров?
— Все можно при желании.
— Но где вы возьмете людей? Ведь в колхозе работники нынче известные.
— Будут работать. Даже те, кого из колхоза выгоняют. Со мной бы работали. Им ведь «папа» нужен. Колхоз приучил к «папе». Без него не могут. Но о чем сейчас говорить, когда и нынешние двести гектаров мне не принадлежат. Я просил — не дают. А если бы я знал, что эти двести гектаров — это моя земля, моя и моих сыновей, то я бы сейчас не сидел сложа руки, я бы со всей округи навоз возил от ферм. Колхозам навоз не нужен, не до него. А я бы возил. И в следующем году получил бы по шестьдесят центнеров с гектара. Но чья эта земля?.. Непонятно.

Так вот, не больно весело, закончился наш разговор.

Возвращался я в город. Заволжье — край пустынный. Нынче — и вовсе. Вон кошара овечья, но возле нее — ни сена, ни соломы. Значит, нет и овец. Вон еще одна такая же. А там — бывший животноводческий комплекс на десять ли, на двенадцать тысяч голов. Хорошо, если сотня-другая коров в его стенах осталась. Хоть и глубокий снег, но видно, что тянется и тянется вдоль дороги непашь. Почти полтора миллиона гектаров остались в области с осени невспаханными. Почти третья часть. Это — по всей области. А здесь, в глухом Заволжье, в Быковском районе, больше половины земли не пашется. Времена нынче — трудные.

Все понимаю. Но почему работающий умелый Парчак, отец трех сыновей, не может получить эту брошенную землю? Ведь тогда на ней не бурьян будет расти, а пшеница. И урожай будет не 5 центнеров с гектара, а 30 и 40.

Почему в другом, но тоже нашем краю такие же толковые хлеборобы Чичеров и Ляпин не могут получить столько земли, сколько им по силам? Там ведь тоже сыновья уже поднялись.

Почему о земле с тоскою говорят братья Пономаревы и могучий их батя? Почему Виктор Иванович Штепо не может осуществить планы свои? А ведь все они — наши кормилицы. Не горстями зерно дают, а тысячами тонн.

Тянется вдоль дороги заметенная снегом непаханая земля, молчит. Но уже пригревает солнце, скоро весна. Что она принесет нам? А что она может принести?!

Вот строки из обращения к руководству нашей области Аграрного союза и профсоюза агропромышленного комплекса:

«В агропромышленном комплексе Волгоградской области сложилось катастрофическое положение.

...во многих хозяйствах не отапливаются школы, детские сады, ремонтные мастерские.

...остановлен ремонт техники.

...идет сброс скота, растет падеж, падает продуктивность».

Во всем этом много и много правды. Но не вся она здесь. Есть правда иная.

В Калачевском районе бывший совхоз, а ныне коллективное сельскохозяйственное предприятие «Советское» не выделяется какими-то особыми землями. Дожди и снега, степные ветры и летнее солнце — такие же, как у всех. И люди — обычные селяне ли, хуторяне. Проблемы — все те же: неплатежи. Молокозавод задолжал, мясокомбинат задолжал, плодоовощные базы не платят. А пахать, сеять, урожай убирать и жить надо.

Но, в отличие от многих других, в коллективном хозяйстве «Советское» вся земля вовремя вспахана, засеяна и урожай убирают неплохой. Озимой пшеницы собрали в 1995 году по 16 центнеров с гектара, ячменя — по 9,5. С поливных земель получили 1200 тонн овощей.

Если в области и в районе сокращается поголовье скота, то в «Советском», напротив, понемногу растет. Если везде падают надои, то здесь они поднимаются. В 1995 году получили в среднем по 3180 килограммов молока от каждой коровы. Привесы скота тоже год от года не уменьшаются. Падеж в 1995 году по сравнению с 1994-м значительно снижен.

Как ни крути, а показатели — упрямая вещь. Получается: не хозяйство, а оазис благополучия среди всеобщей разрухи.

Год 1995-й закончили пусть с невеликой, в 600 миллионов рублей, но прибылью. Средняя зарплата работников — 340 тысяч рублей. Задолженность по зарплате есть. Но она такая, как у администрации района: в феврале ждут ноябрьской полочки.

Но «благополучный остров» в нынешней сельской разрухе — факт сомнительный. Сомневался и я. Не раз приезжал в хозяйство, приглядывался, спрашивал.

Нынешний мой рассказ о том, что и сегодня в сельском хозяйстве можно держаться на плаву. Не вырезать скот, не губить землю, не разрушать производственную структуру, не лишать работы людей. Трудно, но можно. Пример тому — коллективное хозяйство «Советское».

На мой взгляд, как и прежде, всякий дом хозяином крепок. Недаром говорили: «Без хозяина товар плачет», «Не купи села, купи приказчика», «Без хозяйского пригляду одни муравьи плодятся».

Таким вот рачительным хозяином ли, приказчиком является в «Советском» Николай Петрович Мелихов. Человек он еще молодой, но хозяйственный опытный, специалист, умеющий работать с людьми.

Ничего нового, мне кажется, он не придумал. Технология в полеводстве, в животноводстве вековечна: досыта корми корову — она молока даст; вовремя вспаши, вовремя посеи — получишь урожай.

Но в нынешнее время великий труд и умение руководителя заключаются именно в том, чтобы коровы были накормлены, а земля вспахана. Не рыдать, не бить себя в грудь на высокой трибуне, не ждать, когда «наши придут», обрекая хозяйство на развал, а людей на нищету. Работать. Думать. Находить наилучшие хозяйственные решения.

В «Советское» не течет ручей бесплатной солярки или бензина. И запчастей для тракторов и автомобилей с поклоном сюда не несут.

— Мы делаем все, — говорит Николай Петрович, — чтобы работа в поле, на ферме не останавливалась. Потому что любой простой — это разложение коллектива. У нас не хватает топлива, а у кого-то, у железнодорожников, у военных, не хватает мяса, молока, овощей. Вот и выход.

В других хозяйствах округи давно забыли лозунг: «Навоз — на поля!» И, кажется, резонно: бензин дорогой. В «Советском» вывозят ежегодно на поля около двадцати тысяч тонн навоза. И, наверное, поэтому во многих хозяйствах скотина и солодке рада, а здесь заготовили сено, сенаж и силос. А значит, постоянно текут «молочные» деньги. Средняя цена реализации литра молока была в 1995 году 800 рублей, себестоимость — 400 рублей. Вот она — прибыль.

С овощных полей тоже идет доход. Получили хороший урожай и удачно продали перец, баклажаны. Нашли покупателей на семена томатов. Капусту не продали всю осенью, когда она стоила 500 рублей за килограмм, а заложили в хранилища. И теперь продают по 1500 рублей.

Постоянно в 30 магазинов Волгограда сейчас везут из «Советского» лук, капусту, морковь.

Вот и собираются понемногу доходы молочные, овощные, зерновые, с подсолнечника. За год таких денег набезало три миллиарда. Покупали горючее, запасные части, ремонтировали животноводческие помещения и построили два новых. Готовили к зиме гараж, МТМ, где сейчас, зимой, идет ремонт техники. Понемногу, но хозяйство строит жилье, каждый год сдавая по одному дому.

А в строительстве жилья своими силами в 1995 году явное оживление: 38 человек взяли участки под застройку. Конечно, хозяйство им посильно поможет.

Такую тяжкую ношу, как стройка, не взваливают на себя люди вовсе безденежные. Уже упоминал я, что средняя зарплата в прошлом году была 340 тысяч рублей в месяц. Но это — средняя. От «уравниловки» в хозяйстве давно отказались. Оплата на всех участках сделанная, стимулирующая высокие результаты труда. Например, за январь 1996 года одной доярке начислено 550 тысяч рублей, а другой — 322 тысячи. То же — у телятниц, у скотников. Сколько надоил молока, сколько получил привеса — столько денег и получи. И зарплата руководителей всех рангов, специалистов напрямую зависит от результатов труда возглавляемых ими служб. Бригадир животноводов, к примеру, получает 1,7 среднего заработка своих подчиненных.

Но кроме зарплаты денежной работники хозяйства получают весомую прибавку в виде натуроплаты. 720 тонн зерна выдано в 1995 году. По ценам очень умеренным люди получили муку, капусту, помидоры, лук, подсолнечное масло, корма для личного скота. Выделялась земля для посадки картофеля, обрабатывалась, поливалась.

Если во многих хуторах и селах нынче закрываются детские сады, то в «Советском» в прошлом году построили еще один за свой счет. Обед в столовой в январе стоил 1000 рублей. Работает Дом быта с парикмахерской, обувной и телемастерской. Клубная самодеятельность — одна из лучших в районе, участник и победитель многих областных и зональных конкурсов. Поют и пляшут не только взрослые, но и дети. Этим гордится Н. П. Мелихов, и его можно понять. Коллективное хозяйство, сохранившее за эти трудные годы не только производственную базу, землю, технику, но и социальную сферу, достойно уважения. Оно доказало свою жизнеспособность.

В нынешнем году наметили получить от реализации молока, зерна, овощей 6 миллиардов рублей. И это не пустые планы. Построили цех для охлаждения молока. А значит, за хорошую цену будут продавать молоко и летом. Смонтировали коптильную установку, чтобы и мясная продукция стала прибыльной. На овощных плантациях будут выращивать лишь то, что имеет цену и спрос. Расширятся площади под баклажанами, болгарским перцем. Томаты пойдут в основном на семена. Капуста выгодней поздняя, с закладкой на хранение, чтобы продать зимой, когда поднимутся цены. Появится засолочный цех, а значит — прибавка к доходам. И поиски новых покупателей, партнеров, новых возможностей.

— И подъем производства, — подчеркивает Н. П. Мелихов. — Непременно. С теми же людьми, на тех же площадях. Земли нам никто не прибавит. Резервы у коллективных хозяйств огромные. Простой пример. В этом году мы справились на уборке зерна и овощей своим автотранспортом, а прежде привлекали до ста машин со стороны. Люди должны быть материально заинтересованы: больше сделано, больше и получи. Нынче на закладке сенажа у нас зарабатывали до восьмидесяти тысяч рублей в день. За девять дней заложили сенаж. А лодырь останется без зарплаты. Пьянка, хищение тоже строго наказываются. Не директором, а всем коллективом.

Но под руководством директора ли, председателя, добавлю я. Потому что если доярка отвечает за своих коров, телятница — за телят, то председатель и за одних, и за других, и за третьих. Как глава большой колхозной семьи. За нынешний день и за завтрашний. Потому и идут в округе разговоры о строгости Н. П. Мелихова. Но когда я об этой строгости колхозников спрашивал, они отвечали одинаково: «Сейчас так и надо. Чем жестче, тем лучше. Иначе все развалится и все разворуют. Он жмет, но не пережимает».

У Н. П. Мелихова, как говорится, голова на плечах, а еще — немалый опыт: совсем недавно он руководил в Казахстане целым районом. Уехать оттуда пришлось по причинам всем известным. Который уже год бегут оттуда русские люди.

Так что «Советскому» очень повезло с руководителем. Но и это хозяйство — не сказочный остров посреди нынешнего шторма. Это скорее прочный корабль с хорошим капитаном, умелым, мудрым, в меру строгим. От времен нынешних, рыночных, Н. П. Мелихов не требует поблажек, но лишь честного партнерства: плати деньги за товар вовремя. Своевременные расчеты позволили бы «Советскому» и людям его сносно жить. На вчерашний, на сегодняшний доход в 200 ли, 500 миллионов рублей можно было бы обновить машинно-тракторный парк, строить, покупать удобрения. «Неплатежи» по-прежнему подтачивают колхозную экономику. Это опасно даже для прочного корабля.

«Советское» и его руководитель не требуют пустых «вливаний», но ищут партнерства. Целевой ли кредит, лизинг, по которому в нынешнем году покупают комплекс для уборки кормов за 700 миллионов рублей. Это не от жиру, это — для жизни.

На мой взгляд, коллективное хозяйство «Советское» умело и потому без особых потерь миновало тяжкие годы сельских перемен. Миновало и выжило, не утонув в долгах, не развалив производство, а, напротив, пусть понемногу, но наращивая его.

День завтрашний зависит не только от Н. П. Мелихова и его товарищей по труду. Не на острове они живут и работают, а в России, в году от рождения Христова 1996-м, к тому же и высокосном.

Год високосный, по приметам, нелегко всегда. Нынче и вовсе доброго ждаты не приходится. Теперь вот письмо пришло с хутора Большой Набатов. На этот хутор ежду я в пору летнюю, по суху и теплу. Хутор лежит возле Дона, хорошо здесь рыбачить. И речка Голубая петляет по балке. Помню, под вечер мы купались в ее теплых омотах. Рядом с нами — городские ребятишки-гости. Родители звали их. Пора было ехать в Волгоград, дорога туда — больше сотни верст. Со слезами детишки поехали. Потом уехал и я. А товарищ мой — Александр Адининцев — остался, он живет там, на родном хуторе, где родился. Он — старожил, но и новосел. Как и большинство его земляков, окончив школу, он уехал в Волгоград, получил специальность, работал, жил.

К возвращению стал готовиться задолго до пенсии: ремонтировал родительский дом, обложив его кирпичом, поставил летнюю кухню, гараж, сарай, пробил скважину для воды. В пятьдесят пять лет закончив путь трудовой, сначала он на хуторе лишь летовал, потом поселился окончательно, заведя хозяйство: корову (и не одну), кур, огород и прочее. Прошлым ли, позапрошлым летом помню разговор на его дворе о жизни сельской да городской.

— Все равно в городе легче, — настаивала его жена. — Уедем.

— Никуда не уедем, — махнул рукой Александр. — Лишь галдишь. Сама ведь хуторская...

Александр Адининцев, его возвращение на хутор родной — это сейчас не редкость. В том же Большом Набатове можно насчитать с десяток людей, которые приехали из райцентра, из города. Одни летом живут. Другие и на зиму остаются. Это и новые фермеры, и крепкие еще «молодые пенсионеры» в пятьдесят да шестьдесят лет. Прежний управляющий колхозным отделением в разговоре со мной назвал их как-то дачниками.

Но они вовсе не дачники, они — работники. У всех есть скот. И бывает голов до десяти. А это уже — великий труд. У всех у них — огороды, картофельники. Опять — труд. А кое у кого — земля. Например, у Лысенко, который живет рядом с Большим Набатовом, в Евлампиевском хуторе. Живут вдвоем с женой. Который уже год зимуют. Сеют, пашут, держат скотину, имея свою технику. В прошлом году купил в Набатове дом известный в округе Коньков, и тоже взял землю. Это — не говоруны, это — хозяйва. Разные причины привели их сюда: трудности городской жизни; тяга к земле, к родине; стремление создать свое дело и заработать. Для многих и многих мест, для хуторов погибающих, при развале колхозной жизни эти люди — новая кровь и спасение.

Но вот письмо, которое нынешней зимой направил А. Адининцев, назвав его «Обращением к администраторам всех рангов». Его напечатала районная газета под рубрикой «Крик души».

Это истинный крик, истинная боль: «В хуторе Б-Набатов проживают более 120 жителей... разрушился клуб, закрыта школа и почтовое отделение... не доставляют газеты... магазин работает 2 раза в неделю и продают только хлеб... 2 месяца нет воды, прогнили трубы в водонапорной башне, за водой ходят на Дон или тают снег. 17 декабря погас свет и только 5 января зажегся...»

Прочитал я это письмо, решил ехать. Конечно, не «администратор» я, не начальник и вряд ли чем, кроме сочувствия, помогу. Но края-то родные. Поехал. В районном центре, в Калаче, попросил машину надежную — вездеход, чтобы пробиться в Набатов. До станицы Голубинской — асфальт, а дальше — снега. Нынче сыплет, метет.

В Большой Набатов мы не пробилась. Мучились, мучились — и встали. Я вылез из машины и пошел пешком на гору. Дорога — сплошной снежный перемет. А в сторону шагнешь — вовсе по пояс. На гору все же поднялся. Где-то там, впереди, за немногими уже верстами, за двумя холмами, лежал Большой Набатов, в метели, в снежном плену, отрезанный от живого мира. «Да мы перемрем все, и никто не узнает», — вспомнил я слова жителя хутора Большая Голубая. До того и вовсе — пятьдесят километров. А тут — почти рядом. Но доберись попробуй.

— Почту в Большой Набатов возить не будем, — сказали мне по телефону из районной почтовой связи. — До Голубинской довезем, а там — как знают...

— Хлеб возим и пока будем возить, — сказали в районной администрации. — Но у райпо за год триста миллионов рублей убытка от доставки хлеба на такие хутора. Новые коммерсанты туда ведь хлеб не повезут, невыгодно.

До Большого Набатова я не добрался. Вернулся в Калач, потом — в Волгоград. Теперь вот думаю, пишу. «Не дайте умереть хутору» — назвал свое обращение «к администраторам всех рангов» А. Адининцев.

Мое обращение не к властям, к хуторянам. К набатовским и малоголубинским, что на Дону, к вихляевским, к павловским, что на Бузулуке. У всех судьба одинаковая: «не дайте умереть».

Если говорить честно и прямо, то вы никому не нужны. И хоть перемрите вы в Большом Набатове, властям спокойнее будет. Вы ведь не стучите касками на площади возле Дома правительства в Москве. Не грозите заморозить города. Не останавливаете поезда и заводы. И уж тем более не захватываете родильные дома, больницы. И потому не к вам спешат высокие «согласительные комиссии» во главе с премьерами да вице-преьерами. И сотни миллиардов рублей, и десятки триллионов рублей, и теперь уже миллиарды долларов пойдут не вам. Хотя вы порою не три месяца, а три года не получаете копеечной зарплаты. И бесплатно порой отдаете мясо, молоко, а потом месяцами и годами выпрашиваете свои рубли. И ваши нужды порою горше шахтерской ли, другой иной. Но вы — крестьяне. В этом вся отгадка и весь ответ. Ваша судьба — крестьянская, она вековечна.

Вот выписка из записок княгини М. К. Тенишевой, 1916 год: «Твердые цены установили только на хлеб и на скот, т. е. на то, что крестьяне производят, а на то, что они покупают, нет твердых цен, и с них дерут за все три шкуры». Как видите, те же проблемы, для деревни — вечные.

Так что же вам делать? На мой взгляд, если честно и коротко — надеяться на себя, только на себя.

Вот хутор Большой Набатов. Колхоз ли, совхоз в нем развалился окончательно. Это вы знаете лучше меня. И теперь, если застрянет в снегах и не пройдет к вам сельповская машина с хлебом, поедет Лысенко на своем тракторе и привезет хлеб. И заболевшего в станицу или покойного на кладбище опять везти ему. Или Адининцеву — на «Ниве». Колхоз рухнул. Но вам — жить. До Москвы — далеко. Не приедет оттуда чинить водопровод. Ушел с хутора колхозный управляющий, с которого требовали: «Дай воду... Дай трактор...» Но ведь осталась сельская администрация, глава ее — в станице. И на хуторе должен быть староста ли, атаман. А кого выбрать — «пешку» или хозяина, — зависит от вас.

Когда ехал я в Большой Набатов, завернул в сельскую администрацию, к главе. «Поехали, — говорю, — в Набатов». — «Некогда», — отказался он. Из разговоров с вами узнал я, что даже видите его редко. Значит, такого выбрали. Сейчас не те времена, когда из райкома «кота в мешке» привозят.

Нынешней осенью в Малооголубинском и в Голубинской рубили пойменный лес. Его и осталось-то с гулькин нос. Осокори, вербы — спасение нашего Дона и наша жизнь. Но валили, рубили. Сельская администрация или казачье правление хозяйничали? Ни одни, ни другие ни единого кустика в округе пока не вырастили. А рубить — мастера. И ведь рубили на глазах у станичников да хуторян. А те лишь охали: «Рубят! Рубят...» Рубили, везли мимо школы, которая нынче без дров. Вдове ветерана войны «расщедрились» — за 100 тысяч рублей продали пару лесин.

А ведь прежде, в настоящие казачьи времена, за такие дела пороли. Тогда если рубили сухостой или талы на плетни, то извещали всех и выезжали на рубку в один день и час. Это было — по-казачьи, по совести.

На хуторе, на селе, как никогда ранее, нужен сейчас настоящий глава ли администрации, атаман. Мудрый, совестливый и энергичный. Выбрать есть из кого. На селе — безработица. А толковыми людьми наша земля никогда не скудела.

Учительница из Малооголубинского вспоминала колхозного бригадира ее молодости — Митрофана Степановича Макеева.

— Он придет, поклонится мне, — говорит Галина Михайловна. — Мне, четырнадцатилетней соплюшке, в пояс кланяется, по батюшке величает: Михайловна, приди, пожалуйста, на уборке хлеба помоги. Да за одно такое обращение день и ночь будешь работать. Сноп пшеницы с поля привезет, говорит: «Женщины... глядите, какой хлеб уродился хороший. Давайте все вместе его убирать».

Как говорится, были люди. Но есть они и сейчас. Надо лишь выбирать по-настоящему, для своей, а не чужой жизни.

И, надеясь лишь на себя, объединившись вокруг хорошего старосты ли, атамана, многое можно сделать. А беды у всех общие.

Не только в Большом Набатове остались люди без воды. Был колхоз, он содержал хуторской водопровод. Нынче насос ли, электродвигатель — это миллионы, которых у нищего колхоза нет. Значит — забота общая: по дворам ли бурить скважины или заботиться о хуторской. Прежде ведь электрик включил насос и запил. Течет ли, стгорело — все на колхоз спишется. Теперь нет колхоза. Но остались люди, их жизнь.

В малоголубинскую школу дров не привезли. Кто виноват? Партократы или демократы? От нее же, от школы, украли два звена штакетника. А в Большой Голубой весь забор ночью от школы унесли. В Малоголубинской уволокли, явно трактором, тяжеленные лаги, приготовленные для мостика через ручей. Весной да осенью как теперь в школу детишки пойдут? А старые люди в магазин, за хлебом? Кто опять виноват? Государственная или областная Дума?

В старые годы хуторским атаманом в Большом Набатове был знаменитый Финака, полностью — Финоген. Он не кричал, не шумел, но власть его помят и теперь, почти век спустя. Как он семь мирил, как усмирал пьяниц, как следил за дорогами, водопоями, общественными попасами и сенокосами. Словом — хуторской атаман.

Вот и выберите себе, набатовцы и голубяне, нового Финаку. Посмотрите, каков он на своем дворе, в своей семье. Таким будет и в общем деле. И не ждите каких-то далеких сроков. Ваше дело отлагательств не терпит. Потому что сегодня вам хлеб еще возят, пусть два раза в неделю. Завтра могут не привезти. А ведь пекарни теперь, даже в райцентре, на каждом шагу. Может быть, Коньков что-нибудь придумает? Он ведь уже показал себя деловым человеком. Снабжал окрестные хутора мукой, керосином.

Надо думать о начальной школе. Без нее, рано ли, поздно, хутор вымрет. Закрывать школу районные власти в свое время сумели. Закрывать — дело нехитрое. А вот открыть обещают уже десятый год. За это время старая школа сгнила и клуб развалили. Сейчас в Набатове можно найти дом. Обычный дом для начальной школы. Ведь учеников немного. Нынче они лишь числятся в Голубинской школе. В своей, пусть неказистой, хоть читать да писать научатся. И за то слава богу. А то ведь уже на хуторе у молодых родителей получается враскорячку семейная жизнь: отец с хозяйством — здесь, мать с сынишкой — в городе, при школе. Надолго ли такое?

И, конечно, нужна дорога. Ведь до станичного асфальта — рукой подать. Про асфальт на Большую Голубую мечтать нынче бесполезно: пятьдесят верст. Малая Голубая и Набатов — с асфальтом рядом. Для этих хуторов, для их жителей — это дорога жизни. Всего десять — пятнадцать километров, но такие важные. За них надо бороться. Раньше это была обычная глубинка России, нынче — ее граница, передний край. Оставляя эти земли и воды преступно. Другого Тихого Дона у нас нет.

Итак, в Большой Набатов мы не добрались, застряли в снегах. Малоголубинский хутор миновали, полезли в гору, а там — ветер сильнее, заносы выше, пробивали их с разгону, один да другой. Но застряли, принялись откапываться, чтобы назад спуститься.

А внизу, в глубокой просторной балке, лежал хутор Малоголубинский в зимней тиши, в снегах. Рядом с дорогой — начальная школа. Туда я и пошел, когда в хутор вернулись.

Славная школа. Невеликая: сени, коридор да класс. Домашняя чистота и домашний уют. На стенах удивительные картины ли, изделия из обычных тыквенных, арбузных семечек, зеленых и желтых горошин, из птичьих перьев, из донских ракушек. Из всего обыденного — того, что рядом. Но фантазия

учительницы, Галины Михайловны Будановой, и ее ребятишек превращает обыденность в красоту.

Здесь же, на стене, под заголовком: «Гордость школы» фотографии тех, кто когда-то учился здесь, а теперь — уже взрослый. Но для учительницы все они — гордость и радость: те, кто были, и те, кто сейчас за партами.

Кудрявый Дима Чекунов, которого родители в школу не пускали, говорили, что рано, а он просился, плакал. Теперь учится. А вот Володя — умница, смысленый мальчишка. Хотя от роду ему лишь восемь лет, но он эту школу, три класса ее, закончил и начал было учиться дальше, в станице. Но школьные интернаты теперь — в прошлом, школьные обеды и завтраки отменились. Поездил на машине месяц да другой, потрясся в ее кузове. В восемь утра уходит, к вечеру возвращается. Зима нынче суровая. В станичной школе холодно. А ведь он — малыш, хоть и светлая головка. Поглядели на него, повздыхали и решили: пусть снова идет в начальную школу, в родную свою, к Галине Михайловне.

Учатся. Двенадцать учеников. Из них — восемь ребят. Дима, Арслан, Володя, Казбек, Артем... Донские казаки, аварцы, лезгины — пока детвора.

— Примета есть, что, когда много мальчиков, — говорит учительница, — это плохой знак, к войне. А у меня их вон сколько... Не дай бог.

Все мы сейчас об одном думаем, в городах ли, на хуторах. У всех тревога на сердце. Но верю я: этих мальчишек минует судьба горькая. Не солдаты нужны этой земле, а добрые пахари, хозяева.

Снова вернусь к строкам «аграрников», к их «обращению к главе администрации области»:

«Общая задолженность предприятиям сельского хозяйства... на 01.12.1995 г. составила 1160,3 млрд. рублей... 1,3 млн. гектаров не вспаханы... Растет падеж... вынуждены обратиться к Вам и попросить помощи для... спасения деревни».

И подписи: председатель Аграрного союза...
председатель обкома профсоюзов...

Все тут верно. Но есть и другая правда. Парчак, Штепо, Ляпин, Чичеров, Пономаревы не спасения просят, а земли. Двенадцать тысяч фермеров в Волгоградской области. Из них — целая тысяча уже крепко стоит на ногах. Спасать их уже не надо. Другое дело — не мешать и помочь, потому что пять лет — не возраст, а лишь начало.

Земли просит и коллективное хозяйство «Советское» во главе с Н. П. Мелиховым.

Земли. А воли, наверное, уже всем хватает.

Февраль 1996.



Ю. КАГРАМАНОВ

*

ДЕМОКРАТИЯ И КУЛЬТУРА

О пользе «избранных историй»

Понятие «демократия» в его современном значении прочно ассоциируется с понятием «свобода». Путь демократии — путь наращивания свобод. Для каждого в отдельности и для всех вместе. (Исторически, правда, выходит наоборот: сначала свободы добиваются все вместе, а потом уже каждый в отдельности.) Идеальная демократия — сочетающая свободу личности с интересами общества в целом.

Понятие «свобода» давно и, я бы сказал, легкомысленно расцвечено радужными красками, а между тем это одно из самых «трудных», более того, «опасных» понятий. Вряд ли еще найдется что-то другое, что может быть до такой степени искривлено и употреблено во зло. Ложно понятая свобода может принести не меньше, если не больше, зла, чем тирания, — это знали еще древние греки и заново открыло для себя современное человечество. Либеральная демократия в том виде, в каком она существует на Западе, не только гарантирует различные свободы, но и обставляет их разумными законами и нормами, и тем не менее простор для искривлений все равно остается внушительным.

Легче всего сказать, что есть свобода позитивная, содержательная и есть дурная и незрячая. Но не так-то просто отделить одно от другого. Позитивная свобода не может обойтись без негативной, наоборот, она содержит ее в себе, сохраняя ее как условие своего собственного существования. Свобода, от которой заранее отсекается область запретного, — уже не свобода. Как мне считать себя свободным, если я не могу совершить чего-либо дурного и обязан делать только хорошее?

...ветру и орлу
И сердцу девы нет закона!

Есть некое крещендо в этих пушкинских строках. Ветер — космическая стихия, владеющая даром простейших самопроизвольных движений. Орел являет более сложное «качество» свободы, скованное, однако, магией естества. Сердцу девы тоже не чужда магия естества, но оно внемлет и другому голосу — человеческой, личностной свободы, открывающей перед человеком высоты и глубины, неизвестные природным миром. Она может привести к падению, но такова уж цена, которую приходится за нее платить.

Как, однако, избежать падений? Можно, конечно, попытаться ответить на этот вопрос религиозно-философски. Загвоздка, однако, в том, что редкий человек мыслит о свободе в терминах богословия или философии; большинство людей делают свой выбор полусознательно, отталкиваясь от определенных образов. Это могут быть образы живых людей, и это могут быть образы, созданные литературой и искусством (но и живые люди, сами наложившие отпечаток на других, в той или иной степени могут быть «сделавшими себя» с кого-то, о ком они читали или слышали, видели на экране и т. п.). Человек «стеснен» образами, которые окружают его с разных сторон, кивают ему и зо-

вут каждый на свой путь. И для того, чтобы он выбрал путь содержательной свободы, надо, чтобы соответствующие образы были убедительнее, призывнее.

А так как образ есть дело культуры, то мы вправе сказать, что путь к свободе проходит также и через культуру. И складывается он из множества ступеней, ведущих вверх. Это очень большая тема, и в настоящих заметках я намерен коснуться лишь некоторых ее аспектов. Как феномен общественной жизни свобода становится возможной лишь на определенном этапе развития цивилизации, когда все элементарно-насушные потребности уже удовлетворены и о таких вещах, как кусок хлеба и чувство безопасности, можно не думать (известны, правда, случаи, когда не только отдельные личности, но и целые народы пренебрегали чувством безопасности и даже куском хлеба ради свободы, но столь мужественное поведение приходится считать все-таки исключительным). Мы помним, что колыбелью демократии стала одна из величайших цивилизаций — греческая; она оставила грядущим векам образ демократии, манящий со школьной скамьи: увенчанные славой холмы Аттики, с разными звучными принадлежностями вроде агоры или экклесии, люди в свободных белых одеждах, равные перед законом, которые выглядят особенно симпатичными при сравнении с их врагами на востоке — пышнобородыми, идиолоподобными царями в массивных облачениях, окруженными сонмом бессловесных рабов и тьмою тем звероликих воинов.

Свободе приходится учиться, и, как показывает опыт, уроки имагологические (*imago* — образ) усваиваются гораздо лучше, чем уроки понятийно-логические. Верно пишет американский социолог Г. Медисон: «Либерализм в идеальном смысле, каковой стремится вложить в него политический философ, есть результат рассказывания избранных историй (*a selective storytelling activity*)...»¹

В конце XVIII века например, лишь очень небольшой процент французов читал Руссо, а тем более Монтескье, зато «Женитьбу Фигаро» видела «вся Франция» (на самом деле, конечно, — тоже меньшинство, и все же несопоставимое с кругом читателей Руссо и Монтескье). В североамериканских колониях в то время круг всесторонне просвещенных людей был еще уже, чем во Франции, зато множество грамотных американцев (а с грамотностью у американцев дела тогда обстояли едва ли не лучше, чем сейчас) постоянно читало «Альманах бедного Ричарда» Бенджамина Франклина, со страниц которого вставал образ «нового американца» — «человека из народа», по любому поводу умеющего вернуть нужную поговорку, здравомыслящего, набожного и одновременно чуть-чуть лукавого, наделенного большим жизненным опытом и крепко стоящего на собственных ногах.

Россия подошла к своей революции весьма слабо подготовленной имагологически. Каковы были те образы позитивной свободы, что питали воображение разночинного ядра русского революционного движения? Четвертый сон Веры Павловны, по недоразумению принятый за хороший сон? Еще хуже обстояло дело с крестьянством, не представлявшим себе, какую такую надо строить «новую жизнь» (зато уж для бар обернулись явью их «страшные сны, в сонниках не указанные», по слову Набокова). Да и в образованных кругах соблазн негативной свободы был едва ли не сильнее всех остальных. Блок, наверное, точнее других выразил этот общенациональный порыв к дурной «воле»: все ему впереди мерещились «огни» и «мрак», «метель» и «хмель», и еще «забвенье и удаль, смятенье и смерть» и так далее в таком же роде.

Этот злосчастный порыв к дикой «воле» объясняли склонностью русского человека к крайностям, тем, что в нем были сильно выражены святое и звериное начала и слабо выражено «серединное», культурное. Все правильно, вот только можно ли считать названные черты специфически русскими? Копнув европейскую историю не слишком глубоко, мы находим нечто очень похожее. Разве эксцессы Французской («великой») революции так уж отличались от эксцессов революции нашей? Копнув глубже, мы обнаружим еще большее сходство. В европейском человеке средних веков (и отчасти начала Нового времени), даже на уровне аристократической элиты, не говоря уже о «народном» уровне, много именно свято-звериного и мало «серединного». Разве не

¹ Madison G. *The Logic of Liberty*. N. Y. 1986, p. 83.

сущими зверьми показали себя рыцари, подавлявшие альбигойскую ересь, то есть делавшие как будто святое дело? Или вот особенно яркий пример: Жиль де Рэ (о нем напомнила повесть Мишеля Турнье «Жиль и Жанна», опубликованная недавно «Иностранной литературой»), сподвижник самой прославленной из французских святых, после ее казни сделался едва ли не самым отвратительным злодеем за всю историю Франции (таких контрастов я что-то не припомню из русской истории — хотя у нас были святые, вышедшие из разбойников).

Вряд ли европейцы минувших веков были менее склонны к крайностям, чем русские люди. В горе они не знали удержу: рвали на себе одежды, оглашали воздух громкими стенаниями, нисколько этого не смущаясь (так поступают даже рыцари из окружения короля Артура — и это «сдержанные» англосаксы!). И когда «гуляли», забывали обо всем на свете. Если были щедры, то одаряли всех направо и налево, даже в море пригоршнями швыряли золотые монеты. Зато уж если были скупы, то скупы феноменально (мне раньше пушкинский Скупой рыцарь казался несколько шаржированным; потом я узнал, что в реальности были скупые рыцари, перед кончиной требовавшие, чтобы их смертным одром стал сундук с золотом). Если мы вообразим некоего собирательного европейца, «представляющего» европейскую цивилизацию не только в пространстве, но и во времени, то его склонность к крайностям особенно бросится в глаза. То он угрюмо-аскетичен, то карнавалльно-утрировано плотояден (ни то, ни другое не было характерно для Руси: православная аскетика более светлая, а карнавалов, в том виде, в каком они существовали в Европе, у нас не было). То рационален досуха, то избыточно-влажно чувствителен, сентиментален (заметьте, что мы уже вступили во времена в высокой степени «окультуренные»). От мистического романтизма, стоящего на грани магии, он вдруг бросается к грубому материализму. От форсистого оптимизма — к торопливой апокалиптике. Не было и нет другой цивилизации, которая отличалась бы такой переменчивостью: одни увлечения очень скоро сменяются другими, старые темы вытесняются новыми, «дети» «не понимают» «отцов» и наоборот, и все это повторяется на протяжении многих веков.

Уже в нашем веке лицо собирательного европейца, «человека из толпы», претерпело «ряд волшебных изменений». В его начале это было лицо моралиста-аккуратиста, твердо знающего, что к чему, и неукоснительно следующего «правилам»; «эвклидову геометрию» прочел на нем Ф. А. Степун, отнюдь не поверхностно знакомый с Европой. А в конце века преобладающим типом, по крайней мере на поверхности жизни, стал тип гедониста, человека, «играющего в жизнь». Европейец начала века еще важничал не в меру (о его «натурном устремлении быть *значительным*» точно сказал С. Аверинцев). Европейец конца столетия зачастую не в меру самоуничижается, причем его самоуничижение принимает самые разные формы — от избыточного поклонения иным культурам в ущерб собственной до онтологического самостирания в пользу каких-то внеличных структур (что дало повод Мишелю Фуко говорить о «смерти человека»). И неужели кто-то полагает всерьез, что эти превращения — последние и здесь должна быть поставлена точка?

Так что недостаток у русских «европейской» культурной «серединности» (тоже, как мы видели, весьма относительной и не исключаяющей переменчивости и любви к крайностям) — скорее всего, просто отставание по фазе. Это, впрочем, не означает, что русские должны идти, след в след, точно по западному пути. И все эксцессы Русской революции можно столько же отнести на счет русского характера, сколько на счет европейских образцов. Их было предостаточно, и хотя прямое зажигательное действие они оказывали, естественно, только на интеллигенцию, в «народном» сознании они тоже как-то перекликались с исконно русскими образами «буйных головушек» вроде Стеньки. «Музыка» Русской революции — какофоническое попури на темы родной «Дубинушки» и залетной «Марсельезы», звавшей отряхнуть от своих ног прах «старого мира» (так в русском тексте; французский текст иной, но по-своему не менее радикальный). Пламенная дева Рюда — Делакруа (я соединяю в один образ «Марсельезу» Рюда и «Свободу на баррикадах» Делакруа) вела на путь ложной свободы, которая легко оборачивалась разбоем. На тот же путь вел и пламенный Карл Моор: вспомним постановку шиллеровских «Разбойников» в

красноармейском полку в «Хождении по мукам». Кстати, Толстой нащупал в этом эпизоде что-то очень любопытное, и можно лишь пожалеть, что он дописывал роман не в эмиграции. Разумеется, все, что было в русской революции от Шиллера, от «Девяносто третьего года», от французско-немецких котурн, мало-помалу тонуло в «народной» трясине и окончательно захлебнулось кровью в тридцать седьмом; но свое дело европейские примеры делали, подталкивая русский народ на путь революционного максимализма, приведшего к национальной катастрофе.

Русский путь более, чем какой-либо другой, убеждает: к свободе надо двигаться «медленным шагом, робким зигзагом» (трагедия революционной песни метила в меньшевиков, но, как говорится, смеется тот, кто смеется последним, а в данном случае последним, очевидно, смеялся дьявол). И поводырем на этом пути служит культура.

Об относительности истин типа «вороне соколом не быть»

Но и культура не падала с неба готовой. Она создавалась в рамках так или иначе структурированного общества и потому ориентировалась на тот или иной общественный слой. Вплоть до великого переворота конца XVIII — начала XIX века (мы вправе назвать его последним из «осевых времен», если воспользоваться терминологией К. Ясперса) и отчасти еще какое-то время после него культура непременно была чья-то, хотя то сословие, или класс, или социальная группа, в чьих недрах она возникла, не имеют на нее прав собственности. Национального русского поэта Пушкина невозможно помыслить вне дворянской среды, вплоть от плоти которой он был. Образы «Жизели» или «Спящей красавицы» не могли родиться ни в крестьянской избе, ни в уставленном сундуками купеческом доме — они могли родиться только под «крышей» аристократической культуры.

Надо признать, что европейская демократия (не говоря уже об американской) не была вполне справедлива по отношению к европейской аристократии. Конечно, на пути к демократии неизбежно приходилось теснить аристократию, лишая ее тех привилегий, которыми она пользовалась за счет других; и так как во многих случаях (хотя далеко не всегда) она оказывала при этом сопротивление, дело не обходилось без конфликтов. К сожалению, конфликты заслоняют очень важные моменты преемственности, связывающие демократическое движение с историческим опытом аристократии. Ведь именно в аристократической среде более, чем в какой-либо другой, впервые со времен античных республик пошла в рост свобода (в исторической бытии). Именно аристократия инициировала защиту личных прав, личного и корпоративного достоинства, подавая тем самым пример другим сословиям (об этом писал, в частности, Г. П. Федотов). Почему перед европейскими монархами не падали ниц, как было принято в азиатских деспотиях? Потому что «стоящие у трона» князья и графы говорили с ними почти на равных, и все это видели.

И в тех случаях, когда демократии торопились покончить с аристократической верхушкой, они больше теряли, чем приобретали. Граф Алексис де Токвиль имеет заслуженную репутацию либерала и не может быть заподозрен в чрезмерном пристрастии к своему классу. Тем не менее вот что писал Токвиль о Франции (и что в такой же или в еще большей мере можно отнести к некоторым другим странам): «Вырвав с корнем дворянство, нацию лишили ее существенно необходимого элемента и нанесли делу свободы рану, которая никогда вполне не затянется. Класс, на протяжении веков шедший во главе всех остальных, усвоил на этом долгом пути определенное благоразумие, привычку, что с ним считаются, и веру в собственные возможности — все это сделало его наиболее прочной частью общественного организма. Он не только сам проявлял мужественность, но и служил примером мужественности (*virilité*, что в данном контексте может быть переведено также как «зрелость». — Ю. К.) для других классов. Вырвав его из тела нации, даже враги его утратили долю своей энергии»². Токвиль, разумеется, видел все слабости и пороки своего класса, но в данном случае он считал нужным обратить внимание на сильные его стороны.

² Tocqueville A. de. L'ancien régime et la révolution. Paris. 1934, p. 165.

Если бы аристократия сохраняла прочные позиции во Франции, как и в ряде других стран, то, возможно, не получили бы развития такие пороки демократии, как национализм и расизм (от которых она стала избавляться лишь в самые последние десятилетия). Европейский дворянин, если говорить о норме, более всего чтит Бога, а после него своего короля, во славу которого он всегда готов был сражаться, не испытывая при этом ненависти к другой стороне и, уж во всяком случае, не выделяя ее по национальному признаку. И сражаться-то он умел корректно, даже красиво (и те элементы взаимной корректности, которые еще сохранились в современных войнах, — остатки рыцарского кодекса былых времен). Тем более в условиях мира национальная принадлежность не имела в дворянском кругу сколько-нибудь существенного значения. Еще в начале XIX века Европа аристократов — это своего рода Объединенная Европа, где все легко находят друг с другом общий язык, не только в буквальном смысле (ибо таковым был французский), но, что еще важнее, в переносном, и где-нибудь в салоне г-жи Шерер на далеких невских берегах заезжие французы того же социального уровня могут чувствовать себя — и в романе Толстого, и в жизни — почти как дома.

Равным образом очень слабо был выражен у европейской аристократии и расизм. Скажем, для европейской принцессы какой-нибудь эфиопский принц был несопоставимо более подходящей партией, чем собственный простолюдин (это, правда, показывает и степень пренебрежения простолюдинами).

Нельзя, конечно, забывать о том, сколь велик был разрыв по вертикали. Разница, как мы сегодня скажем, в доходах, в образе жизни, в психологическом статусе и т. д. между социально высшими и социально низшими была очень значительной, а нередко и вопиющей. Но нельзя забывать и о том, что в высшем слое с течением времени зрело чувство вины перед теми, кто стоял ниже; и что если бы не проявленная им воля к переменам и в известной мере к отречению от собственных прав, демократический процесс растянулся бы, возможно, еще на несколько столетий (большинство тех, кто готовил Французскую революцию 1789 года, а потом возглавил ее, причем не только на либеральном ее этапе, но и на якобинском тоже, были дворяне).

Особенно это характерно для России, «пробежавшей» европейский путь на протяжении жизни нескольких поколений. Напомню его основные этапы: «верховники» 1730 года, первыми в России, как показал П. Б. Струве, сделавшие «заявку» на личные свободы (они, конечно, старались для себя, но объективно прокладывали путь другим); указ о вольности дворянской; два непоротых поколения; пушкинское поколение, первым, вероятно, сравнившееся с европейской аристократией в понятиях личной чести и достоинства и одновременно пораженное «мыслью ужасной» о том состоянии, в котором находилось крепостное крестьянство; отсюда распространившийся в следующем поколении тип «кающегося дворянина», давший начало русской интеллигенции, включая и радикальную ее ветвь.

Европейская демократия еще и потому показала себя не вполне справедливой по отношению к европейской аристократии, что, принимая из ее рук плоды высокой культуры, обычно забывала говорить ей «спасибо». Аристократию упрекали в праздности — и не без оснований; при этом, однако, не учитывали, что праздность есть условие «высокого досуга», по Аристотелю, рождающего атмосферу благородных и возвышенных наслаждений. Европейская аристократия создала особое «пространство» культуры — его можно назвать, в широком смысле, куртуазным (от французского *court* — двор); оно до известной степени отгородилось, с одной стороны, от ученой, книжной культуры, средоточием которой явились монастыри, постепенно передавшие эту функцию университетам, а с другой стороны — от «народной» (крестьянской) культуры с ее сильно выраженным натурализмом. При монарших и княжеских дворах силачи и грубияны, какими были когда-то европейские аристократы, с течением времени выработали изысканные ритуалы поведения, такие тонкости политеса, которые, наверное, показались бы нам даже чуть-чуть комическими, если бы мы могли их увидеть воочию. Но без этих тонкостей не было бы ни «Жизели», ни «Спящей красавицы», ни многого другого. Конечно, высокая культура не была делом только аристократии. Во-первых, она широко использовала мотивы «народной» культуры, преображая их на свой лад; ис-

торики литературы, например, хорошо знают, до какой степени произведения высокой словесности представляют собою переработку и сублимацию фольклорных мотивов. Во-вторых, творческие личности, чьими руками она, собственно, и создавалась, далеко не всегда были аристократы: чем дальше, тем больше было среди них выходцев из социальных низов; для нас, однако, сейчас важно то, что работали они под «крышей» аристократической культуры.

Третье сословие в лице своего «передового отряда», буржуазии, рано или поздно попадало под обаяние аристократической культуры. В меру своих возможностей и в меру своих способностей буржуа начинали подражать аристократам, что, естественно, не всегда и не сразу у них получалось. Памятником этих ранних увлечений остался мольеровский «Мещанин во дворянстве». Герой пьесы, конечно, глуп, но ему нельзя отказать в известной впечатлительности: его пленяет блеск, отличающий образ жизни высшего сословия. Богатство дало ему большую свободу, и он пытается реализовать ее в бытовом плане: ему хочется так же красиво фехтовать, говорить изящной прозой и ухаживать за дамами света, как это делают дворяне. Увы, на каждом шагу он оступается, что превращает его в посмешище в глазах его аристократических «друзей». Сам Журден этого не замечает, зато его близкие (Клеонт и другие), более благоразумные, чем он сам, замечают; и напоминают ему о том, о чем он хотел бы забыть, — о вековой морали, что нашла отражение в пословицах типа «вороне соколом не быть» и «всяк сверчок знай свой шесток».

Мораль эта имеет не только негативный аспект, отраженный в пословицах, но и позитивный: у Клеонта и других есть свои ценности, своя культура. В самом деле, буржуазия в период роста до известной степени обособилась в культурном плане от других сословий, выработав собственную манеру поведения и образ жизни. Вряд ли будет преувеличением сказать, что взаимные отношения двух культур, аристократической и буржуазной, — все их эволюции и превращения, схождения и размежевания, переплетения и отталкивания — составляют основное содержание европейской культурной истории последних веков, включая нынешний этап массовой культуры.

Юная буржуазия сделала религиозно-этическое начало «камнем свода» своей культуры, тем самым отмежевавшись от аристократической куртуазности с ее упором на эстетику. Особенно решительно повели себя инициаторы ранних буржуазных революций — кальвинисты (пуритане), сделавшие правила аскезы практически-житейскими; все, что не согласовалось с аскезой, было ими от культуры отсечено. Этот героический период в истории европейской буржуазии продолжался не так уж долго, но он дал мощный импульс последующим векам: трудолюбие стало ее второй натурой. Обвинив аристократию в том, что в ее жизни слишком большое место занимает *otium* (досуг), буржуазия противопоставила ему *negotium* (занятость, работу); эпоха трубадуров и странствующих рыцарей уступала время эпохе негоциантов с грессбухами и дерзкими замыслами, простиравшимися до самых далеких параллелей и меридианов, только-только нанесенных Меркатором на карту мира.

А когда *otium* все-таки протиснулся в буржуазный быт, он стал несколько иным, отличным от аристократического. Каким именно — это мы видим уже на полотнах голландцев и фламандцев XVI — XVII веков, любивших изображать маленькие семейные радости, дружеские пирушки и тому подобные милые сюжеты. Если в аристократическом доме царил этикет, то в буржуазном доме было гораздо меньше церемонности и больше уюта. Русское «уют» отдаст некоторым «вещизмом»; а вот соответствующее немецкое слово «*Gemütlichkeit*» (и длиной-то своей оно как будто указывает на значительность того, что обозначает) происходит от «*Gemüt*», «душа». Конечно, уют невозможен без вещей: как любят их те же голландцы и фламандцы на своих полотнах! И все же «уют» — это прежде всего душевность. Мы находим ее, например, в романах Ричардсона. Сегодня читать «Клариссу» или «Памелу», откровенно говоря, скучно. Есть такие книги, которые производят сильное действие на современников, но со временем теряют крепость, «выдыхаются». Такой книгой был, еще прежде Ричардсона, «Робинзон Крузо» (в наши дни сохранившийся лишь на полках приключенческой литературы), исподволь учивший тому, как надо не покладая рук трудиться над собственным благосостоянием. Огромный

успех имели и романы Ричардсона, причем не только в Англии, но и в остальной Европе, включая Россию: вспомним, что в их «обманы» влюблялась пушкинская Татьяна (вспомним также Ходасевича: «Жеманницы былых годов, / Читательницы Ричардсона!»). В социально-воспитательном плане они прививали вкус к семейной жизни, точнее, к внутрисемейной «деликатности», тонкости и нежности чувств, постоянству душевных связей. Упор на частную жизнь, ставший характерным для XIX века, — не столько аристократического, сколько буржуазного происхождения; буржуазия привнесла в нее морализм нового типа и одновременно свободу и раскованность, не свойственные куртуазному стилю.

И если образу буржуа еще недоставало блеска, изящества, того, что французы называют *bel esprit* (гибкости, остроты ума), то и этот недостаток был восполнен, когда на парижскую сцену вышел Фигаро (особенно в «Женитьбе Фигаро»). Герою Бомарше удалось соединить, казалось бы, трудносоединимые вещи: деловитость, тонкую сообразительность, светскость (его легко представить в роли посланника, не то что его секретаря), лукавство, морализм и несокрушимую веселость. Пожалуй, европейская буржуазия никогда не примеряла на себя более великолепного наряда, чем костюм «испанского цирюльника». «Чудесным героем» назвал Фигаро Пушкин, как известно, весьма сдержанно наблюдавший выдвижение третьего сословия на историческую арену.

Однако явное превосходство Фигаро над его сиятельным патроном, которого он переиграл по всем статьям, произвело в головах французов чересчур сильный эффект. Такой, о каком автор не думал и которого он не желал. Совершенно невозможно представить Фигаро за столом революционного трибунала, обрекающим на смерть графа Альмавиву; и, наоборот, в ситуации 1793 года легко представить их обоих товарищами по несчастью. Но Бомарше не мог предугадать, как отзовется его слово. Получилось так, что пьеса «выстрелила» дальше, чем хотелось бы самому автору. И вся французская просветительская литература, как показала история, зачастую играла с огнем, не ведая того.

Английский темперамент подсказал иной, более плодотворный, путь — культурного обмена и культурного сотрудничества двух ведущих классов, дворянства и буржуазии. В Англии не было такого разрыва между сословиями, как во Франции. Отчасти причиной тому явились междоусобные войны XV века, в которых франкоязычная аристократия с ее характерно континентальной спесью практически сама себя истребила. Дворянство стало в Англии открытым классом (как, в принципе, и в России). Доступ в высшее сословие открывало образование или богатство: буржуа мог купить небольшое поместье, вместе с которым приобретал дворянский титул. И наоборот, младшие сыновья даже из самых знатных аристократических родов, по закону не имевшие права на титул и имущество отцов, нередко становились предпринимателями. Даже между дворянством и крестьянством на деле не было четкой границы: в XVIII веке, например, зажиточные йомены по своему образу жизни не отличались сколько-нибудь существенно от мелких сельских дворян (джентри).

«Мещанин во дворянстве» был бы невозможен в Англии: здесь считалось естественным равняться на высших, подражать им — лишь бы при этом соблюдалось чувство меры. В романах того же Ричардсона сближение сословий остается одним из основных мотивов. Пафос их в том, что обладателям аристократических гербов есть чему поучиться у людей «простого» происхождения, способных на высокоморальные поступки и глубокие чувства (считается, что фраза «и крестьянки любить умеют» не вышла бы из-под пера Карамзина без влияния «Памелы»); но что «простым людям» есть чему поучиться у обладателей аристократических гербов, остается для Ричардсона само собой разумеющимся и не нуждающимся в доказательствах.

Кажется парадоксальным, что при таком сглаживании различий между классами и социальными группами англичане сохраняли сильное чувство иерархии. Оно коробило многих континентальных европейцев, не ожидавших встретить его в самой свободной стране Европы. Так Герцен, вспоминая о годах, проведенных им в Московском университете, не обошелся без невыгодных для англичан сравнений: «Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Обще-

ственные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах, об английских университетах я не говорю: они существуют для аристократии и для богатых»³. 30-е годы, о которых вспоминает Герцен, — время чудесной юности Московского университета; в дальнейшем, насколько мне известно, общественные различия так или иначе давали о себе знать в жизни наших университетов (уже в поколении Л. Толстого: вспомним, что герой автобиографической «Юности», впервые попав в аудиторию, садится не где-нибудь, но в той ее части, где сидят князья и графы). Что касается англичан, то Герцена обманула внешняя, ритуальная, сторона их жизни (как обманывала она других европейцев, например Гюго в «Человеке, который смеется»). Действительно, иерархические перегородки оставались в Англии очень четкими (что находило отражение в жизни учебных заведений), но в то же самое время они были относительно легко преодолимы.

И, может быть, именно потому они были такими четкими, что были легко преодолимы. То есть тут срабатывал как бы принцип дополнительности: неуклонная демократизация грозила стиранием различий, а значит, и утратой общественной в целом его физиогномической определенности; поэтому растущей подвижности всех его слоев был противопоставлен «порядок ценностей» — в религиозном и культурном его аспектах. На пороге XIX века «в высоком лондонском кругу» вошло в обиход слово «vulgar», которое Пушкин в «Онегине» «не мог перевести»; происходящее от «vulgus» («народ», «толпа»), оно приобрело новый оттенок: вульгарным стали называть все то, что перестало быть собственно буржуазным или крестьянским (например, костюм или манеры) и в то же время не оправдывало своих претензий на более высокий статус. Понятие это было выставлено на страже хорошего вкуса, а не круга людей, доступ в который ни для кого не был закрыт.

Верхом гибкости, проявленной английской аристократией, стал образ джентльмена, точнее, его (образа), скажем так, общедоступность. Изначально джентльмен — низшая ступенька на лесенке дворянских титулов и званий (выше следуют эсквайр, рыцарь, баронет и т. д.). Но в XIX веке из юридического понятия «джентльмен» трансформировался в образ хорошо воспитанного и порядочного человека и сделался своего рода великим уравнителем: джентльменом мог называться и пэр Англии, и простой фермер в случае, если он отвечал соответствующим требованиям. Этот образ стал примером и для остальной Европы. Х. Ортега-и-Гасет в «Размышлениях о технике» сложил настоящую оду джентльмену, назвав его «одним из чудес» современной истории; с точки зрения испанского мыслителя, данный культурно-исторический тип наилучшим образом подготовлен к выполнению задач, выдвигаемых современной цивилизацией. Но Ортега же писал и о начавшемся упадке джентльменства, хотя еще смутно представлял себе, кто или что ему угрожает.

В России тип дворянина-англофила (или англомана), начиная от Муромского из пушкинской «Барышни-крестьянки» и кончая невыдуманным В. Д. Набоковым, обычно ассоциируется с какими-то элементами чудачества и снобизма. Но вот, скажем, семейства Облонских или Щербацких из «Анны Карениной» (зрелый, чуть-чуть перезрелый возраст российского дворянства) в снобизме упрекнуть трудно, а что-то существенно общее с английскими «братьями по классу» у них есть; англизирование своих русских имен — лишь внешнее проявление этой общности. У Г. Федотова были основания сказать: «Толстой и его круг... в Европе только в англосаксонской стихии чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать»⁴. Сдержанность, изящная простота и то, что Федотов назвал «усмешкой над передним планом бытия», сближают этот круг русских людей с англичанами того же социального уровня. И еще одна, чрезвычайно важная, черта, общая у российского дворянства с английским: принципиальная открытость, готовность ассимилировать выходцев из других сословий (ни в одной другой, по крайней мере крупной, европейской стране этого не было; во Франции (до 1789 года) и Испании, например, границы между потомственным «дворянством шпаги» и остальным населением были абсолютно непреодолимыми). Потомственный дворянин Версиров у не

³ Герцен А. И. Былое и думы. Т. I. М., 1958, стр. 119.

⁴ Федотов Г. Россия и свобода. Нью-Йорк. 1981, стр. 88.

сугубо дворянского писателя Достоевского лишь отразил реальное положение вещей, когда говорил: «...ворота в (дворянское. — Ю. К.) сословие открыты у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их открыть окончательно».

Правда, сравнительно с английским дворянством российское показало себя излишне инертным, «неповоротливым». Поверим Чехову: в «дворянских гнездах» конца прошлого — начала нынешнего века было слишком много безделья, праздной ребяческой болтовни, ломанья и кривлянья. С другой стороны, наступающий класс «чумазых» предпринимателей не создал — не успел создать — свой образцовый тип. Кого мы видим у того же Чехова? Лопахина? Так это бесцветность, переходящая в культурно-историческом смысле фигура. Помню, когда я еще в первый раз смотрел «Вишневый сад» в Художественном театре, мне «мешало», что у актера, играющего Лопахина (кажется, это был знаменитый Добронравов), чересчур выразительное лицо (хотя, естественно, куда мог деть актер свое лицо?). Лопахину надлежит быть не слишком заметным, тушующимся — даром что в грубо-материальном смысле он оказывается «хозяином положения». Такие, как Лопахин или солженицынский старший Томчак из «Красного Колеса», призваны были «унавозить» (опять же в культурном смысле) собою почву, на которой должно было произрасти нечто, чему уже не суждено было произрасти.

Лопахин хотя бы ощущает культурное превосходство хозяев «Вишневого сада» и даже показывает себя в этом отношении их послушным учеником. К сожалению, далеко не все разночинцы проявили такую понятливость; значительная их часть презрела дворянскую культуру, а самих дворян сочла «чистыми паразитами». Так же, впрочем, как и новоявленных «буржуев». Стекаясь в столичные университеты «с Волги-матушки широкой» и из других отдаленных мест, эти разночинцы приносили с собою неугасший дух разинщины, встречавший дружеский прием у радикальной интеллигенции дворянского корня, некритически воспринявшей идеалы Французской революции, особенно ее якобинского периода (здесь уже намечается будущий временный унисон «Дубинушки» и «Марсельезы»). Яростное богоотступничество (по-своему преломленный дух Аввакума) также толкало российских радикалов в сторону Франции. Заметим, что англичане все это время не переставали быть религиозными, чем в большой мере объясняется тот факт, что ветер свободы никогда не перерастал у них в «черный ветер» слепого бунта; даже Английская революция была религиозной. Во Франции, напротив, антирелигиозные настроения были сильны как ни в какой другой европейской стране.

Ретроспективно можно понять известную привлекательность французского просветительства, заражавшего своей уверенностью — четким целеполаганием, твердой прорисовкой идеалов вместо мягкого наложения красок. Но, как говорят англичане, проверка пудинга в том, что его съедают. Опыт показал, что французские просветители слишком рискованно играли — и в итоге с треском проиграли первую партию. И если в дальнейшем удалось все-таки исправить положение — хотя бы отчасти, — то лишь потому, что во Франции (в отличие от России) была достаточно сильная буржуазия.

Французская буржуазия после 1815 года «открыла» для себя обаяние аристократической культуры. Фигаро вдруг понял, сколь многим он обязан графу Альмавиве (не как личности, а как «институту»). К тому времени аристократия во Франции, как справедливо заметил Токвиль, была вырвана с корнем; но еще была жива аристократическая культура с ее понятиями о чести и благородстве, выкованными на протяжении веков. Бальзак (явно) и Стендаль (неявно) выразили тенденцию своего времени: буржуа начинают равняться на аристократов; иначе говоря, французские буржуа повторяют английский опыт, хотя и со значительным запозданием и с меньшим успехом. На протяжении XIX века происходит постепенная амальгамизация верхов буржуазии с остатками дворянства, то есть некоторая аристократизация крупной буржуазии, следы которой сохраняются до сего дня.

Сравнивая «два главных типа европейской мысли и жизни», как их назвал П. Н. Миллюков (в «Очерках по истории русской культуры»), — английский и французский, — мы не должны упускать из виду еще один тип — немецкий

(Ортега говорил: Европа — это Англия-Франция-Германия). Для последовавшего за великим переворотом конца XVIII — начала XIX века хода европейской истории немецкий пример важен несколько не меньше, а может быть, и больше; особенно если принимать во внимание опыт XX столетия.

Хотя в общем и целом Германия встала на путь наращивания свобод гораздо позже своих западных соседей, именно в этой стране совершилось важное событие: художник и ученый обрели специфическую, неведомую им дотоле, свободу и соответственно искусство и знание были воздвигнуты каждое на свой особый пьедестал.

Романтизм — общеевропейское явление, но, во-первых, в Германии он начался раньше, а во-вторых, именно здесь романтический художник обрел особый статус, возвышающий его над «толпой», включая сюда и «великосветскую чернь». Известный анекдот (а может быть, и был) о том, как по-разному повели себя Гёте и Бетховен, повстречавшись в парке с семьей наследника престола, — первый застыл в почтительном поклоне, второй прошел мимо, не уступив дороги и не обратив ни малейшего внимания на августейших, — хорошая иллюстрация того, сколь велик был в этом смысле разрыв между поколениями.

Именно в Германии сложился идеал культуры, который, в отличие от других, был подчеркнута вне- и надсословным; хотя он и не мог не определиться так или иначе по отношению к существующим сословиям. Его противояристократический характер был столь же очевиден, как и его зависимость от аристократической культуры. Опыт свободы, накопленный аристократией, был претворен немецкой культурной верхушкой в идеал Bildung — это понятие, переводимое на русский язык как «образование», обогатилось с тех пор специфическими смыслами: Bildung предполагает свободное восхождение к высотам культуры, индивидуально-личностное освоение богатств, собранных в библиотеках, музеях и т. п., — «светлое души уединенье» (Шиллер) в царстве некоторых идеальных форм и состояний (где заметную роль играли образы античной Греции), удаленном от «грубой» и «низкой» реальности.

Культурная верхушка, выдвинувшая идеал Bildung, была преимущественно буржуазной по своему происхождению; то есть в социальном смысле это был «передовой отряд» буржуазии, далеко оторвавшийся от своего класса силою благоприобретенного духовного аристократизма, но при всем том от родства своего не отказывающийся.

В отличие от «галантного» дилетантизма, характерного для XVIII века, Bildung требовал академической обстоятельности, системы, что связывало его с университетским образованием. В эпоху Просвещения центрами интеллектуальной жизни были буржуазно-аристократические салоны и мансарды, тогда как университеты, в которых видели «пережитки средневековья», оставались на ее периферии. На пороге XIX века именно немцы наполнили старые мехи новым вином: была разработана новая концепция университетов, превратившая их в «храмы науки». Ведущим факультетом был сделан философский (образ, принадлежащий В. фон Гумбольдту, главному реформатору немецких университетов: научная специализация есть точка окружности, откуда легко может быть найден путь к центру — философии). Расположенные, как правило, в тихих провинциальных городках, немецкие университеты стали не только центрами науки, но и приютами для муз, «экстерриториальными» очагами культуры, оазисами и школами духовной свободы и духовного братства (и та атмосфера товарищества, царившая в Московском университете, о которой писал Герцен, вряд ли была бы возможна без германского примера).

Для сравнения: английские университеты ставили целью выращивать джентльменов, порядочных людей с хорошими манерами, которым вовсе было не обязательно «пылать полуночной лампадой перед святынею добра». Во Франции университетская система, в том виде, в каком она сложилась при Наполеоне I, была довольно жестко подчинена интересам государства; как правило, университеты выпускали профессионалов, более всего озабоченных вопросами карьеры и одновременно «добрых патриотов».

Возвышенный идеализм эпохи получил свой *raison d'être*, создав творческий накал, в котором как «с неизбежностью» вспыхивали гении: величайшие поэты и музыканты Германии уместились во временном отрезке протяженностью чуть более полувека. Но мечтательность, которую они заражали

соотечественников, оставляла, так сказать, безнадзорными многие «грубые» вопросы исторического бытия. Как писал прот. Георгий Флоровский, романтики осмысливали не время, в которое им выпало жить, но пути выхода из него — в самозаконное пространство культуры⁵. Конечно, долго так продолжаться не могло. Историческое бытие, в основании которого лежал относительно мало еще потревоженный быт, отторгало подвешенные между землей и небом идеалы романтизма; в итоге они или таяли в воздухе, или мягко «планировали» на грешную землю, и там хитрый разум истории, как называл его Гегель, преобразовал их в идеалы «культурного государства», где государственное начало является ведущим, а культура оказывается в роли ведомой.

От широкого течения, каковым был романтизм, остались отдельные тонкие струйки — катакомбного творчества «пустынников» от искусства, столь характерного для последующей эпохи. Но через головы непосредственных продолжателей романтизм завещал потомкам представление о художнике как о высшем типе человека и «учителе жизни», имевшее мощное — хотя и преломленное весьма неожиданным образом — эхо в нашем столетии.

Что касается немецких университетов, то по мере того, как менялся «дух профессоров и их понятий» (философия развивалась в сторону все большего имманентизма (посюсторонности), а интенсивное развитие естественных наук привело с середины XIX века к распространению вульгарного материализма и позитивизма), они становились «кузницей кадров» для нового германского рейха. То немногое, что оставалось в них от былой мечтательности, каким-то образом сочеталось с цепким практицизмом. В общем, имперская Германия с моноклем и завитыми усами имела основания гордиться своими университетами: они являлись центрами мировой науки. Но те нежные духи, которые открывались романтикам, еще близким к трансцендентным высотам бытия, чувствовали себя все менее уютно в прославленных стенах Йены, Гёттингена или Марбурга. Вот и Б. П. Вышеславцев писал, что в конце XIX — начале XX века русские по-прежнему ездили в Германию за наукой, но «дух пылкий и довольно странный» уже не привозили отсюда; напротив, сами везли его туда.

А потом немецким университетам суждено было испытать два жестоких удара. Первый из них был нанесен фашизмом. После 1933 года огромная часть профессуры покинула Германию, эмигрировав главным образом в США. Другая ее часть, напротив, слишком легко приняла фашизм, для чего тоже имелись достаточные основания. Исторически сложилось так, что именно университеты стали в начале XIX века идейными центрами и вдохновителями немецкого национализма, молодого и задиристого, однако еще не слишком эгоистического и к тому же объективно оправданного интересами борьбы с Наполеоном и объединения Германии. С той далекой поры «ученый» национализм постепенно матерел, наливался кровью и в конце концов стал готов к тому, чтобы пасть в объятия Гитлера. Можно подойти к этому вопросу и в более широком контексте: национализм явился самым сильным, самым губительным проявлением немецкого имманентизма, шедшего в рост на протяжении всего XIX века.

Второй удар, как ни странно это может показаться, нанесла университетам послевоенная денацификация. Честь и хвала немцам за то, что они решительно пересмотрели всю свою историю и культуру, пометив несмыслаемым пятном любые, самые малые, истоки того, что впоследствии стало фашизмом. Но похоже, что в этом покаянном движении они хватили лишку: все специфически немецкое стало вызывать у молодежи, по крайней мере студенческой, неловкость, едва ли не отвращение. Я хотел бы ошибиться, но складывается впечатление, что чрезмерное недоверие к немецкому наследию обесцветило немецкие университеты, сделало их скорее филиалами американских.

«Странный союз элиты и черни», вторая серия

Хитрый разум истории оказался еще хитрее, чем это мог предположить Гегель. В чем мы легко убеждаемся на исходе XX столетия, даже ретроспективно представляющего для нас набор головоломок, который мы вынуждены

⁵ См. его замечательную статью «Спор о немецком идеализме» («Путь», 1930, № 25).

будем передать в наследство следующему веку. С уверенностью можно сказать, что никогда прежде человеческий разум не встречался с вызовом, ставящим его в столь трудное положение.

Одна из самых больших «хитростей» состоит в том, что углубление и расширение демократического процесса совпало с упадком культуры. И не просто совпало, но каким-то образом оказалось с ним увязано.

Разумеется, приобщение широких масс народа к высокой культуре само по себе грозит ей некоторыми неприятными последствиями. Суждение Романа Гари «демократия — это когда все станут аристократами» выдает беспочвенный идеализм: культурные различия останутся всегда; и всегда будут духовно неуклюжие люди, у которых тяга к более высокому уровню культуры непременно выльется в какую-нибудь карикатуру. Но, вообще говоря, тяга эта заслуживает поощрения и поддержки. Хуже, когда начинает тянуть в противоположную сторону — к низшему уровню; или, точнее, к тому, что находится на «краю» (*ad marginem*), отделяющем культуру от бескультурия.

Теории, отводящие маргиналу, люмпену, изгою ведущую роль в историческом процессе, ставшие вдруг модными в конце 60-х годов XX века и наложившие отпечаток на всю последнюю его треть, были, по сути, оформлением умонастроения, назревавшего в продолжение уже многих десятилетий. В поисках его истоков приходится углубиться в прошлый век. Путь по лестнице, ведущей вниз, был инициирован за целое столетие до культурной революции конца 60-х — «прóклятыми поэтами». Бодлер, к примеру, находил, что в современном обществе возможны только два «героических типа», состоящих в «тайном родстве», — денди и преступник. Другой «прóклятый поэт», Рембо, самого себя считал одновременно жрецом, фокусником и хулиганом. Нельзя не признать, что бунт, поднятый ими против цивилизации, имел известные оправдания: слишком довольна была европейская буржуазия своими весьма относительными достижениями, слишком убеждена в собственной праведности. Надо было поднести кукиш к самому ее носу. Романтический демонизм подсказал «прóклятым поэтам» неожиданный по тем временам «жест»: лобызаться — с хулиганом! Отголоски подобных умонастроений проникли и в Россию. Мережковский писал незадолго до 1914 года, что хулиганство приобретает у нас некий мистический статус. В подтверждение можно указать хотя бы на футуристов и на некоторые рассказы Горького.

По-настоящему же переломным событием в этом смысле стала Первая мировая война. Она выявила многие промахи и просчеты, допущенные европейскими элитами (это засаленное в наши дни слово приходится тем не менее употребить как термин социологии), равно как и некоторые их недостатки, выдаваемые за добродетели. Реакция неэлит (включая сюда и часть самих элит) была болезненно острой: после войны «романтика цинизма» расцвела пышным цветом. Один из самых ярких примеров — Брехт, особенно его «Трехгрошовая опера», глумливо отрицающая зараз «гражданский кодекс и Библию»; автор явно хватил через край, сближая нравы уголовной малины с повадками буржуазии. Схожие мотивы находим и у Маяковского.

Бунт против благопристойности вспыхнул и в «старом доме благородных традиций», как назвал Англию Г. Федотов. «Все у нас прокисло», — писал в 20-х годах Томас Эдвард Лоуренс («Аравийский»), сын баронета. Другой, еще более известный Лоуренс, Дэвид Герберт, сын шахтера, вывел в романе «Любовник леди Чаттерлей» героя, который не хочет стать джентльменом, хотя у него есть такая возможность, и который бравирует своим «ужасным наречием», хотя владеет правильным английским. Миру «искусственного» в романе противостоит «естественное», как его стали понимать (в отличие, скажем, от мудрецов XVIII столетия) в нашем веке, — из области сердца пролившееся в недра плоти. Заметим, что такое внимание к инстинктам низшего порядка сочетается у Лоуренса с типично разночинной склонностью к избыточному рационализированию, затрагивающему в данном случае наиболее интимные, то есть в известном смысле «боящиеся яркого света», сюжеты.

Но, вероятно, первым законченным люмпеном в литературе стал Генри Миллер. Питомец бруклинских трущоб, начитавшись разных умных и благородных книг, однажды решил, что пришло время поступать как раз «наоборот» тому, что прописано в этих книгах. «Человеку с улицы» незачем куда-

то «расти» и за кем-то тянуться, ему надо оставаться тем, что он есть, то есть «человеком с улицы»; разве что улицу выбрать ту, где побольше красных фонарей. И в Европу Миллер подался затем, что там было больше возможностей для «самовыражения», иначе говоря, для выплескивания грязи, периодически скапливающейся в отстойниках души и тела.

Лоуренс (Д. Г.) «породил» Миллера (по собственному признанию последнего), в свою очередь Миллер «породил» Жана Жене и других энтузиастов «дна», все более обнажавшегося по мере того, как истончались верхние слои. «Дно», таким образом, становилось в некотором смысле «верхом»; и первая, так сказать, серия «странного союза элиты и черни», о котором писала Ханна Арендт применительно к 20 — 30-м годам, имела продолжение в послевоенные годы, сместившись от «политического экспрессионизма» (Арендт имела в виду поддержку тоталитарных движений) в сторону некоего стихийного анархизма и тотального цинизма. Люмпен и денди перестали скрывать свое родство, более того, нередко они сочетались в одном лице. Сюзен Зонтаг в середине 60-х годов зафиксировала появление нового типа денди, в отличие от прежнего не зажимавшего надушенным платком нос, а, напротив, демонстративно вдыхавшего самые мерзкие запахи.

Культурная революция конца 60-х явилась редким «смещением духов». В верхнем ее регистре мы находим трогательный «идеализм» и богоискательство, заново открывшее для себя великодушие св. Франциска Ассизского с его любовью ко всякой твари. В нижнем — плотский цинизм, взявший на вооружение миллеровское «все люди братья ниже пояса». Известно, кто составил «авангард» культурной революции: юные и экзистенциально чуткие «штюрмеры» из среднего и высшего среднего класса. А вместе с тем ее называют «культурным реваншем трущоб» (разумеется, современных трущоб, вроде тех, что мы видели в «Вестсайдской истории», — по нашим, советским, меркам мало похожих на трущобы), имея на то достаточно веские основания. Действительно, это был глубокий прорыв «низкого» в худшем смысле этого понятия — прежде отвергаемого, табуированного, просто вызывающего брезгливость.

Наследие культурной революции, «молодежная культура», в том виде, в каком она была адаптирована СМИ, удержала множество элементов люмпенского языка, люмпенских повадок и т. д., ставших настолько привычными, что зачастую они уже перестают восприниматься как таковые. Тем более что в стилизованной, прошедшей эстетическую обработку форме их можно принять за некий пастиш. Хотя на самом деле это никакой не пастиш, напротив, здесь глубоко задето мирочувствие. Шаламов, наблюдая блатные, заметил, что очень многие среди них — истерики и неврастеники. Но разве не истерика, с неврастений в придачу, составляет самую суть нынешней «молодежной культуры»? Разве не истерично постоянное желание уйти с головой в текущее мгновение, сделать его максимально «интенсивным», а по возможности и всю оставшуюся жизнь превратить в череду подобных мгновений? Между прочим, здесь уже и опыта люмпенской среды не достало, пришлось обратиться к ресурсам негритянской культуры США. Прежде служившая чем-то вроде пряного соуса к пресноватому «американизму», она теперь обогащает «молодежную культуру» своим выражаемым главным образом музыкальными средствами обостренно-чувственным переживанием «здесь-и-сейчас» происходящего. «Битлз», кстати начинавшие в портовых кабаках Ливерпуля, одними из первых переняли у чернокожих американцев их специфические хрипы, взвизги и фальцетные переходы, в которых звучит что-то родственное «припадочному» блатному типу. (Да ведь и музыка чернокожих, которой нельзя отказать в некоторых достоинствах эстетического порядка, родилась в люмпенских кварталах Нового Орлеана.)

Экспансия люмпенства свидетельствует о том, что далеко не все ладно с западными элитами.

Во все времена «низы» пристально наблюдают за жизнью «верхов» — в той мере, в какой она открыта их взорам, — и всегда делают из этих наблюдений какие-то свои выводы (не обязательно осознаваемые). Почему герой «Любовника леди Чаттерлей» не захотел стать джентльменом? Вероятно, потому, что на глазах изменилась самооценка правящего класса, утратившего прежнюю

уверенность, а вместе с нею и убежденность в значительности своего культурного наследства. Добавим к этому и влияние культурного эгалитаризма, исходящее из-за океана, весьма ошутимое уже в 20-е годы и многократно выросшее в дальнейшем.

В Соединенных Штатах разница между элитами и неэлитами сейчас сведена к минимуму: принцип равенства чем дальше, тем больше стирает разделяющие их отличия. Пожалуй, единственная сфера, которую он обходит стороной, — экономика. Хотя и здесь придется сделать оговорку: судя по их фильмам, американцы «уважают» богатство, созданное своими руками, и зачастую косо смотрят на тех, кто получил его по наследству. Зато в культурном отношении элиты (социологи обычно причисляют к ним примерно десятую часть населения: верхушку торгово-промышленного класса и административного аппарата, деятелей науки и культуры и т. д.), если брать их в целом, очень мало возвышаются над общим уровнем. И вот что особенно интересно: люди с развитым вкусом, которых не устраивают программы ТВ и которые покупают книги, не оглядываясь на список бестселлеров, испытывают не столько чувство превосходства, сколько неловкость оттого, что они «не такие, как все».

В Европе сила культурных традиций, конечно, иная, чем в Америке. Европейец может несколько не стыдиться того, что он редко смотрит телевизор и ничего не слышал о каком-нибудь очередном хите; напротив, в верхнем слое считается хорошим тоном знать классику, не засорять речь вульгаризмами, а при случае и блеснуть элоквенцией в духе доброго старого времени. В Англии или во Франции не считается слишком большим чудачеством «задержаться» в эпохе, скажем, Джона Голсуорси или Марселя Пруста. Все наследие аристократической и буржуазной культуры еще проявляет здесь большую или меньшую «жизненность»⁶. Тем не менее и в Европе элиты постепенно сдают. Как говорит один из персонажей Достоевского, «уже не сор прирастает к высшему слою людей, а, напротив, от красивого (в смысле культуры. — Ю. К.) типа отрываются, с веселой торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядкующими и завидующими». (Цитата из «Подростка» напоминает, что движение сверху вниз началось еще во второй половине прошлого века.) Та же Ламон полагает (конкретно о французах), что со сменой поколений элиты все больше пропитываются массовой культурой, приближаясь в этом смысле к американцам, все больше проникаются настроениями «улицы»⁷.

Объективные трудности многое объясняют, если не оправдывают, в поведении элит. Давление естественноисторических закономерностей ощущается с возрастающей силой: умножаются признаки того, что европейская цивилизация, подобно всем предшествующим цивилизациям, переживает пору заката. Естественноисторические закономерности оспаривает принцип свободы, реализованный в истории благодаря исходным христианским убеждениям европейцев. Но реализованная свобода, в свою очередь, создает новые — притом совершенно неслыханные, впервые возникающие перед человечеством — трудности: различные конкретные свободы — обывателя и гражданина, художника и ученого и т. д. — «мешают» друг другу. Художник, например, способен завести свою публику в такой лабиринт, откуда никакая Ариадна не поможет выйти; с другой стороны, его возросшее — через посредство mass media — влияние на политическую жизнь имеет не только позитивный аспект, но и негативный, то есть проявляется как манипуляция. В роли манипулятора выступает и ученый или, еще чаще, популяризатор тех или иных научных теорий,

⁶ Канадский социолог Мишель Ламон в сравнительном исследовании двух элит, американской и французской (Lamont M. Money, Morals and Manners. The Culture of the French and American Uppermiddle Class. Chicago. 1992), пришла к заключению, что французская элита намного культурнее и образованнее американской. «Интеллектуализм» считается у французов обязательным признаком респектабельности; поэтому нуворишам трудно бывает пробиться на самый «верх» общества. Впрочем, у американцев есть свое преимущество: они тверже французов в вопросах морали. По обе стороны Атлантики верхние слои испытывают одинаковое презрение к бездельникам, «нечистым умам» и «нечистым телам».

⁷ Наверное, я далеко не первый обратил внимание на то, что действие пушкинского «Пира во время чумы» происходит на улице. Не странное ли место для пира? Но таково «время чумы»: оно всех выталкивает на улицу, превращая пирующих — судя по их языку, образованных «господ» — в безликих «молодых людей», коротающих время в обществе уличных девок.

что связано с рационализацией различных сторон жизни и быта; в то же время наука открывает все новые возможности переделки творения (включая и самого человека) — озадачивающие, пугающие, дающие повод всерьез усомниться в пользе свободой как таковой.

Но ведь элиты на то и есть элиты, чтобы искать и находить выходы из самых трудных, самых «безвыходных» положений. Наверное, прав Арнолд Тойнби: у будущих поколений европейцев и американцев «нынешний этап западной истории будет вызывать удивление, смешанное с отвращением и стыдом»⁸. Заметим, что эти строки вышли из-под пера Тойнби в начале 60-х годов, до культурной революции. Что-то сказал бы он сегодня?

Несоответствие между идеалами демократии и нынешними культурными реальностями слишком очевидно; следовательно, оно не может не быть переходящим. Ведь если цинизм и дальше будет набирать силу, он неизбежно распространится на институты демократии (основанные на вере в человека, хотя одновременно ставящие целью предупредить по возможности проявления его греховной природы), и тогда они сделаются опасно хрупкими, «лишенными извести», как это бывает со старыми костями. Изменить ситуацию в лучшую сторону — задача верхних слоев, на которые и в условиях демократии ложится обязанность по поддержанию объективного, то есть иерархического в религиозном и культурном смысле, образа мира. То, что называют «высотой эпохи», зависит в первую очередь от них.

Почему XX век стал американским веком

Уходящий век, особенно если отсчитывать его от Первой мировой войны, был американским веком, поэтому, размышляя о связи демократии с культурой, мы сейчас имеем перед глазами в первую очередь американский опыт.

Американцы могут гордиться своей демократией, одной из самых удавшихся в политико-юридическом смысле, во многом способствовавшей и продолжающей способствовать «маршу демократии» в масштабах всей планеты. Но «культурное обеспечение» демократического процесса в Соединенных Штатах оказалось противоречивым и, скажем так, урезанным. Почти все культурное пространство в этой стране, за малым исключением, заняла массовая культура — феномен, навлекший на себя, в основном справедливо, великое множество критических стрел и в то же время в некоторых своих измерениях, как мне кажется, недооцененный.

Чем объяснить, что американская массовая культура подминает под себя не только Европу, но в известной степени и весь остальной мир?

Ну, конечно, богатство и внешнее могущество Америки сыграли в этом определенную роль. «Самый-самый» естественным образом обращает на себя внимание: что носит, как ходит, что и как говорит. И вполне может вызвать, хотя бы неосознанное, стремление к подражанию.

С чисто эстетической точки зрения массовая культура Америки, особенно если судить по лучшим ее образцам, не лишена определенных достоинств. В различных жанрах кино, популярной музыки и т. д. американцы сумели найти свою ноту, свою, вполне оригинальную, «черточку в узоре». Недаром, к примеру, кинематографический вестерн (самый американский из жанров массовой культуры) еще в 20-х годах был с энтузиазмом встречен парижскими законодателями хорошего вкуса. Джаз не только был высоко оценен многими европейскими композиторами, но и прямо повлиял на творчество некоторых из них. Мультипликация Диснея вызвала зависть у профессионалов этого вида искусства в Европе. И так далее, и так далее. Но если брать, как говорится, по большому счету, все подобные достижения представляются достаточно скромными и никак не могут объяснить, почему Америка до такой степени овладела европейской душой.

Вероятно, притягательность американской массовой культуры заключается главным образом в ее мифическом измерении.

Под мифом я здесь понимаю определенный слой художественного творчества, вычленимый скорее умозрительно, — назовем его слоем фундамен-

⁸ Toynbee A. America and the World Revolution. N. Y. 1962, p. 152.

тальных интуиций или первично-аффективного освоения реальности. Кант утверждал, что искусство (как индивидуальное творчество) есть незаинтересованное удовольствие; строго говоря, оно остается таковым даже тогда, когда имеет общественное звучание, то есть куда-то «зовет» и «ведет». Всегда сохраняется четкая дистанция между реальностью и тем, что изображает произведение искусства. На уровне мифа эта дистанция значительно короче. Миф «ближе к жизни», ибо берет факты, лежащие, что называется, под ногами. В то же время он отрывает эти факты от их реального контекста и помещает в общую систему смыслов; отсюда известное явление узнаваемости в американском кино, массовой литературе и т. д.: человеческие типы и некоторые сюжетные ходы легко узнаются с самого начала, а не с начала, так с середины. Все «близко к жизни», хотя порою и совершенно фантастично. Но даже имея дело с фантастическими персонажами (по степени возрастания фантастичности: рыцарственный ковбой — супермен — инопланетянин), не представляет большого труда влезть в их «шкуру». Ибо «коэффициент идентификации» здесь другой, чем при «незаинтересованном», иначе говоря, четко дистанцированном созерцании.

Почему миф, в Европе служивший фоном индивидуального творчества, в американской культуре выступил на передний план? Ответить на этот вопрос не составляет большого труда. Общество, выросшее «на голом месте», сохранившее лишь остатки прежнего (европейского) быта, относительно мало структурированное, остро нуждалось в собственном мифе; нельзя было до бесконечности оглядываться на Европу, ибо Европа — хоть и родная, а все-таки другая. Здесь был иной, существенно отличный от европейского предметный мир, и его нужно было одушевить — преодолеть тяжесть его «голой» фактичности, вещественности. Не порывая вполне с европейским опытом, коллективное воображение создало свою, во многом специфическую, неизбежно упрощенную, но зато связную и цельную картину мироздания⁹.

Если американская Конституция гарантировала определенные свободы и определенное равенство, то американский миф создал определенное братство людей, более или менее похоже чувствующих и верящих в одни и те же вещи.

Думаю, что именно здесь надо искать главную причину того, почему Америка в конечном счете сумела бросить вызов великим культурам Старого Света. У американцев обнаружилось особое мифологическое чутье, которое вдруг «прорезывается» у того или иного народа, — особая, по нынешним временам, талантливость. В Европе XX века искусство и литература — «разбегающаяся вселенная». Американская массовая культура (особенно в докризисный период — об этом ниже) дает стяжение жизненных фактов в более или менее цельную картину, обнаруживающую некоторые черты «большого стиля» органических эпох. И хотя картина эта предназначена в первую очередь для внутреннего потребления, она, как показал опыт, не оставляет равнодушными и европейцев, а в какой-то степени также и азиатов, африканцев и всех прочих (да так и складывался в Америке миф — как национальный, но одновременно претендующий на универсальность, то есть на приобщение иных народов к американскому образу жизни).

Образы этого мифа хорошо всем знакомы, прежде всего по голливудским фильмам «классического» периода, герои которых, вместе взятые, образуют некий хоровод, приветно затягивающий любого, кто готов принять «правила игры». Здесь царит именно один взгляд на вещи, на все бытие; он остается неизменным и тогда, когда скользит по иным временам или иным краям: произведения на исторические темы или темы из чьей-то чужой жизни — всегда простая травестия.

В мифе, вероятно, наиболее полно выразила себя американская душа с ее непосредственностью, на грани детскости, и одновременно рассудочностью;

⁹ А. Ф. Лосев писал о мифологизации, что «эта основная и примитивная интуиция есть нечто совершенно простое, нечто совсем, совсем простое, как бы только один взгляд на какую-нибудь вещь. Это действительно взгляд, но не на ту или иную вещь, а взгляд вообще на все бытие, на мир, на любую вещь, на Божество, на природу, на небо, на землю, на свой, наконец, костюм, на еду, на мельчайший атом повседневной жизни, и даже собственно не взгляд, а какая-то первичная реакция сознания на вещи...» (Лосев А. Из ранних произведений. М. 1990, стр. 454).

изначальной скромностью, свидетельствующей о религиозной закалке, в сочетании с внутренним размахом «самого себя сделавшего» человека (внешне проявляющимся в бойкости, доходящей иногда, особенно в условиях больших городов, до развязности); доверием к человеку как таковому, кто бы он ни был, и неиссякаемым (так, по крайней мере, еще недавно казалось) оптимизмом. Особо отметим последнее качество. Миф Америки вошел в силу, когда в Европе резко обозначились упадочные явления и прорвались страхи, переходящие в апокалиптические ожидания. Запутавшимся в собственной истории европейцам миф открывал «страну», где все пронизано смыслом, все остается «на своем месте» и в то же время — что заслуживает быть специально отмеченным в наш век, когда технические новации наступают друг другу на пятки, — где, по видимости, любые перемены технологического характера быстро становятся «фамильярными» для ее легко приспособляющихся обитателей.

Миф Америки — подлинно демократический в том отношении, что он создавался «снизу»; никакие «инстанции» не принимали в этом участия, все шло самотеком. Профессионалы от искусства и литературы (обычно не поднимающиеся выше среднего уровня, хотя нередко довольно искусные в техническом отношении) здесь именно «выполняли заказ», идя навстречу запросу массы; впрочем, свою лепту в дело создания мифа вносили и непрофессионалы, иногда даже дети: так, образ супермена порожден в 30-х годах фантазией двух нью-йоркских школьников. Учитывая все эти обстоятельства, признаем, что американцы вправе испытывать сдержанное удовлетворение достигнутыми результатами, средний эстетический уровень которых, вероятно, мог бы быть значительно более низким.

Но замечая, что стакан наполовину полон, мы не можем забыть, что он наполовину пуст. Оценивая по достоинству то, что иногда называют «наивностью» американского мифа и что на самом деле является сердечностью, душевностью, мы не можем разделить его наивность без кавычек. Радуюсь простоте в хорошем смысле этого слова, досаждаем, натываясь на простецкость. В деле «культурного строительства» американцам изначально не хватало вертикального измерения, определяющего «высокость» культуры. Отсутствие аристократии и соответствующих традиций, поначалу представлявшееся многим американцам преимуществом, обернулось, как теперь ясно, недостатком. (До поры до времени некоторым исключением в этом отношении был Юг, и то лишь отчасти.)

Еще важнее, что была потрясена религиозная вертикаль. В религиозной сфере американцы признали в конечном счете лишь один-единственный авторитет — Св. Писания, задачу истолкования которого они возложили на случайных харизматиков, выдвигаемых самой же массой. Это был популизм в религии, тесно переплетающийся с популизмом в культуре. Правда, американцы оставались более религиозными, чем европейцы, что сказалось главным образом в плане морали. Но если отвлечься от вопросов морали, придется констатировать, что роль Бога чем дальше, тем больше сводилась к тому, чтобы просто санкционировать естественный ход вещей; соответственно затемнялась внутренняя противоречивость тварного мира и вытекающая отсюда необходимость не только следовать законам естества, но и уметь возвышаться над ними, «перерастать» их. Популизм уводил «среднего американца» на путь самодовольства, несовместимый с мыслью о чем-либо превосходстве, о важности научения и духовного роста.

Во что это выливается, лучше других сказал Роберт Пенн Уоррен: «Мы потому столько носимся с простым человеком (common man), что состояние простецкости (commonness) заменяет нам идеал, — и да будет благословен мир, в котором наличное, а отнюдь не потенциальное «я» уже считается достижением и в котором идеал столь счастливо совпадает с реальностью, не причиняя никаких забот. В этом мире непрерывно совершается искупление без слез, и каждый человек не только король¹⁰, но и Бог, сам себе Отец и сам себе Искупитель. Ему не нужно думать о том, чтобы как-то себя изменить — разве может меняться Божество? — но о том лишь, чтобы изменить других,

¹⁰ «Каждый человек — король» — лозунг губернатора Луизианы Хьюи Лонга, выведенного в романе Уоррена «Вся королевская рать».

сохраняя свое очевидное превосходство в пределах Божественного Минимума. Такого рода логика ведет к Шигалёву, этому «фанатику человеколюбия» из «Бесов», мечтающему о мире, в котором, по словам Петра Верховенского, «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями», готовом «всякого гения потушить в младенчестве» и свести «все к одному знаменателю». Этот мир еще не близок, но именно к нему стремятся миллионы американцев, быть может, сами того не ведая»¹¹.

Конечно, на пути к этому миру было немало «помех»; некоторые из них и сейчас еще не исчезли. В аспекте религии бесов еще удерживает на некотором расстоянии то обстоятельство, что идея «Бога в человеке» не заслонила окончательно в сознании американцев идею «человека в Боге». В аспекте культуры преодоление «помех» идет успешнее. В прошлом веке средний класс испытывал заметную тягу к европейской культуре, и ходить, например, в оперу или на постановки пьес Шекспира считалось в этом кругу хорошим тоном. И если в «Короле Лире» для «оживления» действия на сцене периодически возникала группа парней в ковбойских шляпах, с гитарами и банджо, наяривавших чересчур долгого объяснения героини оперы с Радамесом из-за кулис высказывали акробаты, начинавшие ходить на руках, то в подобных вещах видели проявления неразвитости вкуса, которые рано или поздно будут преодолены. Сегодня то мы знаем, что «преодолены» были скорее Аида с Радамесом и королем Лиром; или, точнее, резко сузился круг тех, кого они еще интересуют.

Воспетым Уолтом Уитменом «людям с улицы», «с открытой шеей и красным загаром», нужна была своя культура; «тонкости» европейской культуры не доходили до них уже потому, что никак не соотносились с реальностями Нового Света (опять же, за частичным исключением Юга). Энергия народного, условно говоря, творчества (условно — потому, что народ в Новом Свете не успел сложиться в органическую целостность, обычно связываемую с этим понятием) требовала «прямого», в минимальной степени осложненного сублимациями, выхода. Его плоды, как я уже сказал, с определенной точки зрения можно признать более или менее удавшимися; с иной точки зрения — удручающими.

Но «закат Абендланда» рано или поздно должен был стать также и «закатом Америки». Косые лучи солнца отбрасывают все более длинные тени, и потому ходить только по солнечной стороне улицы становится чем дальше, тем труднее.

О том, как миф Америки сопротивляется упадочным явлениям, следовало бы писать отдельную статью. Ибо «фронт» сопротивления, проходящий через все виды и жанры массовой культуры, весьма широк и многолик. Я же могу судить лишь об отдельных его «участках» — иначе говоря, руководствуясь впечатлениями, полученными за минувшие годы от просмотра ряда кино- и телефильмов. Думаю, однако, что те вещи, которые мне довелось посмотреть, достаточно репрезентативны в интересующем меня смысле.

Что бросается в глаза? «Добрый ангел нашего сердца», как назвал его Авраам Линкольн (имея в виду сердца американцев), пока еще никуда не исчез; душа мифа остается такою, какою она была, но это дается ей большим трудом и ценою некоторых, иногда очень существенных, «территориальных уступок». Многое остается на своих местах: и рыцарственные ковбои, ловко отстреливающие злодеев, и непослушные на первый взгляд дети, жадные до всяческих приключений, и жизнерадостные особи мужского или женского пола, одними только правдами добивающиеся успеха (в «историях успеха»), и пронырливые сыщики, в джунглях больших городов не утрачивающие нравственной выдержки обитателей смол-таунов, где так приветливо светятся окна и за каждым предполагается яблочный пирог и семейное счастье (*Gemütlichkeit* в американском варианте). Но воздух становится тяжелым, насыщенным разного рода миазмами. Всеразьедающий цинизм, жестокость лезут во всякую щелочку. Даже положительные герои уж очень зло дерутся, не так, как прежде, —

¹¹ Warren Robert Penn. *Democracy and Poetry*. London. 1975, p. 79 — 80.

свидетельство нарастающего внутреннего ожесточения, трудно совместимого с добротой (у популярного актера Чака Норриса, нашему зрителю знакомого, в частности, по телесериалу «Крутой Уокер», лицо доброго сказочника — и это подлинное его лицо, а отнюдь не личина, но тело — пружина, в любой миг готовая распрямиться в страшном ударе, и кажется, что одно с другим соединено чисто механически). Обнаженное тело (некогда вообще исключенное из поля зрения) почти всегда демонстрируют только отрицательные или, по крайней мере, сомнительные персонажи — но ведь не друг для друга они это делают, а для всеобщего обозрения.

Перемены не обошли стороной даже вестерн, эту сердцевину мифа, колоритную Сагу о Красивом Начале. Где некогда блистал великолепный Гари Купер, продуманное сочетание демократизма с аристократизмом¹², ныне можно встретить «крутых парней», с которыми не так-то просто бывает разобраться: есть ли у них за толстой корой цинизма что-то еще?

Не нужно обладать особым даром предвидения, чтобы прийти к заключению: сила сопротивления «закату» будет угасать с течением времени. Слишком много слабых мест в «линии обороны». Вероятно, самое слабое из них — оптимизм, не уравновешенный пессимизмом и оттого все более поверхностный, хрупкий. Ретроспективно надо отдать должное американцам: они умели заражать своею, как говорится, бьющей через край жизнерадостностью. Особенно блистал этим искусством старый Голливуд. И сегодня смотришь какие-нибудь «Звуки музыки» или «Серенаду солнечной долины», видишь их ребячливость, а все равно — «обманываться рад». Хотя так можно сказать лишь о лучших образцах, притом в тех именно жанрах, где сама поэтика требует розовых и голубых красок и обязательного хеппи-энда. В иных случаях жизнерадостность становилась бестактной и обилие розового и голубого воспринималось уже как безвкусный макияж¹³. А уж в нынешнее-то время, когда перспектива безбедного будущего становится все более призрачной, подножие оптимизма съезживается, как шагреновая кожа, что рано или поздно должно привести к срывам в отчаяние и цинизм¹⁴.

Есть и другие слабые места. Все более хромает мораль, вследствие расстройств религиозных «тылов» ставшая скорее условностью, привычкой и, значит, утратившая запас прочности. Против нее работает и давнишнее, имеющее свою традицию в американской истории, но принявшее «современные» (см. выше) формы предпочтение естественного «искусственному» («чрезмерно» культивированному), и связанный с ним культ «самовыражения», получивший развитие за последние десятилетия. Естественное не всегда легко отделить от извращенного (однополая любовь — естественное явление или извращение?), а «право на самовыражение» (исходящее из того, что наличное «я», как сказал Уоррен, уже есть некое достижение) не устанавливает четких границ между тем, что действительно стоит выражать, и тем, чего надо стыдиться и по возможности в себе изживать. Нерасположенность к духовному росту дополняется, скажем так, приоткрытостью в отношении того, что прет, в этическом и эстетическом смысле, «снизу»; в результате люмпенские инто-

¹² Дозированный аристократизм героев «классического» вестерна — не просто след европейских влияний, он имеет некоторые корни в самой американской истории. Генетически вестерн (литературный и кинематографический) исходит, с одной стороны, из Фенимора Купера, а с другой — из южной американской традиции рассказов о покорении Запада, сложившейся под влиянием Вальтера Скотта и отвечающей полуфеодалной идеологии рабовладельческого Юга. Герой «классического» вестерна — результат «скрещивания» рыцарственного героя Юга с вполне демократичным героем Севера. «Избыток» аристократизма, проявляющийся, например, в изысканных (в карикатурном преломлении, конечно) манерах, есть верный признак того, что герой является или отрицательным персонажем, или, в лучшем случае, положительным персонажем второго плана.

¹³ Человеком с другой планеты выглядит Герман Мелвилл, устами своего капитана Ахава сказавший: «...тогда как даже высочайшее земное блаженство таит в себе какую-то неприглядную мелочность, в основе всякого горя душевного лежит таинственная значительность, а у иных людей даже архангельское величие...» Ах, капитан, как мало следа оставили вы в сознании соотечественников!

¹⁴ Заметим в утешение, что подлинная «радость жизни» тускнеет без ее страдальческой стороны. Андерсеновская русалочка, которую Америка возвращает Европе «исправленной» — ножки, данные ей вместо хвоста, уже не причиняют боли при ходьбе, — лишается прежней убедительности: ей нечем удостоверить силу своей любви.

нации проникают в такие сферы, где прежде они были совершенно невозможны.

Американский филолог Джеймс Твитчелл недавно обратил внимание на то, что за последние годы его соотечественники практически перестали употреблять слово «вульгарный». А ведь еще в 50-х годах в кругах среднего класса и выше считалось вульгарным, к примеру, жевать резинку и танцевать твист.

Традиционная (идушая со времен популистской революции первой четверти XIX века) нерасположенность американцев к научению и духовному росту проявилась и в том, что статус знания — университетской науки в первую очередь — оказался в Соединенных Штатах иным — значительно более скромным, чем в Европе. Американские университеты всегда «обслуживали» общество, не пытаясь сколько-нибудь существенно дистанцироваться от него. Лишь в 30-х годах наметились в этом отношении кое-какие перемены, что связано главным образом с иммиграцией немецких профессоров. Последние заразили американских коллег своим увлечением если не философией, то по крайней мере некоторыми ее субститутами, такими, как теория ценностей. Они же попытались привить на почве Нового Света идею студенческой общины как духовного братства, дотоле чуждую американцам в еще большей степени, чем англичанам. Новый импульс получили университеты в 50-е годы, когда американцы заговорили о «новом фронтире» — «секторе знания» — и стали вкладывать в него огромные деньги, в надежде, что он еще больше выведет Соединенные Штаты вперед. Университеты, таким образом, становились самостоятельной силой в американском обществе.

Но что было потом? На исходе 60-х они действительно сделались ареной своеобразного духовного братства, но уж очень непохожего на традиционное. Никаких «*Vivat Academia, vivant professores!*», напротив, популярный в студенческой среде Боб Дилан пел: «Университет — могила общества». Минуло несколько лет, и взбаламученная стихия как будто вошла в прежнее русло; однако не все вернулось «на круги своя»: авторитет профессоров, подобно любим друг авторитетам, был подорван как никогда раньше. Одновременно исчезает эйфория, вызванная НТР. Почти улетучился ореол, недолгое время окружавший университеты в глазах «простого американца»; напротив, академический мир все больше рассматривается как некое чужеродное тело в составе американского общества (несмотря на то что сами научные работники, как правило, далеки от старообразного «ученого» высокомерия и от массы соотечественников никоим образом себя не отделяют). А если точнее, то гамма отношений к академическому миру включает равнодушие, недоверие, пренебрежение и открытую неприязнь. Внутри самой университетской науки продолжается дробление на все более узкие подобласти и одновременно все менее улавливается смысл целого. Сами профессора нередко называют университетские занятия «интеллектуальным блудом». А вот мнение хорошо знающего данный предмет социолога Рассела Джекоби: «Призрак бродит по американским университетам или по крайней мере по их факультетам: скука. Поколение преподавателей пришло в университет в середине 60-х, когда пробуждающиеся кампусы распырило от накопившейся энергии; сегодня эти преподаватели заметно поскущнели, если не вовсе пали духом»¹⁵.

Если говорить об американской системе образования в целом, то по одним оценкам она находится в плохом, по другим — в катастрофическом состоянии. И прежде не блиставшая интеллектуализмом, Америка может превратиться в настоящего «всадника без головы». И это в эпоху, когда человечество буквально тонет в массе артефактов — продуктов ума; и выплыть может лишь с помощью того же ума (хотя собирание нового фактичного мира в некий округленный и выразительный лик — задача мифомышления, а отнюдь не *ratio*).

Для сравнения: Европу старые грамоты на благородство еще обязывают поддерживать кое-какие традиции. Во Франции, например, образовательные учреждения финансируются не столь щедро, как в Америке, но там зато сохраняется элитарная школа, основы которой были заложены Ришелье и Наполеоном. Результат налицо: за последние десятилетия репутацию интеллекту-

¹⁵ Jacoby R. *The Last Intellectuals*. N. Y. 1989, p. XIII.

альной столицы Запада который раз в истории закрепил за собою Париж. Но и во Франции все меньше набирается энтузиастической молодежи, жаждущей посвятить себя науке. Та же картина и в Англии, где некоторые почтенные учебные заведения «идут навстречу» абитуриентам, снижая требования к дисциплине, резко сокращая число учебных часов и, наоборот, увеличивая время, отведенное на спорт. Последний всегда занимал видное место в жизни английских университетов, и, наверное, это было хорошо; Веллингтон даже заметил, что битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона. Не скажут ли, однако, потомки, что на тех же спортивных площадках было проиграно будущее Англии? Хотя, если сравнивать с Америкой, англичане, пожалуй, еще выглядят усердными школярами.

Демократия, не умеющая оценить знание по достоинству, — это демократия, разоружившаяся перед угрозами, коими полнится будущий век.

Сказать «Аз есмь»

Говоря об Америке, я недаром задержался на вопросе о мифе: его никак нельзя считать чисто американским вопросом; культурная гегемония Америки в современном мире — нелишнее тому подтверждение. XX век бредит мифами, и это, если можно так сказать, нормальный бред. Он был предчувствован и предсказан еще в эпоху великого европейского переворота конца XVIII — начала XIX века братьями Шлегель и Шеллингом в первую очередь. Ф. Шлегель, например, только в мифе видел спасение от всеразьедающей романтической иронии. Шеллинг остро почуял опасности, которые «марш свободы» привнес в сферу культуры; так, «художественное производство» утрачивало прежнюю свою онтологическую основательность, а избыточное фантазерство множило индивидуальные витания, грозящие с течением времени обернуться всеобщим разбродом. «Вместе с безграничным поступательно движущимся вперед историческим временем, — читаем во «Введении в философию мифологии», — открываются все двери для произвола — истинное уже не отличить от ложного, глубокий взгляд от случайной гипотезы или игры воображения»¹⁶. Все «случайное» в художественном творчестве, по мысли Шеллинга, следует отнести на периферию культурной жизни, основное содержание которой должен составить миф. Эту точку зрения разделяли и две самые крупные фигуры в немецкой культуре второй половины XIX века — Вагнер и Ницше. В частности, Ницше призывал обставить горизонт мифами, что должно превратить культурное движение в некое законченное целое. В России раньше других оценил значение мифа для будущего времени Вяч. Иванов, писавший (в статье «Предчувствия и предвестия»), что миф отвечает нарастающей потребности «сгустить» «жизнь» как всеми переживаемое «внутреннее событие».

Миф заявлял о своих правах в той мере, в какой рассыпался прежний быт, служивший балластом (в нейтральном смысле этого понятия, обычном, например, в авиации) исторического и культурного бытия. Не удивительно, что громче всего он это сделал в Америке, оторвавшейся от старого континента и вынужденной чуть ли не всю «жизнь» выстраивать заново. Но так ли уж сильно отличалась в указанном отношении от Америки пореволюционная Россия, где рассыпался не просто быт — весь старый уклад? Вероятно, лучше других жажду мифа передал Платонов (в произведениях 20-х годов); души его героев — разошедшаяся почва, вся в глубоких трещинах, вопиющих о влаге живых смыслов (и вскорости прольется влага, но окажется соленой — омочит, но не напоит; и оттого уже в наше время подрастающие поколения «выбирают пепси»).

Потребность в мифе объективно усилена у нас тем обстоятельством, что начиная с семнадцатого года в России не существует самостоятельного в культурном смысле верхнего слоя — и что-то не видно, откуда бы он мог появиться в обозримом будущем. В этом отношении мы оказались в значительно худшем положении, чем даже Америка.

С другой стороны, становление мифа есть процесс, имманентный самой культуре; это своего рода реакция на определенную «усталость», если не ис-

¹⁶ Шеллинг Ф. Сочинения в двух томах, т. 2. М. 1989, стр. 360.

черпанность индивидуального творчества на данном историческом этапе. Вполне вероятно, что мы присутствуем при очередном тектоническом сдвиге в истории культуры, отводящем индивидуальному творчеству более скромное место, чем то, какое оно занимало до сих пор.

Но может быть и так, что индивидуальное творчество ожидает новый взлет, а для этого оно как раз нуждается в том, чтобы ощутить «под собою» некоторые мифологические уплотнения, исключаящие нынешнюю болтанку в воздухе.

Жажда мифа — это жажда индивидуального самоопределения в рамках коллективного воображаемого. Она возникает тогда, когда индивид отрывается от субстанциальной почвы (явление, наиболее полно отраженное европейским романом XIX века) и, не имея намерения (как, впрочем, и возможности) вернуть билет, открывший ему путь в «царство свободы», проникается тем не менее ощущением окружающей его опасной пустоты. Если что-то не имеет границы и формы, писал в данной связи Лосев, невозможно установить, существует оно или нет; в самом деле, отдельное «я» может проявиться лишь в отношении с другими, формирующими каждое из «я» — в рамках общей системы смыслов. Такой системой смыслов служит миф, связующий все со всем в плане символического понимания жизни. А так как в наш век «все» быстро меняется, то миф не может не быть подвижным (отметим, кстати, ограниченность модного структурального взгляда на миф, представляющего его как бы замороженным — лишенным живого струения, диахронии — и оттого фиксирующего в нем главным образом, если не исключительно, инварианты).

Еще Вяч. Иванов писал: современный тип бытия — «динамический, потенциальный и текучий». В меру своих возможностей миф принимает бытие таким, каким оно становится, прозревая вещи с точки зрения вовлеченной в общее движение личности (по Лосеву, миф есть «историзация и просто история того или другого личного бытия»). Миф превращает время в общий для всех поток смыслов, открывающий личности ее особенную предназначенность. Без мифа время становится безвременьем, «фигуры не имеющим».

Возможности, открываемые мифом, — это одновременно и опасности. Мы знаем, что современный миф может быть не только благим, но и дурным; он также может сочетать позитивные моменты с негативными (таков национальный миф Америки). Негативные моменты обнаруживаются уже у предвестников и предуготовителей — особенно у Ницше с его выпученным эстетизмом и «любовью к дальнему». Отголоски ницшеанства есть и у Вяч. Иванова (до его «горького похмелья», наступившего в эмиграции), хотя позитивных моментов в его концепции мифа гораздо больше. Интересно проследить сегодня, какие из предвестий сбылись и какие не сбылись, а какие сбылись, да совсем не так, как предполагалось. Например, картины мифа как ритмического Танца, растворяющего в экстазе все смыслы мира и сплывающего толпу в единое «хоровое тело», можно считать осуществившимися, но совсем не так, как это снилось вчерашним мудрецам. Древнеязыческое, ранее мыслимое лишь в античных хитонах, прорвалось в совершенно новых формах, родившихся на стыке европейской и африканской культур (главным образом в той же Америке; хотя национальному мифу Америки этот экстатический миф изначально был чужд и по сию пору находится в трудных с ним отношениях). Я, конечно, имею в виду радения, которые можно назвать рок-концертами или как-нибудь еще, но которые от этого не перестают быть радениями. Эта поэмка сейчас крутит и крутит по всей планете, затемняя будущее, в котором полновесный и полновзвучный миф должен занять подобающее ему место.

Наверное, нет на свете народа, который не испытывал бы сейчас потребности жить в мифе. Но вряд ли где-нибудь еще эта потребность ощущается так остро, как в проходящей труднейший участок своего исторического пути России.

Из Ремизова: «...Россия ударится о землю, как в сказке надо удариться о землю, чтобы подняться и сказать всему миру:

— Аз есмь.

— Но можно так удариться, что и не встанешь».

Полных восемьдесят лет прошло, а результат «эксперимента» все еще не ясен. «Хитрость» здесь в том, что «притворяясь непогибшим» (Блок) целый народ (или семья народов, каковою является Россия) может гораздо дольше и успешнее, чем отдельно взятый байронизирующий индивид. Но рано или поздно наступит такой момент, когда нужно будет или громко сказать «Аз есмь», или скромно отойти в тень исторического существования, предоставив авансцену другим народам и государствам.

Чтобы сказать «есмь», надо, во-первых, прояснить себя (для-себя-и-для-иного) посредством мысли и, во-вторых, суметь выразить себя в мифе. Мысль постигает смыслы текущего в его отношении к сущему, к Логосу бытия вообще, исторического бытия в частности. В мифе текущее и становящееся проявляет себя как эйдос (образ). Это как бы два уровня самосознания: первый — в идеальных категориях, второй — в красках чувственной реальности.

Чтобы эти краски были не просто яркими, но еще и устойчивыми, не выцвели бы за какие-то считанные годы, миф должен уметь соотносить временное с вечным. Коллективная личность, как она проявляется в мифе, должна утвердить себя «там», чтобы найти нужную палитру «здесь». К мифу в полной мере относится сказанное Вяч. Ивановым об искусстве вообще: «„Realiora”¹⁷, открывающиеся художнику, обеспечивают внутреннюю правду изображаемой им простой реальности и самое возмозможность правильной координации ее с реальностями высшими. Как человек, художник должен побывать в этой высшей сфере, куда он проникает путем восхождения, чтобы, обратившись к земле, вступив на низшие ступени реальности, показать нам их подлинно существующими и обозлвить их подлинную актуальность»¹⁸.

Почему образы советского масскульта, даже наиболее удавшиеся — от Василия Ивановича с Петькой до Штирлица, — рано или поздно становились смешными? Очевидно, потому, что они слишком погружены в свое время, не «выглядывают» из него.

Миф должен иметь также историческую глубину. Даже у американцев с их относительно короткой исторической памятью основу мифа составили жанры, которые хотя бы условно можно назвать историческими, — вестерн и, в меньшей степени, саутерн (произведения о гражданской войне Севера с Югом); их даже называют «американской „Илиадой” и „Одиссеей”» (разумеется, «Илиада» — саутерн, а «Одиссея» — вестерн). В России с ее сложной и драматической историей очень велика будет зависимость мифа от определенного толкования прошлого, в особенности недавнего прошлого — начиная с семнадцатого года. В этом отношении миф будет следовать за историософской мыслью (конечно, при условии, что она окажется доходчивой — как умел быть доходчивым, например, Карамзин); следовательно, многое зависит от того, сумеем ли мы попасть в стремнину русской историософии, оборвавшейся в эмиграции со смертью последних наших крупных мыслителей (между ними и нами — едва ли не один Солженицын).

Это, собственно, часть более общего вопроса — о статусе знания. Каков будет статус знания в новой России? Данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, ибо здесь надо учитывать множество нюансов; о некоторых из них я говорил применительно к Германии прошлого века и сегодняшним США. Пока что хвалиться нам нечем: суэта на рынке мнений заглушает авторитетные суждения, ставшие доступными в годы «перестройки» и, казалось бы, уже апробированные ходом времени. Разброд царит и внутри самой «педагогической провинции» (выражение Гёте из «Вильгельма Мейстера»). А ведь у нас есть весьма солидные исторические основания для возникновения влиятельной философской школы, в рамках которой мог бы найти свое продолжение «царский путь» русской мысли.

Сказанное, конечно, не означает, что к мифу можно прийти рационально-философским путем. Миф должен быть «не изобретением, а обретением» (Вяч. Иванов). Задача мысли — создать для мифа соответствующее русло. А потечет ли по нему живая вода, зависит от того, сохранилась ли в нас полусознательная энергия мифотворчества. Миф должен быть «глуповатым» (в пуш-

¹⁷ Высшие реальности (*лат.*).

¹⁸ Иванов В. Собр. соч. в 4-х томах, т. 2. Брюссель. 1974, стр. 638.

кинском смысле) даже в еще большей мере, нежели поэзия. В этом отношении он близок фольклору. Вместе с тем невозможно и не нужно отделять миф от индивидуального творчества какой-то непременной междоусобицей (напомню, что под мифом я понимаю определенный слой или план культурного процесса, вычленимый скорее умозрительно)¹⁹. Более того, вершины индивидуального творчества должны служить ориентирами современного мифотворчества; в противном случае мы получим еще более размытую картину, чем та, которую нам преподносит сегодня Америка. Иначе говоря, надо не только восходить к Небу, но и подниматься в горы, ибо только с горней высоты открываются истинные пропорции вещей (это прекрасно понимали Шигалев и Верховенский: «...горы сравнять — хорошая мысль...»). В России была высокая культура, воспарившая над своими социально-словными основаниями и помогающая нам — воспарить над сегодняшней фактичностью.

Возблагодарим Бога за то, что в советское время русская классика не была изъята из культурного обихода (как это случилось в Китае с их классикой). А не то мы имели бы еще более ущербную «культурную жизнь», чем та, которую имели. Господствующий слой испытывал определенный комплекс в отношении «старой культуры»: она и притягивала его, и, наверное, вызывала некоторую зависть — в той мере, в какой вплеталась в быт старых господствующих классов; и ее положение в обществе оставалось противоречивым: с одной стороны, герои не нашего времени подключались к пропаганде «советского образа жизни», а с другой — существовала некая молчаливая договоренность о том, что «старая культура» и «жизнь» — это совсем разные вещи и нельзя их смешивать. Горы оставили стоять там, где они стояли, но научились их обходить. Оттого, наверное, в фильмах 30-х годов (десятилетие, когда сложился советский миф и когда был узаконен определенный пиетет в отношении классики) мы сплошь и рядом видим такой жуткий кич, какого в американском кино, при всех его вкусовых провалах, мы никогда не встретим²⁰.

Расставшись наконец с этой — по большому счету — нетворческой эпохой (я имею в виду эпоху, начавшуюся около 1930 года; революционный период, включая 20-е годы, нельзя считать нетворческим, хотя благоприятным их было только для авангарда), мы заново сталкиваемся с задачей, как ее называли в советское время, творческого освоения классики. Ф. Степун писал в эмиграции, что главной задачей поколений, сбросивших советскую власть, будет создание образа нового русского человека — соотнесенного с русской классикой. (Заметьте: Степун говорит об образе, в единственном числе; хотя, конечно, это здесь собирательное понятие, подразумевающее варианты.) Есть в старой русской литературе характеры, созданные как бы на вырост и ждущие того, чтобы проявиться в настоящем. Разве не таковы Гринев или Пьер Безухов? Или Алеша Карамазов, только что вышедший из монастыря? Или «три сестры», рвущиеся в какую-то вымечтанную ими Москву?

Конечно, рождение мифа в любом случае сопряжено с некоторыми потерями. Но таков вообще культурный процесс: всегда что-то отбрасывается, что-то просто забывается; лишь в памяти немногих гурманов умещаются сразу все плоды, собранные в садах культуры былых времен (что, кстати, нередко ведет к атрофии вкуса). Миф — это, если угодно, сужение культурного процесса, но сужение неизбежное, а с другой стороны, благотворное; особенно в наши дни,

¹⁹ Есть довольно распространенный взгляд, что фольклор «пасется» на поле аристократической и купеческой культур, подбирая мотивы, получившие развитие в рамках индивидуального творчества (точка зрения не столько противоречащая иной точке зрения, а именно, что аристократическая и купеческая культуры используют мотивы «народного» творчества, сколько дополняющая ее). Если это так (о чем я не берусь судить), тогда дистанция между фольклором и мифом еще укорачивается.

²⁰ Я отнюдь не хочу сказать, что все было скверно в советском масскульте. В те же 30-е годы появилось немало хороших, даже замечательных песен, по сю пору не утративших некоторого обаяния. Это можно объяснить тем, что музыка дальше всех других искусств отстоит от бытийной конкретики. Песни, о которых я говорю, шли из глубины коллективной души, еще сохранявшей «ресурс» веры, надежды и любви и связавшей его с новой якобы правдой, в которую народ или хотя бы молодые поколения на какое-то время поверили или, может быть, только хотели поверить (такое желание веры мы находим, например, в «Стране Муравьи» Твардовского). Этот источник иссяк, когда люди почувствовали (еще только почувствовали), что то, что принимали за правду, есть на самом деле большая ложь.

когда пляска бесчисленных симулякров сопровождает всех и каждого едва ли не с пеленок, отчего воображение рано воспаляется и столь же рано притупляется, сменяясь равнодушием ко всему на свете (М. М. Бахтин писал: «...биологическая функция равнодушия есть освобождение нас от многообразия бытия... как бы экономия, сбережение его от рассеяния в многообразии»²¹).

Пушкин в одном из писем наставлял жену: «В деревне не читай скверных книг дединой библиотеки (вероятно, имеются в виду французские эротические книжки, нередкие в библиотеках старых «вольтерьянцев». — Ю. К.), не марай себе воображения...» У самого Пушкина воображение было измарано с юных лет, но он-то сохранял в себе некое глубинное целомудрие — как силою своего гения, так и благодаря тому, что оно находило отзвук в окружающих. И нельзя сказать, чтобы это была специфически русская проблема. Старший современник Пушкина, Стендаль, писатель иного духа, примерно в те же годы сетовал: человеческий ум «задыхается от избытка образов». Сам запойный книголюб, он постарался сообщить своим любимым героям, Жюльену Сорелю и Фабрицио дель Донго, свежесть чувств, ради чего заставил их вообще не читать романов (это, правда, был уже крен в другую сторону — «естественного человека» в духе XVIII столетия). Можно представить, как позаботился бы Стендаль о том, чтобы оградить их от аудиовизуальной продукции, если бы она существовала в его время.

Ныне живущим поколениям вряд ли уже удастся стереть в своей памяти все, скажем так, лишнее, что в ней записано; мы в этом смысле горбатенькие, которых, наверное, только могила исправит. Зато уж мы лучше всех тех, кто жил прежде нас; знаем, как не надо задурманивать себя безудержною игрой воображения.

Я отнюдь не хочу сказать, что с воображательной вакханалией следовало бы покончить какими-то «хирургическими» средствами. Миф — это стихийно возникающий фарватер; он не «отменяет» все те явления культуры, которые с ним не согласуются, но делает их «обочинными» и просто неинтересными. Посредством мифа, как пишет Лосев, Смысл превращается «в Стремление и Влечение, в теплое дыхание жизни, в жизненный поток сознания и действия»²². Подобную ситуацию Федотов характеризует словами Данте: *tutti tirati son e tutti tirano* — «все влекомы и все влекут».

В мифе новая Россия «узнаёт себя». Если зеркало ее не обманет и если сама она не обманет собственное зеркало, тогда мы сможем сказать, что у нее есть будущее. И тогда отшатнутся призраки упадка и гибели, ныне обступающие не только нас, но и Европу вкуче с Северной Америкой, но нам, судя по всему, угрожающие в первую очередь.

Допускаю, что приведенные рассуждения о том, что нужно и что должно, у кого-то уже вызывают досаду; но я лишь отрабатываю урок, взятый мною у прот. Георгия Флоровского: под углом зрения долженствования будущее открывается нам вернее и глубже. Другое дело, что будущее может «не послушаться» нас и вильнуть куда-то в сторону. Что ж, вся история есть поле брани должного с недолжным.

Сверх того, на исходе второго тысячелетия от Р. Х. история становится более непредсказуемой, чем когда-либо в прошлом²³. Опять-таки, в первую очередь это относится к нашей стране. Мы (я говорю о том, что раньше называлось «народной жизнью») оказались сейчас как бы на речном перекате. Ти-

²¹ Бахтин М. Литературно-критические статьи. М. 1986, стр. 510.

²² Лосев А. Абсолютная диалектика = абсолютная мифология. — «Начала», 1994, № 1, стр. 19.

²³ В плане предсказуемого наиболее правдоподобными оказываются как раз пессимистические прогнозы. Мы не можем исключить и наихудшего сценария — близящейся гибели европейской цивилизации (включая, конечно, и российскую ее часть), которая должна будет уступить место какой-то другой цивилизации (я пытался развить эту тему в № 87 «Континента»). В этом случае перспектива нужного и должного резко суживается: главная задача в плане культуры остается по сути та же, какую ставила перед собой определенная часть русской эмиграции, — «бережение ростков» вместо провоцирования быстрых цветений (Ф. Степун). Но вероятность пессимистических прогнозов существенно снижается принципом свободы, давшим столь многочисленные разветвления в рамках европейской цивилизации, что предвидеть дальнейший ее ход становится совершенно непосильным делом.

хия, величавые плесы с их загадочной глубиной оставлены позади; на перека-те глубина уже не та (конечно, это не значит, что ее нет вообще), зато есть ширь — мутная, подвижная, «нервная». Кто может сказать, куда устремятся эти воды? На Западе течение более стабильное, ибо там велика сила привычек и крепки законы. Но привычки не вечны, а законы, даже если сами по себе они очень хороши, — далеко не единственная и даже не главная сила, определяющая вектор движения. Великий законодатель Т. Джефферсон сказал: как ни важны законы, еще важнее песни. Нельзя отделить путь демократии от пути культуры; они близко соприкасаются и постоянно друг на друга «наезжают».

Заметим, что в последние годы на Западе интерес к политической жизни определенно снизился. Отчасти это можно объяснить высоким уровнем стабильности в данной сфере; отчасти же — усиливающимся ощущением, что политика как система рационально организованных институтов и как практический «расчет сил» (то, что по-английски называется politics) сама по себе еще не может обеспечить рост общественного благополучия (во что верилось на протяжении длительного периода времени) и что большую роль тут играют какие-то другие факторы, находящиеся не только за гранью политики, но вообще за гранью рационального (подчеркну, что сейчас речь идет о Западе; мы еще демократическими институтами не «насытились», напротив, нам их еще строить и строить). Более того, иррациональное вторгается и в сферу политики: на передний план выдвигается личность политического деятеля — не как носителя тех или иных принципов или идеалов, но как воплощения определенных человеческих качеств. Соответственно разработка программ и доктрин отстывает перед специфическим искусством имиджмейкинга.

Попробуем расставить здесь некоторые плюсы и минусы. Упор на программы и доктрины был и остается объективно оправданным в политической жизни, но слабое — до недавнего времени — участие в ней образного мышления следует объяснить скорее характером новоевропейской культуры, в разных планах, как и в самом общем плане, отводившей чересчур большое место рациональным конструкциям. Мир Божий — не просто конструкция, у него есть Лик. И все, что в нем существует, — подробности единого Лица. Даже отвлеченные идеи теряют свою весомость без образного «сопровождения» (оттого в православном миропонимании их олицетворяют ангелы как носители духовных реальностей). Это хорошо понимал Мышкин у Достоевского, сожалевший о том, что «не имеет жеста» («У меня нет жеста приличного, чувства меры нет...»). Даже профессиональный философ, в мире абстракций чувствующий себя как дома, может ощущать эту связь идеального с вещественным, иногда в самых пустяковых его проявлениях: Лосев писал, что не вызывает доверия философ, который спотыкается на дороге в момент, когда он излагает свои мысли, или у которого сбивается на сторону галстук. Носителю идеи, «не имеющему жеста» или не способному удержать в порядке галстук, следует довольствоваться ролью «певца за сценой».

Так что предоставленную телевидением возможность видеть и слышать политических деятелей на крупных планах следовало бы только приветствовать. Если бы тотчас не обнаружилось, что личность политического деятеля может сделаться орудием дурного внушения, иначе говоря — манипуляции. «Демон физиогномики и телесности», как назвал его Томас Манн, проникая через глаза и уши в подсознание, способен существенно потеснить, если не задавить совсем, сознательные моменты, размягчить волю и направить ее к какому-то дурным целям. Есть и другая возможность, не столь зловещая, хотя тоже далеко не безобидная (обычно она реализуется в условиях значительной политической стабильности), — это когда политика подменяется лицедейством, разными спортивно-политическими шоу, и в результате зрелищная сторона вытесняет содержательную.

Но так уж бывает в подлунном мире: где пшеница, там и плевелы. Гипнотические, даже магические моменты присущи власти как таковой; без них она перестает быть властью. Образная составляющая политической жизни, ныне получившая новое развитие, усиливает эти моменты, что само по себе еще ни хорошо, ни плохо. «Демон физиогномики и телесности» (если употребить слово «демон» в нейтральном смысле греческого «даймон» — «творческая сила»)

может быть задействован — в определенных границах — ради достижения каких-то благих целей. И в этом нет посягательства на принцип свободы. Известно, что всякое внушение сталкивается с сопротивлением внушаемого, и что (или кто) окажется сильнее, зависит в конечном счете от самого внушаемого. Вышеславцев считал, что всякое внушение по сути своей есть самовнушение: подсознание принимает в себя только тот образ, который оно само готово, само хочет принять.

В то же время новое развитие образной компоненты политической жизни увеличивает неопределенность в том, что касается будущего либеральной демократии. И в этом плане миф призван сообщить ей большую устойчивость (подобно тому, как это делают, со своей стороны, законы), ибо он представляет собою образную систему, существенно уменьшающую разброс вкусов и суждений, имеющих эстетическую окраску. Тем не менее какой-то элемент неопределенности все равно останется. В самом своем существе либеральная демократия — до некоторой степени «рискованная» структура (я сейчас говорю об идеальной структуре, которая в реальности всегда бывает еще и чем-то замутнена). Она все отдает на суд людям, и это правильно, потому что более высокой инстанции на земле не существует; как говорил Герцен, «патентов на понимание» нет ни у кого. С другой стороны, есть «мудрецы и поэты, хранители тайны и веры», и — ступенькой ниже — просто носители разума и вкуса, способные гораздо лучше других постигать объективное состояние вещей; они могут и должны претендовать на водительство человеческих масс, но в то же время не могут или, во всяком случае, не должны никому навязывать свои взгляды — ибо сами не безгрешны. Паче того, хотя истина — одна на всех, мудрецы и поэты могут расходиться в суждениях о том, что есть истина, и вынуждены отдавать себя на суд тем же людям. И здесь уже приходится полагаться на Божью волю. Ибо нет никакого абсолютного выхода из указанного выше противоречия, а есть только относительные выходы. Как нет вообще ничего абсолютного, окончательного в этом мире.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

«ГОЛЫЙ ГОД» БОРИСА ПИЛЬНЯКА

Из «Литературной коллекции»

После моих 70 лет найдя, наконец, первый досуг от сбора материала для «Красного Колеса», я стал перечитывать некоторых писателей или отдельные произведения русской литературы XIX и XX веков. И вскоре испытал потребность записывать свои обновившиеся впечатления. Я делал это — для себя, без мысли о печати. Но видя, вот, как ныне выглаживается память о многих примечательных наших книгах, — я склонился напечатать иные из этих заметок, однако уже ничего не меняя в них.

Заметки эти — вовсе не критические рецензии в принятом смысле, служащие оценке произведения в потребность современному читателю. Каждый такой очерк — это моя попытка войти в душевное соприкосновение с избранным автором, попытаться проникнуть в его замысел, как если б тот предстоял мне самому, — и в мысленной беседе с ним угадать, что он мог ощущать в работе, и оценить, насколько он свою задачу выполнил. (А ещё: зорко замечаю лексику автора и в заключение обычно привожу два-три десятка слов и выражений, которыми он в этой книге отчётливо расширил наш скудеющий языковой поток.)

Сейчас я предложил редакции «Нового мира» несколько таких очерков. (В дальнейшем, очевидно: о Тынянове, Пантелеймоне Романове, Замятине, Шмелёве, Марке Алданове, Глебе Успенском, Андрее Белом.)

ГОЛЫЙ ГОД. Почему так названо? Вначале думаешь: год — голодный? год — нищий для страны? Оказывается, нет: голый — как обнажение человеческих инстинктов (а затем — и тел).

Но и даже это нарушено композицией: в этот описываемый 1919 год — на $\frac{2}{5}$ объёма повести вдвинуто разоблачение старого дворянского быта и вообще старой России (Вступление, гл. 1 и 2). В книге, написанной с задачей предельной новизны — и наблюдений, содержания и художественных приёмов, — как же можно было так поддаться этой настрявшей, надоевшей старизне «освободительной идеологии»? Ничего не поделаешь, время — клонит головы авторов, очень не каждый устаивает против этого нагнутия. Слишком затянута это присловье: разоблачение бар и традиционного российского быта.

Это — уже разваливает композицию. А потом оказывается, что автор и не задаётся ею, единой. Общего сюжета почти нет, только пунктиром, а — чередуются отдельные яркие эпизоды, соединённые повторами, повторами фраз и даже фрагментов, музыкой этих повторов и картинками природы (тоже сплошь повторными, нарочито). Такая отдельность глав и подглавок, как если б и вообще не задумано единого повествования. (Замятин писал: повести Пильняка можно разрезать на куски как дождевого червя, и каждый кусок ползёт своей дорогой.)

Но несмотря на эту фрагментарность, несплошность повествования — оно сохраняет несомненную ёмкость смысла и значительное богатство содержания, так что — эксперимент несомненно удачный. (Ахнешь: и как же за 20 лет

наша проза ушла от Чехова!.. — но ведь поправимо же?) Пильняку казалось, что описать *этого* и нельзя иначе? Написал он — уже в 1920, по свежему следу (ещё и не миновавшей) эпохи — живые впечатления. А всего-то — в свои 26 лет, хорошо.

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬСТВО СТАРОГО.

Ордынин-город — вполне зубоскальное (интеллигентски традиционное) изображение дореволюционной российской провинции — паноптикум уродств. Насмешливое обобщение её ещё со времён Николая I, повторение всяческих басен, даже и архитектура — «холуйская». (Впрочем, разок мелькает и «красота пятивековых церквей».) Неустанное перебалтывание прошлого — конечно, развратного, конечно, предельно уродливого: усвоен разоблачительный заказ эпохи (и тем сразу создаётся пьедестал для революционеров и большевиков). А война 1914 года? — «собирали людей, учили их ремеслу убивать», и — всё о ней. (О гражданской войне — такого, конечно, не вымолвить, особенно с красной стороны.)

У князей Ордыниных тот прежний разоблачённый быт — как будто продолжается и после революции: ни дом не отобран? ни добро? Впрочем, добро старинного рода «грабленное, должно быть?», да и сегодня: гниющая одежда в сырой кладовой. Соответственно тому и семейка: княгиня — насквозь сатирично подана, она и нелепа, и неграмотна, и скрупулёзно скупа, от неё — «смрадный запах нечистого жирного человеческого тела», говорит басом, и ещё раз: из её спальни «пахнет несвежим человеческим телом». И на самом доме — «каинова печать», и внутри дом тёмн и переполнен нелепой, громоздкой, ненужной мебелью. А князь ещё и днём создаёт себе ночь, закрывает гардины — и аскетически изматывает себя за прошлые грехи и преступления; и всё это — в полубезумном экстазе. — При том группируются три сына — увы, эта группа очень отдаёт тремя братьями Карамазовыми, например — бунт Бориса против родителей и вообще против всего, сцена с отцом — прямо из Достоевского. Только всё это выламывание и самообзоры душ, извержение сентенций и поиски святой истины (Глеб, — «Борис и Глеб» — неслучайный подбор имён) и юродивость (Егор, ему с чего-то хочется играть на рояле «Интернационал» — и тут же прямая сноска на Верховенского) — как-то уже не впечатляют на фоне размахнувшейся революции. Да в них и нет морального поиска, они нанизаны всё для той же цели разоблачения старого. И в довершение — наследственный сифилис в семье, и Борис — конечно же, товарищ прокурора — кончается с собой. Три брата — яркие (хотя и дерзко так строить после Достоевского), но затем ещё и несколько маловыразительных сестёр — это уже занудно: одна — морфинистка, истеричка, прожжённая жизнь, другая (Наталья) гордо уходит в революцию: «Дом [родительский] всё равно умрёт, он умер. А я должна жить и работать» — и сходится с красным расстрельщиком Архипом (неясно, куда дела прежде имевшегося ребёнка). «Я слишком много училась, чтобы быть самкой романтического самца». И до чего же это всё не ново...

Так — семья расправляется сама с собой (непонятно, почему большевики за два года никого из них не арестовали?).

Ещё отдельно от семьи — брат князя Кирилл Ордынин, бывший кавалергард, теперь архиепископ, он же именуется «попик» (можно думать: этот сюжет перехвачен от Пильняка Ильфом-Петровым). Почему-то не изгнанный большевиками из монастырской кельи, всё пишет летопись — и ниспровергательно трактует революцию. А сам он рисуется так: «Лицо попаика просалено замшей, в серых волосиках, глазки смотрят из бороды хитро и остро, из бороды торчит единственный пожелтевший клык, и голый череп как крышка у гроба... Хитренький...»

РЕВОЛЮЦИЯ воспринимается автором романтически-захваченно, безоглядно захваченно. «Не майская ли гроза революция наша? не мартовские ли воды, снесшие коросту двух столетий?» И, разрываясь в выборе наиболее подходящего образа: «Революция пришла белыми мятелями и майскими грозами». — «В России сейчас сказка. Революцию творит народ; революция началась как сказ-

ка. Разве не сказочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города?» (чех Баудек). — Ну, конечно: революция — «творчество всегда разрушает». Это — «народный просёлочный Бунт»; и будто не со столицей началась революция, а «на окраинах разгоралось новое холодное багряное возрождение» — и опять же: мотив о гибели старого мира. Эту теорию, кроме самого автора, наиболее настойчиво повторяет архиепископ Сильвестр: «Леший за дело взялся, крепкий, работающий. Кожаные куртки. С топорами. С дубинами. Мужик». — И иконописный Глеб Ордынин, сам рисующий Богоматерь, вторит дяде: «Сейчас же после первых дней революции Россия бытом, нравом, городами — пошла в семнадцатый век». «В России не было радости, а теперь она есть». «Бунт народный — к власти пришли и свою правду творят — подлинно русские подлинно русскую. И это благо!» И с сожалением: «Интеллигенция русская не пошла за Октябрём». И антипод его, брат, гневный Борис, в укор отцу: «А над землёй, пока вы спасаетесь, люди справедливость свою строят, без бога, бога к чертям свинячим послали, старую ветошку!..» «Народ рылу свою покажет, показал, — бунт!» (знахарь Егорка). А Сильвестр и дальше: «Власть свою взяли, государство строить своё начали, — выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять»; «а православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью... Мощи вскрывали — солома?.. Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет — ихи-хи-хи! — лет в двадцать, в чистую, как попы перемерут», «будет, поврали!». — И, в подтверждение, устами народными: «Нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт — и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича». «А правда и радость всё-таки восторжествуют! Не могёт как иначе». В другом месте вывод: «Народ без истории, — ибо где *история* русского народа?»

И на закончание снова от автора: «Россия. Революция. Мятель». (Образ революции-мятели, очевидно, родился у него *одновременно* с Блоком?) Через всю повесть погодные явления и текут — то перекликаясь с революционными, то и превосходя их. (В слитие с погодой — и легенды старинных мест: гора Увек.)

Итак, основная сквозная мысль о революции: она есть натуральный стихийный бунт русского народа. Но и её — так же, насквозь через повесть, перехлёстывает мысль другая, ещё более важная для автора: сама стихия народа, его земляная (и половая) сила — и гармонируют с революцией, но ещё и сильнее и вечней её. «Броситься к первой женщине, быть сильным безмерно и жестоким, и здесь, при людях, насиловать, насиловать, насиловать!» Так что революция — не социальное и историческое явление, а скорей — прорыв человеческих инстинктов. «Теперешние дни — разве не борьба инстинкта?!» — и это не просто проходная мысль, но направление всего истолкования революции, и в это толкование вливаются самые «земляные, нутряные» персонажи — знахарь Егорка, Арина (она — дочь его, потом любовница и жена) и сектанты-конокрады. «Всякая женщина — неиспитая радость». (В 1923 журнал «На посту» оценил повесть Пильняка так: оклеветал революцию, представил её как «половое помешательство».)

Ещё отдельным — и характерным, да, — проявлением революции показана нам коммуна анархистов, захватившая дворянское имение. Но, во-первых, здесь хронологический сбой: анархистов большевики разгромили в 1918, исключая пока Украину, и в 1919 году в северо-русском районе такая кучка не могла уже блаженствовать. Во-вторых, ещё от начала 1917 всякий анархистский захват какого-либо ценного здания вёл прежде всего к разграблению его — а здесь: идилично сохраняемая обстановка поместья и честный, даже надрывный труд анархистов на земле — промах автора? или сознательный скрыв для вымечтанного идеала: «Мечта о правде нищенства, о справедливости... ничего не иметь, от всего отказаться, не иметь своего белья. Пусть в России перестанут ходить поезда, — разве нет красоты в лучине, голоде, болезнях?» И — до чего же мирный уголок для лет гражданской войны — где обжиг её и «военного коммунизма»? Мобилизации в Красную армию? «Все испивали покой и радость». «Бунтовали казаки, украинцы, поляки, — и это казалось неважным» (кстати, и поляки — это уже 1920, приблизительность мазка). Да пуще того, самое серьёзное дело для себя нашли: археологические раскопки... — химера какая-то.

В других местах реальные картины жизни этого тяжкого года — есть, и немало, и к концу повести всё больше. Сперва только — «рассказни», что в каком-то дальнем лесу засели вооружённые дезертиры — да их и в любом ближнем хватало, и самим анархистам туда бы бежать. Но, признаётся: газеты из Москвы «были наполнены горечью и смятением. Не было хлеба, не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас». Впрочем, и тут рядом «в степи есть сёла, которые вымерли дотла. Мертвецов никто не хоронит, и среди мрака ночами копошатся собаки и дезертиры» (и вывод: «Русский народ!»). А простой человек: «Время теперь такое, до всего докапываются». И правда же — идут чекистские аресты в городе. — В комбеде (опять анахронизм: комбеды распушены в ноябре 1918) «собрались одни, кому терять нечего», вот эти — грабят захваченное поместье и жируют. (А предкомбеда до такой степени этим смущён, что не присваивает барские часы, а бросает их в нужник.) К концу видим и реальную жуть железнодорожной товарной теплушки, где люди в перемеси, в навале, в холоде, во вшах и в невольном бесстыдстве «едут неделями». И живейшая картина торга деревенских с городскими: мануфактура на продукты. И продотряд берёт взятки по теплушкам, и заградотряд грабит и бесчинствует. Но и притеснённый, ограбленный мужик после всех жалоб выводит: «Одначе весело, всё-таки, очень весело!..» — И так: «Мы за большевиков стоим, за советы, а вы, должно, камунесты?.. Пошла чесать... сё-таки обидно».

А белые? Да, побывали тут как-то, разрушили шахты, при них заводы остановились. Одно слово о них: «белая чума», на том внимание автора обобралось.

БОЛЬШЕВИКИ.

Отначала же они представлены нам одой: «Кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) — каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок... Из русской рыхлой корявой народности — лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, — тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и — баста!» (И, согласно ритмическим приёмам автора, это потом повторяется, почти дословно.) И за что ни возьмутся — возрождение завода? — «это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?!». И достойный представитель этой породы Архип Архипов, который на бумагах пишет «бесстрашное слово: *расстрелять*», любимому своему отцу содействует застрелиться, чтоб он не мучался от болезни, сам «с бородой как у Пугачёва», то ночами зубрит школьный учебник алгебры, экономическую географию, немецкий язык — а доходит до восстановления завода, то вместе с «инженериком» «вырабатывали калибры и допуски нормализации». — А когда подошло время ликвидировать анархистскую коммуны — то на это грязное дело приходят, конечно, не большевики, а какие-то другие революционеры, превратившиеся в бандитов. (Однако столь деликатные, что всю ночь стоят под дождём снаружи дома, пока внутри анархисты веселятся напоследок. В обеих группах — интернационалисты: картавящий Юзик, Герри, Лайтис, Бауден.)

Так легко проходит Пильняк мимо предвидений, за 40 лет до того высказанных Достоевским...

Но у конца повести — примечательно прямо о Китае: «не третий ли идёт на смену?» — то есть после исторической России с таким затхлым правящим классом и безнадежно дикой российской деревней, и после, вот, этих кожаных курток. Эту мысль, эту «неразгадку» Пильняк несёт через всю повесть, много раз подавая её лишь смутными намёками, загадочными вывертами: Китай-город, три Китай-города (в Москве, Макарёве и в Ордынине), «солдатские пуговицы вместо глаз» — но — почему? из цензурной ли осторожности? — без исходного материала: и на волос не касаясь участия китайцев на большевицкой стороне в гражданскую войну. (Влияние ли просто идеи Вл. Соловьёва?)

Этому характерно аккомпанирует резкий монолог Глеба Ордынина против Запада — его быта, нравственности, желаний и искусства. «Европейская культура — путь в тупик».

От всей повести всё же — впечатление надуманности. И проходит она и м о многого существеннейшего тех лет.

ПЕРСОНАЖИ.

Некоторые, как Донат Ратчин (из давней городской династии), — как бы и не описаны. Заявлено, что он ненавидел старое и хотел его уничтожить. Но тут же Доната и убили и — «о нём всё». Стоило начинать?

Зато есть начальник большевицкой охраны Ян Лайтис, неуклонимый в проявлении власти (но очень сентиментальный в переглядывании материнских сувениров из Лифляндии) и с коверканным русским языком. Погулявши с Оленькой Кунц, которая готовила мандаты на право обыска и ареста, он вызывал наряд солдат и шёл арестовывать обречённых. С Оленькой он все дни бок о бок в одном чекистско-советском аппарате, но их вечерняя полюбовка (при уже истасканности Оленьки) дана автором почему-то в торжественных аккордах. (В конце повести буркнуто, что совдеп решил арестовать Лайтиса — но это ничем не мотивировано и дальше не продолжено в действии.)

Кроме упомянутого уже героического Архипа ещё слегка намечены автором старый революционер Семён Иванович, который «говорит о добре сухо и зло, так же, как сухи его пальцы», затем Юзик-Юзэф («я очень люблю жизнь, товарищ Гэгги, — как ты... я не позволю тгонуть меня»), и этот товарищ Герри, канадец, стрелявший по Екатеринославу из пушек.

Довольно странная «неразгадка» (что же хотел выразить автор?) с Семёном Матвеевичем Зилотовым. Сперва узнаём его как сапожника, который как колдун варит какие-то жидкости в подвале, занят масонскими пентаграммами и вместо «ей Богу» употребляет «ей чёрту», а советскую власть называет «хамодержавием». — Позже, со значительным опозданием, уже после самоубийства Зилотова, узнаём его прошлое: великий начётчик, книголюб, но и эсер, в 1917 — солдатский депутат, «разъезжал на штабных мотоциклах с лекциями о республике, о французской коммуне», но сам внутренне — масон. Потом, контуженный снарядом, на месяц терял разум, а затем увлёкся задумкой: «Надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь», и вот «на красноармейских фуражках загорелась мистическим криком пентаграмма — она принесёт, донесёт, спасёт». По загадочному ходу мысли он задумал «во спасение России» совокупить Оленьку Кунц в качестве девственницы с Лайтисом и именно в полночь и именно в алтаре монастырской церкви. А узнав, что желаемое произошло не совсем так, — становится «как прибитый кобель», «лицо жалкое и беспомощное», потом поджжёт монастырь — и сам выкинулся насмерть из слухового окна горящего здания. — Вряд ли фигура Зилотова просто случайна, для украшения сюжета. Вероятно, как и с Китаем, у автора тут лежит одна из его идей.

Из сочувственных для автора персонажей — Андрей Волкович. Сперва поражает самообладанием: как легко направляет по ложному следу чекистов, пришедших его арестовывать. Но, когда их избег, эмоциональный взрыв его свободы уходит не в действительность, не в дальнейшее спасение, а: «Ничего не иметь, — быть нищим!.. не знать своего завтра». Встревает в анархистскую коммуну, тут — весь день чистит навоз, изнемогая от зноя; но в часы отдыха не отдыхает, а играет на рояле. Грезит о женщине, однако ни с одной ничего не выходит. (По небрежности раздачи имён Андреем же назван и брат старого Ордынина, вносится путаница — при том, что сходно и мироучствие их.)

Какой-то робкий обыватель Сергей Сергеич, который, однако, хохочет «по-богатырски» (не таким видится). Простенький трудяга Егор Собачкин, уверовавший в марксизм. И колоритнейший дед знахарь, кривой Егорка (если бы вдруг не проявил знание... Шекспира). И, тоже знахарка, порожденье его Арина со взрывом ведьмовской страсти.

От Арины надо отличить Ирину, отвергшую Волковича, примкнувшую к анархистам, потом ушедшую к конокрадам в поисках хозяина над собой. Её мироучствие: «Надо уметь задушить человека и бить женщину... Пусть вымрут все, кто не умеет бороться. Это сказала я!.. Мне тесно от свободы», «к чёрту сказки про какой-то гуманизм. К чёрту гуманизм и этику, я хочу испытать

всё, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт... Я смотрю в зеркало, — на меня глядит женщина с глазами чёрными как смута, с губами, жаждущими пить, и мои ноздри кажутся мне чуткими как паруса».

Но и от Ирины же надо как-то отличить Анну, которая проходит как полутень, «шла в белом тумане, в белом платъи», «была в ней прозрачность и трогательность», — она тоже отвергла Волковича, с мужем уже «всё изжито», а в рассуждениях её как-то сливаются и смешиваются: «пугачёвщина, Семнадцатый год, старые церкви и Андрей Рублёв», идеал же: «от всего отказаться, не иметь своего белья». Более ни в чём не замечена, и на том исчезает.

И опять же: ото всех них надо отличать Наталью — единственную спасшуюся из рода Ордыниных — по своей душевной здравости и потому, что «всею кровью своей почуяла, приняла революцию», хотя «горечь полынная — дней наших горечь», однако с тем же однообразным выводом: «надо жить — сейчас или никогда». (Оттого и трудным становится различие в этой женской череде.) «Осызала каждым уголком своего тела огромную радость, радостную муку, сладкую боль», «пила полынную — ту ведьмовскую (опять же...) скорбь». Но и при том же: «Любить нельзя — это пошлость и страдание». Однако смягчается в этом определении и сходится с усердным пугачёвцем Архиповым.

НОВИЗНЫ И ПРИЁМЫ.

Кажется, приступая к повести, Пильняк поставил себе сверхзадачу: во что бы то ни стало писать всё — по-новому. Да ведь то было время непререкаемых экспериментов! — нельзя писать без них?

Отметнейший приём здесь — повторы: повторы отдельных фраз (в точности или с небольшими вариациями), эпитетов, а иногда и целых эпизодов, целых абзацев из нескольких фраз. Иногда в повтор включается инверсия: «Приходил час военного положения. И когда он пришёл, — военного положения час...» Повторы же используются и для внедрения в читателя какой-либо особо важной мысли (как — предупреждения о Китае, о Китае). А уже «горько пахнет полыньёю» — это через всю повесть десятки раз.

Возникает мысль: взял ли Пильняк этот повтор из себя, как экспериментальную находку, — или это навеяно ему повторами былинными? Предполагаю — второе, так как от былин-то и веет интенсивное вторжение картин природы, и тоже всё с повторами, повторами. И в повторах этих преследуется и несомненно достигается музыкальная ритмичность. Если такая догадка верна, то пильняковская новизна — не фокус, не беспредметность, но укоренена в фольклоре. С этим приёмом соседствуют и накат легенд, и подчёркиваемая древность горы Увек, и прямые куски фольклора (заговор великолепный).

Затем, если это можно назвать приёмом: часто нарочитая смутность изложения, загадочность письма, стремление остаться непонятым или не вполне понятым. (Для того — то отрывистые, малосвязанные мысли, то действие сплошного эпизода даётся как бы пунктиром: пропускаются некоторые элементы, о которых надо догадываться.) В этом — есть несомненное поэтическое очарование. «Сегодня ночь и ещё через миллион лет будет ночь» (замытинская интонация?). «О, книги! Ужели избудет яд ваш и сладости ваши?»

Третий приём, если переходить уже к более техническим. Свои порою весьма длинные фразы, перегруженные ответвлениями (иногда и без этой причины), Пильняк разрывает графически — новой строкой (обычно ещё с добавкою тире, и даже не одного) и глубоким сбросом промежуточной части фразы в виде отдельного абзаца. Например:

«Вот рассказ —

Первое умирание —

— Впрочем, разве в революцию умерло мёртвое? Это было в первые дни революции. Вот рассказ.

Или: «все стали ходить по кругу — —

— Этих глав писание — обывательское!»

(А — зачем так? остаётся непонятым. Это уже переигрыш.) Даже если в длинную-длинную фразу вставляется скобка и, стало быть, эта часть фразы уже выделена, — Пильняк без надобности может выделить её ещё двумя про-

светами и глубоко откинутым абзацем. Это — излишность. Такой сбой обреза текста иногда применяется также и при смене мысли для вставки отдельного фрагмента (например, об Арине-знахарке), или даже, для особой выразительности:

и —

и —

радость безмерная, свобода! —

уже почти стиховой приём.

Сложно рассчитанные взрывы: внезапно сбить поток фраз, абзацев — чем-нибудь режущим. Бывают перепрыги с помощью одних тире, иногда разрывом смысла, иногда — нарушением грамматического согласования. То вплотную рядом ставятся двоеточие и тире. То слово пускается вразрядку для лучшего втолакивания смысла.

К такому перерыву смысла можно отнести и — прибавление к уже оконченной главе, при очень условной ассоциации, большого отрывка из сектантского текста против Креста и Евангелия. Столь же ни к чему пристёгнутая цитата из книги Зилотова.

И затем — ещё много других приёмов, менее значительных, и не всегда с понятной целью. Например: вся подглавка идёт ясно от Андрея, но в конце её, да ещё сбоем обреза, зачем-то добавлено пояснение: «Это — глазами Андрея, поэзия Андрея». И с Натальей — точно так. Или подглавка уже сверху названа, да вразрядку «Глазами Ирины», но тут же и пояснительная сноска пети́том: «Это маленькая поэзия Ирины, её глазами». — Или при частях «триптиха» (весьма шаткого соединения трёх разных тем) пояснения в скобках же: часть «самая тёмная», «самая светлая», «материал в сущности».

Счесть ли нарочитым приёмом опоздалое разъяснение о биографии Зилотова — уже после его смерти? Или (для усиления загадочности?) стык, в *одном* абзаце, по поводу пожара: «— Дон! дон! дон! — бьют колокола, и окна в домах раскрыты. На огороде Зилотова созревают помидоры».

И другие вызывающие стыки в этом роде: «Века сохранили за ним [холмом] своё имя. *И* шёл июль». «Хотели следить за теми сектантами. *И* горько пахло полыньёю» (оба примера сгружены на одну страницу) — снова имитация былинности?

Или — обещания вперёд, о чём-то ещё будет сказано. (Впрочем, это — приём весьма старой беллетристики.) Или — подряд два тире (как бывает в иностранных языках вместо многоточия). Иногда многословные перечисления. (Впрочем, тоже не новинка?) Или такие: «Юзик промолчал: — Товарищ Андрей не понимает английский, — сказал Юзик».

Всё это — форма ради формы?

А то, срываясь: описав обобщённо неназванного персонажа — вдруг лобово вставить от автора: «Вопрос один, — по-достоевски, — вопросик: — тот дежурный с разезда (или тот чахоточный, сгорающий в теплушке) — не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным?» Такой намёк, верней, такое обобщение, надо бы дать потоньше. Да и срывается этим описание безликой массы.

Отнести ли к приёмам — примечания от автора: то окончание оборванно-го в тексте стиха? то совсем избыточное пояснение?

Ещё об эпитафиях. Из «Бытия разумного» что-то слишком невразумительно-глубокомысленно, из Блока — поверхностно проходное. А вот к гл. 4 «Кому таторы, а кому лядоры» (коммутаторы, аккумуляторы), мол, и при советской власти равенства нет, — блистательно. (Мне досталось заглянуть в эту книгу ещё ребёнком, как раз на этом месте, — я поразился.) Но вся игра эпитафия почти не связана с содержанием главы.

Так, наряду с несомненными находками и оживлениями формы, перемежаются эксперименты, не служащие усилению воздействия.

ОБРАЗНОСТЬ.

В духе всего отмеченного — разумеется, Пильняк щедр на образы, и они естественны в ткани повести и часто свежи.

«Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали волосы». «Глаза хозяина уросли в бороду», «с бородою от глаз». — «Шляпы как глиня-

ный таз» у мордвы. В деревенской избе «полдюжины ржанных ребят, в углу свинья, в красном углу... генерал и царская фамилия»; «поблескивали глаза красными отсветами лучинного красного света» — и это тоже повторяется. «Беззубо стоят книжные полки без книг» в помещицьем доме («кои давно уже вывезены в совет»). Теплушечный поезд — «томительный и грязный как свинья». «Перо держал топором» (большевицкий активист). Борис от упадочно-нервного состояния — в июне «прижимается к мёртвому печному холоду», к нетопленной кафельной печи. «Камин горел палево». «Мысли толпятся как пёстрые бабы на базаре».

Но в подавляющем числе образы обращены не к наружности или психологии персонажей, а — к природе, что и связано живо со всей музыкальностью повести. «Белая конница облаков». «Небо умирало огненными развалинами облаков», эти «огненные развалины меркли, точно угли, покрывались пеплом». При зное «сухо блестели потускневшим серебром — трава, дали, воздух»; «дрожали дали мелкой знойной дрожью»; «дни походили на солдатку в сарафане в тридцать лет» — и этот образ потом несколько раз настойчиво повторяется в соответствии с эротическим подслоем повести.

Поначалу кажутся очень хороши описания зноя. Вот еще: «Улицы, церкви, дома, мостовые: плавилась в воздухе и трепетали едва приметно в расплавленном иссиня-золотом воздухе» (только зачем поставлено двоеточие?). Но очень скоро этот зной становится слишком повторителен и избыточен — да ещё ведь для явно северной местности, — «зной знойных июлей» якобы от года к году, — да в той местности бывали ж июли и другие? Навязчиво о зноях и зноях, как будто действие в Африке. Уже и «звёзды старого серебра, испепелённые зноем». (Впрочем же: былина и требует повторов.) Со звёздами и луной Пильняк вообще сильно произволен: «платиновые июньские звёзды» и «серебряные июльские» — ну, уж так ли? — И в эти устойчиво знойные, неотступно знойные дни — луна поднималась, «укутывая мир влажными бархатами и атласами», — и с такой же повторностью нагнетаются ночные «мути и туманы», ни одного вечера и утра без них. (Автор отдался своей задуманной ритмике и подчинён ей.) «В мучке рассвета мутные блики ложатся на пол и потолок» — вполне бы единичный образ? Нет, все кряду рассветы, сумерки и ночи: ночами непременно «ползут туманы», «серые туманы», «серая муть». Тут уж и «лампады мутные», и «мутно горела свеча», и «мутно мутнеет жидкость». — Произвол с природой всё решительней: «ночи майские глубоки» — это короткие-то? «а рассветы майские багряны как кровь» (все майские? и только майские?). Сперва, в зной, потекли «жёлтые сумерки», чуть не каждый день и даже до изнурения, потом чередуются с «зелёными сумерками», «зелёным сумраком», и даже всю ночь «болотно зелёные сумерки». (Уж, конечно, обыграны и игры Ивановой ночи, кто только её не обыгрывал, а тут-то она к ладу.) И именно почему-то в июне отмечены «хрустальные и хрупкие июньские восходы». Отсебятно. (В августе для декорации нагнано и две-три грозы в одну ночь.)

Но к осени — своё, и сильно. «Серая наша тоскливая осень, застрявшая в туманных полях, жёлтых суходолах». «Ветер шелестит чёрство и холодно», «взмахи ветра», «свинцовый ветер», «из чёрной щели между небом и степью — дует зимний ветер», «стеклянная маленькая луна», «сизый заморозок», «облака к рассвету должны рассыпаться снегом». И выпал снег, растаял — «и опять осень. Идёт дождь, плачет земля, обдуваемая холодным ветром, закутанная мокрым небом. Серыми ключьями лежит снег. Серой фатой стала изморозь». (Но — и не без неудач: «день посерел как старуха», «сумерки в осень закрывают золотую землю как вьюшка печную трубу» — рационально правильно, а образ не составляется.)

Переход к зиме дан в былинном духе — как шествие Добрыни-Златопояса-Никитича: «Латы его — как воронёная сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и всё же чёрствая, чёткая, гулкая первыми льдинками, блестящая звёздами спаек», «звенят застёжками льдинок, белеют плесенью последних туманов». Потом Добрыня «разметал по небесному льду белые звёзды, в безмолвии полегла уставшая земля»; после вторых петухов «меркнувшей свечой светил над крышей месяц, земля посоллилась инеем... деревья стояли как кос-

тяные...». Хорошо же! (И простодушно добавляет натуральную сцену, как девка вышла из овина по нужде.) Ещё есть хороший пейзаж — «волчьи святки, волчья свадьба» в лунном лесу. — А дальше начинается нагнетание мятелей, мятелей, ибо они же — символ революции. Однако: «мятельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат... падают дохлые, за ними ещё мчатся стервы, не убывают... а лес стоит, как Илья-Муромец».

И это — последние слова повести. Достойный конец — и в той же былинной мелодии. (И крестьянская свадьба тут — тоже торжество традиции над Голым годом. И корова рождает — победа бытовой жизни. Всё же длинновато цитирование свадебной песни.)

ЯЗЫК.

Крестьянская речь — не утрирована и всюду хороша. (Например — торг с киржаками.) Но есть сатирический перебор в солдатских записках лектору. А вот из языка большевических активистов — «энегрично фукцировать» — вошло в те годы почти в нарицательное употребление, помню.

Пильняк изыскивает наборы звуко сочетаний то для передачи мятели-революции «гвиуу, гвиуу! шооя, шоооя, гаау, хмуу» — трудно оценить, а вот с переходом на советский акцент — хорошо: «Леший барабанит: — гла-вбум! гла-вбуум! А ведьмы задом-передом подмахивают: — кварт-хоз! кварт-хоз! Леший ярится: — нач-эвак! нач-эвак! (Может быть по рассеянности Пильняк повторяет в другом месте этот звук как звук гидравлического пресса: нач-эвак! — и это очень метко.) — Для передачи чувств в набитой людьми избе: «Ууу. Ааа. Ооо. Иии»?

Непонятно, к чему коверканье (не в народной речи) глагольных форм: «в городе исчезнул хлеб, потухнул свет», «погибнуло» поместье. И сознательно ли или по ошибке употреблена неверная форма (несколько раз!) «солнце зноет» вместо «знойт»? И хорошо ли: «долго идёт молчание», «над миром идёт июнь»?

Инверсий в общем не так много (в 20-е годы ими очень увлекались), но и встречаются не редко. Бывают от них и утяжеления.

Удивляет, что уже тогда было выражение: «без дураков».

Чрезмерная игра фамилиями: Бламанжев, Череп-Черепас.

А русский язык Пильняк чувствует отзывчиво и основательно:

чай пьют с пятерён
дома величавы своим старобытьем
сапоги забóцали (но слишком часто повторяет
так)

улицы обулыжены
звездападные ночи
своим обыком
июлевы ночи
солнцевые лучики
извещёванный (вымененный на вещи)
волчье прибылье
прибылье волки
прибаутошники
во рже
дать тёку
шаманиться
солнцепутье
мутьянить
вертепéжины

в за́полдни
нёмотно
буйничать
тоскóванное
сúвoдь
солнстой
быльё (после трав)
óзарь
знóбы — мн. ч.
ча́дно
немоготá
домекнуть
ворожейный
облютиться
зверо́ядина
окупываться
возжítь (возобновить жизнь)
закрóй (горизонт)
лёг первопуток



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЕКАТЕРИНА КРАШЕНИННИКОВА

*

КРУПИЦЫ О ПАСТЕРНАКЕ

...**К**ак говорил Борис Леонидович, наша дружба возникла «по судьбе», из-за сходных переживаний веры в детстве, рассказом о которых мы случайно обменялись в сорок первом году.

2 августа 1941 года я пришла к Борису Александровичу Садовскому — помочь с заготовкой дров: как известно, он ютился в сыром подвале. Обрадовавшись моему приходу, он рассказал, какое тяжелое впечатление произвел на него недавний визит к нему Марины Цветаевой: «Она в плохом состоянии, вся извелась от неопределенности положения. Пастернак помог ей с работой, но ей трудно воспринимать обычную жизнь».

В эту пору я буквально бредила «Тезеем» Цветаевой, которого прочла до этого за два года¹.

...Ночевать в тот день я отправилась в Пушкино к Ольге Николаевне Сетницкой¹; Москву бомбили. На столе у нас были разложены материалы о поэзии Пастернака, его «Повесть», «Спекторский», книги стихотворений: мы заканчивали статью о нем — с точки зрения собственной философии². Его поэзия захватила нас на его поэтических вечерах в университете в предвоенные годы.

В пастернаковской «Повести» изображен необыкновенный роман, пылкая любовь совершенно изменяет каждого из его участников. Известно, что прототипом героини «Спекторского» была Цветаева, и мне пришло в голову, не имеет ли она отношения и к героине «Повести». К самой же Цветаевой у меня было особое отношение. В «Тезее» она изобразила любовь, вслед за платоновским «Пиром» разделив ее на земную и небесную Афродиту. Что показалось нам оправданным, так как в это время мы как раз изучали статью Владимира Соловьева «Смысл любви», и нам мерещилась переключка Цветаевой с Соловьевым.

Под впечатлением рассказа Садовского мы решили разыскать Марину Ивановну, предложить, взвесив несколько вариантов, свою помощь и, если удастся, высказать ей свои размышления. Быть может, за разговором о пастернаковской «Повести», о Владимире Соловьеве она на минуту отвлечется от безнадежности... За адресом отправились в Лаврушинский к Пастернаку.

Позвонили, дверь открыл сам поэт. Он по очереди нас рассматривал и, стоя в дверях, писал адрес. Выразительные глаза, в речи — манера тянуть гласные и трюить «да-да-да», «нет-нет-нет». Поблагодарив, мы простились.

А когда на другой день позвонили Цветаевой, нам ответили, что как раз вчера в четыре часа она уехала в эвакуацию. Надо ли говорить, как мы были расстроены!

Огорченные, мы решили, не откладывая дела в долгий ящик, отправиться к Борису Леонидовичу с нашей работой о его творчестве. Мало того, мы тогда много занимались философией Федорова, у нас был том его «Философии общего дела», и мы решили дать его Пастернаку — это была редкость и вдруг Пастернак его не читал?

Крашенинникова Екатерина Александровна родилась в Москве в 1918 году. Библиограф. В настоящее время проживает в Подмосковье.

¹ Первоначальное название трагедии «Ариадна» (1924). (Примеч. ред.)

На этот раз мы встретились в Переделкине. Дали статью и Федорова, напомнив, что его отец рисовал этого колоритного мыслителя.

Через два дня падчерица Вс. Иванова, пастернаковского соседа по даче, наша сокурница Таня, увидев нас около университета, подхватила нас, так как была на машине, и повезла в Переделкино, сообщая, что Пастернак всем рассказывает о нашей статье.

Накрапывал дождь, Пастернак вышел к нам какой-то поникший, разговор был недолог. Дождь разошелся. Ночевать мы остались у Ивановых.

Встреча на другое утро в его мокром от дождя саду определила наши отношения на всю жизнь — вплоть до его смерти. В письме от 16 августа 1956 года свое отношение ко мне он определил так:

«Я всегда любил Вас именно так, как это хорошо и нужно (и как Вы, может быть, этого хотите). Я обладал способностью воспринимать и хранить в памяти Вашу чистоту и одаренность, как вода и зеркало отвечают предметам их верными отражениями. Называя Вашу чистоту, я имею в виду высшую ценность живого существования, — Вашу предельную существенность и освобожденность от всего лишнего, второстепенного, праздного. Вашу деятельную, движущуюся всегда вдаль, направленную всегда к плодотворности и к добру устремленную природу».

Мы уселись на полуразрушенных ступеньках не то баньки, не то погребка и разговорились.

Я сразу поделилась своей печалью по поводу сорвавшегося свидания с Мариной Ивановной. Он подхватил: «Да-да-да, и у меня такое чувство, что я опоздал. После вашего визита хотел к ней ехать, но не собрался».

Я рассказываю ему о цели нашего посещения Марины Ивановны, подробно о Тезее и двух Афродитах, о Соловьеве, о нашей надежде отвлечь ее от горьких мыслей. Эту статью Соловьева он не помнил, а вот обращение Марины Ивановны к «Пиру» Платона ему понятно. Для него самого «Пир» был заветным произведением, он даже написал доклад «Символизм и бессмертие»³.

«Нельзя ли его почитать?» — заинтересованно спрашиваю я. «Что вы, все пропало». — «У вас, наверное, интерес к этим вопросам научный, а у меня — жизненный. Я хотела бы, чтобы моя жизнь была под водительством Афродиты Небесной. — И, видя его недоумение, поясняю: — В настоящее время в нашей церкви бытуют две формы духовной жизни, кроме общепринятых форм. Одна — тайный постриг. Обычные люди, работают, занимаются даже открытиями в науке, и вдруг на похоронах выясняется, что у них другое — монашеское — имя. Оказывается, они тайно постриглись и исполняли обеты монашества и молитвенные труды в обычной жизни. Об их постриге они никому не говорили. Это их тайна. Зато благодать монашеская укрепляла их жизнь. И только после их смерти узнают об их подвиге, а иногда и не узнают».

Вторая форма — обручничество. Живут супруги славные, отзывчивые, только детей у них нет. А они состоят в обручничестве. Это тоже тайна, даже после их смерти это часто остается неизвестным, так как они скрывают свой подвиг. И все-таки что-то просачивается, я сама знала людей в таком браке. Он возможен только при наличии общей горячей любви ко Христу. Он их и связывает. Труднейший, но счастливый путь».

Борис Леонидович ничего об этом не знал, чувствовалось, что он удивлен. «Все-таки это что-то специфическое и вряд ли может найти широкое распространение». — «Конечно, специфическое, — согласилась я, — так как только из-за пламенной любви ко Христу, вслед за ней приходит восхищение другим человеком как «Другом Жениха». Вообще же все дело в вере». — «Да, но откуда взять веру?» — «Она дана свободы, — ответила я. — Например, мы с братом, который сейчас на фронте, в пять-шесть лет сами прочли Евангелие и полюбили Христа. Удивлялись на взрослых, которые чтут Христа только языком. Исключением являлся преп. Серафим, о котором мы знали, так как он исцелил моего умирающего старшего брата. Постарше — я в десять лет, брат в девять — мы попали на вечернюю службу в собор в соседнем городе. Служба, особенно пение нас поразили. С тех пор мы старались не пропускать литургию; даже перед занятиями в университете я бывала на литургии в Брюсовском переулке. Понятно, что мы полагали, что вся наша жизнь, в том числе и

личная, находится под охраной Христа и беспокоиться нам нечего. Будет так, как надо», — несколько неуверенно закончила я, увидев, что Борис Леонидович сидит опустив голову. «Нет-нет-нет, не смущайтесь, — встрепенулся он. — Если бы вы знали, как вы меня взволновали, сейчас я объясню, в чем дело, спасибо за откровенность.

Видите ли, я тоже в пять лет полюбил Христа по рассказам няни, но я был не крещен. Решили, что она потихоньку от моих родителей отведет меня в церковь и окрестит, так как они могут не разрешить. А дальше — что Бог даст, может быть, и они станут христианами.

Сразу же после крещения я причащался, и моему восторгу не было конца. Как и у вас с братом...

Каждое слово богослужения казалось мне непревзойденным, из-за формы: смысл и слово совпадали; я как губка все впитывал. Няня считала, что это Ангел Хранитель помогает мне все запоминать. Я и сейчас все прекрасно помню». И он прочел молитвы перед причастием очень выразительно.

...Позднее, через тринадцать лет, об этой способности помнить наизусть церковную службу он написал мне в письме от 3 августа 1954 года:

«...«Великий Четверг» оставляю у себя и считаю Вашим подарком. Как в этом сосредоточении и собрании заученное наизусть и знакомое и неизвестное и новое соединяется воедино и парит и существует в небе, на земле, в пространстве, в вечности, в тысячелетиях и только основаниями, как бы кончиками ног, касается страниц книги, скользит по ним. Как окрыленно, гениально и бессмертно слово св. Дмитрия Ростовского о причащении...»

И в следующем письме, от 4 сентября 1956 года, писал:

«...забыл поблагодарить Вас за Успенскую книжечку. Многого там знаю наизусть. Между прочим, выкинул из романа, как места, которые могут показаться кошунственными, рассуждения Симы о постах...»

Зелень сада блестела на солнце.

Мы продолжали наш разговор. Окружающая атмосфера была особенная — и радостная, и прозрачная. Я была так растрогана, что решила поведать Пастернаку взволновавшую меня историю.

Я рассказала ему, что еще в 1937 году «открыла» для себя музей Скрябина. Среди воспоминаний о Скрябине, находящихся в музее, мне попались воспоминания о нем его друга Монигетти Ольги Ивановны — о последней неделе жизни Скрябина⁴. Он заболел. Болезнь была как будто не очень страшная — фурункул на губе. Ольга Ивановна немедленно написала своему духовному отцу — Георгию Косову из Спаса-Чекряков, прося его молитв о рабе Божием, болящем Александре. Не успела она еще отправить письмо, как сама получила письмо от отца Георгия, в котором он писал, что он молился о болящем Александре, но по воле Божией тот умрет. Действительно, Скрябин вскоре скончался.

Меня эти воспоминания поразили, потому что отец Георгий был моим крестным отцом. К нему ездили мои родители сразу после женитьбы в 1913 году. Через пять лет он стал моим крестным. Сам батюшка был духовным сыном преподобного Амвросия Оптинского. Начало священства отца Георгия было нелегким. Он получил отдаленный бедный, малолюдный приход. Но очень быстро состояние прихода улучшилось: батюшка стал известен как прозорливец и исцелитель. К отцу Георгию начал стекаться народ не только из окрестных деревень, но и из далеких губерний, включая Москву. На пожертвования приезжающих он организовал при церкви приют для сирот. И вот в скрябинском музее я узнаю, что — через отца Георгия — моя жизнь отдаленно пересекается с жизнью Скрябина...

Помню, в ответ Пастернак говорил, что после юношеского обожествления композитора он к Скрябину охладел. И совсем не приемлет последний период его творчества, включая «Прометея».

Наконец я отправилась на станцию. Пастернак махал мне вслед рукой.

До его отъезда в эвакуацию в октябре мы часто встречались. Много говорили об античности, восхищались Гераклитом, видевшим творение мира, огонь Логоса, творящего мир, до воплощения Христа. И если Моисей боялся ослепнуть, лицезрея Бога, то Гераклит увидел лицом к лицу и — не умер, знает, был в каком-то творческом ритме, родственном Богу.

Борис Леонидович кивал, улыбался: «Очевидно, так».

Накануне дня эвакуации у нас состоялся долгий разговор.

Говорил он примерно следующее: «Самое существенное во мне, что во всех событиях жизни и во всех ее деталях я всегда исходил из восчувствия третьей, нематериальной, воли, независимой от меня и от окружающего мира. Она-то и является инициатором творчества как такового. Если ее не почувствовать, то нельзя будет узнать и изобразить действительную правду, нельзя войти в живой смысл происходящего».

Эта настроенность может казаться безволием на поверхностный взгляд, — продолжал он, — во всяком случае, Зина, моя жена, не раз упрекала меня в этом».

Я энергично протестовала против такого вывода. Но как объяснить «отстраненность художника в процессе творчества, которая многим не нравится, — спрашиваю я, напомнив ему: — И отчуждением обращенный в дуб, чужой, как мельник пушкинский, — художник». Он с горечью объяснял, что пока не нашел путей быть в творчестве не грабителем. «Хотя какое-то время ты и действуешь как «индивид», чуждый интересам данного момента и окружающих людей, зато потом, через некоторое время, ты приходишь с полными руками сокровищ для всех, и чувство вины за предыдущую обособленность исчезает».

Я радовалась, что все понимаю, о чем он говорит, и принимала его слова как данность.

Попрощались мы — в соответствии с обстановкой — даже немножко торжественно: немцы подступали и было неизвестно, увидимся ли мы еще.

Потянулась страшная зима сорок первого года. Я работала у Скифосовского и возила раненых с вокзалов в госпитали. Необработанных, прямо с поля боя. Я исхудала и почти не спала.

Немцев отогнали, и в университете начались занятия. Главная часть университета была в эвакуации. Я была назначена начальником пожарной охраны истфака.

Однажды на запыленной полочке истфакского ящика для писем я обнаружила конверт на мое имя с письмом Бориса Леонидовича. Он писал как-то совершенно необыкновенно про обстановку, что очень беспокоится обо мне. Посылает письмо по фантастическому адресу, который сам изобрел. Вспоминает наши разговоры, много пишет.

Я несказанно обрадовалась его весточке, так как была одинока и очень тосковала по брату, который находился на фронте. Скорбь и скорбь.

Борис Леонидович не обманул надежд, оказался настоящим другом, помнящим и сочувствующим.

Летом 1942 года я буквально чудом получила от Бориса Леонидовича его перевод «Ромео и Джульетты», привезенный из Чистополя режиссером В. Плучеком. Плучек в университете меня не нашел, но мы совершенно случайно столкнулись, столь же случайно познакомились, и Плучек с удивленным торжеством вручил мне книгу.

Вместе с книжкой Борис Леонидович послал мне живой, дружественный привет, источником которого была присущая ему чуткая доброта: он чувствовал, что я нуждаюсь в поддержке, и послал Шекспира.

...Когда он вернулся в Москву, мы сразу же повидались, а через некоторое время подвели итог нашим общим раздумьям о Федорове. Борис Леонидович даже нарисовал на пыльном стекле двери в Лаврушинском переулке графическую схему проекта. Вывод он сделал такой: воскрешение может и будет осуществляться, но только в очень отдаленном будущем, когда будут условия для построения проективной истории как метода этого осуществления. Сам «метод» Борис Леонидович расширил и конкретизировал исходя из своего творческого опыта. «Сейчас же, — постарался он объяснить мне, — перед обществом стоит другая задача: разработать пути для поворота жизни вообще к нравственности. Без использования искусства в этом плане задачу не решить». Конкретно же о том, как нужно использовать искусство, говорилось уже в 1943 году, когда им намечалось очертание будущего романа: «Без ориентации искусства на образ Христа как архетипа искусство будет всегда мертвым, чего

в романе я не хочу, поэтому в «Живаго» архетипом будет Христос. Решение писать его было твердо.

В 1943 году после его чтения в ЦДРИ «Антония и Клеопатры» мы с ним долго разговаривали. Чувствовалось, что на примере этой вещи он старается показать свой исторический подход к жизни: ни Антоний, ни Клеопатра не являются настоящими «героями» происходящей жизни. Нет, герой — римская чернь. Ее незаметное присутствие в жизни сохраняет, на самом деле, в неизбежности поток жизни, волнуемый Антонием и другими. Волнение проходит, а жизнь катится в своем устойчивом ритме, чуждом этим волнениям.

1943 год для меня был самый трагичный. Даже сейчас мне трудно писать о нем, излагаю все кратко.

24 августа в тульской тюрьме умер наш с Олей наставник и учитель Александр Константинович Горский⁵.

14 октября скончался мой духовный отец — архиепископ Сергей Гришин — от крупозного воспаления легких. Борис Леонидович однажды рассказал, что видел на антифашистской конференции духовное лицо, от которого до неприличия не мог оторвать глаз. Борис Леонидович узнал его имя — архиепископ Сергей (Гришин). Это и был мой духовный отец.

А вскоре пришла похоронка на моего брата Георгия. Он погиб в день Словущего воскресения, 26 сентября, его похоронили в день Воздвижения Креста Господня. Еще до получения похоронки, в день смерти Юры и на другой день, день его погребения, мне приснились удивительные сны, которые я тогда рассказала Борису Леонидовичу. «Своим отчаянием вы делаете Юру действительно мертвым. Помните сны, редкую, нежную вашу с ним связь, и запрячайте себе думать о разлуке». Он говорил много и очень убедительно. «Все дело в том, что вы не доверяете Богу и не хотите Его помнить. Но хотя бы ради Юры вы обязаны с этим в себе бороться».

А через некоторое время он принес мне стихотворение «Ожившая фреска», посвященное Георгию — Юрию, которого он не знал, но воспринял через имя, другу юности Диме Самарину (действие стихотворения происходит в его имени) и участнику боев за Сталинград, погибшему под Орлом, Л. Н. Гуртьеву. Одна из строк навеяна образом из моего сна:

Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.

Чтобы умерить мою боль о разлуке с братом, он сказал, что герой его романа будет наречен Юрой.

В 1944 году, окончив университет, я поступила на работу в Библиотеку иностранной литературы.

Горе от разлуки с Юрой меня оставляло только в церкви, поэтому я туда ходила каждый день. В связи с этим у меня начались неприятности на работе. Время было опасное, и чтобы оградить Бориса Леонидовича от возможных неприятностей, я написала ему, что некоторое время лучше не видеться. Когда в 1947 году он окончил первую часть романа, на чтение избранных глав у Марии Вениаминовны Юдиной ходила моя сестра. Я не пошла, мое положение было по-прежнему трудным.

То, что он закончил первую часть романа, его чрезвычайно окрылило. Он начал много выступать с чтением стихов: в Доме союзов, в Политехническом музее, в клубе МГУ вместе с Ахматовой, в читальном зале Библиотеки иностранной литературы; делал доклад о Толстом в музее Л. Н. Толстого.

Он определился, и новым оказывалось то, что он говорил об этом открыто, как будто в этом не было ничего необыкновенного. Его выступления казались вызывающе смелыми.

В 1949 году 7 февраля мы с ним обстоятельно повидались у него дома в Лаврушинском переулке. Вспомнили все, что происходило у нас в жизни за эти годы. Он говорил о трудностях своей личной жизни, а я — о повальных арестах многих своих друзей.

А потом не виделись долго, так как через месяц после свидания у нас случился пожар: сгорело жилье и все имущество и мы остались без крова. Забо-

лел папа, я за ним ухаживала, уйдя с работы. Он умер в 1952 году. В том же 1952 году у Бориса Леонидовича был инфаркт, но, слава Богу, он выздоровел.

С 1954 по 1958 год мы виделись эпизодически. Сначала — по поводу помощи реабилитированным, вернувшимся из лагеря. Борис Леонидович с радостью согласился помочь. В пятьдесят же четвертом году мы с сестрой отнесли ему картину очень близкого нам художника Георгия Эдуардовича Бострема «Моление о чаше»⁶. Дома его не застали. 4 октября он мне по поводу ее написал: «Да, это очень хорошо. Сначала, не заглядывая внутрь, я не поверил вашей записке, а потом, развернув холст, увидел, как вы правы. Лицо живет, дышит, молится, и хотя оно повторяет представления обычной дореволюционной иконописи и хорошо, что с ними не расходится, художник в виде особого тепла и тонкости вливает в его формы все свое пережитое».

Кажется, осенью 1957 года Елизавета Яковлевна Эфрон⁷ отдала мне свою семейную икону Пресвятой Троицы — как благословение, так как своих детей у нее не было, а меня она любила. Я решила передать ее Пастернаку. Мы с сестрой отправились в Переделкино, Бориса Леонидовича не застали и вручили икону Зинаиде Николаевне как благословение дому.

...До войны я еще застала ее настоящей красавицей. Точеный нос, губы разом твердые и немного капризные, округлый овал лица, свет глаз темный, между темно-синим и черным, очень яркий и бархатистый одновременно.

Однажды в разговоре Пастернак что-то меня о ней спросил.

«Я все окрестности Переделкина вижу пронизанными ее красотой, — отвечала я. — Куда ни повернусь — все пронизано светом ее глаз, не огнем, а таинственным светом, лилово-синим. В ваших стихах о Маргарите из «Фауста» есть что-то подобное». — «Зина — это то, что незыблемо», — сказал мне в ответ поэт.

Созидание дома и семьи было ее творчеством. Четкая организация всего, что полезно: размеренность дня, безукоризненная чистота в доме, четкость быта. Создание наилучших условий для творчества мужа. И при этом она, как и он, была нестяжательна.

Борис Леонидович иногда рассказывал, да это видно и из воспоминаний самой Зинаиды Николаевны, что он пытался привить ей свое религиозное понимание и жизни, и мира.

Он читал ей псалмы из Псалтыри и самые поэтические книги из Ветхого Завета, цитировал на память стихиры, тропари и тому подобное из христианского богослужения, но не смог добиться того, чтобы она почувствовала это своим, необходимым ей, миром жизни.

Она довольствовалась тем, что видела значительность таких вещей и организационную принадлежность бытию этого мира в Борисе Леонидовиче.

В его высокой способности видеть и делать мир другим, Божиим, она не сомневалась и, наверное, преклонялась перед необычностью личности Бориса Леонидовича. Все силы Зинаиды Николаевны уходили на осуществление своего взгляда на то, что, как считала она, полезно Борису Леонидовичу в каждодневной жизни.

Когда разразился скандал с романом, мы с сестрой поздним вечером после работы приехали в Переделкино. Борис Леонидович был подавлен. Рассказывал все подробно. И вдруг спросил у сестры: «А куда делась коса?» Сестра смутилась. Она остригла ее за несколько лет до того, но Пастернак помнил... Мы попрощались в самом похоронном настроении.

Я много думала о «Живаго» и еще до этой поездки спрашивала у автора, не оказал ли на философию романа влияние Федоров, трактовавший цивилизацию как цивилизацию комфорта, создаваемого похотью мужчин для удовлетворения похоти женщин. Пастернак смеялся и уверял, что ничего об этой мысли Федорова не знал, но самостоятельно пришел к тем же выводам. «Яд соблазна» захватывает окружающую жизнь и губит даже своих носителей. Безвинно виноватая Лара — скольких сгубила она, сея этот соблазн, даже собственное дитя.

Двусмысленность окружающих Юру Живаго людей убила его непосредственную веру, остался где-то только жалкий корешочек. Но страдания и ис-

питания возвращают ее. Гениальные христианские стихи, которыми наделил Пастернак своего героя, — тому свидетельство.

Добавим, что религиозное видение мира смогло стать частью творческого процесса Бориса Леонидовича, даровав творчеству высшую духовную значимость.

В конце 1958 года к нам в Ашукинскую, где мы жили и ухаживали за больной мамой, приехала знакомая — сообщить, что Пастернак срочно просит о встрече.

На другое же утро я сразу к нему поехала.

Борис Леонидович встретил меня и повел в комнату наверху. Раньше мы с ним беседовали или в его малюсенькой рабочей комнате, или на террасе.

Он усадил меня на диван и сказал, что был у врача. Оказалось все чрезвычайно серьезным. Врач гарантирует ему всего полтора-два года жизни. В заключении врача сомневаться не приходится. Борис Леонидович лечится у него давно. Я знала раньше, что Борис Леонидович помимо всех остальных своих болезней еще показывался врачу по поводу легких. Неблагополучие было, но никаких угрожающих диагнозов не последовало. И вдруг — рак.

Лицо у Бориса Леонидовича было строгое и спокойное. Он уже все пережил и принял. У меня же было какое-то шоковое состояние. Он просил сохранить это в строжайшей тайне от всех, за исключением моей сестры. Я не могла открыть диагноз его родным, когда он уже был на смертном одре, так как он сам скрывал это, чтобы излишне не волновать.

Меня поразил скупой язык Бориса Леонидовича при сообщении этой вести. Было двойное основание для этой скупости. С одной стороны, сам факт своей смерти он соотносил с Богом; смерть была определенностью, но прикрытая Богом, поэтому хотя и неизвестная, но не страшная «величина», на ней не нужно останавливать внимание. С другой стороны, он четко сформулировал, что самое главное сейчас — решить, как самым лучшим образом подойти к этому порогу.

Он сразу определил: первое — необходимо закончить начатую пьесу, «Слепую красавицу», хотя писать трудно. Второе — исповедоваться и причаститься почти за всю жизнь, с одиннадцати лет. Не откладывая, мы сразу сговорились, когда, но в назначенное утро у мамы был сердечный приступ, и я не могла отойти от нее. Из-за этого опоздала и приехала в Переделкино в половине одиннадцатого. На террасе допивали чай. Я смущенно извинилась. Зинаида Николаевна предложила чаю и ушла. Я как-то неуверенно глотала чай. Борис Леонидович, посмотрев внимательно на меня, вдруг начал не спеша и подробно рассказывать о своем крещении, как будто это было вчера. Он рассказывал снова об этом, так как находился под впечатлением написанного им недавно письма к Жаклин де Пруайяр, в котором он сообщил о своем крещении в детстве для официального ознакомления с этим фактом Элен Пельтье, друга и издателя и Жаклин, и Бориса Леонидовича⁸. Почему-то ему захотелось поговорить снова об этом событии детской жизни.

У меня же во время его рассказа не проходила тревога по поводу какого-то изменения в его лице. Стараясь отодвинуть от себя тревожное впечатление, я сообщила, что о нем специально молятся в Троице-Сергиевской Лавре. Я нарочно упомянула о молитве, так как в моей памяти были живы его слова из письма ко мне от 16 августа 1956 года: «Вы раз или два упоминаете, что просили молиться за своих близких и за меня. Вдвойне благодарю Вас и за отношение к родным, и за молитвы. Их благотворным током и существованием Ваших добрых мыслей, наряду с другими благими силами, я, наверное, так необъяснимо счастлив, так безмерно глубоко и разнообразно и в столь многих отношениях, как счастливы, конечно, и Вы...»

Мы решили сговориться о дне его причастия позднее, как только мама моя выздоровеет, а он закончит какую-то срочную работу.

В следующий приезд он повел посмотреть свое гипсовое изображение, над которым тогда работала скульптор Зоя Масленикова. И я увидела то же, что напугало меня в его лице в прошлый визит, — запечатленную в гипсе ту же «скорбную покорность».

«Я знаю Бориса Леонидовича совсем другого!» — несколько утрированно набросилась я на ни в чем не повинную скульпторшу. И мне показалось, что

Пастернак признателен за такое «заступничество». На самом деле портрет был очень хорош.

Мы опять сговорились о дне причастия, и снова все лопнуло.

В начале 1960 года у меня было много трудностей с болезнями родных, и я не могла выбраться к Борису Леонидовичу. Жизнь вынудила его самого, без моей помощи, организовать свою исповедь и причастие в переделкинской церкви, конечно, потихоньку от родных и знакомых.

Был Великий Пост, и незадолго до Пасхи Борис Леонидович причастился. Его исповедовал и причащал отец Иосиф, будущий схиигумен Исайя, прошедший много лет в лагерях и ссылках. Все это держалось в строгой тайне, так как боялись неприятностей для отца Иосифа. Время было трудное, и тайной исповеди часто интересовались. Отец Иосиф потом и отпел его на дому.

2 мая 1960 года я была в Переделкине ради помощи одному больному, гонимому и старому монаху. Решила забежать к Борису Леонидовичу, хотя причин для тревоги у меня не было, так как 14 апреля я получила от него бодрое письмо по поводу одной моей рукописи.

Открыла Зинаида Николаевна, бросив с удивлением: «Вас нашли? Идите, он ждет вас. Он умирает и лежит наверху».

Обомлев, я вошла в комнату — ту, в которой он сообщил мне об угрозе близкой смерти. Кажется, он мало изменился с последней встречи, какая-то «невесомость» щек.

Он говорит: «Катя, я умираю. Вы должны меня поисповедовать, так как Зина не разрешает пригласить священника, вы перескажете исповедь священнику, и он даст разрешительную молитву».

Я подхожу вплотную к кровати и читаю молитвы перед исповедью. Он конкретно и четко исповедуется за последние полтора месяца, прошедшие со дня его последней исповеди. Я отвечаю по поводу всего совершенно независимо от своего мнения, а непосредственно, как, чувствую, надо в каждый момент.

Затем он просит открыть дверь и позвать Зинаиду Николаевну и Нину Табидзе.

«Зина и Нина, — говорит он очень громко. — Вы должны помочь Кате похоронить меня так, как положено православному христианину. Когда я умру, поставьте меня в церковь. Утром после литургии и отпевания простаться со мной в церкви». Они выслушали и молча ушли.

Он рассказал мне, как болезнь окончательно овладела им, что он успел сделать в творческом плане. Я никак не могла вместить его мужества и того, что надвинулось. Просто каменела.

Время идет. Нужно простаться.

Он целует мои глаза, а я его крещу широким крестом на лоб, живот и плечи и пячусь к двери, смотря на него. В глазах ни слезинки.

Я все сделала, как он просил. Пересказала исповедь его батюшке — отцу Николаю Голубцову. Он санкционировал мои решения, но как же проникновенно, глубоко, милосердно он говорил о Борисе Леонидовиче. Будто обстоятельства так сложились, а Борис Леонидович и ни при чем. Я только дивилась на любовь, действующую в силе. Отец Николай был прозорливый.

Я звонила Зинаиде Николаевне справиться о здоровье больного. На мой вопрос, можно ли его посетить, она ответила, что это нежелательно, так как он очень волнуется.

Только за день до его смерти я узнала, что он умирает.

На другой день по радио сообщили о его смерти.

Я кинулась в Переделкино. На крыльцо вышла Нина Табидзе и сказала мне, что они с Зинаидой Николаевной упросили Бориса Леонидовича разрешить им не ставить его в церковь. Отпоют заочно. Повернулась и ушла, не пригласив меня.

Я совсем растерялась, постояла немного на крыльце, потом обернулась, чтобы спуститься, и увидела фигуру Марии Вениаминовны Юдиной, торжественно идущую от калитки по дорожке в сторону крыльца — в лучшем концертном платье, с охапкой живых роз в обеих руках. Подошла к крыльцу, увидела меня: «Не уходите. Вы уже простились? Подождите меня». — «Да, да нет,

нет, меня не пустили». — «Как не пустили? Здесь какое-то недоразумение», — удивилась она, открывая дверь.

Через минуту вышла Нина Табидзе и провела меня в комнату, где лежал Борис Леонидович.

Я не могла вместить, что он умер. Слез не было, я только повторяла: «Господи, помоги». Через полчаса вошла Мария Вениаминовна. Я оставила ее одну с Борисом Леонидовичем — она была ему близким другом — и вышла на террасу. Скоро появилась Мария Вениаминовна, заплаканная.

«В час ночи его будут отпевать на дому. Едемте ко мне», — говорит она. Я страшно обрадовалась, что его отпоют. Сказать ей о воле Бориса Леонидовича — поставить его в церковь — я не могла, так как боялась подвести Зинаиду Николаевну. Может быть, Борис Леонидович согласился потом с ее просьбой не ставить его в церковь? И я промолчала.

Дома я подробно рассказала ей, что приняла последнюю исповедь Бориса Леонидовича и отец Николай, ее духовный отец, дал разрешительную молитву. От горя я была совершенно деревянная, и это удивляло и раздражало Марию Вениаминовну.

К ночи поехали. Гроб стоял в первой комнате, перед ним аналой. Слева хор. Справа по стене — с опущенными руками Зинаида Николаевна, она была само горе; я не могла на нее смотреть. Рядом с ней Нина Табидзе, еще кто-то. Я встала сразу за гробом, рядом со мной оказался сын Бориса Леонидовича от первого брака, Женя. Около Марии Вениаминовны поставили стул; комната полна народа.

Началась всенощная и отпевание — глубоко мистические. Я пела вместе с хором. Прощанье назначили на следующий день.

В толчее ко мне приблизился высокий священник — я его хорошо и давно знала по Лавре, — в прошлом лагерник, отец Иосиф. «Крепись», — говорит он и благословляет.

Ранним утром мы с Марией Вениаминовной едем опять к ней. Она горячо молится, а я по-прежнему деревянная.

Хоронили Бориса Леонидовича 2 июня, в день святителя Алексия. Я поехала в Переделкино прямо из Елоховского собора. Народу — тьма вокруг дачи. Мария Вениаминовна играет, потом — Нейгауз и Рихтер, который никому больше не уступал свое место за инструментом. Гроб поднимают над головами, я иду следом. Дорога очень неровная. Но он все время над всеми. На кладбище говорит его старый друг Асмус. Потом Тania, няня Леонида, сына поэта, надевает венчик на лоб Борису Леонидовичу, а в руку вкладывает разрешительную молитву. Гроб закрывают и опускают. Бросаю горсть земли... Застучали комья...

Потом скорее на электричку — домой. Сестра Маша не смогла вырваться на похороны с работы.

Через три дня была Троица, и только на службе я немного отошла от горестного оцепенения последних дней. Затем приезжает к нам наш близкий друг иеродиакон Макарий, берет такси — и мы в Переделкине. На могиле много цветов, ни души; и мы поем панихиду. Присутствие отца Макария, его принадлежность сергиевой братии снимают наконец с меня тяжелейший камень нечувствительности. Нужно было принять это горе, продолжать жить. Слава Богу за все.

Интересно получается в жизни: я никогда не рассказывала Борису Леонидовичу о своей реальной личной судьбе, как правило, говорили о нем.

Но вот в конце 1959 года мне пришла мысль написать повесть об идеях Федорова и отправить ее Хрущеву. Но прежде, написав ее, отдала на отзыв четьрем самым уважаемым мною людям, в том числе, разумеется, Пастернаку⁹.

Он довольно долго не подавал признаков жизни, затем прислал письмо. Дело в том, что после исповеди 2 мая он вытащил мою рукопись «из-под подушки» и дочитал. На чистой стороне листов ее записывал перед смертью свои стихи. В повести я сначала фантазировала, а потом старалась фотографически запечатлеть свою жизнь, свои встречи с замечательными личностями, с которыми сводила судьба. Так что перед смертью он узнал обо мне больше, чем за два десятилетия встреч.

Вот его письмо ко мне за полтора месяца до смерти:

«Дорогая моя Катюша, ласковая фамильярность, которую я позволяю в обращении, вызвана впечатлениями от Вашей рукописи. Я не знал, что Вы мне оставили произведение повествовательное, я думал, что это будут некоторого рода рассуждения.

Я был очень приятно поражен живостью и достоинствами начала. Очень порадовался Вашему умению определить разные ступени и значения деятельной духовной сосредоточенности. Я застрял на последней трети рукописи, и опять у меня будет период, когда я не смогу ее дочитать. Оставьте мне ее до середины мая и позвоните в городе Ирочке Емельяновой¹⁰. Я ей скажу, чтобы она дала Вам тем временем очень хорошие стихи русской писательницы, издававшейся за морем под именем монахини Марии. Взгляните на них.

Можно мне поцеловать Вас?

Ваш Б. Пастернак».

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

¹ Сетницкая О. Н. — библиограф; посвятила жизнь изучению идей Н. Ф. Федорова, которые переосмыслились ею на основе выявления его главной концепции — «построения проективной истории». Наша совместная работа об этом осталась неопубликованной.

² Статья хранилась у Б. Л. Пастернака и сгорела вместе с его архивом во время войны.

³ Доклад был прочитан на эстетических собраниях в доме скульптора Крахта в феврале 1913 года (см. «Минувшее», 1994, № 15, стр. 69). Тезисы доклада опубликованы в четвертом томе Собрания сочинений Б. Пастернака (М., 1991).

⁴ Не напечатаны. Машинопись хранится в Музее им. Скрябина.

⁵ Горский А. К. (1886 — 1943) — поэт и литературовед, выпускник Московской Духовной Академии. Автор неопубликованных работ о сущности творчества; в 1914 году разрабатывал идеи Федорова в сборнике «Вселенское дело». С 1929 по 1935 год — заключенный лагеря Медвежья Гора, после освобождения жил в Калуге, где и был вновь арестован. Погиб в тульской тюрьме.

⁶ В 1996 году в Симферополе открыт Музей им. Г. Э. Бострема.

⁷ Эфрон Е. Я. — сестра Сергея Эфрона, преподаватель художественного чтения.

⁸ См. «Новый мир», 1992, № 1, стр. 166.

⁹ Все рецензенты ответили однозначно: «В редакции не посылать и не печатать».

¹⁰ Дочь О. В. Ивинской.

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ



МЕДЛЕННО ИСЧЕЗАЮЩЕЕ В ЗЕЛЕННОЙ ТРАВЕ

Василий Кандинский (1866 — 1944) был не только одним из создателей беспредметной живописи, акварелистом, гравером, драматургом, теоретиком искусства и христианским моралистом. Был он и одним из наиболее оригинальных поэтов начала столетия. Точнее, первой половины 10-х годов: почти все его стихи уместились в единственном, иллюстрированном самим художником, альбоме, работа над которым шла с 1908 по 1911 год. Позднейшие тексты — скорее напоминание о периоде вдохновенного эксперимента, отголосок того «пути катастроф», что привел Кандинского к творению нового искусства.

Поэтический альбом художника — не одна, а две связанные друг с другом книги. По-видимому, первым был замысел русского варианта, названного «Звуки». В 1910 году Кандинский хотел издать эту небольшую книгу в одесском «Салоне Издебского» — памятник замыслу остались рабочий макет и не вошедшие в него рукописи. Более счастливая судьба ждала немецкий вариант альбома — «Klänge» (что также значит «звуки», «созвучия»). Он был издан в самом конце 1912 года в Мюнхене, в городе, в котором Кандинский прожил восемнадцать лет, где он «вторично родился», став художником, и достиг «вершины горы» — абстрактной, или, пользуясь его выражением, «абсолютной», живописи.

Тираж роскошно оформленной и напечатанной книги составил триста пронумерованных и подписанных автором экземпляров. Несмотря на то что издание осталось единственным, его известность в мире авангардного искусства была громкой. Ханс Арп начал писать стихи, познакомившись с поэзией Кандинского; тексты из «Klänge» восторженно приветствовались в колыбели дадаизма, цюрихском кабаре «Вольтер». Современники чувствовали в странных, гротескных и комичных персонажах отображение «чисто духовных феноменов», того, что Кандинский в одной из своих статей назвал «перетеканием неба» через контур предмета.

Внимательное чтение открывает в стихах Кандинского не только духовную реальность и духовный пейзаж, стоящие за обыденными событиями и привычными ландшафтами. Здесь отразилась сокровенная вера художника в приближение «Великой Духовной Эпохи». С точки зрения реальных дел эта эпоха должна была дать людям возможность воспринимать духовную вибрацию вещей, понимать их гармонию и жить в согласии с нею. В духовном плане «открытие Великих Дверей» мыслилось художником как Второе Пришествие Христа, преобразившегося в Дух и сиянием нисходящего на человечество. Оба аспекта «Эпохи Духовности» призвана была выразить и приблизить «абсолютная живопись» Кандинского. Того же он искал и в поэзии.

Большая часть русских стихов художника, еще совсем недавно знакомых читателю только по знаменитому футуристическому сборнику «Пощечина общественному вкусу», теперь опубликована. Однако немецкие, более поздние и отточенные по форме, тексты также очень интересны. Здесь часто используется игра созвучиями, подсознательный уровень чтения, вторые и третьи смыслы — духовные обертоны — одного и того же образа. Передать их в переводе почти невозможно, однако попытаемся хотя бы объяснить.

В стихотворении «Открытое» («Offen») внутреннему взору читателя представляется нечто незаметное, ускользающее среди летнего и зимнего пейзажа и поднимающееся в болотной грязи. Затем следует зрелище неподвижно вытянувшегося тростника и заклинательное повторение слова «Rohre» («тростник» и «трубы» од-

новременно). Стихотворение «Это» — одно из свидетельств трагической меланхолии, которая тлела в душе художника и которую он тщательно скрывал под оболочкой обходительности и добродушия. Обращает на себя внимание «абстрактное» заглавие: сначала Кандинский хотел назвать весь альбом «Серия „Оно“». Психоанализ, если не как наука, то как способ общения с собственной душой, был близок двоюродному брату выдающегося русского психиатра и психолога Виктора Хрисанфовича Кандинского. В тексте примечательно и сочетание цветовых характеристик с указанием на плотность: жесткое облако, густой воздух, плотный дом в плотном пламени. Мы словно присутствуем при рождении картины под набрасывающей на холст красочные массы кистью живописца.

Труднейшее из представленных здесь стихотворений — «Неизменное» («Unverändert»). Именно «неизменное», а не «неизменное»: покой как покров подспудных токов и шевелений. Реализация метафор, оплотнение эфемерного, рождение образа из звука здесь очень важны. Герой хладнокровно исследует торчащую в земле молнию, смотрит, словно в кино, на женщину с грибом, на зеленую, растущую из земли деревню с ее разноцветными обитателями, на поливаемое чернилами дерево. Эти сцены имеют свое «духовное звучание». Взгляд на женщину с платком, свернувшимся напоподобие банана («Banane»), тут же вызывает к существованию доску с надписью «Вапп! Аппе!» (один из вариантов ее чтения, отчасти переданный в переводе, — «Стой! Предки!»). Фиолетовый человек, издающий ужасный («furchtbar») крик, угрожает: «Я отпущу тебе наличным ужасом» («furcht bar»). Чернила («Tinten»), льющиеся из лейки турка, порождают звуковой образ, звон колоколов «tip-ten». И только после этих настраивающих душу на «звучание вещей» событий начинается главное — «поворот лица», прямое общение с причудливым миром духовных сущностей.

«Что-то» («Einiges») — завораживающий поиск предела, границы видимого и невидимого, мертвого и живого (о встрече на улицах Мюнхена с живой буланкой, точь-в-точь напоминающей игрушечную московскую, художник пишет в своих воспоминаниях). Недаром здесь всплывает образ синего цветка Новалиса, символ поисков абсолютного. «Разрыв» («Der Riss»), напротив, построен на метафоре прорыва (в одной из мистерий Кандинского хор поет: «Свяжи, разорвавши, оковы»). «Иначе» («Anders») — пессимистический отказ от внешней точности знаний и правил. Даже число — воплощением которого служит гигантская цифра 3 — то ли белое, то ли темно-коричневое, то ли симметричное, то ли нет, то ли прямое, то ли безнадежно покосившееся. «Это тоже, наверно, было иначе», — как бы мимоходом заключает герой свои скрупулезные наблюдения.

«Занавес» («Vorhang») — олицетворение завесы, скрывающей то страшный, то захватывающий дух облик «того» мира. Здесь также схвачен момент смены состояния и вновь выражен в подчеркивающих внутреннее волнение обыденных замечаниях. «Приключение» («Abenteuer») рисует абсурдную сценку: толстая корова подбадривает часы, боящиеся звонить. Однако образ коровы у Кандинского далеко не абсурден. Она появляется в поэзии как большое, одушевленное, едва ли не разумное существо, которое бьет молотком по голове, чтобы приготовить говядину с хреном (стихотворение «Колокол»). В живописи она то олицетворяет сельскую природу Баварии («Корова»), то приходит на московские улицы («Корова в Москве»), еще одной нитью связывая немецкую и русскую половины духовного мира художника.

Звуковую алхимию, вихрь предметных форм, превращающихся в формы духовные, демонстрирует стихотворение «Взгляд и молния» («Blick und Blitz»). Человек, гребень, птица, окна, капелла, железные книги, быки, Нюрнберг, растущая из головы лошадиная нога... Настроение, казалось бы, похоже на горячечную мыслительную атмосферу «Записок сумасшедшего». Но надо всем — небо и летящая в полдень ракета. Именно этот текст с его смесью мистического и грубо-земного отразился потом у Арпа («Страсбургская конфигурация»). Именно этот текст, пожалуй, ближе всего напоминает появившиеся чуть позже первые стихи Маяковского. Художник-поэт срывает краски и предметы, создавая неологизмы («краснороги» — «Rotzacken», «желтокрюки» — «Gelbhacken», даже «полярлаки» — «Nordpollacken», слово, заключающее в себе три: «Северный полюс», «лаки» и «поляки»). Тем не менее ни сарказма Арпа, ни божоборчества Маяковского в поэзии Кандинского нет. Здесь сокрыта неисчерпаемая вера в соединение всех концов, разрыв всех оков и в исцеление всех ран человечества.

В неопубликованной пьесе Кандинского «Зеленый звук» нищий калека за сценой поет: «Одинокий погибну. / Жив я для вас. / Еще до рожденья / Многих я спас». Худож-

ник, живущий в «час духовного поворота», врачует и совершенствует себя, чтобы быть способным «жить для всех». Скрытой в тиши творческой лаборатории «жизнью для всех» была краткая, но яркая вспышка поэтического дарования Василия Кандинского.

Борис Соколов.

ИЗ АЛЬБОМА «KLÄNGE»

Открытое

Вот медленно исчезающее в зеленой траве.
 Вот встающее в серой грязи.
 Вот медленно исчезающее в белом снегу.
 Вот встающее в серой грязи.
 Долгая поза: толстый длинный черный тростник.
 Долгая поза.
 Долгие трости.
 Трости.
 Трости.

Это

Все вы знаете это гигантское облако, похожее на цветную капусту. Вы могли бы жевать его снежно-белую жесткость. Но язык ваш остался бы сухим. Так вот оно тяжело лежало на густо-синем воздухе.

И внизу, под ним на земле, на земле стоял пылающий дом. Был он плотно, о, плотно построен из темно-красного кирпича.

И стоял он в плотном желтом пламени.

А перед этим домом на земле...

Неизменное

Моя скамейка — синяя, но не всегда она здесь. Только позавчера я снова нашел ее. Около нее, как всегда, торчала остывшая молния. На этот раз трава около молнии была немного обгоревшей. Вероятно, молния раскалилась внезапно, втайне, с острием в земле. Других изменений я не заметил: все на прежних местах. Все было как всегда. Я сидел на своей скамейке. Справа молния в земле — с погруженным в нее острием, которое одно, должно быть, еще и было раскаленным. Передо мной большая равнина. В пятидесяти шагах направо от меня женщина с черным платком, прижатым к груди наподобие банана. Она смотрит на красный гриб. Слева от меня все та же выцветшая надпись:

«Ба! Мама!»

Я часто читал ее и издалека узнавал звук этой вытертой белой доски. Как обычно, в двухстах шагах от меня росли из земли четыре зеленых домишка. Бесшумно. Дверь второго слева открылась. Толстый рыжеволосый человек в блекло-фиолетовом трико (я всегда думаю о водянке, когда вижу его) вывел пегую лошадь из последнего справа домишки на холм, вскочил на нее и поскакал (как говорится) словно ветер. Как всегда, издали загремел его ужасный крик:

«Погоди! Ха! Я отплачу тебе! Ужас! Но!»

После этого, как всегда, из второго домишки (справа) тотчас же вышел сухопарый турок с белой лейкой, полил пестрыми чернилами свое сухое деревце, сел, оперся спиной о ствол и засмеялся. (Смеха его я слышать не мог.) И мне пришла в голову все та же сумасшедшая мысль, что его щеко-чут разноцветные чернила. Затем стало слышно, как из далеких, невидимых колоколов раздается звон

«чер-нил».

И женщина повернула ко мне свое лицо.

Что-то

Рыба уходила все глубже в воду. Она была серебряная. Вода синяя. Мои глаза следили за нею. Рыба уходила все глубже. Но я все еще ее видел. Я уже ее не видел. Я еще видел ее, когда я уже не мог ее видеть.

Но все же, все же я видел рыбу. Все же я видел ее. Я видел ее. Я видел ее. Я видел ее. Я видел ее. Я видел ее. Я видел ее.

Белая лошадь стояла тихо на своих длинных ногах. Небо было синим. Ноги были длинными. Лошадь — неподвижной. Грива свисала вниз и не шевелилась. Лошадь стояла неподвижно на длинных ногах. Но все же она была живая. Ни движения мышц, ни дрожания кожи. Она была живая.

Все же, все же. Она была живая.

На широком лугу рос цветок. Цветок был синий. Всего один цветок был на широком лугу.

Все же, все же, все же. Он был там.

Разрыв

Маленький человек хотел разорвать цепь и, конечно, не мог. Большой человек разорвал ее с легкостью. Маленький человек хотел сквозь нее проскользнуть. Большой человек удержал его за рукав, наклонился и сказал ему тихо на ухо: «мы должны об этом помалкивать». И оба от души рассмеялись.

Иначе

Это было большое 3 — белое и темно-коричневое. Его верхняя дуга была того же размера, что и нижняя. Многие люди так думали.

И все же верхняя была

чуть, чуть, чуть

больше, чем нижняя.

Это 3 смотрело всегда налево — никогда направо. В то же время оно смотрело и немного вниз, потому что цифра только казалась стоящей совершенно прямо. На самом деле, хотя это было нелегко заметить, верхняя,

чуть, чуть, чуть

большая часть отклонялась налево.

Так что смотрело это большое белое 3 всегда налево и совсем немного вниз.

Это тоже, наверное, было иначе.

Приключение

Однажды я побывал в поселке, где никто не жил. Все дома были чудесно белыми и у всех были плотно закрытые зеленые ставни. Посередине поселка находилась зеленая поросшая травой площадь. В центре этой площади стояла старинная церковь с высокой колокольней, заканчивающейся остроконечной крышей. Большие часы шли, но не били. У подножия колокольни стояла рыжая корова с очень толстым брюхом. Она стояла неподвижно и сонно жевала. Каждый раз, когда минутная стрелка часов показывала четверть, половину или целый час, корова мычала: «эй! не будь такой пугливой!» Затем снова начинала жевать.

Взгляд и молния

Так как он (человек) хотел питаться, толстый белый гребень отбросил прочь розовую птицу. Вот она скребется в окна, мокрые в деревянных полотенцах! — Не вдаль, но вкривь. — Разразилась капелла — эй! эй! По-

лукруглые звонкие круги почти прижимаются к шахматным доскам и! железным книгам! Коленопреклоненный около рогатых быков хочет Нюрнберг хочет лечь — ужасная тяжесть бровей. Небо, небо, можешь нести ты печатные ленты... И из моей головы нога короткотелой лошади с острой мордой могла бы расти. Но краснороги, но желтокрюки на полярлаках словно ракета

в полдень!

Занавес

Веревка пошла вниз, и занавес пошел вверх. Все мы так долго ждали этого момента. Занавес висел. Занавес висел. Занавес висел. Он все еще был опущен. Вот он поднят. Когда он пошел вверх (начал идти), все мы так сильно обрадовались.

Публикация и перевод с немецкого Бориса Соколова.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

О. НОВИКОВА, ВЛ. НОВИКОВ

*

ЗАВИСТЬ

Перечитывая Валентина Катаева

«**Я**хта звенела под ветром, как мандолина». «...личико одного из младенцев с головой продолговатой, как дынька...»

«Я ползу по волосатой руке громадного мироздания, но я отличаюсь от муравья хотя бы тем... что я могу назвать вечность вечностью, а время назвать временем, хотя и не знаю, что это такое».

Ех ungue leonet. Рука Катаева... На исходе столетия уже можно подсчитать, сколько неповторимых почерков оставила русская проза XX века. Немного, гораздо меньше, чем прославленных писательских имен.

Тем не менее имя Катаева легко забывают при изготовлении историко-литературных схем, основанных на внеэстетическом противопоставлении «советских» и «антисоветских» авторов. В какой-то степени и сам писатель спровоцировал такое к себе отношение, постоянно издеваясь над «литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного» (см. «Алмазный мой венец»). По принципу географическому и литературно-бытовому Катаева подключали к «одесской», или «южнорусской», школе. Точнее всех оказался, по-видимому, лингвист М. В. Панов: на его университетских лекциях крупнейшие прозаики века были размещены в пространстве русского языка, и там, независимо от субъективных факторов, Катаев вместе с близким ему Олешей и далеким Набоковым составили ячейку «прозы неожиданной метафоры», «прозы озарения». Любопытный парадокс: оригинальность индивидуального стиля вовсе не исключает причастности писателей к объективно существующему течению. Просто «озарения» могут различаться на вкус и цвет, а уникальность может реализовываться в оттенках.

Для живого писателя ощущение стилевой близости с другими, сходства художественных принципов — чувство не радостное, а болезненное. Катаев признавался в нем честно: рассказав в «Венце», как «ключик» (Олеша) с ходу нарисовал портрет девушки-синеглазки, он не умолчал, что это «лишний раз вызвало... ревнивую зависть к... другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой». Как видим, слово «зависть», прочно закрепленное в литературном сознании за автором одноименного романа, не менее существенным было и для Катаева. Взаимная ревность — вот что их соединяло, вот что может делать художников интересными и полезными друг другу.

Творческая зависть — это витамин, которого явно недостает в сегодняшней литературной жизни. Зависть, конечно же, не к премиям и грантам, не к количеству переводов, рецензий и минут телевизионного мелькания, а к тому самому умению увидеть и передать. Вроде бы и дразнящих чужое честолюбие живых классиков — предостаточно, но они нынешними своими текстами не очень провоцируют на творческое состязание. Кстати, теперешние писатели удивительным образом умудряются не читать друг друга, даже будучи бытовыми друзьями. Каждый упоает на собственную «уникальность», а перед читателем в итоге предстает как один из многочисленных близнецов.

Так почему же все-таки стоит сегодня заглянуть в сочинения Катаева и немножко ему позавидовать? И чему именно позавидовать? В чем инвариантность катаевского стиля, несводимая к аналогиям с Олешей и Набоковым?

Ответ можно найти у самого Катаева, хотя и в несколько неожиданном месте. «Я думаю, основная его черта была чувственность...» Так сказано в «Венце» о «мулате», то есть о Пастернаке. Односторонность такой характеристики поэта очевидна, но главное — это сказано Катаевым о самом себе. Есть невинная, порой даже неосознанная уловка у художников: самохарактеристику приурочивать к разговору о ком-нибудь другом. (Между прочим, это свидетельствует о небесполезности существования литературоведов, свободных от подобных уловок и обязанных в меру своих скромных сил стремиться к точному описанию «особых примет» объекта.) Неожиданные метафоры Набокова всегда иронически отрефлектированы, у Олеши они неизменно подаются широким театральным жестом, а вот Катаев как мастер зримых образов чувственно честен и полностью зависим от инстинкта.

«Теперь, как и тогда, она была старше его. Не девушка, не барышня, а молодая женщина, опытная и страстная, которая силой взяла его, не отпуская от себя ни на шаг и не давая ему вздохнуть, и он слышал запах ее тельняшки и рук — сильных, как у прачки. Она повелевала им, как будто была не женщиной, а мужчиной. Женщиной был он. Их сожитие доставляло ему мучительное наслаждение, вытягивая из него все жилы, издававшие при вытягивании виолончельные звуки хроматической гаммы, переходящей во что-то церковное, панихидное, „творящее песнь“».

Это из знаменитого «Уже написан Вертер». (Помните, героиня потом донесет на героя, но волею случая он уцелеет, а расстреляют ее самоё.) Как-то даже неловко комментировать такой пассаж, точнее — такой кусок живой жизни, рассуждениями на тему Эроса и Танатоса. Чувственный сплав любви и смерти передан Катаевым с точностью, абсолютно недоступной декларативным умникам. И в то же время — вкус, аристократическая утонченность ощущений, столь далекая от неблагородного натурализма сегодняшних прозаиков, пытающихся грязноватой откровенностью компенсировать отсутствие вдохновенных озарений.

Культура чувственности — вещь редкая и в жизни и в литературе, это традиция с определенной последовательностью звеньев, и вернуться, скажем, к принципам словесной живописи Бунина невозможно, минуя опыт Катаева. Нынешняя критика с необыкновенным великодушием встретила, к примеру, «воспоминательную» прозу Марка Харитоновича и Андрея Сергеевича, построенную на проблесках чувственной памяти. Но, положив руку на сердце, это все-таки «разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц» по сравнению с изощренными хроматическими гаммами «Разбитой жизни...» и «Кладбища в Скулянах». Пора, пора наконец открытым текстом похвалить Катаева: почему-то в 70-е и 80-е годы многие делали это как-то устно и почти шепотом, стесняясь прямо признаться, что в глубине души («чувственно!») считают этого члена КПСС и Героя Соцтруда художником более искусным и долговечным, чем иные патентованные борцы с режимом. Может быть, теперь пришла пора выставить ведущим писателям уходящего века отдельные оценки за творчество и за политическое поведение. А может быть, и признать, что существуют две литературы — идеологическая и собственно художественная, что совпадают они в довольно редких случаях.

Сам Катаев, не будучи скромником, вместе с тем мастерством своим не кичился. Более того, он согласился именоваться «мовистом» вкуче с юнцами из «Юности», которой он руководил в пору своего «второго рождения». Лукавое самоумаление — признак аристократизма. Самохвалов (в том числе и талантливый) Катаев брезгливо называл «нуворишами»: свои очерки об иных «звездах» даже не захотел вставить в последнее собрание сочинений. Спокойно констатировал неравноценность им самим написанного, но и не отрекался, например, от тетралогии «Волны Черного моря». Что резонно: для детей она вполне годится, поскольку литература диссидентско-эмигрантская своих эквивалентов Пети и Гаврика не предложила. Катаев же, обращаясь к теме детства, отрочества и юности, почти не заботился об идеологической ориентации героев, а стремился зафиксировать то вечное и неизменное, что формируется в человеке в его раннюю пору. Недаром одним из последних произведений писателя стал «Юношеский роман». Первое слово в этом названии гораздо важнее

второго. Тем более что жанровые термины и условности были для Катаева цепями, которые он всегда хотел сбросить.

Собственный, «фирменный» жанр Катаева возник на стыке его ранней новеллистики (поэтический лаконизм которой ничуть не поблек теперь: стоит перечитать хотя бы трогательные «Рыжие крестики», 1922; или шоковые «Восемьдесят пять», 1923) и его раннего стихотворчества, отмеченного новеллистической остротой:

Стучит, как швейная машинка, пулемет
И строчит саван погребальный.

(1916, Действующая армия)

Стереть границу между прозой и стихом, а потом и границу между словом и материей бытия — такова эстетическая стратегия Катаева. Для ее реализации ему понадобилась поэзия не только своя, но и чужая. Он вживил в свои тексты стихотворные цитаты, не просто записав их *in continuo*, но интонационно освоив, даже присвоив, узурпировав авторство. По Пастернаку и Мандельштаму он начал настраивать собственный ритм, выстраивать прозаическую «строфику». Каждая фраза должна быть равноценной стиху — тогда, для того чтобы быть поэтом, необязательно пользоваться метрикой и рифмами:

«...и что испытала она, ожидая развязки, в тот до ужаса знойный июльский день, пылающий, как багровый цветок бигонии, куда с угрожающим ворчанием медленно вползала оса, мягко расталкивая крыльями внутренние органы нагретого солнцем цветка, преграждающие ей дорогу в тупик, откуда уже не было возврата».

Такие живые картины без риторических красот создаются двойным порывом — завистью к природе и завистью к поэзии как одному из явлений этой природы. Катаевская «интертекстуальность», отмеченная авангардной свежестью, ничего не имеет общего с постмодернистским паразитическим цитатным начетничеством. Такой способ обращения с «чужим словом», требующий предельного напряжения своих собственных творческих сил, не выйдет из моды и тогда, когда центонных поэтов и цитатных прозаиков будут сразу спускать с лестницы во всех редакциях и издательствах.

Цитатность у Катаева обладает той самой «цикадностью», которой от этого приема требовал Мандельштам. Катаев заражает интересом к контексту, выступает прямо-таки сводником, подталкивающим читателя к интимной близости с поэзией. Прочитав в финале «Травы забвения»: «Играй же, на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту...» — невозможно было не припасть к первоисточнику и не затонуть его полнотой, начиная со слов «За Паганини длиннопалым». Тогда эти стихи Мандельштама были к тому же труднодоступны по цензурным причинам, и это подогревало интерес. Сегодня, пожалуй, в подогреве нуждается интерес к поэзии как таковой, и «вкусная» подача цитаты может быть приравнена к культурно-эстетическому деянию.

Катаев остается в истории литературы ярко выраженным модернистом с первоклассной реалистической выучкой и, конечно, без усталой приставки «пост». Но если посмотреть шире, то именно Катаевым успешно решены и некоторые задачи, декларированные постмодернизмом. «Текст как мир», «мир как текст», «культура как игра»... Чем отчитается отечественная словесность последних двадцати лет по этим номинациям? Исследователю пародийно-мистификационной культуры открывается довольно унылая картина. Имеющиеся попытки литературных игр свидетельствуют об одном — о колоссальной внутренней несвободе авторов. Иронический инвентаризатор «совкового менталитета» Дмитрий Александрович Пригов смог противопоставить пошлости политической всего-навсего пошлость эстетическую, унылый шаблон, мышление не свободного художника, а одной из многочисленных духовных «жертв тоталитаризма»: идиотизм постперестроечной реальности оказался гораздо смелее и колоритнее квазигротескных «миликанеров». Дефицит игрового начала в литературе попробовали компенсировать филологи, вспомнившие формулу Ницше «веселая наука». Но — Боже мой! — какая скука царит на «игровых» страницах солидных литературоведческих изданий! Тусовочное балагурство, внятное только «своим», непригодное для перенесения в иные культурные

контексты, претендует на герметическую «элитарность», а на деле оборачивается замаскированной стадностью, ибо подлинное творческое остроумие носит не кружковой, а абсолютно индивидуальный характер.

Социальный детерминизм в очередной раз оказался посрамлен: самая интеллигентная среда в редких для России условиях свободы слова может лишь имитировать творческое веселье, если у этой «смеховой культуры» нет своих «корифеев» (в бахтинском значении слова), призванных шутить и смеяться самой природой. При всем сочувствии к культурным мистификациям Михаила Берга или Михаила Эпштейна приходится признать, что отсутствие прирожденного остроумия (а в России последних лет природа почему-то обносит им людей начитанных и наделяет им, к примеру, совершенно нефилологических Михаила Жванецкого и Михаила Задорнова) — непреодолимое препятствие на пути к веселой науке и веселой словесности.

Может быть, мистификационные пироги должен печь все-таки пирожник, а ученым малым и педантам стоит заниматься своим прямым делом — составлением комментариев к истинно веселым книгам, таким, как «Алмазный мой венец»: он явно нуждается в объяснении имеющих там трансформаций и деформаций, он не боится и беспощадного «разоблачения». К самому дерзкому произведению Катаева можно было бы применить словечко «деконструкция», но, наверное, не стоит, поскольку словечко не сегодня-завтра сдохнет, а «Венец» действительно изготовлен из долговечного вещества. И притом многослойного: «ребусный» уровень, отгадывание «ху из ху» — это только первоначальное вхождение в текст. И острые углы внутри литературных отношений, изнанка божьего быта — тоже не главное. Есть здесь еще и философская концепция, не выплеснутая в рассуждениях, а претворенная, как и во всей поздней прозе Катаева, в общем композиционном строе.

Героям «Венца» тесно друг с другом во времени и пространстве. Они не сливаются в единое культурное целое, как в учебнике по истории русской литературы. Каждый из них — отдельное «иззвание», пребывающее в своем неповторимом (и ни в каком творчестве до конца не выраженном) диалоге с «Ваятелем». В этом смысле автор равен любому из них так же, как им всем равен всякий читатель, готовый без предубеждения войти в данный мир-текст. Главное в «Венце» — физическое ощущение «звездного холода», экзистенциального трагизма. В таком аспекте это еще и венец катаевского диалога с мирозданием, начатого в «Святом колодце»: «Вечность оказалась совсем не страшной и гораздо более доступной пониманию, чем мы предполагали прежде».

«Хорошо быть чистой каплей и таить в себе миры!» — воскликнул Катаев в стихотворении 1917 года. Намеченной темы хватило на семьдесят лет. Она, естественно, остается открытой для других прозаиков. При всей неизбежной для каждого мастера творческой ревности Катаев любил обнаруживать черты «космического» почерка у молодых коллег. Увидев в рукописи фразу, где вода в канале сравнивалась с запыленной крышкой рояля, сразу признал писателем автора — В. Аксенова. С легкой артистичной руки Катаева в нашем литературном сознании укрепилось уважение к объемной, эмоционально достоверной метафоре, придающей сюжету новое смысловое измерение и особую динамику. Это художественное поле таит в себе неисчерпаемую энергетику. Все живое и талантливое будет приходить сюда — подзарядиться от предшественника и раскрыть собственную глубину.

Пребывающему в этом пространстве решительно безразличен взгляд извне. Катаев спокойно относился к молчанию прогрессистской критики, не замечал «обструкций» со стороны перелеткинского большинства после опубликования «Венца» и «Вертера». Отступления от художественной стратегии у него были — он этого и не скрывал, сожалея о черной дыре, что пролегла между ранним и поздним творчеством. Но была сама стратегия — волевая, чувственная, пронизывающая всю большую личность и большую жизнь.

Абсолютная величина авторской личности (то есть, как в математике, независимая от оценочных плюсов-минусов) — вот ведь есть какой еще аспект познания литературы. И только ли в «мастерстве» секрет Катаева? Вспомним его трактовку термина «мовизм»: «Замена поисков красоты поисками подлинности, как бы эта подлинность ни казалась плоха». Культ мастерства и стиля,

царящий в сегодняшнем литературном сознании, тотальный эстетизм, как ни странно, оборачивается своей противоположностью. Все стремится писать «хорошо», но господствующий элитарный стандарт стирает человеческую индивидуальность. Критику приходится изобретать десятки интеллигентных эвфемизмов, в то время как ему хочется сказать девяноста девяти процентам прозаиков и поэтов так, как князь Мышкин сказал Ганечке Иволгину: «Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный».

И это относится к проблемам, на первый взгляд, чисто эстетическим и даже литературно-техническим. Вслед за Катаевым многие прозаики начали писать «строфами», шеголяя двойными пробелами, но то и дело теряя при этом пульс. Соединить строфы может только оригинальное вещество авторской личности. Этот же элемент входит и в состав каждой живой и динамичной метафоры, являя в ней то самое *tertium comparationis*, третье измерение художественного образа, несводимое к критерию «похоже — не похоже», «метко — не метко». «Синяк, похожий на цветок анютины глазки. Ну — непохожий! Не все ли равно?» («Кубик»).

Исполняется сто лет со дня рождения Катаева, но объектом сугубо академического исследования его творчество еще не стало. Может быть, потому, что «новый» Катаев (все первые публикации которого, кстати, состоялись в «Новом мире») начался «Святым колодецем» всего тридцать два года назад и остается частью современной русской словесности.

— Впереди у всех писателей нашего века — ответственный контрольный пункт, рубеж двух веков и двух тысячелетий. Отбор будет как никогда жестким: вялость, вторичность, идеологический схематизм (даже «правильный», «наш»), ханжеское морализирование (даже искреннее), развлекательные спекуляции (даже умелые) — все это останется лежать мертвым или умирающим грузом. Проза Катаева к такой проверке готова, поскольку у грядущих контролеров она не сможет не вызвать зависть — одно из самых неподдельных чувств.

ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ



РОМАН ВОСПИТАНИЯ

Синтаксис хорошей прозы «высвечивается» и начинает играть, обращать на себя внимание, если движение интриги замедляется или же совершенно замирает. Тогда в тишине, в мертвой зоне сюжета, без извне привнесенных манков и отвлекалочек читательского внимания особенно отчетливо выпирает фактура стиля, ритм — синкопы придаточных и сложносочиненных, чередование частогола односложных, назывных и непроходимые заросли многочастных предложений.

Начиная читать «Опорные точки»¹, сразу же попадаешь в медленные и тягучие предложения с путанным синтаксисом, в прустовские почти описания. Ждешь начала активного действия, но, втянувшись, понимаешь, что и дальше, до самого конца одно описание будет сменять другое. Когда смена никак не связанных между собой описательных периодов-абзацев, накиданных точно как на душу легло, и есть фабула. Когда внутренний конфликт, нарастание напряжения выстраиваются за счет смены таких ярких и сочных слайдов впечатлений-настроений. Ничего существенней смены времен года или путешествия на юг (фиксируются не последовательности-события, но состояния) как бы не происходит. День-ночь, сутки прочь — вот и стали мы на год взрослей, но... В этом и состоит странное очарование тонко (и точно) выстроенной конструкции, обрывающейся на самой высокой, пронзительной и вместе с тем весьма прозаической ноте.

«Раньше их белили каждую весну вместе с деревьями — футболистов, теннисистов, горнистов, конькобежцев — гипсовый народ пропадать, извивались железными прутьями арматуры, ожидая, пока их добьют на субботнике. Пока телевизоры были редкостью, под кургузыми деревьями прогуливались пары, гремели велосипедные звонки, школьники фехтовали тополиными прутьями, сиял радугой фонтан, совсем такой же, как у Большого театра, каждый мизерный газон окружали крашенные серебрянкой чугунные ограды, головы женщин напоминали каракулевые шапочки, и все трогательно боялись милиционеров... В это время я был уверен, что взрослые не умеют бегать, утрачивают эту способность после свадьбы, и очень удивился, когда однажды разозлил отца и он в два прыжка догнал меня».

От редакции. В этой новой (непериодической) подрубке литературно-критического раздела мы предполагаем печатать небольшие эссе и разборы, сосредоточенные на стилистической стороне произведений прозы и поэзии — современных и принадлежащих прошлому, положительных и отрицательных образцов. В названии рубрики использованы идентичные заглавия известных книг не худших наших литературоведов — Леонида Гроссмана («Борьба за стиль. Опыт по критике», 1927) и Ивана Виноградова («Борьба за стиль», 1937). И хотя это словосочетание отдает специфической семантикой 20 — 30-х годов, мы воспроизводим его отнюдь не в ироническом переосмыслении «соцарта» — полагая, что некое начало «борьбы» за словесность уместно и сегодня.

¹ Ландо Сергей. Опорные точки. Рассказ. — «Постскриптум», 1996, № 2.

Несколько страничек насыщенной, густой прозы, что странно длится и неожиданно обрывается, оставляя весьма приятное послевкусие. Редакционный врез сообщает, что по своей основной профессии С. Ландо — кинооператор. Достаточно симпатично: повышенная чувствительность к разного рода визуальным ощущениям выдает некий весьма зрелый художнический опыт. Натренированной оказывается не рука (подборка обозначена как «дебют»), но именно глаз. Так становится понятным, для чего, собственно, и были затеяны все эти рассказы: «кина» с его приматом внятной истории для адекватной передачи душевного опыта оказывается совершенно недостаточно. Конечно, можно снять особой выразительности кадр, выстроить его до мельчайших подробностей в соответствии со своим артистическим своеволием. Но сама природа кинозрелища, подчиненного непрерывному путешествию из «начала» к «концу», когда невозможно остановить то самое перехватывающее дыхание «мгновение» (просмотр в режиме «стоп-кадра» превращает тщательно продуманную композицию в смазанный полароидный снимок, из которого изымается жизнь), никак не потворствует медленному смакованию подробностей. Кино как раз и хорошо ураганным темпоритмом, монтажом, сменой планов и пластов. Нет, конечно, первая профессия дает о себе знать на композиционном уровне в части «монтажа» текста, когда состыковки отдельных «картинок» и «перебивки» работают на дополнительные смыслы. Но только литература позволяет наиболее точно передать малейшие движения человеческой души. Даже если движения эти оттакаиваются от зрительных ощущений. Увидеть, запечатлеть — лишь половина дела. Важнее показать, как жизненные (то есть внешние) впечатления переплавляются во внутренний опыт, как душа день за днем прирастает ими, взрослеет.

«На дороге лежала замерзшая галка. С утра на улице стоял горький запах сгоревшего мазута, такой густой, что от него мутило. Шапка, в которой я пошел в библиотеку, была украдена. Когда я погрузился в скрипучие деревянные внутренности библиотеки, кто-то подменил мою новую шапку на дурно пахнущий кроличий огрызок, с трудом налезавший на голову. Я брезгливо сдернул с себя этот просаленный кусок шерсти и понес его в руках. Уши зашипало. Трупик галки, попавшийся по дороге, был покрыт толстым слоем инея. Кристаллы с изящным равнодушием легли на крылья, глаз и на отпечаток тракторного протектора в остекленевшей земле».

Такое вот кино. Запутанный клубочек причинно-следственных трансформаций — внутреннее (брезгливость, тоска) через внешнее (сгоревший мазут, просаленный кусок шерсти) — и, наоборот, экзистенциальный ужас перед жизнью, сама жизнь (щиплет уши, мутит) и — равнодушная природа, уравнивающая в ледяном безразличии мертвую галку и следы шин на снегу (причину ее смерти). После «галка» срифмуется с гибелью мужика в телогрейке, который так же нелепо, не по-человечески, что ли, гибнет, попав под машину.

«Он медленно заносил ногу, выбегая из-за автобуса, и на него медленно наезжала машина, и эта доля секунды все тянулась и тянулась, и я открывал рот, чтобы крикнуть, а он вытянул шею, повернулся, но не успел увидеть...»

Каждый эпизод накручивает счетчик душевного напряжения, которое должно обязательно разрешиться не взрывом, так всхлипом. Но в том-то и дело, что это, МАЛЕНЬКИЙ, и есть обыкновенная жизнь. Что вовсе не хочет произвести особенно ужасного впечатления, но просто длится сама по себе. Как дорога или река.

Взросление как изменение оптики. Осознание себя как извлечение себя из общих мест, из окружающей тебя действительности. Сначала самые прозаические картинки, нищий быт послевоенный оказываются окутанными очарованием и тайной; самые простые действия несут в себе непостижимую какую-то глубину, чуть ли не обряда или ритуала. Но постепенно данность истончается, обнажая реальные свойства и формы, весьма будничные и незамысловатые.

«Городок словно уменьшился на моих глазах. Собственно, уменьшался весь мир под натиском ежедневных открытий, и это вызвало ощущение полной предсказуемости провинциальной жизни. Вот дом, в котором мне предстоит жить, вот завод, на котором предстоит работать, вот вечный сосед, вот март, который повторится через двенадцать месяцев, вот крысиное попискивание воды в водосточных трубах».

Беспричинный страх постоянства. Полная предсказуемость провинциальной жизни, как будто где-то есть какая-то иная, непохожая, жизнь. Ничего ж не изменится, глупый! Есть, конечно, милый каждому русскому сердцу город Париж, куда уехала (сбежала?) старшая сестра, любительница Аполлинера и Пляс де ля Конкорд, но не гарантирован ли и там систематический, каждые двенадцать месяцев, приход марта?

Узнавание себя как наступление безветренного, ВЗРОСЛОГО одиночества («взрослость» и есть единое и неделимое, неизбывное и ничем не разбиваемое чувство заброшенности миром в мир), обязательной обязанности быть интересным ну хотя бы себе. «Похоже, никому нет дела, что я сегодня впервые переплыл Волгу». Сам себе режиссер. Оператор. Или, тоже вот неплохо, писатель.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕВЛОСЕВЕ

Лев Лосев. Новые сведения о Карле и Кларе. Третья книга стихов. СПб. Пушкинский фонд.
Журнал «Звезда». 1996. 70 стр.

Если читатель этой первой изданной на родине книги стихов Льва Лосева не знаком с двумя предыдущими¹, да позволено мне будет выразить ему сочувствие, поскольку они, каждая, в два раза толще петербургской; эти две книжки, в свое время нежданно-негаданным фейерверком расцветившие эмигрантские небеса, карнавалы отметившие «праздник, который всегда с тобой» (читай: прошлое), уж точно бы убедили читателя, что «Левлосев не поэт». Поскольку вот ведь у него какое разумение:

Поэт есть перегой, в нем мертвые слова
сочатся, лопаясь, то щелочно, то кисло,
звук извлекается от смысла, а
аз, буки и т. д. обнажены, как числа,

улыбка тленная уста его свела,
и мысль последняя, как корешок, повисла.
Потом личинка лярвочку прогрызла,
бактерия дите произвела.

Поэт есть перегой.
В нем все пути зерна,
то дождик мочит их,
то солнце прогревает.

Потом идет зима
и белой пеленой
пустое поле покрывает.

Это о поэте. (Левлосевские строки чаще всего улыбками «в сторону» типа «Пушкин «путем зерна» произвел Ходасевича» признаются в соавторстве.) А о поэзии и того пуще, вплоть до кошунства: «поэзия есть базис и надстройка — / поэт как флейта и скрипка как койка, / она летает над самой собой, / как над погромной кровью пух перинный». И всех пунктов этого определения Левлосев неукоснительно придерживается, не исключая и «флейты», даже в «сведениях о Карле и Кларе» она поет — именно поэтому они и «новые» для меня. (Кстати, последняя строфа, на мой слух, избыточная, приглушающая музыку; Лосев здесь проделал работу критика — хотя, возможно, читателю так проще.)

А может, он поэт как раз в первоначальном значении этого слова, особенно если чуть снизить тональность перевода с греческого: не «творец», не «создатель», а, скажем, «изготовитель» — как еще и буквально («maker») перевел «поэта» английский язык для устной риторики.

Согласимся: «Левлосев не поэт» — he is a maker. Ведь сколько заделал он поэзии кукол вида «как живые» (все эти иванпетровичи, фаддейвенедиктычи и прочие разные «тайные советники»), сколько живых картинок, и все они «тикают и говорят время». «Ах, сударь, все, что нужно от часов, / чтоб тикали и говорили время»... «Послушайте, вы это о стихах? / Нет, о часах, наручных и карманных...» «Нет, это о стихах и о романах, / о лирике и прочих пустяках». Левлосев не поэт, он часовщик.

Его натюрморты — с фамилиями. Его пейзажи — с news. Его лирика персонажна, сюжетна, фактурна. Стихотворение у него — изделие, вещь, увенчанная

¹ Лосев Лев. Чудесный десант. Нью-Йорк. «Эрмитаж». 1985; Лосев Лев. Тайный советник. Стихотворения. Нью-Йорк. «Эрмитаж». 1987.

именем, — за исключением тех случаев, когда вещь лирическая не хочет называться. Иногда хочет. «Почерк», например:

Треть пропить-прокутить,
треть в кулак просвистеть,
треть оставить сыночку и дочке.
Неприятно на собственный почерк смотреть,
на простывшие эти следочки.

.....
Ни бумаги не надо,
ни карандаша,
только б сыпало инеем с веток,
да посвистывая б, погуляла душа,
погуляла б душа напоследок.

Пусть «Почерк» послужит еще и примером лирики в стиле «песни без слов», а то ведь именно словами, сл о в ц о м, избыточностью его славится Лосев, неумным остроумием, переводящим «песню» в шутку, каламбур, анекдот, но на самом-то деле и он не так уж редко впадает в «ересь простоты», пусть и не «неслыханной».

Однако и его «неслыханность» (без нее нельзя никому никогда) сложной не назовешь, все в его стихах понятно, только — неожиданно, непредсказуемо, а если что и непонятно, то лишь откуда берется эта неслыханная свежесть поэтических ходов и поворотов. Но на каком-нибудь особенно остром повороте вдруг становится ясно, что все эти «ходы» прежде всего повторяют ход чувства, движение непредсказуемой жизни души, а уж потом попадают в руки мастера.

«Отрежьте ему ананаса / за то, что он скоро умрет» — эта строчка из «Юбилейного» Лосева определенно «говорит время», поскольку «тикает» в ответ на яркую и несправедливую книгу Ю. Карачиевского «Воскресение Маяковского», на перестроечную разборку с Маяковским. Но тикает-то она (как и все стихотворение) так пронзительно, поскольку — в лад с тикающим устройством внутри ее автора. Приведите себя в подобное состояние чувствительности — и вы напишете не менее свежо, и ваше *mot* защитируют.

Потоскуйте за другого в разгар своей тоски — и «давно разоблаченную мороку» вы «разоблачите» не менее успешно:

Декабрьские дикие сны.
Ночи с особым режимом.
Не я, а рельефная карта страны
лежит на матрасе пружинном.

Из мелкой подушки мой питер торчит —
и надо же этак разлечься! —
то нешется вильнюс, то киев бурчит,
то крым подбивает разлечься.

Но слева болит, там, где кама течет,
в холодной пермяцкой подмышке,
где медленно капает время в зачет
несчастному Мейлаху Мишке.

Самый выпуклый «пейзаж души» (Рильке) вырисовывается, когда на видном месте торчит душа другая.

Очаруйтесь всерьез и надолго пейзажем русского языка — и вы объяснитесь России в любви языком, каким с ней до сих пор не разговаривали:

Тринадцать русских

Стоит позволить ресницам закрыться,
и поползут из-под сна-кожуха
кривые карлицы нашей кириллицы,
жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! — как объяснить им попроще,
нечисть счищая с плеча и хлеща
веткой себя, — и вот ты уже в роще,
в жуткой чашобе ц, ч, ш, щ.

Встретишь в берлоге единоверца,
не разберешь — человек или зверь.
«Е-ё-ю-я», — изъясняется сердце,
а вырывается: «Ъ, Ы, Ъ».

Кто еще преподнес Музе в подарок столь невиданного зверя: с хвостом неслыханной рифмы?! Любите талантливо и пишите талантливо. «Все прочее — литература».

Кстати, о «литературе» у Лосева — не в верленовском смысле (антимузыке), а о литературе в форме пресловутых цитат, аллюзий, литературных и словесных игр и т. д. Не говорят ли те же «Тринадцать русских», что «словесная игра» может быть той музыкой — «неслыханной» в данном случае! — что с легкого языка Верлена стала эталоном качества стиха? И хотя наш век «тикает» другой музыкой, поет другие песни, сам эталон все еще эталон. А чем литературная игра хуже словесной? Если ничем, то тогда с цитатами, чужими голосами, всем тем, о чем Лосев говорит в своем «Подражании», и совсем легко разобраться. «За музыкую только дело». Не за постмодернизмом.

Я не знаю другого поэта, стихи которого бы в такой степени производили физическое ощущение эха, иногда эха многоголосого, когда голоса перетекают друг в друга в пределах строфы, фразы. Но звук эхо всегда должно нести новый, то есть сопровождать новый смысл. Что литература, стихи, песни — скороговорка становится новым смыслом, и этот весьма сильный художественный жест заслуживает места на обложке новой книги поэта. А созданный смысл в данном случае скорее чувство, нежели мысль. Напряженность ощущения чужого существования, например. Щемящее, затопляющее чувство жалости к любому «смертнику» под этим небом, будь то старая дева, старое дерево, старое слово.

Лосев — не только «поздний петербуржец» согласно классификации Виктора Топорова², но и припозднившийся «поздний петербуржец», поскольку по возрасту (он 1937 года рождения, и это, кстати, означает, что в нынешнем году надо бы достойно отпраздновать шестидесятилетний юбилей замечательного поэта) ему бы следовало быть среди самых ранних «поздних петербуржцев». Он и был — только живьем, а не стихами; стихи он начал выводить в свет уже ближе к сорока годам, только когда всерьез стал принимать их за стихи — то есть когда сам услышал в них незнакомый ему голос. Об этом упоминает он в предисловии к своей первой книжке «Чудесный десант», вышедшей уже в эмиграции, в Америке, накануне пятидесятилетия новоиспеченного стихотворца.

Много ли мы знаем таких поздних стартов? Лосевского уровня, может быть, ни одного. Уровень и достигнут возрастом. Лосев всех перехитрил, у него нет ни одного не своего, «никакого» стихотворения, все с головы до пят — левлосевские. Есть, конечно, и у него менее удавшиеся вещи, есть, на иной вкус, совсем не удавшиеся, но ничего от ученичества и подражательности юношеских или занудства проходных стихов в них нет. Как правило, они грешат некоей неконтролируемой резвостью слова, безоглядным озорством, что-то в них есть от детей, в принципе не способных «сидеть тихо». Отыгрывается «нерастрченная молодость» или опять все дело в музыке? Поскольку Лев Лосев двулик (поэт и не-поэт, лирик и эпик, традиционалист и авангардист, модернист и постмодернист — словом, «лев» и «лось», как намекает его имя), то и музыкально он двуприроден: «серьезная» (классическая и новая) музыка сменяется легкой — его «проходными» интермеццо в форме шуток, эпиграмм, баек.

Над созданием Лосева-поэта хорошо поработала и эмиграция. Вслед за Куприным в «Олесе» уподобим ее действие на поэта действию ветра на костер (Куприн, правда, говорил о любви и разлуке — фактически о том же): малый поэтический дар эмиграция гасит, большой разгорается на ветру разлуки с родными краями. (Эмиграция часто раздувает и графоманию, но это, как говорится, совсем другая история.)

И левлосевский поэтический огонь занялся с хвороста ностальгии. Интонационно ностальгические стихи занимают полный спектр от смеха до слез (до двух-

² См.: «Поздние петербуржцы: поэтическая антология». Составление Виктора Топорова при участии Максима Максимова. СПб. «Европейский дом». 1995.

трех слезинок, если уточнить), от беспощадности памяти до сдачи на милость чувств, над коими не властен: «И по такой, грущу по ней». А по какой (родине)? В первую очередь — честно и пристально вспомненной, не приукрашенной, несмотря на недостижимость, не прощенной, когда простить нельзя, и прощенной, как только можно. Никто из поэтов послевоенной эмиграции не создал столь живой образ «застойной» России, какой она видится на расстоянии, осмысливается по западную сторону железного занавеса. «Тоски по родине», и порой гениальной, в поэзии всегда хватало и хватает, но вот родину, вызывавшую тоску и на родине, кто еще увековечил в длинной веренице стихов, дарящих столь острую радость узнавания? «Эдем» Алексея Цветкова великолепен, но в большей степени он — «пейзаж души», нежели страны. Лосев же дает пейзаж хронотопа.

Поэту повезло, что один из китов, на которых держится российский континент, таким не оказался в новой цивилизации: его отсутствие замечательно структурировало цикл «Памяти водки» — произведение в такой же степени про водку, но не о водке, как и «Москва — Петушки», например. В поисках утраченной «водки» память поэта сканирует прошлое и воскрешает его в живейших стихах. (Нужно ли оговаривать, что речь шла не об отношениях автора с водкой в его частной жизни, а об эстетических отношениях водки к действительности?! В Америке эти отношения пренебрежимо малы, экстаз опьянения для недавнего эмигранта оборачивается отторжением душевных тканей, пытающихся прирасти к новому организму. «Что-то не пьется» — лейтмотив многих эмигрантских сочинений. Впоследствии все «образуется», но на иной основе — не надрывной. И Лев Лосев напишет свою уже чисто вакхическую песню — во славу «бесконечных грядущих пиров».)

Такую же услугу ему со временем окажет русская литература (второй кит, поддерживающий — все еще? — российский континент), разве что механизм действия ее противоположен: «русской водки», то есть водкопития, нет и не вернуть, а русской литературе куда деться? Она, напротив, обрастает жизненной плотью в той жизни, чья плоть не то чтобы призрачна, но... как-то перпендикулярна твоей собственной. «Один день из жизни Льва Владимировича» (отметим ради объективности банальность такого обыгрывания названия, увлекающего отличную вещь в сферы капустника) — это «марсианское» существование достойно предстает в немногих, но голосащих деталях.

Как «водка» собирает самые первые свежие воспоминания о прошлом, так «литература» организует размышления о нем, о своей судьбе, да и о стране, породившей эту великую литературу. Метафоры от литературы идут мощным валом. Одна из самых известных, например, — «ПВО», вариации на тему «Песни о вещем Олеге», вариации на тему, грубо говоря, «национального вопроса». В этой вещи и во многих ей стилистически подобных оттачивается лосевский сплав сарказма и лиризма — знак качества его стихотворной продукции.

Однако столь густая литературность стиховой ткани хотя и не ослабляет ее музыкальности («ПВО», например, действительно песнь: «Я пена по Волге, я рябь на волне, / ивритогибрид-рыбоптица, / А. Пушкин прекрасный кривится во мне, / его отраженье дробится. / Я русский-другой-никакой человек. / Но едет и едет могучий Олег») — она лишь временный этап для поэта, живущего в эмиграции. Естественный ход жизни (и на «Марсе» есть жизнь) восстанавливает естественные пропорции литературы и жизни в поэзии. В последней книжке Лосева литературы заметно меньше. Может быть, мы вправе прибавить еще одно «после» к тем формообразующим факторам, что вехами отмечают рождение и жизнь личного языка Льва Лосева: после молодости, после отъезда из дому навсегда, после «водки», после «Освенцима»?

Для человека, родившегося в 1937 году в СССР, традиционный круг «проклятых вопросов» расширяется за счет включения в него вопроса Адорно «Как сочинять музыку после Освенцима?» двойной, так сказать, мощности: не потому, что нужно прибавить еще ГУЛАГ, а потому, что — не после ГУЛАГА, а рядом. По стихам обычно видно, задавался этим вопросом автор или нет. Вопрос присутствует именно что в музыке сочинения. Я не возьмусь вышелушить его из музыки, но прислушайтесь к такому вот *allegretto* — третьей части написанной Лосевым недавно «Сонатины безумия»:

Портянку в рот, коленкой в пах, сапог на харю.
 Но чтобы сразу не подох, не додушили.
 На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь.
 Содрали брюки и белье, запетушили.

Бог смял меня и вновь слепил в иную особь.
 Огнеопасное перо из пор поперло.
 Железным клювом я склевал людскую россыпь.
 Единый мелос торжества раздул мне горло.

Се аз реку: кукареку. Мой красный гребень
 распространяет холод льда, жар солнцепека.
 Я певень Страшного Суда. Я юн и древен.
 Один мой глаз глядит на вас, другой — на Бога.

Такая вот реинкарнация Орфея в конце XX века. Называется это *allegretto* «Шантеклером», и можно, хотя и не обязательно, вспомнить другого «Петуха», певшего не на закате, а на восходе нашего века, — «Шантеклера» Ростана. Там поэт в образе птицы, каждодневно провозглашающей утреннюю зарю, решает проблему осознания, что не благодаря его «кукареку» восходит солнце. Что нужно все равно оповещать об этом мир, хотя и обидно, что не ты даруешь ему жизнь. Ну, роستانовский «Шантеклер» — это сияние, благоухание, ликование чувства и слова. Разность эстетик двух «Шантеклеров» равна падению — в безумие — этики нашего века. Так работает Лев Лосев.

«В парке под музыку в толпах гуляк / мерно и верно мерцает гулаг» — здесь Лосев, прогуливающийся с Владимиром Максимовым по дорожкам какого-то немецкого парка, ласково трунит над максимовским неизменным душевным состоянием в эмиграции, но видит ли сам поэт эту картинку метафорой своей собственной музыки? Впрочем, «Шантеклер» прямо оповещает о том, каков его мелос.

Возможно, поздний старт Льва Лосева объясняется еще и тем, что он долго искал ответ (скорее всего, подсознательно) на «вопрос Адорно» в отечественной версии, ставя ударение и на «как»: как сочинять, чтоб можно было сочинять?

Страх совершить бестактность по отношению к мученикам, к тем, кого не утешить никаким состраданием, табуирует пафос, сентимент, чернит его юмор до степени юмора висельника, толкает на панибратство с мучениками — ради попытки таким детским способом их воскресить: вы, мол, с нами, в нас, и что же, мы с вами будем на цыпочках разговаривать? не то чтобы мы хотим на равных, а просто мы говорим с вами как с живыми; отсюда все эти «задери-подол-Маринка» (а ведь «маринист»!) и др. С классиками Лосев особенно непочтителен; что угодно с ними сотворит, лишь бы не дать им забронзоветь. Впрочем, канкан «святых» пляшет у Лосева еще и ради самого канкана; его сознание явно карнавальное, добрая доля его стихов — это перевертыши, оборотни, «низ» взгромоздится на чей угодно «верх», табу здесь не существуют. Интермеццо: «Бахтин в Саранске», «Пушкинские места», «Из Блока» и многое, многое той же разгульной музыки. Для Лосева один закон в силе — закон сохранения энергии, страдание, преобразуемое в то же количество веселия духа. При юмористической природе его дара ему и карты в руки.

На поверхностный взгляд кое-что из лосевских вариаций на советскую тему кажется примыкающим к соцарту, но при внимательном прочтении слышится еще какой личный язык, просто голос невозмутим: «Умер проклятый грузинский тиран. / То-то вздохнули свободно грузины. / Сколько угля, чулана и резины / он им вставлял в производственный план. / План перевыполнен. Умер зараза. / Тихо скончался во сне. / Плавают крупные звезды Кавказа / в красном густом кахетинском вине». Это не соцарт, это арт, это чистая лирика, если хотите; это та нота, рождение которой есть все основания приветствовать «Одой на 1937 год»:

Ты та. Так, значит, все же проросла,
 не извели врачи и душегубы,
 имея день рожденья без числа,
 звуча, но не имея места в гамме,
 по отношенью к дому кверху ногами,
 по эту сторону добра и зла,
 вода ножом по мутному стеклу
 и об него ж расплюща нос и губы...

.....

«Не извели врачи и душегубы», — юродствует левлосевская нота в соответствии с его пониманием поэзии: «она летает над самой собой, / как над погромной кровью пух перинный». Сравнение, конечно, смелое, даже настолько смелое, что только эстетическое мужество в довольно глубоком смысле оправдывает подобную поэтическую вольность. «Шантеклер», произведение, к которому хочется вернуться, потому что оно представляется незаурядной удачей поэта, тоже весь замешан на сплаве смелости языка и мужества мыслечувства.

«По эту сторону добра и зла» — о да, Лосев определенно по эту сторону всего на свете, включая небо. Несколько раз, правда, появляются в его стихах ангелы, но только когда они имеют сугубо практическую цель — десантом спуститься на Ленинград и вывезти заложников (на манер операции Энтеббе), чудесный (в смысле — невероятный) сюжет становится чудесной поэзией. Хорошо, что первый сборник стихов Льва Лосева называется именем одной из самых обаятельных его вещей — «Чудесный десант» (своего рода «перевернутое» знаменитое ленинградское самолетное дело).

Что касается Бога в лосевских стихах, то, во-первых, Лосев из тех, для кого по крайней мере есть «всесильный бог деталей», «всесильный бог любви» (недаром одно из лучших стихотворений третьей книжки — «30 января 1956-го года. (У Пастернака)»: «...день, меня смявший и сделавший мной»); ну а Бог личный чаще всего сидит в кустах и высматривает оттуда человека, не окажется ли тот закваски Моисея. «Тщетно ищет человека / Бог из глубины куста». Одна из многих его острых метафор, но это больше о человеке, чем о Боге. Нет человека вне зла, вернее, нет человека «по голове» в добре, а если и есть, ему не попасть под лосевскую руку, под его резец гравера. Но:

А как гравер изображает свет?
Тем, что вокруг снованье и слоенье
штрихов, а самый свет и крест — лишь след
отсутствия его прикосновенья.

Здесь «свет и крест» — конкретные детали пейзажа, о котором идет речь в одном из стихотворений цикла «Подписи к виденным в детстве картинкам»; разумеется, они же и символы. Однако в этом своем качестве они сильно отличаются по яркости в поэтическом мире Лосева. «Свет» как раз очень ярок, несмотря на множество мрачных картин, «штрихи» тьмы свет великолепно выделяют, а что касается «креста», как символа религиозной веры (не непременно христианской), то он почти неразличим, смутен, но, что интересно, эта смутность определена поэтической формой: Лосев свой агностицизм сделал темой «неминуемого неизменного», и так она и звучит — «неизменного»: «Что-то подходит к концу, это точно. / Что-то, за чем начинается то, что / Бог начинает с конца».

Но с человеком Лосев разобрался, здесь все ясно и четко и не так уж плачевно: каждое «я» — буква в поэме бытия человечества, и если никому не прочесть эту поэму от начала до конца и язык ее непереводим, то, слава Богу, есть и язык, внятный нам, так сказать, язык лирических отступлений в мировом эпосе, тот самый, к которому каждый имеет непосредственное отношение, да и обязанность: «на перегное душ и книг / сам по себе живет язык». Этот перегной — один из самых сильных источников света в поэтическом мире Льва Лосева.

Лилия ПАНН.

США.

*

«КИЕВСКАЯ ШКОЛА»: ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН?

Какие мы? Попробуем понять... Киевская школа русской поэзии. Київ. Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України; Київське національне культурно-просвітницьке товариство «Русское собрание». 1996. 398 стр.

В Киеве вышла очень важная книга — поэтико-прозаический сборник в двух частях: «Практика» и «Теория». Поддержку в его выпуске оказали Российское и Украинское министерства по делам национальностей. (Такое бы единение да в вопросе о Черноморском флоте!)

Возможно, впервые с момента распада «единого культурного пространства» (так обычно целомудренно величают крах Империи) мы становимся свидетелями «коллективного сознательного» группы сочинителей, объединенных потребностью самоидентификации.

Необычность же самоопределения состоит в том, что основной темой рефлексии является, собственно, не то, что и как сочиняется (литературоведческий анализ), не то, про что сочиняется (анализ тематический), но то, на каком языке, где и по отношению к чему (иной культуре, среде, языку) сочиняется. То есть предметом самоанализа становятся культуро-био-географические особенности поэтов, волей Рока обретших новую реальность.

Вторая, теоретическая, часть значительно меньше первой по объему, но для нас представляет больший интерес, поскольку авторы пытаются поставить в ней общие вопросы, которые в переломные эпохи могут определить стратегические цели, то есть помочь: а) сохранить то, что оказалось под угрозой исчезновения, б) нащупать новый художественный язык, соответствующий новой реальности. Она же, увы, трагична: впервые русская культура и ее представители оказались в ситуации внешней по отношению к национальной культуре, причем, с точки зрения последней, не просто внешней, но несущей угрозу ее собственному существованию.

В первой части опубликованы стихи восьмидесяти пяти авторов. Самой младшей участнице — А. Каплиенко — одиннадцать лет. Многие из пишущих представлены одним-двумя стихотворениями. Главное отличие от, например, всем памятных «Дней Поэзии» — территориальное. Авторы — или киевляне, или бывают в Киеве, как-то с ним связаны. Конечно же, прописка или виза — малые основания для создания поэтической школы. И большей частью здесь мы имеем дело с результатами не поэзии, но стихотворчества.

Если стать на точку зрения М. Гаспарова, разница между плохим и хорошим произведением — плод чистой случайности, но нам, в свою очередь, кажется, что подобный взгляд — плод рационалистического отчаяния: действительно, почти невозможно в общих и для всех убедительных терминах описать отличие «хорошего» стихотворения от «плохого». И все-таки параметры «плохого» стихотворения поддаются определению, притом не только на уровне версификации (немотивированная рифмовка, случайные сбои в размере, неудачные инверсии и т. п.), но и на семантическом. Плохие, слабые стихи всегда «частичны» по отношению к своим первообразам. То есть: в поэзии существуют некие идеальные тексты, не только и не столько впервые, сколько максимально интенсивно описавшие нечто неформализуемое (эмоции, ассоциации, воспоминания), нечто, именно и только в них явленное, искусственным путем (подражание, перепев) не воспроизводимое. Большинство же предлагаемых в «Практике» текстов воспроизводят как раз чужие качества (формальные, языковые, образные), свидетельствуя о наличии самого опасного литературного вируса — вторичности. Что, помимо чисто индивидуальных недочетов, стало причиной этой печальной картины, скажу ниже. А пока замечу, что причины внешние — например, отъезд наиболее талантливых — вряд ли могут объяснить суть происходящего и являются, скорее, следствием глубинных тенденций в нынешней литературной и, шире, культурной ситуации на Украине.

Здесь же отмечу одну явную особенность сборника: наиболее яркие стихи написаны женщинами. Возможно, большая психическая гибкость позволяет поэтессам выдерживать удары неумолимой Судьбы и точнее переводить их на язык литературный. Но начнем мы с патриарха русской поэзии на Украине.

Леонид Вышеславский — поэт несомненно состоявшийся, но вот уже многие годы пребывающий в кругу одних и тех же тем и приемов. Именно осознаваемая им самим скромность поэтического хозяйства не позволила ему стать ни лидером, ни учителем молодых киевских поэтов. И во включенной в книгу подборке стихов он, верно определив и точно обозначив тему, так и не смог перебороть привычку к простому называнию: описанная им реальность распада не обрела трагического накала.

Стараюсь понять: что же все-таки случилось?
Зачем неотвязчиво, неотвратимо
на многих волной накатилась усталость,
как в пору крушенья имперского Рима?

Среди более молодых и, соответственно, менее или вообще неизвестных поэтов следует выделить нескольких, добившихся относительных удач. Стихи Натальи Бельченко (студентки филологического факультета КГУ) отличает точность ритма и развитая культура поэтической речи. Да и предметом ее лирических медитаций в первую очередь становится Язык: «Язык ли это есть? Когда-то был язык / Подсушенный листок, укрытые скарабея, / Гортани и губы колеблющийся стык...» Кроме того, Бельченко использует интересный прием, который мы условно можем назвать поэтической травестией. Видимо, ей кажется, что ее голос прозвучит интенсивней под мужской лирической маской:

Спой мне песню, как в трагичном
И привычном декабре
Я кричал «сарынь на кичку»
С ржавым дротиком в ребре...

Но подобная поэтическая смена пола опасна перерастанием мужественности в грубоватую невнятицу: «И тянется тоска моя гнедая/ Откусывать язык небытию» — или: «Я на сердце свое первородно губами наплз».

Той же болезнью, что и Вышеславский, — отсутствием поэтической энергии — страдает Елена Волковая:

Дали мне предки, глядящие строго
Из зеленеющей глуби времен,
Право на слово, на жизнь и тревогу,
Боли и памяти русский закон.

Лучшее, на мой взгляд, стихотворение сборника также принадлежит поэтессе, причем ясность и жесткость, точную и мерную поступь ему придадут трехстопность и мужская рифма в самом «пешеходном» русском размере — амфибрахии:

Янтарная тихая плоть,
покорная жидкая прядь.
Наверное, знает Господь,
кому и за что умирать.

Сквозь воздух, сквозь все времена,
сквозь стыдное облако мук
так чувствует боль тишина,
когда выпадает из рук

какая-то миска с крупой,
какой-то последний пятак...
Наверное, знает скупой,
кому умирать натошак.

Мы были средь звонких светил
босыми простыми людьми.
Ну что же ты, Господи Сил,
возьми, но потом прокорми

соленой селедкой простой,
чернеющим сердцем гвоздя,
вселенской, как свет, красотой,
которую выпить нельзя...

Следует отметить, что автор — Елена Зуева — училась в Москве.

Среди мужчин я бы выделил А. Кабанова, наиболее самостоятельного, со своим поэтическим миром, художника. Интонации его близки той линии русской поэзии, которую можно условно окрестить «ироико-ироничной» (А. Введенский, поздний Г. Иванов, Ю. Одарченко, Т. Кибиров, С. Гандлевский во фрагментах etc.): «Чижик-пыжик пышет жаром, / пахнет спиртом птичий пот, / медь сияет, и недаром / хор пожарников поет...» — или: «Стихи растут из ссор поэта с мирозданием, / но их стригут в упор, их кормят состраданием. / Вы сможете не спать, вы сможете не плакать: / в ивановскую мать, в абрамовскую слякоть / несется, гоп-ца-ца! шальная птица-тройка, / кровавого сенца откушавши. Постой-ка! / ...Люблю твои глаза. Светает еле-еле: / все пробки в небесах опять перегорели».

Его образы лежат в пограничной между безвкусицей и поэтической смелостью области, и, естественно, к той или иной границе их приближает интонация подлинной или наигранной боли. «Поэт — сплошное ухо тишины / с разбитой перепонкой барабанной» — метафора раннемаяковского типа. Стихотворение же «Мифосмещение» (с явным мандельштамовским подтекстом) неудачно; например, стих «опять богам наставили рогов» напоминает коммунальную сплетню, не более.

Обращают на себя внимание отдельные сюрреалистические строфы С. Щученко: «Движенье кисти завершает па / и плавно погружается во тьму, / где падают снежинки — черепа / по траектории немого почему. / Где в полночь осыпаются мосты / и глохнет крик на взмахе топора...» Самое удачное в его цикле «Ни единым словом» стихотворение опирается на дактилическую перекрестную рифмовку, что придает ему песенное и оттого искреннее звучание:

Это все ягоды — горькие, сладкие,
все перепутали — с ног да на голову.
На карусели цветными лошадками
выпали и разбежались по городу.

Вот, собственно, и все, что мы смогли отыскать в глубинах «братской могилы». «Вышло не густо», говоря словами того же С. Щученко. Не вдаваясь в анализ того, возможен ли в принципе успех в поэтическом сборнике с подобным способом отбора авторов, мы займемся более важной проблемой: почему на фоне отдельных ярких строк, строф, стихотворений отсутствует первый план — состоявшийся поэт, выразивший через свой личный мир окружающую его и быстро остывающую Вселенную?

Во второй части сами поэты размышляют о том, составляют ли они единую киевскую школу русской поэзии. При этом амплитуда ответов колеблется от категорического «нет»: «Поэтической школы в Киеве нет, так как талантливые люди из Киева уехали» (И. Карпинос) — до столь же категорического «да»: «Русская школа поэзии в Киеве есть. Она не может не существовать, коль скоро существуют русские поэты» (В. Шлапак). Причем второе положение достаточно детально развивается в некоторых статьях. Так, организатор издания Алла Потапова, она же участник и поэтической и теоретической частей, она же президент ЛИКА (литературно-интеллектуального клуба), вычленяет три, на ее взгляд, основные тенденции именно киевской школы: 1) талантливость, 2) углубленное отношение к слову и 3) то, что «киевские русские поэты... много печатаются». Но совершенно очевидно, что любой из трех пунктов не является отличительной чертой той или иной школы.

Более дифференцированный подход демонстрирует составитель сборника, участник поэтической и теоретической глав, В. Дробот. Он перечисляет «6 особенностей русской поэзии Киева: 1) избранность, 2) гонимость, 3) стоицизм, 4) сплоченность, 5) чувственность, интеллигентность или лиризм, 6) колорит». Но стоит взглянуть, и мы опять-таки увидим, что ни одна из этих особенностей не является, во-первых, присущей исключительно киевской школе и, во-вторых, не характеризует самый способ письма, не определяет основные темы, не описывает культурные ориентиры, не указывает на собственный поэтический генезис и никак структурно не очерчена. Само понятие поэтической школы (а это не кружок, не литобъединение) оказывается размытым, школа — она и направление (В. Мацуцкий), и «вопрос... нашей совести» (Е. Чуприна), и «проявление воли» (И. Янович).

Более трезвой выглядит статья М. Ивченко. Автор подвергает анализу то, без чего возникновение школы вообще невозможно, — реальный литературный процесс (а не спорадические собрания, поэтические вечера, выпуски альманахов и журналов). Литературный процесс — живое и постоянное единство индивидуума и культурной среды. Есть ли на Украине культурная среда, ориентированная на нынешнюю Россию, — вопрос другой, как говорят в бывшем русском городе Одессе.

Лапидарна и непротиворечива формулировка А. Домбровского: «Я полагаю, что на всех территориях, так или иначе находившихся под протекторатом русской государственной администрации, исторически обоснованно и ситуативно корректно существовала и донныне существует русская литература, в частности — русская поэзия». Но если доводить дефиницию автора до логического завершения, то русская поэзия на Украине должна исчезнуть или приобрести статус эмигрантской. Возможно, в этом есть доля истины.

М. Петровский в своей статье «Инкогнито к нам едет ревизор» пытается прозреть будущее киевской поэзии сквозь «магический кристалл» славной истории матери городов русских. Экстраполяция, к сожалению, в культуре почти не работают. Увы, имена прославленных киевлян — С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Шестова, М. Булгакова, А. Вертинского, К. Паустовского — если и сулят появление новых столь же блестящих деятелей культуры (земля украинская богата на дары), то при этом указывают и направление, в котором рано или поздно двинутся гипотетические таланты, — на Восток, в Россию, а оттуда — не исключено, что и на Запад — в Европу или США.

И поэтому надежда на возможное оправдание поколения тем грядущим персонажем, кого автор остроумно называет «ревизором», уничтожается сослагательностью предположения: «Завтра, быть может, кто-то... станет поэтическим выразителем эпохи, ее неотменимым и незаменимым знаком».

Но ведь может и не быть.

Вот какие напрашиваются выводы.

Киевская поэзия уже никогда не будет русской, но и эмигрантской, возможно, не станет. Ей вполне может быть уготовано место этнографического казуса, провинциального недоросля. «Моя ребяческая спесь / да томик Тютчева в кармане» — так писал один из действительно интересных киевских поэтов, увы, в данный сборник не вошедший, Б. Марковский. Он «учился» у Мандельштама и Тарковского, а ныне живет в Германии и переводит Рильке. «А в левом боковом кармане / Страницы Тютчева в крови» — так писал малоизвестный у нас эмигрантский поэт из «незамеченного поколения», князь Н. Н. Оболенский.

В общем-то, та же тема. Но в одном случае — «ребяческая спесь», в другом — кровь раненого офицера...

Итак, книга действительно очень нужная, оказывается нужной именно фактом своей отрицательности, отсутствием сильного самобытного голоса. Как архимедова вода, она образует среду, из которой может быть вытолкнуто что-то и впрямь весомое.

Главным же свойством этой среды является эта самая «ребяческая спесь», отвлеченная созерцательность, клюквенный сок вместо крови, в общем — теплохладность. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» — вот самое страшное предупреждение художнику в перспективе конца.

Рушится Империя, родной, до боли знакомый, пронизанный судьбой любимых поэтов язык вдруг оказывается иностранным, страна, в которой ты еще вчера жил, — за границей, а собственная — географическим местом обитания, штампом для регистрации, а в лучшем случае — некрополем, городом, стоящим на обломках еще недавно Великой Культуры, музейным стендом, говорящим о прошлом на языке развалин. Это же — малый Апокалипсис, и нужно что-то делать, но никак не плыть по реке, которая неизбежно впадет в ледяное озеро на дне Ада.

Или — стать изгнанником в собственном доме, со всеми вытекающими последствиями: вселенской тоской по оставленному Отечеству, вечным комплексом чужеродности, неприкаянным странничеством, болью из-за невозможности вернуться; И. Бунин, Г. Иванов, Б. Поплавский — вот тени великих изгнанников, сделавших потерю победой над временным.

Или — принять и восхвалить новый порядок, стать его верным певцом, забыть, вычеркнуть прошлое (крик боли у «холодного» Набокова, когда он отказался от родного языка), проклясть Империю, сбросить себя прежнего, как змеиную кожу, и выйти рожденным заново, чтобы из боли и ненависти сотворить еще небывалые слова о новой Отчизне.

Или — отказаться принять новую действительность, жить прошлым и беречь его в тайниках своей души, сделать отверженный русский язык языком мифов, тем языком, на котором разговаривали герои и гении в сагах и сказаниях, и воспеть ушедшую Россию — заплатив за это отверженностью и чуждостью.

Любой из этих путей есть подвиг, есть крест, но лишь взвалив на свои плечи такой груз прошлого и боли можно стать поэтом.

Но этого нет — от растерянности ли, от слабости?

В. Стус был больше «империалистом», чем нынешние созерцатели, — он ненавидел и проклинал Империю, и из боли возникла великая Поэзия.

И. Бродский бежал от Империи, но боль настигла его из прошлого (любовь, Петербург, Нева) и пропитала собой лучшие стихи.

А. Тарковский остался и принял молчание и пустоту вокруг себя как плату за возможность «прямой свободной речи».

И главным был даже не масштаб их дарований, но дерзновение, с которым они шли до конца.

Среди участников сборника, бесспорно, есть люди одаренные. Но для них онтология стала филологией, филология превратилась в клуб. В их словах нет боли и ужаса, нет страха и страсти, нет осознания того, что мир, из которого все мы вышли, — кончился раз и навсегда и надо или воспеть эту кончину ценой своей судьбы, или признать свое полное и безоговорочное поражение в борьбе с эпохой.

Александр ЗАКУРЕНКО.

Киев.



ВСТРЕЧА

Вадим Скуратівський. Історія і культура. Київ, Українсько-американське бюро захисту прав людини. 1996. 297 стр.

Имя Вадима Скуратовского будет с заведомым уважением произноситься швейцарскими или, положим, американскими славистами и культурологами. Проплывет он как смутная экзотическая фигура в сознании московской интеллектуальной элиты («Такой умный, а не москвич и не петербуржец»). Вызовет бурю разноречий в аналогичных кругах киевских (поскольку автор не встал ни под одно политическое знамя, зато успел нелицеприятно высказаться в адрес всех «крайних» любых национальностей, ментальностей и должностей). Наконец, имя автора практически ничего не скажет хотя бы относительно широкой культурной аудитории ни в России, ни в Украине. О чем и предвещает аннотация: «Книга — по сути, первая настоящая встреча такой аудитории с таким автором».

Но за этой встречей внутри книги проступает иная — публичному глазу не видная, зато внимательному читателю напоминающая о некоей давнишней ветхозаветной встрече Иакова, внука Авраама.

...Встретились они давно, хотя Первый из них об этом знал изначально, а второй, Автор, начал догадываться много позже или, может, не позволяет себе догадаться по сей день. Первый твердо ведал, что любая «эпоха», «историческая полуса», «формация», «система» есть только малый остров, омываемый морем-окияном вечности, и что вокруг всяких фараонов, императоров, гетманов, президентов, либералов и автократов, душегубцев (по-старинному) и киллеров (по-современному) в синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут. Так что всевозможные и такие всемогущие в малом времени «системы» суть очередная бочка, что по морю плывет — или к берегу своего спасения, или на риф своей гибели. (Порой риф обольстительный, о чем помнил и Бодлер, но все же: «душа наша — корабль, плывущий в Эльдорадо», — промолвил устами его русской переводчицы, Цветаевой.)

Позади у Автора было детство на древней черниговской земле, вотчине северцев-северян, перекрестке культуры на пути из варяг в греки, а также из самого заповедного язычества (Полесье и поныне — клад для фольклористов и этнографов Киевской и докиевской Руси) в самое раннее на Руси христианство (Феодосий, один из «отцов основателей» Киево-Печерской Лавры, из Чернигова в нее пришел, в Чернигов же и уходил от политических разборок и, так сказать, «августовских путчей» древнекиевского княжеско-боярского истеблишмента). А еще детство Автора разместилось на перекрестке истории. На земле, которую искони с кровью делили, которая лежала на военных путях полудюжины европейских империй, вплоть до третьего рейха, да чуть поменее империй (но поболее кочевых нашествий) азиатских. Об этом тоже написано в книге. Позже Автор узнал, что родился он вдобавок неподалеку от Чернобыля — каковой и поглотил его невидимой пастью в 1986-м: продержал несколько лет в смертельной болезни и нехотя выпустил. И другое чудо-юдо истории, Социум (он же — оккупация, послевоенный

трупный сельский голод, «сталинская» и последующие «эпохи») тоже всасывал в себя Автора, готовый переварить его без остатка. Но Первый знал: не переварит. Не дозволит вымахать ростом — да; обострит почти биологическое чутье на фальшь каких бы то ни было «сытых» эстетик, философий, идеологий, зато — и столь же «чревную» солидарность с «голыми и босыми» (цитата из фольклора и Шевченко — для этого Автора всегда не просто цитата). Однако Автора не слопают и не ломают. Также позднеоттепельный, а для Украины и ее интеллигенции запоздало-оттепельный «дикий мед» (Л. Первомайский), горький хмель во чужом, «всесоюзном» (сиречь московско-ленинградском), либерально-радикальном пиру будет Автором оплачен сполна: похмельем отнюдь не андерграундным, не мускатно-водочным. В Киеве хватало кочегарок и подвалов, залейся было тогда дешевого вина и горилки, но крепко недоставало умников с надлежащим украинским происхождением. А только из них и можно было при умении скроить диссидентствующего националиста либо националистующего диссидента, заодно выкроив самому себе добавочную шпалу на погоны или синекуру в теплом местечке... И снова Первый знал: не согнут.

Автор в придачу не проскочил в вертушку всесоюзной известности, в отличие, к примеру, хотя бы от Ивана Драча. (Киевская байка 70-х: в Москве ждут из Киева только двух новостей — опять собираются сносить дом Булгакова и опять притесняют Драча.) В то же время он, Автор, уже тогда владел несколькими иностранными языками — от классических и европейских до экзотических (народов СССР); уже тогда путешествовал по векам и культурам, именам и концепциям с непринужденностью, заставившей одну ученую даму Первопрестольной пифически воскликнуть: «Это мог знать только академик Жирмунский!», а киевский генералитет от литературы и идеологии доводившей до почти бескорыстного бешенства — бешенства недоучек. Итог: серия тихих увольнений; громовой разгон журнала «Всесвіт» (аналога «Иностранной литературы») вкупе с Автором; скандал в Союзе писателей, где Автор поймал литгенерала, свата Щербичкого, на литворовстве чужих текстов; длительные «собеседования»; безработица, беспечатье, безденежье — всерьез. И надолго. И без либеральных протестаций, манифестаций, зарубежных радиособорознований и ТВ-оплакиваний. Жить в глухой провинции (у моря ли, у Днепра ли) лучше, только глядя на нее издали. Вблизи, на Украине (а из нее так сделали тогда имперскую провинцию), это смотрелось страшно.

Все это войдет в книгу Автора — неотступным вниманием к «провинциалам» и «маргиналам» истории и литературы. Не как к милому фону для роскошной большой истории и большой культуры. А как к необходимейшему и большему ее участку. Боль тех, кому выпало родиться, писать и действовать в глухой провинции, исторической ли, социологической, географической или культурной, — одна из лейттем книги.

Но Первого и это не печалило, поскольку перевидал он от сотворения мира столько столиц, ставших грудой щебня, столько империй, от них же не уцелело и списка правителей, что все это не имело для него ни малейшего веса. Вечность живет не в столицах и провинциях, а в душе человека. Душа же не вызывается в инстанции, не снимается с работы и решительно не нуждается в радиоподдержках.

С этой точки обзора знание языков, информационная память были полезны, но вспомогательно. А вот от деревенского детства дарованное в едании народного слова и образа мира, в нем заключенного, было не «пользой», а именно даром: вечности — человеку времени; народа — человеку, которому поручено произнести это слово уже на языке «большой» истории. Причем произнести, разумея — ни колыбельная, ни казацкая дума не «меньше» и не «локальной» Пушкина и Гёте. (И, пожалуй, «больше», а верней, глубже Бодлера и Анненского, Кафки и Элиота. Впрочем, в том образе мира и им есть «чистый угол» — о чем в книге сказано по-народному мудро и «милосливо».)

Опять же, социальные мытарства Автора его спутник видел не в трагедийном, но и не в шутовском («соцартовском») свете. Он различал не камни преткновения, а «версты полосаты» пути. И потому за бессмыслицей и кафкианой прозревал цель и смысл.

Книга Автора живая, как почва, оттого и многослойная. Есть в ней доледниковый оттепельный слой восхищения правовыми свободами или экзистенциальным бунтом Европы 60-х. (Одна из самых тонких статей — об апостоле этого внеблагого благовестия, Андре Мальро; она же и свирепо антибуржуазна. Что трогательно сочетается — в другом месте — с отсылком нынешней Украины за умом-разумом к

протестантской этике Макса Вебера, «буржуазного Маркса», по цитате самого же Автора.) Есть в книге свой ледниковый слой: «застоя» и иных, имперских, «прото-застоев» XIX века, причем украинская боль ни на стон не пересиливает у Автора боль еврейскую или кавказскую. Есть «перестроечная» и «постперестроечная» попытка рассмотреть политическую и культурную ситуацию в Украине и в России сквозь евро-азиатскую и мировую историю и культуру. Не сваливаясь попутно в погасовку «хохлов» с «москалями», верных ельцинцев с верными ленинцами.

Есть все это, есть. Вкупе с зияющими разломами — биографии, культурного мышления, а отсюда и самого текста.

Вдребезги, например, разбиваются Автором новейшие «украинские мифы». О благословенном прошлом Княжеской Поры Украины-Руси (такое принято сегодня определение в Украине). Или о бесклассовости, «бессловности» украинского Возрождения и барокко, эпохи гетманата, Гайдаматчины и Руины (XVI — начало XVIII века), когда народу и культуре угрожал якобы только иностранный враг — с севера, с запада, с юга. Или миф о безоговорочности «второго Возрождения», 20-х (его называют еще возрождением расстрелянным). Ибо, как доказывает Автор с фактами в руках, краткий синтез европеизма и украинства, «элиты» и «масс», самостийництва и интернационала был иллюзорным. Взаимно расстреливали упомянутый синтез с обоих его концов. И была в этом обоюдном расстреле своя логика: логика Времени, отвергнувшего вечность, заменив ее «задачами текущего момента»...

Едва ли русскому читателю за пределами Украины будет вдомек, как о п а с н о сегодня, в «новых демократиях», подобное национальное мифоборчество. Это легче оценить читателю Грузии, или Казахстана, или Литвы, или Чехии. И там же, скорее всего, оценят п о ч в е н н о с т ь, почти сельскую укорененность Автора. Его взгляд на Кафку и Оруэлла, Пиранделло и Ортегу-и-Гасета, Вернадского и Ахматову, Коцюбинского и Вайду глазом «черниговского селяка», побратима «архангельского мужика». Особенно это видно в главке-статье о Шевченко. Многотысячелетний вопль крестьянина — раба, серфа, невольника-негра, крепостного «холопа», не имевшего собственного голоса в хоре «высокой» мировой литературы и впервые ворвавшегося в нее н а р а в н ы х, — такова, по Автору, миссия и «первоматерия» шевченковского слова.

Статья о Шевченко — одна из трех главных статей книги. Две другие — о Киве «сквозь века» и об украинском барокко. Здесь он сводит воедино время малое — и время огромное, почти вечность (а в главке-статье о барокко — вечность прямо поименованную). На этом же пространстве встает вопрос: не почему, а зачем у Европы (Западной и Восточной), у Украины и ее «северного соседа» (официальный ныне эвфемизм для России), почему у них такая, а не иная история? культура? литература?

Не почему, а — зачем? Или ради чего?

Тогда-то из-за текстов выступает Ангел, и Автор вступает с ним в борьбу. Нагромождение смертей, осад, предательств, пыток, угля и пепла на месте сияющей тихой, «софийной» красоты: многоповторная история в раскопках и документах Киева, история в строках Шевченко... Такова же история украинского (и шире — славянского) барокко, прочитанного как альтернатива барокко западноевропейскому. Там, на Западе, оно — укрытие внутри истории, хоть какое-то местоположение в ней (пускай для веселья мало оборудованное). Здесь, на Востоке, оно — внеположность истории, вызов, брошенный ей от имени и во славу Абсолюта. И все «безудержи», все утопии, начиная с Телема по-киевски, знаменитой Могилянской академии, с антипетровства Мазепы (оно понимается в книге как осознанная обреченность) вплоть до «красных», «сине-желтых» и анархо-«зеленых» утопических проектов XX века, проистекают из этой, хотя бы искаженной, приверженности Абсолюту.

Так вычерчивается глубинный сюжет книги. История — с одной стороны. Абсолют — с другой. Культура — промеж ними: их глашатай, воительница и одновременно поле их боя. Если же взамен обобщенной «культуры» мы подставим конкретного Автора, мы наконец пойдем, где он и с чем — с кем — борется.

Осыпая читателя ошеломительным историческим фактажем (даты — с точностью до года, а то и до дня; имена — до отчества, дружеского прозвища или служебного титула; адреса — до улицы и дома; издания — до нюансов замысла и публикации, и т. д. и т. п.), Автор немедленно превращает их в «сверхисторические» параболы и притчи. Но «Абсолют» остается при том категорией культуры по сторону — сторону времени. Однако в таком (зачастую для авторов — объекто

книги, но не для Автора — ее субъекта вполне правомерном) виде «Абсолют» душу не утешает. И от жгущей тоски по вечности не излечивает. Слишком мощны объятия Ангела, чтобы отделаться от них не то что социологией, но даже культурой...

Можно ли считать эту книгу парадигмой украинского — или восточноевропейского — «поколения пятидесятилетних интеллектуалов»? И да, и нет. Души не кучкуются поколениями; это снова единица другого измерения — истории.

Но история как «больная вечность», противостоя нормальной вечности, ей не вневположна. История — внутри вечности, хочется нам того или не хочется. В том числе и современная история Украины, России, Европы. Везде идет единоборство, которое, после Библии, точнее прочих описал, наверно, Рильке: «Соломинку согнешь свободно — / от тех побед убудет сил. / А вечности — ей не угодно, / чтобы ее ты покорил. / Так бился с ангелом Иаков, / и тот явился и настиг...», «Ты, кого ангел с ярым ликом / в суровой одолел борьбе, — / возрадуйся: ты стал великим, / узнав ту силу на себе...» («Смотрящий», перевод мой).

На книге В. Скуратовского — отпечаток той борьбы и оттиск той силы.

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.

ИНТАЛИЯ. Стихи и воспоминания бывших заключенных Минлага (г. Инта Коми АССР). М. «Весть». 1995. 244 стр.

Инталия... Красиво звучит — почти как Италия. Только «страна» эта принадлежит не Апеннинскому полуострову, а архипелагу ГУЛАГ. «Так с горькой иронией, но и с любовью, — пишет составитель сборника А. Я. Истогина, — называли заключенные Минлага Интинские лагеря. И впоследствии слово «ИНТА» оставалось как бы паролем. Это скорбное землячество неистребимо, пока живы эти удивительные люди».

Люди действительно удивительные: недобитые ни сталинщиной, ни «застоем», ни «перестройкой», ни «демократией». Последняя, кажется, вспоминает о коммунистических злодеяниях только перед лицом реальной себе угрозы, используя трагедию народа в своих агитационных целях. В «мирное» же, так сказать, время она едва ли не полностью предоставляет свое культурное поле бульварно-коммерческой индустрии, как черт от ладана шарахаясь от суровых тем. Все меньше охотников вслушиваться в голоса жертв, благовещь перед силой духа и драматизмом судеб. Мы же, кто считает кошунством такую историческую забывчивость, пусть не биографически, но духовно принадлежим тому же «землячеству» и гордимся этим.

Лишь знать до конца своей жизни
Морозами битые дали,
Да слушать, забравшись на нары,
Усталого сердца удары,
Соседей моих бормотанье,
Буранов ночных завыванье... —

это фрагмент из открывающей «Инталию» сплотки стихотворений Леонида Ситко. А в преамбуле к ней он пунктиром прочертил вехи своей биографии — просто, скупое, — но разве это не поражает воображение? В пятнадцать лет «попал в облаву и был утнан на немецкую каторгу. За побег из гамбургского лагеря меня и еще троих приговорили к повешению, но в ночь перед казнью англичане разбомбили лагерь. В июне 1943 г. во время «звездного налета» на Гамбург бежал вторично. ...Задержали меня молодчики из гитлерюгенда. Из тюрьмы Шпакенберга отправлен в «остарбайтерлагерь»... В начале апреля 1945 года фронт подошел к Эльбе. Немцы отобрали 120 человек якобы для рытья окопов. По дороге в тыл группа в 20 человек, убив двух часовых-эсэсовцев (одного из них застрелил я), бежала. До места эсэсовцы довели 80 человек, которых и расстреляли. Мы же скрывались в лесу, пока не пришла армия Монтгомери. Не согласившись остаться на Западе, я в числе многих репатриировался в советскую зону и был призван в армию. ...В феврале 1948 года я был арестован органами МГБ. ...25 лет ИТЛ с последующим поражением в правах на 5 лет. В 1950 г. лагерным судом осужден на 10 лет за участие в литературной группе под громким и неверным названием Союз поэтов «Молния». ...Перед комиссией Президиума Верховного Совета СССР в 1956 году я держался независимо, судимости с меня не сняли, но снизили срок и освободили. Я остался жить в Инте... а 4 февраля 1959 года меня снова арестовали. Теперь это был уже Дубровлаг. 7 лет».

...Александр Турков свои записи об отце Владимире Дмитриевиче, прошедшем следствие в застенках тюрьмы в Суханове, озаглавил кратко — «Зло». Приехав с отцом к стенам Сухановки уже в 1986-м, «я спрашивал себя, неужели коммунисты так и останутся безнаказанными и что я могу сделать, чтобы хоть немного, хоть чуть-чуть отплатить им...». Эти записи — и есть такая отплата.

Читаешь «Инталию» — и лишней раз не устаешь поражаться: как после всего, после таких зверств и такого палаческого разгула могли коммунисты в 1996 году от Рождества Христова рваться в России к власти и даже вполне реально рассчитывать на успех? Как могут патриоты и священники объединяться всерьез с Зюгановым, на каждом перекрестке утверждающим, что Сталин строил русское национальное государство? Такое «объединение» — предательство не просто истинны и здравого смысла, но и — тысячезков, как умерших, так и доживающих еще среди нас.

Литератору Борису Левятову-Селиверстову не было и двадцати, когда его взяли. В Инте он писал:

Говорят, что рвали ноздри, били плетью.
Стало родине терпеть невмочь.
И от нетерпения столетье
Черное воздвигли, словно ночь.

И: «Плачь, русская земля! Плачь! Сталин умер... / Плачь, что не умер он в тот день, / Когда еще вздымал зазубренный свой юмор, / Свою выращивал удушливую тень, / Еще зарей кровавой не умывшись. / Плачь, что не умер он, / На свет не появившись».

...Завершают сборник фрагменты воспоминаний И. К. Ковальчука-Ковалю «Свидание с памятью». Он был арестован в Харбине советскими органами за принадлежность к Национально-Трудовому Союзу, самой значительной политической организации эмиграции. Срок — двадцать лет ИТЛ. «„Свидание с памятью“, — сообщает А. Я. Истоги-на, — было делом его жизни, смыслом его жизни. Публикация отрывков, даст Бог, послужит началом более полного издания этих по-своему уникальных воспоминаний».

В конце книги — фотографии авторов и в Инте, и уже на воле. Вглядываясь в лица — и мнитесь каждое необычным, в каждом — значительность, сосредоточенность, просветленность того особого закала, который зримо

свидетельствует, что человек выдюжил в экстремальных жизненных обстоятельствах.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

ПЕГАС ВОРВАЛСЯ В КЛАСС. Стихи, рассказы, сочинения, сказки, афоризмы и рисунки школьников Красноярского края. Редактор-составитель Р. Х. Солнцев. Журнал «День и ночь», составление, редактирование. Изд-во «Гротеск», текст, верстка. Издательский дом «Суриков», цветоделение, верстка вкладки. 1996. 303 стр.

Книга эта необычна — у нее множество авторов, и все они — дети. Детской литературой это назвать нельзя — имя уже занято, детская литература — это то, что пишут взрослые для детей. Произведения, составившие книгу, писались детьми для самих себя, для других детей, но почему-то кажется, что главное — для взрослых. Так что книга эта — шанс для взрослых заглянуть в мир, который существует для детей. Сквозь маленькие — иногда мутные, иногда пронзительно-ясные — окошки стихотворений, сочинений, сказок, рассказов увидеть их радость и боль, их страхи и разочарования, их особость и их похожесть, но главное — удивительную живость, животворность, одушевленность того мира, который видят дети. Они с легкостью пишут рассказы от лица кукол и кошек, дневник собаки на каникулах и размышления кресла о своих хозяевах, сны снежинок или рассказ о похождениях мягкого знака. Они не то чтобы верят в чудеса — чудеса с ними просто случаются. Им не надо ничего придумывать — слишком многое просто есть. А взрослые об этом уже не помнят, потеряв способность слушать и слышать за другого, слишком занятые сами собой, чтобы подумать даже о том, отчего их малыши загрустили, не говоря уже о печалях трав и цветов, приبلудного щенка или потерявшейся снежинки. Сквозь неуклюжие иногда слова детей прорываются неудержимо доброта и внимание ко всему вокруг. Может быть, поэтому все детские стихи несут на себе печать подлинности.

Иначе — у подростков. Диву даешься, насколько все сразу меняется, стоит человеку перешагнуть тринадцатилетний возраст. В центре мгновенно ока-

зывается он сам, его чувства, его переживания, боль и обида — и паразитально, до какой степени из «подростковых» стихов исчезает всякая индивидуальность. Они, за немногими исключениями, будто написаны по шаблону, однако совершенно очевидно, что каждый пытался отобразить свое собственное неповторимое чувство, свою любовь, свою разлуку. Нигде с такой наглядностью невозможно увидеть, что личность человеческая проявляется не в самовыражении, а в прислушивании к другому, в попытке выразить не собственную эмоцию, во внутренней необходимости сказать — за молчащего. Это — серьезный урок взрослым авторам и просто взрослым.

Зато подростки — прозаики, резонеры и аналитики. Дети показывают нам рай, где человек еще понимает слова вещей. Подростки ставят и решают проблемы, связанные с потерей рая. Им страшно, что их не заметят и не оценят. Они уже знают, как можно убить дружбу одним словом. И в то же время некоторые из них уже научились правильно строить души, они умеют ответить доброй улыбкой на злую усмешку.

В зависимости от способности слушать и любить удаются или не удаются сочинения по литературе. Пушкину — повезло. Внимательный глаз, руководимый любящим сердцем, рассматривал рисунки на полях его рукописей, сопоставлял их со стихами и пытался понять, чего искало быстрое перо поэта, зачем его собственный лик сквозит и в женском облике, и в лошадиной морде, и в портрете старика Вольтера. С Достоевским и Сервантесом — роковая невстреча, неслышание; то ли «глушат» писателей плотные слои толкований, то ли все еще продолжают они говорить на непонятном для нас языке, вернее, мы все еще не слышим и не понимаем произносимых ими слов. Одно отрадно: героев, стремящихся изменить лик земли, гордо высящихся над «людскою толпой», неподвластных человеческим слабостям и радостям, наши дети не жалуют.

Кажется, из сказанного очевидно, что книга эта — богатейший материал для самых взрослых размышлений, сопоставлений, анализов, наблюдений, выводов. А еще она — и это, наверное, главное — живой источник радости, счастья, доверия и открытости миру.

Татьяна КАСАТКИНА.

*

ИРВИНГ КРИСТОЛ. В конце II тысячелетия. Размышления о западной цивилизации. Статьи 1970-х — 1990-х годов. Редактор Рената Гальцева. Перевод Владимира Ошерова. М. [ОО «Полиграф».] 1996. 209 стр.

Есть счастливо найденная формула — «детская болезнь левизны». Младенцы превращаются в старцев, а этот инфантильный недуг в мире Запада никак не проходит. Рецидив за рецидивом регистрирует в своих статьях, вошедших в изданный на русском языке сборник, современный американский публицист неоконсервативного направления Ирвинг Кристол, чья озабоченность тем, чтобы вправить левый вывих цивилизации, отнюдь не подкрепляется большой надеждой на немедленное чудотворное исцеление общественного организма.

Вступать в поединок с левой опасностью на коротком заводе сиюминутного политиканства или социальной конъюнктуры бессмысленно. Популистских лавров тут не обрящешь, а отрубленные головы красного змия прирастают — не успеешь оглянуться — «взад». Здесь нужна более прочная, бытийная основа убеждений. У Кристола это ветхозаветная аксиома: мир — «хорош весьма»; жизнь есть благо, ибо это — дар Божий. Взгляды Кристола не просто резюмируют его политические симпатии, но опираются на камень его веры. И с этого камня Кристол ополчается на вековечный гностицизм, исходящий из предположения, что мир безусловно плох, а человек в этом не виноват. Это предположение порождает веру в безграничный прогресс и стремление радикально перестроить действительность, переродить человечество.

Гностицизм в одеждах социализма в наше время размахнулся было во всю ширь эпохи. Кристол и сам в молодости был социалистом. Когда выветрился юношеский хмель, стало ясно, что былые грезы утопичны, человек и мир не поддаются скорой переделке, а радикальная хирургия не решает ни одной проблемы. Из зеленого социалиста вырос пронизательный критик социализма и его западной интеллектуально-художественной обслуги. Этим сюжетам в сборнике посвящено много ярких страниц, дающих попутно возможность убедиться в том, что в 70-е и 80-е годы

Кристал боролся отнюдь не с ветряными мельницами.

Если утопический рационализм и романтизм захватили гегемонию над современными сознанием и чувствительностью, то причину этого Кристал видит в секулярном характере общества либерального капитализма. Здесь нарастает требование земного счастья и убывает, теряя опору, чувство долга. В течение поколений буржуазное общество существовало за счет накопленного в прошлом капитала традиционной религии и моральной философии. Но капитал этот, кажется, иссяк. И нравственное обеспечение буржуазного миропорядка оказалось под вопросом. Миропорядок этот осмеивается в общественном сознании, клеймится с университетских кафедр. Этнос капитализма обсел и тает, как мартовский снег; его социалистический оппонент также в параличе. На пустое место пришли нигилизм, «либертаризм» и разнузданность — и обществу все труднее возражать им в предчувствии встречного вопроса: а почему бы и нет? В этом ключе Кристал анализирует проблемы современного урбанизма, порнографии, наркомании, школьного образования. Он уверен, что можно преодолеть гностическую враждебность миру и духовно оздоровить общество. Но нельзя в этом и дальше полагаться на формальные механизмы процедурной демократии и ее некритичную веру в «простого человека». Кристал противопоставляет «демократическому» правлению «республиканское», когда правит не слепая воля народа, а его разумное согласие, основанное на свободной решимости строить жизнь в соответствии с высшим, трансцендентным смыслом, попросту жить достойно.

Кристал не раз ссылается на Достоевского. В сознании российского читателя многие идеи американского писателя без труда резонируют с аналитической «Вех», с розановскими ветхозаветными симпатиями, с критикой исторических химер Львом Гумилевым... Это все так, и здесь есть много поводов для продолжения разговора. Важнее, одна-

ко, понять, что сегодня мы стоим перед теми же проблемами, которые тревожат Кристола. Парадоксальный зигзаг истории вывел нас в общую точку пути. А коли так, то уместно задать два вопроса: возможен ли у нас теоретически обоснованный неоконсерватизм — и каковы его житейские перспективы?

Ответ на первый вопрос вроде бы ясен. Достаточно назвать хотя бы Юрия Каграманова или Андрея Зубова. Но учтем и нашу склонность к крайностям, нашу готовность впасть то в коммунодракобесие (как Александр Зиновьев), то в реакционно-реставрационный, фундаменталистский раж. Острее и болезненней, чем на Западе, стоит в России проблема почвы, опоры, позитивного социокультурного прецедента в истории. И снова самым надежным и прочным элементом социума вдруг оказывается государственная власть. Есть соблазн притулиться к ней, рискуя свободой и честью: извечный российский тупик.

Трудная логика выбора, остро прочувствованная Кристолом, и в Америке, и в России состоит в том, что неоконсерватору почти нечего сохранять, консервировать в наличной действительности. Он должен уповать на будущее и создавать будущее, апеллируя к высшим ценностям национальной культуры и цивилизации Запада. Этнос неоконсерватизма общепонятен: личная инициатива, готовность взять на себя ответственность, сочетать «благоразумное своекорыстие» с самоотверженностью, жизненную активность с достоинством, участвовать в местном самоуправлении, а для верующих — и в жизни прихода... Спокойным, негромким голосом трезвого и опытного человека Ирвинг Кристал пытается добиться понимания или хотя бы внимания у своего читателя. Он говорит с каждым наедине. А удастся ли таким образом вразумить эпоху — кто знает.

Р. С. Для консерватора нет мелочей — и потому озадачивает россыпь опечаток в книжке.

Евгений ЕРМОЛИН.

Ярославль.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ» МОСКВЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Стало общим местом противопоставлять нынешнюю пору — минувшей, коммунистической. Действительно, принципиальная новизна налицо. Но, увы, не по отношению к многострадальной нашей Москве.

Большевики ненавидели ее за патриархальность, за ее непохожесть на индустриально-машинный рай их утопии. Всю историческую застройку столицы они официально записали в ветхий фонд. Достаточно почитать газетные комментарии 20 — 30-х годов, чтобы ощутить урбанистический пафос преобразования и реконструкции, сметавший все на своем пути: в итоге — снос сотен шедевров архитектуры, гибель живописных московских ландшафтов...

Сейчас много говорится о возрождении традиций, о любви к России, коммунистический нигилизм по отношению к ней, кажется, канул в прошлое. Однако на самом деле вкус к красоте московской архитектуры и ее ансамблей, особенно в среде богатых заказчиков — а к ним с несомненностью относится и верхний слой власть имущих, определяющий градостроительную политику в Москве, — формируется под влиянием совсем иных, заимствованных, предпочтений. Драма в том, что беречь остатки очарования старой Москвы часто не желают и архитекторы, получающие в трудной жизненной ситуации выгоднейшие заказы и иногда даже опежающие заказчиков в инициативе достроек и перестроек.

Этот пафос перекройки Москвы, увы, одобряет в основном и наша интеллигенция; как в 60-е годы в новой «западно-конструктивистской» архитектуре она видела залог необратимости либеральных процессов «оттепели», так же не возражает она и против того, что творится с Москвой сегодня, думая, что таким манером мы вливаемся в «цивилизованное сообщество».

Существует мнение, что, мол, Москва видоизменялась и реконструировалась всегда — только после революции в ускоренном темпе. Но одно дело, когда ломали «по неведению» (так же как записывали старые иконы и фрески, не сознавая их уникальности), другое — когда высокая эстетическая ценность и благородство старой застройки открыты и общепризнанны, когда Москву меняют в соответствии с идеологическими, номенклатурными и корыстными нуждами.

Всех радует порядок, цивилизация, современные формы и материалы; рядовые зрители довольны так же, как титулованные деятели культуры. При этом решительно никто, исключения единичны, не видит или не хочет видеть того, что происходит со старой Москвой на самом деле. А ведь город переживает эпоху нового интенсивного уничтожения своих историко-культурных ценностей! И причина этому — вовсе не бедственное экономическое положение: стройкомплекс Москвы находится в расцвете сил, возможностей и триллионных инвестиций. Причина — в общем миропонимании общества, его вкусах и истинных, а не декларируемых идеалах.

Эпоха гласности ушла; голос общественности игнорируется. Мнение москвичей, жителей конкретного района, улицы, некому слушать. На Поварской возникает проект постройки новых зданий Верховного суда Российской Федерации. Высотное строительство грозит дальнейшим искажением заповедного исторического района, протестуют Экспертно-консультативный совет при Главном архитекторе Москвы (ЭКС), жители района, Фонд Поваренная слобода, депутаты Думы — тщетно. Более того, для строительства уже снесены ворота и флигель усадьбы Блюдовых XIX века. В прежние, пусть советские, времена, возможно, был бы скандал. Сегодня — всем наплевать.

Неожиданно возникает проект надстройки дома № 22 по Цветному бульвару. Это памятник архитектуры первой половины XIX века, в нем к тому же прошли тридцать три года жизни Валерия Брюсова, семье которого этот особняк и принадлежал. По закону строительство на территории памятника запрещено — так нет же, надо либо на самом здании, либо в его узком дворе, впритык к дому, построить шестиэтажный корпус. Проект меняет градостроительный ритм, ландшафт — но таковы условия инвестора.

Вырисовывается генеральная политика арендаторов и, к сожалению, архитектурных инстанций в центре Москвы — приглашать в качестве инвесторов фирмы, которые за право реставрации и приспособление здания-памятника получают возможность нового строительства здесь же для себя на условиях не менее 50 на 50 процентов по соотношению площадей. Управление охраны памятников Москвы (УГКОИП) должно бы занять решительную позицию замены немощных арендаторов, делающих памятники архитектуры города заложниками собственного благополучия.

Когда Юрий Михайлович Лужков демонстрирует по телевидению макет перестройки дома Козицкой (здание Елисеевского магазина), где из двора дома поднимается башня более чем вдвое выше основного объема, и при этом с гордостью говорит: «Мы все сохраняем — и добавляем», — то за его гордостью угадывается наивное непонимание того обстоятельства, что даже сохранение старых домов при подобной их надстройке уничтожит ландшафт и красоту, сам смысл Москвы. Исторический город сохраняет только грамотная застройка, базирующаяся на добросовестных предварительных исследованиях и вытекающих из них ограничений. Иначе не сохранить душу города. Если даже все усадьбы Москвы физически сохранятся, но во дворе каждой поднимется высокое здание — город погибнет окончательно.

К этому надо добавить и оставшиеся в силе примитивные приемы организации строительства, ориентированные на пустые громадные площадки периферийных районов. В центре нет места для разворотов нашего «громая» — для кранов, автомашин, других механизмов. «Заботливые» строители, упрощая себе жизнь, готовы для удобства снести что угодно — и никогда не бывают наказаны.

Дикая ситуация сложилась сейчас вокруг дома Хрущевых — Селезневых на Кропоткинской, одного из знаменитейших созданий московского классицизма. Начиналось с благих намерений — с постановлений Правительства Российской Федерации, правительства Москвы о подготовке к двухсотлетию юбилею А. С. Пушкина, которые обозначали необыкновенно бережную реставрацию усадебного комплекса, где размещается Государственный литературный музей А. С. Пушкина. Правда, проект предусматривал перекрытие двора, но ЭКОС и УГКОИП не соглашались с этим и предлагали полностью шадящие и сохраняющие постройки варианты.

И вот весной прошлого года произошло варварское разрушение строителями (с ведома дирекции музея и при попустительстве УГКОИП!) двух корпусов начала XIX века и уникальных полукруглых ворот.

Потерян вкус к подлинности — копии считаются подлинниками. Пример возводящегося по соседству храма Христа Спасителя внушает мысль, что все восстанавливаемо. А раз восстанавливаемо — то можно сносить и делать потом «лучше прежнего». Исторические свидетельства теряют аутентичность. Древние постройки с легкостью сносятся, заменяют или «воссоздают», а эстетическая безграмотность позволяет выдавать происходящее варварство за культурное достижение.

Можно сказать, что с легкой руки правительства Москвы подобный образ действий становится широко распространенным, причем правительство само принимает решения о сносе подлинников. Так было с лучшим домом на Арбате (№ 48), палатами XVII века на Тверской (№ 26), домами по Лаврушинскому переулку и Кадашевской набережной (№ 2/12). Так произошло на улице Станкевича (№ 22/13), Б. Ордынке (№ 20), более полутора десятков подобных случаев было в 1995 году. Трехэтажный дом Щербатовых конца XVIII века уничтожен при реконструкции

квартала около Большого театра (Копьевский пер., дом № 3/4, строение 4) — выстроен с добавлением мансардного этажа заново.

Материальные и художественные элементы прошлого фальсифицируются с легкостью мировоззренческих метаморфоз. Все проблемы разрешимы и заранее оправданы «подходящей» необходимостью.

Как и при коммунистах, любимым словом и видом деятельности в Москве является не реставрация, а реконструкция. Оно относится не только к узко технической, хозяйственно-материальной сфере, но распространяется и на его исторический облик. Художественные ценности зависят от проблем канализации и т. п.; инженерно-коммунальные службы решают судьбу исторических и архитектурных ценностей города. Когда дело касается проблем хозяйственных и материальных — все всё понимают, но как только речь заходит о ценностях художественных, культурных — ответственные лица делаются тугими на ухо. Беда не столько в том, что они не хотят понимать, сколько в том, что они на самом деле не понимают ценности, духовной и эстетической содержательности облика исторической Москвы, ее кварталов и улиц, ее подлинных сохраняющихся построек.

В свое время большевики, перебравшись в Москву, принялись уничтожать ее с остервенением утопистов, жаждущих на месте Белокаменной, на месте самого сердца России, построить свой «город будущего».

Ныне вроде бы идеология переменена на прямо противоположную; все громче голоса, отстаивающие историческую традицию, но уничтожение остатков старой Москвы продолжается.

...Приезжий видит в городе фасады и площади. Особенно в Европе, где дворы имеют закрытый характер. Московский же дворик был частью облика города. С каждым годом их становилось меньше. Но теперь и то, что уцелело, — застраивается.

Еще менее знакомыми, практически неизвестными постороннему взгляду, оказываются интерьеры исторического города, истинные наследники вкуса и ума десятков поколений.

Беда в том, что эти ценности москвичи давно отучены ценить. Пространства и дворы сотен городских усадеб у нас изувечены. Интерьеры особняков и доходных домов в массе своей уничтожены. Вот и рождается в общественном мнении восприятие города не как живого историко-культурного организма, а лишь как совокупности улиц и фасадов. Если фасад покрашен и витрина блестит — значит, с историческим наследием полный порядок. А главное, наконец-то и к нам постучалась цивилизация.

Высказываясь за снос исторических построек Москвы, власть имущие и архитекторы убеждают: да мы восстановим лучше прежнего, восстановили же поляки Варшаву — и как красиво.

Я не хочу говорить об эстетическом невежестве людей, которым не известны принципы научной реставрации, которые не видят скучной унылости возведенных заново кварталов и объектов. Но нельзя не поразиться непониманию той печальной истины, что поляки восстановили заново то, что было разрушено фашистами. Там, где застройка уцелела — например, в Кракове, — они ее бережно реставрируют. Мы же сами с неизвестной миру отвагой сносим и заменяем фасадными копиями собственное историческое наследие. Повторяю, это носит массовый характер: на Ордынке, Кадашевской набережной, улице Станкевича, в Столешниковом переулке — десятки примеров за 1996 год. Такой дом красуется на Полянке, а еще целый ряд домов рядом подготавливается к подобному же варварскому «улучшению». На наших глазах, при нашем попустительстве изо дня в день совершается грандиозное культурное преступление.

По отношению к историческому наследию в Москве господствует все тот же коммунистический принцип — не содействие жизни, а ее волевая организация. Приказал — и стало. Отсутствие обсуждения, неисполнение законов, полный диктат исполнительной власти делают по отношению к культурному наследию вечно живыми нравы закрытого общества, с которым вроде бы покончили.

Это тем более горько, что экономическая ситуация в Москве такова, что одной правильной политики хватило бы для возрождения исторического города. Для этого необходимо знание и понимание старой Москвы, желание выявить и сохранить именно ее красоту. Я часто с ужасом думаю: а что стало бы с Римом, Прагой или Вильнюсом, попали они в руки, определяющие судьбу Москвы?

Печально, что «среднеарифметический» штамп потребительского общества конца XX века нам сейчас оказывается дороже исторического наследия предков.

А. КОМЕЧ,

директор Государственного института искусствознания.

Москва реконструируется и обновляется темпами, поражающими воображение, одно восстановление храма Христа Спасителя говорит сама за себя.

Увы, тут неизбежны потери; реконструкция должна быть максимально цивилизованной, чтобы они свелись к минимуму.

Письмо доктора искусствознания А. Комеча актуально, хотя оно, на наш взгляд, недостаточно четко.

А между тем требуется вовсе не многое: твердое соблюдение давно утвержденных охранных зон (в пределах Садового кольца их девять) и разработанных Институтом Госплана режимов застройки. Любой снос архитектурного памятника возможен лишь по специальному разрешению правительства. То есть надобно исполнять закон — и только. О нынешней же широкомасштабной застройке не ставятся в известность ни Министерство культуры, ни компетентные охранные организации.

«Деловую» новую Москву надо бы строить за пределами традиционного городского ядра, как это делается, например, в Париже. Москва дорога сердцу каждого россиянина и не может быть предметом амбиций и закулисных интриг. Москва — город туризма, сюда приезжают ради ее истории, а не глазеть на новые высоты.

С. П. Залыгин.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

TADEUSZ KLIMOWICZ. Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917 — 1996). Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. Wrocław. 1996. 801 s.

ТАДЕУШ КЛИМОВИЧ. Путеводитель по современной русской литературе и ее окрестностям. Товарищество друзей Вроцлавской полонистики. Вроцлав. 1996. 801 стр.

Книга польского ученого-русиста Т. Климовича состоит из двух разделов. В первом — статьи и заметки, сгруппированные по тематическому принципу. Приводятся названия и краткие характеристики толстых журналов и альманахов, различных литературных объединений и группировок 20 — 30-х годов, как советских, так и эмигрантских. Второй раздел (большой по объему) составляют писательские персоналии.

Словом, перед нами добротная и полезная работа по нашей отечественной литературе, выполненная польским ученым-филологом.

Впрочем, такого рода труды русистов, появляющиеся в последние годы как в прежних «братских» странах — Польше, Болгарии, Чехии и Словакии, — так и дальше на Запад, ныне не редкость. Большинство подобных работ отличает хорошая научная подготовка авторов, безусловное знание ими избранного предмета.

В этом смысле «Путеводитель...» Т. Климовича также выполнен, что называется, на уровне.

Т. Климович — сравнительно молодой исследователь (он родился в 1950 году), и его предыдущие труды по русской литературе XX века, к счастью, уже не подвергались разносам и проработкам как в польской, так и в советской печати, от чего, увы, не были застрахованы польские русисты старшего поколения. Многим из них, таким, как Северин Полляк, Виктор Ворошильский, Ренэ Сликовский, Анджей Дравич, подчас крепко (а главное, несправедливо!) доставалось не столько на страницах своей, отечественной, прессы, сколько в советской периодике.

Больше всего при этом наших идеологов от литературы типа Ф. Кузнецова раздражал сам факт, что в «братских» странах — Польше, Чехословакии, Болгарии, Румынии — их собственные русисты проявляют интерес не к тем писателям, которых всячески поддерживали и поднимали на Старой площади, но к творчеству явно идейно ущербных авторов, как М. Булгаков, А. Ахматова, А. Платонов, М. Зощенко...

Казалось бы, зачем бить в набат, обличать русистов из соцстран в разного рода идейных срывах и ошибках? Ведь главное, что эти книги писались людьми, искренне любящими современную русскую литературу. Так не лучше ли, чтобы их пусть даже в чем-то небезупречные, но талантливые, яркие труды «работали» на пользу нашей отечественной словесности, завоевывая ей новых читателей за рубежом?.. Но нет! Чистота идейных одежд оказывалась, как всегда, превыше всего...

И поэтому уже сама мысль о том, чтобы лучшие из этих работ перевести на русский язык, представлялась явно неуместной. В результате мы, русские читатели, так и не дождалась издания монографий В. Ворошильского о Маяковском, С. Есенине, А. Дравича о К. Паустовском, М. Булгакове и т. д.

Помню, как в застойные годы даже в таком либеральном журнале, как «Вопросы литературы», с моей безусловно положительной рецензией на монографию известных польских литературоведов Виктории и Ренэ Сликовских о Герцене возникли определенные сложности. Рецензия заканчивалась словами сожаления о том, что такой талантливой книги об авторе «Былого и дум» на его родине, в России, пока так и не появилось. Эта фраза, как я узнал позже, вызвала возражения у членов редколлегии: в ней усмотрели упрек по адресу наших литературоведов, так и не удосужившихся создать популярную книгу о Герцене. Крамольная фраза, естественно, была вычеркнута...

Возвращаясь к книге Т. Климовича, следует отметить, что она написана достаточно необычно, особенно ее первый — «тематический» — раздел. Конечно, автора можно упрекнуть в известной доле субъективизма. Ибо не всегда его заметки кажутся целиком оправданными, удачно дополняющими сквозную историко-литературоведческую тему.

Если, например, такие понятия, вводимые им в тематический раздел, как «анекдот», «частушка», «самиздат» и «тамиздат», удачно раздвигают рамки привычного литературно-энциклопедического издания, то статья, озаглавленная «Жены» (имеются в виду жены и вдовы главным образом репрессированных писателей), ничего, в сущности, к уже известному по многочисленным мемуарным свидетельствам, не добавляет.

Впрочем, упрекать Т. Климовича в отдельных огрехах и «осечках» (вроде того, например, что Н. Берберова якобы возвратилась на родину и умерла в Петербурге) вовсе не хочется. Гораздо интереснее, на мой взгляд, сказать о том, как автор справочника вводит в текст своего «Путеводителя...» подчас, казалось бы, довольно спорные или вовсе далекие от литературоведческого контекста слова, которые, однако, обретают свое прочное, так сказать, законное в нем место.

Т. Климович, например, касается такой скользкой темы, как алкоголь, рассматривая «алкогольную проблематику» в прямой связи с литературной средой. Казалось бы, здесь легко съехать на уровень расхожих анекдотов о писателях-«алкашах», перейти к пересказу забавных историй и побасенок из живой литературной жизни.

Однако Т. Климович, на мой взгляд, счастливо избежал при этом разного рода подводных камней. Он рассматривает явление скорее в философско-социальном, политическом аспекте. В самом деле, чем были вызваны длительные запои А. Фадеева, мрачные загулы М. Шолохова, Ю. Олеши и А. Твардовского? У каждого из них, подчеркивает автор «Путеводителя...», имелись свои, часто весьма основательные, причины для этого. Климович напоминает при этом слова Льва Копелева насчет того, что пьянство, надо понимать, несомненное зло для всех и повсюду, на всех широтах и долготах, но у нас, помимо всяческого вреда, оно обладает и известной доброй силой. Водка при определенных обстоятельствах бывает также носителем... свободы и даже равенства и братства. Так было раньше, так есть и будет, вероятно, еще долго... На Руси пито и пьется с горя и радости, от усталости и во время отдыха, по привычке и по воле случая. И чаще всего пьется сообща, в дружеской компании.

Своеобразным литературным памятником алкоголизму в нашей отечественной литературе польский исследователь считает «поэму» Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», в которой, по его мнению, «алкогольный мотив обрел масштабы экзистенциальной проблемы и способен больше сказать о загадке «русской души», нежели тысячи ученых трудов на эту тему»...

Много конкретных фактов, любопытных авторских наблюдений содержится и в статье «Цензура». Т. Климович напоминает, что в бывшем СССР никакой цензуры якобы не существовало, ибо ее официально упразднили в октябре 1917 года. На самом деле с первых же дней установления советской власти она негласно заработала на полную мощность. Так, кадетская газета «Речь» была закрыта на следующий же день после воцарения большевиков — 26 октября. А меньше чем через год упразднили все оппозиционные газеты, в том числе и «Новую жизнь», редактором которой являлся сам Буревестник революции М. Горький.

Примечательно, что даже чисто благотворительная деятельность Литфонда, возникшего в России в 1859 году по инициативе самих писателей для материальной помощи нуждающимся и неимущим литераторам, при советской власти совершенно изменилась. Литфонд, как справедливо свидетельствует Т. Климович, превратился в еще один из рычагов чисто идеологического давления на писателей. В качестве примера автор «Путеводителя...» приводит известное заявление М. Цветаевой от 26 августа 1941 года руководству Литфонда. Это, несомненно, один из самых трагических документов в истории отечественной литературы XX века. Поэтесса, оказавшаяся в Чистополе в эвакуации со своим сыном без всяких средств к существованию, просит оформить ее судомойкой в писательскую столовку. Однако руководители тогдашнего Литфонда по соображениям политической бдительности

отказывают Цветаевой в этом. Через несколько дней она покончила жизнь самоубийством...

Выше я уже говорил о некотором авторском субъективизме, который временами ощутим в «Путеводителе...». Это сказывается подчас в самом перечне писателей, включенных Т. Климовичем в состав его «Персоналий», и, наоборот, в отсутствии в этом списке некоторых фамилий. Не совсем ясно, к примеру, почему такие третьеразрядные эмигрантские литераторы, как Петр Боборыкин или Иван Наживин, оказались в этом списке, а более яркие и заметные фигуры «русского литературного зарубежья» М. Осоргин, Гайто Газданов в нем отсутствуют.

В заключение хотелось бы отметить одно из несомненных достоинств работы Т. Климовича. Она написана в довольно свободной манере, легко, непринужденно и временами как бы даже несколько иронично. Недаром книга пересыпана литературными анекдотами, забавными фактами, озорными частушками. Чувствуется, что автор писал свой труд с явным удовольствием и сам подчас улыбался, цитируя некоторые слишком откровенные литературные тексты. Видимо, ему хотелось предложить польскому читателю книгу для чтения, а не для сухих справок, не такую, которую обычно просто ставят на полку, напрочь тут же о ней забывая, куда владельцу не потребуется какая-либо конкретная информация. Под стать этому подобран и соответствующий образительный материал. Т. Климович и тут отошел от определенного шаблона. Книга, что называется, «насквозь» проиллюстрирована современным питерским графиком Сергеем Лемеховым. Его многофигурные композиции, выдержанные отчасти в манере знаменитых «митьков», тоже ироничны, а подчас скорее даже страшноваты, нежели смешны. Они не связаны напрямую с текстом книги, но при этом верно схватывают общий ее настрой: смесь почти кафкианской абсурдальности с трагикомедией не только чисто литературной, но и просто окружающей действительности. И тут, на мой взгляд, «Путеводитель...» польского русиста мог бы явиться для многих из нас достаточно надежной лощей при плавании по волнам моря житейского. Именно поэтому, как мне кажется, книга Т. Климовича явно нуждается в переводе на русский язык.

С. ЛАРИН.

**Поздравляем нашего автора
ЛЮДМИЛУ УЛИЦКУЮ
с присуждением ей французской премии Медичи
за повесть «Сонечка»,
впервые опубликованную в «Новом мире»,
а ныне изданную по-французски издательством «Галлимар»**

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Василий Аксенов. Негатив положительного героя. Рассказы. М. «Вагриус», «Изограф». 1996. 303 стр. 10 000 экз.

Михаил Веллер. Кавалерийский марш. СПб. «Лань». 1996. 256 стр. 25 000 экз.

В новый сборник известного писателя вошли: «русский роман в форс-мажоре» «Москва бьет с носка» (ироническая антиутопия, среди действующих лиц — современные общественные и политические деятели), вестерн «О дикий запад!», «мелодрама в стиле ретро» «Баллада о бомбере» (авантюжное повествование на материале отечественной войны), «кино-роман» «Кавалерийский марш» (боевик на современном отечественном материале), а также размышления писателя о литературе «Кухня и кулуары» и «литературно-эмигрантский роман» «Ножик Сережи Довлатова».

Лев Гурский. Поставьте на черное. Роман. Саратов. Издательство «Научная книга». 1996. 448 стр. 10 000 экз.

Джейн Остен. Гордость и предубеждение. Нортенгерское аббатство. Романы. Перевод с английского И. Я. Маршака. Казань. Издатель Фазуллин М. М. 1995. 480 стр. 6000 экз.

Людмила Петрушевская. Бал последнего человека. Повести, рассказы. М. «Локид». 1996. 554 стр. 26 000 экз.

Райнер Мария Рильке. Стихи. Истории о Господе Боге. Перевод с немецкого Е. Борисова. СПб. «Евразия». 1996. 263 стр. 2000 экз.

Ален Роб-Грийе. Проект революции в Нью-Йорке. Перевод с французского Е. Мурашкинцевой. Составление, редакция, вступительная статья М. Рыклина. М. «Ad Marginem». 1996. 220 стр. 3500 экз.

Людмила Улицкая. Медя и ее дети. Повести. М. «Вагриус». 1996. 335 стр. 10 000 экз.

А. Цветаева. Собрание сочинений. Том 1. Составление и комментарии Ю. М. Каган. М. Благотворительный фонд имени семьи Цветаевых. «Изограф». 1996. 256 стр. 5000 экз.



Алексей Крученых. Наш выход. (К истории русского футуризма. Автобиография дичайшего. Наш выход. Живой Маяковский). Составление и вступительная статья Р. В. Дуганова. Комментарии Р. В. Дуганова, А. Т. Никитаева, В. Н. Терехиной. М. Литературно-художественное агентство «Лира». Издательство «РА». 1996. 247 стр. 1500 экз.

Мемуарная проза Алексея Елисеевича Крученых (1886 — 1968) — впервые опубликованные полностью, по авторизованному машинописному экземпляру 1932 года, воспоминания «Наш выход» — воскрешает историю русского футуризма в лицах и ситуациях, содержит портретные главы, посвященные Хлебникову, Филонову, Маяковскому, Давиду Бурлюку и другим. Записи высказываний, фраз и характерных словечек Маяковского («Живой Маяковский») воспроизводятся по изданию 1930 года. Книга содержит обширный иллюстративный материал и именной указатель.

Ирина Паперно. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. Авторизованный перевод с английского Т. Я. Казавчинской. М. «Новое литературное обозрение». 1996. 208 стр. 3000 экз.

Монография американской исследовательницы, впервые опубликованная в 1988 году в Калифорнии и доработанная для русского издания. Состоит из трех частей: «Юность», «Женитьба», «Тексты». Автор намеревался «проследить, как человеческий опыт, принадлежащий определенной исторической эпохе, трансформируется в структуру литературного текста, который, в свою очередь, влияет на опыт читателей». Одна из задач исследования — «новый взгляд на фигуру, которая приобрела мифологические

очертания в русском литературном сознании, взгляд, по возможности очищенный и от сакраментального пафоса нескольких поколений русских радикалов, и от убийственной иронии Владимира Набокова, и от предписанного почтения советских исследователей, и от автоматического скептицизма многих из читателей».

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



*«Волга», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Наш современник»,
«Нева», «Независимая газета», «Новое книжное обозрение», «Октябрь»,
«Открытая политика», «Урал», «Юность»*

Герман Андреев. Неупорядоченные заметки о духовных путях России в год Мартина Лютера. — «Открытая политика». Журнал российской политической жизни. 1996, № 7-8.

Почему Россия не прошла через реформацию? Автор (печатавшийся и в «Новом мире») живет в Германии, где в минувшем году отмечалось 450-летие со дня смерти Мартина Лютера.

Анна Ахматова и Союз писателей. Публикация, вступительная заметка и заключение Владимира Бахтина. — «Звезда», 1996, № 8.

Две автобиографии 1939 и 1951 годов и другие документы из ЛГАЛИ.

Аркадий Белинков. Черновик чувств. Роман. Публикация Н. Белинковой-Яблоковой. — «Звезда», 1996, № 8.

Самиздат сороковых годов. Конфискованный и считавшийся утраченным, но сохранившийся в Центральном архиве ФСБ юношеский роман А. Белинкова, который был его дипломной работой в Литературном институте (руководитель — В. Б. Шкловский). Книга о любви. Место действия — Москва первой половины 1941 года. В 1944 году автора присудили к восьми годам лишения свободы. Публикации сопутствуют статьи Н. Белинковой-Яблоковой «Аркадий Белинков, его черновики и книги» и Марианны Шабат «Как это было».

А. П. Боголюбов. Записки моряка-художника. Публикация, вступление и комментарии Н. Огаревой. — Специальный номер журнала «Волга», 1996, № 2-3.

«Записки моряка-художника» Алексея Петровича Боголюбова сто лет хранились в Рукописном отделе Петербургской публичной библиотеки. При жизни, во второй половине XIX века, он, действительно моряк и художник, был признан корифеем русского искусства, в XX веке забыт. Записки печатаются к 300-летию Российского флота и к 100-летию со дня кончины автора.

Леонид Бородин. Реку переплыть. Рассказ. — «Юность», 1996, № 8.

Новый рассказ известного прозаика.

Юрий Буйда. Ермо. Роман. — «Знамя», 1996, № 8.

Роман-мистификация. «Новый мир» предполагает отрецензировать это произведение.

Сергей Викулов. Что написано пером... — «Наш современник», 1996, № 9, 10, 11, 12.

Воспоминания бывшего главного редактора «Нашего современника» (к сорокалетию журнала). Среди прочего: «Приходилось слышать — и не раз — в те годы, что «НС» подхватил знамя разгромленного «Нового мира». Друзья наши говорили это в похвалу журналу, потому как с любимыми авторами они теперь встречались на страницах «НС», а не «Нового мира». Недоброжелатели — наоборот — произносили эти слова как сигнал и предупреждение тем, кто только что вырвал это знамя из рук Твардовского и очень не хотел, чтобы его кто-нибудь подхватывал». Нет, решительно заявляет Викулов, его журнал знамени русофобского «Нового мира» не подхватывал и делать этого не собирался. «И если бы даже кто-то попытался вложить его в наши руки, мы бы не взяли его».

Фридрих Горенштейн. Летит себе аэроплан. Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала. — «Октябрь», 1996, № 8, 9.

Витебск. Петербург. Париж. Все, что положено.

Сергей Есин. Гувернер. Роман. — «Юность», 1996, № 8, 9.

Времена и нравы. Время гадостное, нравы еще гаже. «— Что же мне-то теперь делать? — кричала чуть ли не на весь пароход, размазывая дорожную косметику по голландскому полотну наволочки в каюте люкс, Катя. — Ведь теперь меня в Москве убьют!..»

Искусство идет впереди, конвой идет сзади: дискуссия о формализме 1936 года глазами и ушами стукачей. Публикация, вступительная заметка и примечания А. В. Блюма. — «Звезда», 1996, № 8.

Секретные донесения агентов госбезопасности о разговорах и настроениях в писательских кругах города Ленинграда в 1936 году. Материалы из Центрального государственного архива историко-политических документов (в прошлом — Ленинградский партийный архив).

Генри Киссинджер. Дипломатия. Главы из книги. Перевод с английского Владимира Львова. — «Дружба народов», 1996, № 9.

Фрагменты известной мемуарной книги известного американского дипломата. 60-е годы. Вьетнам. Никсон. Особенно любопытно в связи с одновременным выходом на наши экраны фильма Оливера Стоуна «Никсон», одним из персонажей которого является Киссинджер.

Кирилл Кобрин. Василий Васильевич / Людвиг. — «Волга», 1996, № 4.

Эссе о философах: Василий Розанов и Людвиг Витгенштейн.

Юрий Кувалдин. Поле битвы — Достоевский. Повесть. — «Дружба народов», 1996, № 8.

Повесть про «образованщину». Злая. Возможно, сатирическая.

Вячеслав Куприянов. Злоба века. — «Наш современник», 1996, № 8.

Об антологии русской поэзии XX века, составленной Евгением Евтушенко. «Это первая попытка неосознанно, отчасти по невежеству, создать свод русской поэзии с точки зрения массовой культуры, с точки зрения злобы дня и „злобы века“». Другие отклики на эту антологию см. в «Новом мире» (1996, № 2).

Яков Ладъженский. Красноярск-26. — «Дружба народов», 1996, № 8.

Увлекательный — по уверению автора, строго документальный — рассказ о его работе в засекреченном «атомном» городе Красноярск-26. Глава из автобиографической книги «Рукопись, найденная в Сарасоте». Автор ныне живет в США.

Виктор Лихоносов. Одинокие вечера в Пересыпи. Рассказ. — «Москва», 1996, № 8.

Лирический рассказ (март 1996) известного прозаика.

Николай Калинин. Аполлон в снегу. — «Независимая газета», 1996, № 172, 14 сентября.

«Кушнер — это энциклопедия народной жизни. Во-первых, советской, во-вторых, интеллигентской, в-третьих, ленинградской». К шестидесятилетию поэта.

Грант Матевосян. Прозрачный день. Рассказ. Предисловие Леонида Бахнова. Перевод с армянского Арус Агаронян. — «Дружба народов», 1996, № 8.

Давний рассказ известного армянского прозаика, недавно переведенный на русский язык.

Анатолий Найман. Русская поэма: четыре опыта. — «Октябрь», 1996, № 8.

«Медный всадник», «Мороз, Красный нос», «Двенадцать» и «Поэма без героя».

Первая автобиография Есенина. Публикация и подготовка текста В. Н. Терехиной. Вступительная заметка А. А. Козловского. — «Знамя», 1996, № 8.

Автограф первой автобиографии Есенина датирован 14 мая 1922 года (Берлин) и хранится в составе коллекции Н. В. Зарецкого в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк). В этом же номере «Знамени» печатаются неоконченные воспоминания о Есенине его друга А. М. Сахарова (1894 — 1952).

Файна Раневская. Разговор с собой. Дневники на клочках. Письма. Предисловие Юрия Данилина. — «Юность», 1996, № 8, 9.

Из записей разных лет. «Как удалось ей (Ахматовой. — А. В.) удержаться от безумия — для меня непостижимо. Говорит, что не хочет жить, и я ей абсолютно верю. Торопится уехать в Ленинград. Я спросила: зачем? Она ответила: «Чтобы нести свой крест». Я сказала: «Несите его здесь» (в Ташкенте. — А. В.). Вышло грубо и неловко. Но она на меня не обижается никогда. Странно, что у меня, такой сентиментальной, нет к ней чувства жалости или участия...»

Станислав Рассадин. Грань. Портрет поэта на фоне поэзии. — «Дружба народов», 1996, № 9.

О Владимире Соколове. За статьей следуют ответы поэта на анкету, предложенную ряду деятелей науки и культуры Государственным литературным музеем.

Наталья Роскина. «Мне всегда страшно хотелось поговорить с Зошенко...». Предисловие, публикация и комментарии Владимира Глоцера. — «Новое книжное обозрение». Международный иллюстрированный журнал. 1996, № 11-12.

Короткие, но емкие мемуарные заметки Наталии Александровны Роскиной (1927 — 1989) о Зошенко, Заболоцком, Светлове, Гроссмани, о том, как прошел день смерти Сталина в редакции «Литературного наследства», и т. д.

Дина Рубина. «Вот идет Мессия!..». Роман. — «Дружба народов», 1996, № 9, 10. Израиль. Алия. Живо. С юмором. «То, что евреи ёкнулись на пришествии Мессии (по-здешнему Машиаха), она, конечно, знала и раньше». Журнальный вариант. См. ее повесть «Во вратах твоих» в «Новом мире» (1993, № 5).

Борис Савинков. Стихотворения. Публикация Елены Гончаровой. Послесловие Александра Панченко. — «Нева», 1996, № 8.

Найденные в архиве (ГАРФ) десять стихотворений знаменитого эсера-террориста публикуются впервые.

Лидия Тхоржевская. Да святится имя Твое. Из дневников 1941 — 1994 годов. Подготовка к печати В. В. Тхоржевского. — «Урал», 1996, № 5-6.

В № 7 «Урала» за 1994 год была напечатана документальная повесть офицера РОА Владислава Тхоржевского «По дорогам рабства и свободы». Теперь журнал печатает фрагменты дневников его жены Лидии Александровны, в свое время проводившей мужа на фронт и дождавшейся его уже из сталинских лагерей. После его возвращения они прожили вместе еще тридцать семь лет.

Фет, Блок, Гумилев... Из писем Георгия Блока Борису Садовскому. Публикация и примечания Сергея Шумихина. — «Независимая газета», 1996, № 163, 3 сентября.

Некоторые из 29 писем Георгия Петровича Блока (1888 — 1962), датированных 1921 — 1922 годами и хранящихся в РГАЛИ. Их автор, двоюродный брат Александра Блока, был в то время главным редактором частного петроградского издательства «Время». «С Алекс<андром> Алекс<андровичем> нехорошо. У него воспаление сердечных клапанов и неврастения, очень жестокая и очень страшная. Видеться с ним нельзя. Это действительно величайшее несчастье... Наша матушка любит эдак развалиться и придавить жирным боком — вот, мол, у меня какой сынок родился, а я его взяла да и заспала. А задавленный, умирая, он все-таки любит ее без памяти, и я люблю. Надо бы вопить о помощи ему, да только как помочь? Дело не в шпике и какао...» (из письма от 7 июля 1921 года).

Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 3. Подготовка текста Е. Ц. Чуковской и Ж. О. Хавкиной при участии Е. Б. Ефимова. — «Нева», 1996, № 8, 9, 10.

«В своих «Записках» я пыталась создать образ Ахматовой и, прежде всего, воспроизвести ее речь, столь близкую по словарному составу, по лаконизму, по своим интонациям, по широте, глубине и неутолимой трезвости взгляда — к ее гениальной поэзии» (из Слова Л. К. Чуковской при вручении ей Государственной премии РФ 7 июня 1995 года). Работу над третьим томом знаменитых «Записок», охватывающим период 1963 — 1966 годов, Лидия Корнеевна Чуковская закончила в 1990 году. К нему прилагается обширный комментарий «За сценой (факты, люди, книги, документы)», который, к сожалению, Лидия Корнеевна уже не успела дописать.

Михаил Эпштейн. Истоки и смысл русского постмодернизма. — «Звезда», 1996, № 8.

Теоретическая работа, название которой пародийно отсылает нас к «Истокам и смыслу русского коммунизма» Бердяева. Постмодернизм и коммунизм. Постмодернизм и российская цивилизация. «Всё как ничто» и т. д.

Владимир Яницкий. Нормандская фантазия. Главы из романа. — «Урал», 1996, № 5-6.

Фрагменты давно написанного, но так и не напечатанного обширного повествования об эпохе и личности Вильгельма Завоевателя.



Мария Арбатова. Капустник. — «Московский комсомолец», 1996, 22 сентября, стр. 3.

«Когда я слышу разговоры о том, что российская культура гибнет, и вижу, что речь идет не о музеях, библиотеках, парках и памятниках, я понимаю, что под словом «культура» подразумевается слово «халява» в его применении к семейному бюджету членов творческих союзов. Для возрождения самой национальной культуры, на мой взгляд, нужны только три вещи: цивилизованная защита авторского права, здоровые

условия для конкуренции и творческие клубы, поддерживающие информационную и культурную непрерывность...

Декларируя построение либерального общества, мои коллеги по творческим союзам подразумевают в нем социальные институты, создающие новую культурную номенклатуру, подтверждая мой любимый тезис о том, что наша интеллигенция всегда понимала «права человека» как некий механизм, защищающий ее от государства и общества, но ни в коем случае не общество и государство от нее самой...

Продолжая идентифицироваться обществом в качестве деятелей культуры, с одной стороны, и не живя на гонорары, с другой стороны, эти люди совершенно равнодушны к архитектуре защиты авторских прав. Молодые же, кормящиеся на то, что напишут, нарисуют, сыграют и поставят, запуганы покупателями своего труда потому, что рынок в сфере культуры только начинает проклевываться из сферы министерского планирования и вынужден пережить все те же экзотические стадии, которые мы наблюдали и наблюдаем в создании рынка товарного...

Большинство моих знакомых творческих деятелей среднего возраста глубоко убеждено, что государство, то есть россияне, обязано содержать их до старости лет потому, что они писатели или художники «в законе», и слово «работа» ассоциирует с кем угодно, кроме самих себя...

Неготовность интеллигенции к пониманию времени и себя в нем оказалась клинической. ...Оказывается, социализм был их самым главным позвоночником, и как только его сломали, все внутренние органы сложились в гармошку. И, конечно, можно поддерживать эту субкультуру растерявшихся — из благотворительных соображений, — но категорически нельзя тиражировать. Читатель и зритель тоже живые, у них тоже проблемы, они тоже в этой стране находятся и за стоимость своего билета вправе требовать ответов на некоторые вопросы и даже катарсиса, а не еще большей клиники, чем в них самих».

Составитель Андрей Василевский.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Январь

30 лет назад — в № 1 за 1967 год напечатан автобиографический очерк Бориса Пастернака «Люди и положения».

50 лет назад — в № 1 за 1947 год напечатаны поэмы Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом» и Н. Заболоцкого «Творцы дорог».

60 лет назад — в № 1 за 1937 год напечатана эпопея Ильи Сельвинского «Челюскиниана».

70 лет назад — в № 1 за 1927 год напечатана статья Л. Троцкого «Культура и социализм».

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Alexander Kushner, Yuri Kublanovsky, Tatyana Bek and Yekaterina Shevchenko.

We are beginning to publish the novel «Passing of the Shadow» by Irina Polyanskaya (to be ended in No. 2).

We are publishing «Autobiographical Anecdotes» by Bulat Okudzhava and prosaic miniatures «Tiny Pieces» by Alexander Solzhenitsyn.

The section «New Translations» is presented by the narrative «Confessions» by Swedish producer Ingmar Bergman (translation by A. Afinogenova).

An essay by Boris Yekimov, «In the Snows», occupies the section «Essays of Nowadays».

The section «Philosophy. History. Politics» presents the article «Democracy and Culture» by Yuri Kagramanov.

In the section «Writer's Diary» Alexander Solzhenitsyn writes about the novel «The Naked Year» by Boris Pilnyak.

In the section «Publications and Reports» we are publishing the memoirs by Yekaterina Krasheninnikova about Boris Pasternak, as well as poems by artist Vasily Kandinsky, translated from German.

The section «Literary Criticism» presents an article by Olga Novikova and Vladimir Novikov, on the prose by Valentin Katayev, as well as the article «A Novel of Education» by Dmitry Bavlitsky on a short story by Sergei Lando.

In the section «Reviews» Lilya Pann reviews a book of poetry by Lev Losev; Alexander Zakurenko reviews the collected poems by Russian poets of Kiev; Marina Novikova reviews the book by Ukrainian specialist in study of culture Vadim Skuratovsky; Yuri Kublanovsky reviews the collected poems and memoirs by former prisoners; Yevgeny Yermolin reviews the book «At the End of the Second Millennium» by religious conservative Irving Cristol; Tatyana Kasatkina reviews a book of children's literary works, «Pegasus in the Classroom».

In the section «Editor's Mail» we are publishing an article by A. Komech on architecture and town-planning in nowadays' Moscow.

In the section «Foreign Books about Russia» Sergei Larin comments «Modern Russian Literary Guide» by Polish literary critic Tadeusz Klimowicz.

The issue also presents the section «Bibliography» containing annotations of new books and magazines.

◆

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Р. Т. Киреев** (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: **С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.09.96 г. Подписано к печати 22.11.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 16 260 экз. **Заказ 3342.** Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

ПРЕМИИ «НОВОГО МИРА» ЗА 1996 ГОД

присуждаются

- Александру Архангельскому** за цикл эссе в рубрике «По ходу дела» (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11);
- Виктору Астафьеву** за повесть «Обертон» (№ 8);
- Андрею Битову** за стихопрозу «Жизнь без нас» (№ 9);
- А. Боровому** за документальное повествование «Мой Чернобыль» (№ 3);
- Яну Гольцману** за цикл рассказов «Голоса тишины» (№ 12);
- Т. Ф. Дедковой** за актуальную публикацию из наследия (Игорь Дедков, «Как трудно даются иные дни!». Из дневниковых записей 1953 — 1974 годов, № 4, 5);
- Борису Екимову** за подборки рассказов (№ 2, 10);
- Евгению Карасеву** за цикл стихотворений «По былинам сего времени» (№ 8);
- Михаилу Кураеву** за «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» (№ 10);
- Марине Новиковой** за статьи «Соблазны» (№ 5) и «Месяцеслов» (№ 8);
- Антону Уткину** за яркий дебют (роман «Хоровод», № 9 — 11);
- Юрию Чайникову** за мастерство художественного перевода (Витольд Гомбрович, «Дневник», № 11);
- Александру Шаталову** за циклы стихотворений «Изморозь, оторопь...» (№ 2) и «Без начала и повода» (№ 9).

Главный редактор **СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.**